DUKE
UNIVERSITY

LIBRARY

Sipovskii, Vasilii Vasil'evich

Проф. В. В. Сиповскій.

СОКРАЩЕННЫЙ КУРСЪ
ИСТОРІИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

Руководство для мужскихъ и женскихъ гимназій, реальныхъ и коммерческихъ училищъ и кадетскихъ корпусовъ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Новая русская литература 40—60-хъ г.г.

Примѣчаніе. Этому руководству соотвѣтствуетъ: **Историческая хрестоматія**, того-же автора, **томъ II, вып. 4—5; томъ III, вып. 1—4.**

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ Я. БАШМАКОВА и К°.
1913.

Типографія М. Волковича. Садовая 60 (уг. Б. Подъяческой).

891.709
S618S
ch. 3

ОГЛАВЛЕНІЕ.

IV. Новая русская литература XIX столѣтія.

Н. В. Гоголь. (Біографія). . . . . 1 — 8

a) *Первый періодъ дѣятельности Гоголя.* „Гансъ Кюхельгартенъ“.— „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“. — „Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька“.—„Миргородъ“. — „Вій“. — „Старосвѣтскіе помѣщики“.— „Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“.—„Тарасъ Бульба“.—„Арабески“. —„Невскій проспектъ“.—„Записки сумасшедшаго“. . . . . 8 — 35

b) *Второй періодъ дѣятельности Гоголя.* — „Женитьба“. — „Ревизоръ“. — Гоголь о „Ревизорѣ“.—Развязка „Ревизора“.—„Театральный разъѣздъ“. — „Шинель“. —„Мертвыя души“ . . . . . 35 — 58

c) *Третій періодъ дѣятельности Гоголя.* Вторая часть „Мертвыхъ душъ“.—„Выбранныя мѣста“.—Историческое значеніе Гоголя . 58 — 64

В. Гр. Бѣлинскій. (Біографія).

Литературная дѣятельность Бѣлинскаго.—Бѣлинскій о Гоголѣ.—„Очерки Бородинскаго сраженія“. — „Горе отъ ума“.— Взглядъ на Пушкина.—Значеніе Бѣлинскаго.

Воздѣйствіе Пушкина, Гоголя и Бѣлинскаго на развитіе русской литературы XIX в.—Сороковые и шестидесятые годы въ русской жизни XIX ст. . . . . 64 — 80

Пушкинская школа. Значеніе Пушкина въ развитіи литературы XIX ст. . . . . 80 — 81

Писатели-„скорбники“.

М. Ю. Лермонтовъ. (Біографія). . . . . 83 — 87

Литературная дѣятельность Лермонтова. Лирическія произведенія Лермонтова за первый періодъ.—„Эпическія произведенія Лермонтова за этотъ періодъ.—„Демонъ“.—Юношескія драмы Лермонтова.—Лирика.—„Дума“.—Поэмы второго періода: „Измаилъ-Бей“.— „Хаджи-Абрекъ“. — „Бояринъ Орша“.—„Мцыри“.—Шестая редакція поэмы „Демонъ“.—„Пѣсня про царя Ивана Васильевича“.—„Маскарадъ“.—„Герой нашего времени“. . . . . 87 —110

Поэты-народники.

„Народничество“ въ литературѣ XVIII—XIX в. . . . . 110—111

А. В. Кольцовъ. (Біографія).

„Думы“ Кольцова.—„Поэтъ“ и „толпа“ въ поэзіи Кольцова. . 111—116

И. С. Тургеневъ. (Біографія). . . . . 116—118

a) *Литературная дѣятельность Тургенева въ 40-хъ годахъ.* „Записки охотника“. — „Хорь и Калинычъ“. — „Касьянъ съ Красивой Мечи“.—„Живыя мощи“.—„Пѣвцы“. —„Бѣжинъ Лугъ“.—„Ермолай и Мельничиха“.—„Бирюкъ“.—„Малиновая вода“. „Одно-дворецъ Овсянниковъ“. — „Льговъ“. — „Муму“. — „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ“. — „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“.—„Дневникъ лишняго человѣка“.—„Рудинъ“.—„Дворянское гнѣздо“. . . . . 119—135

b) Литературная дѣятельность Тургенева въ 60-е годы. „Наканунѣ“.—„Отцы и дѣти“.—„Дымъ“. . . . . 135—142

И. А. Гончаровъ. (Біографія) . . . . . 142—143

a) Литературная дѣятельность Гончарова въ 40-е годы. „Обыкновенная исторія“ . . . . . 143—145

b) Литературная дѣятельность Гончарова въ 60-е годы. „Обломовъ“.—„Обрывъ“ . . . . . 146—154

А. Н. Островскій. (Біографія) . . . . . 155—156

a) Литературная дѣятельность Островскаго въ 40-е годы. „Свои люди—сочтемся“.—„Бѣдность не порокъ“.—„Темное царство“ Добролюбова . . . . . 156—161

b) Литературная дѣятельность Островскаго въ 60-ые годы. „Доходное мѣсто“.—„Гроза“.—„Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“ Добролюбова. . . . . 161—166

Писатели-моралисты.

Графъ Л. Н. Толстой. (Біографія) . . . . . 167—168

Литературная дѣятельность гр. Толстого. „Дѣтство“ и „Отрочество“.—„Юность“. — „Утро помѣщика“. — „Казаки“. — Севастопольскіе разсказы.—„Война и Миръ“. . . . . 168—194

Ѳ. М. Достоевскій. (Біографія) . . . . . 194—196

Литературная дѣятельность Достоевскаго. „Бѣдные люди“. — „Записки изъ Мертваго дома“.—„Преступленіе и Наказаніе“. . 196—205

Писатели-лирики 40—60 г.г.

Ѳ. И. Тютчевъ, его лирика. (Біографія) . . . . . 206—208

Писатели школы „искусство для искусства“.

А. Н. Майковъ. (Біографія). „Муза, богиня Олимпа“.—„Искусство“.—„Три смерти“.—„Два міра“. — „Клермонскій соборъ“.—„Легенда о Констанцскомъ соборѣ“.—„Картинка“.—„Поля“.—„Дурочка“.—„Бабушка и внучекъ“. . . . . 210—218

Я. П. Полонскій. (Біографія). — „Поэзія“. — „Родникъ“.—„Двойникъ“.—„Кузнечикъ-музыкантъ“ . . . . . 218—222

А. А. Фетъ. (Біографія). „Музѣ“. — „Ключъ“.—„Муза“.—„Деревня“.—„Бабочка“.—„Среди звѣздъ“. . . . . 222—227

Графъ А. К. Толстой. (Біографія). „Вдохновеніе“. — „Іоаннъ Дамаскинъ“. — „Горними тихо“. — „Противъ теченія“.—„Донъ-Жуанъ“.—„Былины“.—„Князь Серебряный“.—Трилогія.—„Потокъ-Богатырь“ . . . . . 227—235

Писатели-народники.

Н. А. Некрасовъ. (Біографія). „Поэтъ и гражданинъ“.—„Муза“.—„Неизвѣстному другу“.—„Мать“.—„Рыцарь на часъ“.—„Я за то глубоко презираю себя“.—„Въ дорогѣ“.—„Вино“.—„Забытая деревня“.—„Размышленія у парадnаго крыльца“.—Вѣра въ Россію.—„Свобода“. — „Орина, мать солдатская“. — „Морозъ Красный носъ“.—„Кому на Руси жить хорошо“.—„Власъ“.—„Саша“.—„Русскія женщины“. . . . . 236—245

Библіографія . . . . . 246—248

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Вопросъ о томъ, каковъ долженъ быть школьный учебникъ, конечно, разрѣшается различно.

Многіе изъ г.г. преподавателей охотнѣе выбираютъ, въ качествѣ руководства, книгу, которая своимъ содержаніемъ превышаетъ требованія программы.

Такая книга, дающая ученикамъ maximum доступныхъ имъ свѣдѣній, можетъ заинтересовать ихъ скорѣе, чѣмъ сокращенное изложеніе курса; къ тому же, руководство, болѣе обширное по содержанію *), всегда нетрудно подогнать подъ требованія школы: наиболѣе важные отдѣлы могутъ, послѣ класснаго объясненія учителя, *выучиваться* учениками, другіе отдѣлы только прочитываются (дома, или въ классѣ). При такомъ способѣ прохожденія исторіи словесности преподаватель долженъ выбрать изъ руководства необходимый матеріалъ, долженъ его самостоятельно освѣтить и иллюстрировать при помощи разбора соотвѣтствующихъ образцовъ.

Другіе преподаватели предпочитаютъ краткія руководства, дающія minimum свѣдѣній, самыхъ необходимыхъ для учащихся въ средней школѣ. Такіе преподаватели выдвигаютъ на первый планъ свою классную бе-

*) Въ предисловіи къ „Исторіи русской словесности“ я указывалъ на то, что съ историческими науками учащіеся должны ознакомиться въ средней школѣ съ возможной полнотой, такъ какъ очень незначительная часть учениковъ поступаетъ на историко-филологическіе факультеты,—огромному же большинству учащихся, можетъ быть, никогда больше не придется изучать исторію родной словесности.

сѣду съ учениками на темы, опредѣленныя официальной программой. При этомъ способѣ изученія словесности всегда является потребность въ краткомъ учебникѣ, который могъ бы представить ученику въ сжатомъ изложеніи развитіе тѣхъ темъ, о которыхъ въ классѣ велась обстоятельная бесѣда. Веденіе «записокъ» въ классѣ самими учениками представляетъ, конечно, огромныя неудобства и рѣшительно осуждается съ педагогической точки зрѣнія.

Лично считаю, что оба метода класснаго изученія исторіи словесности одинаково хороши. И плодотворность каждаго изъ нихъ зависитъ не отъ ихъ существа, а отъ личныхъ особенностей самого преподавателя,—одни изъ преподавателей лучше работаютъ первымъ методомъ, другіе—вторымъ.

Мое первое руководство: «*Исторія русской словесности*» — сочиненіе, дающее maximum свѣдѣній, намѣченныхъ новой программой, въ общемъ, было встрѣчено очень благосклонно въ преподавательскихъ кругахъ. Но мнѣ пришлось услышать нѣсколько упрековъ за то, что моя книга для средней школы слишкомъ обширна.

Думаю, что эти возраженія основаны на недоразумѣніи. Выше было уже указано, что обширную книгу всегда нетрудно сократить,—слѣдовательно, дѣло не въ размѣрахъ книги и не въ характерѣ ея содержанія, а въ томъ, что моя обширная «*Исторія русской словесности*» *приноровлена къ требованьямъ г.г. преподавателей, пользующихся первымъ методомъ* прохожденія курса исторіи словесности въ школѣ, и потому она можетъ показаться не совсѣмъ удобной тѣмъ, кто этого метода не держится.

Выпуская нынѣ въ свѣтъ «*Сокращенный курсъ исторіи русской словесности*», я иду навстрѣчу тѣмъ изъ г.г. преподавателей, которые, въ силу указанныхъ выше основаній, предпочитаютъ *второй методъ*.

«*Сокращенный курсъ*» состоитъ изъ трехъ частей: первая посвящена характеристикѣ народной словесности и древней письменности до Петра; вторая часть обнимаетъ исторію литературы XVIII в. и начала XIX-го (Пушкинъ), третья часть представляетъ изложенія новой русской литературы XIX-го стол. (Гоголь, Бѣлинскій, Лермонтовъ и литература 40-ыхъ и 60-ыхъ годовъ). Это сокращенное руководство тѣсно примыкаетъ къ составленной мною «*Исторической Хрестоматіи*», и потому я всячески старался избѣгать въ «Сокращенномъ курсѣ» подробныхъ пересказовъ тѣхъ произведеній, которыя имѣются въ моей «Хрестоматіи» и должны быть обстоятельно разобраны въ классѣ.

Распредѣленіе матеріала по тремъ частямъ «Сокращеннаго курса» сдѣлано соотвѣтственно новымъ программамъ средн. учебн. заведеній Мин. Нар. Просв., напечатаннымъ въ «Журналѣ Мин. Нар. Просв.» (Іюль 1912 г.).

Такимъ образомъ 1-ая часть «Сокращ. курса» соотвѣтствуетъ курсу V-го класса гимназій и реальныхъ училищъ; 2-ая часть соотвѣтствуетъ курсу VI-го класса гимназій и реальныхъ училищъ; *3-ья часть соотвѣтствуетъ курсу VII-го класса реальныхъ училищъ и VII—VIII классамъ мужскихъ гимназій.*

IV. НОВАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ст.

(30—40 г.г.).

(*В. В. Сиповскій*, Историческая хрестоматія, т. II и III).

Николай Васильевичъ Гоголь.

(1809—1852).

Біографія. § 1. Н. В. Гоголь родился 19 марта 1809 г. въ малороссійской помѣщичьей семьѣ. Дѣтство его протекло въ имѣніи отца, Васильевкѣ, или Яновщинѣ, Полтавской губерніи. Отецъ Н. В. Гоголя былъ человѣкъ добрый, надѣленный живымъ умомъ и литературнымъ талантомъ; прекрасный знатокъ родного быта и поэзіи, онъ сочинилъ нѣсколько комедій изъ малороссійской жизни, которыя ставилъ на домашнемъ театрѣ своего сосѣда, дальняго родственника, богача Трощинскаго, екатерининскаго вельможи [1]). Мать Гоголя была женщина очень добрая, религіозная и впечатлительная до болѣзненности.

Біографы Гоголя совершенно справедливо указываютъ, что съ дѣтства ясно сказались на немъ совершенно разнородныя вліянія отца и матери. Мальчикъ живой, остроумный, впечатлительный, онъ, подъ вліяніемъ отца, съ дѣтства рано сталъ всматриваться въ жизнь сосѣдей-помѣщиковъ и крестьянъ, а также въ картины своеобразной малороссійской природы; въ домѣ Трощинскаго онъ, еще ребенкомъ, полюбилъ театръ. Подъ вліяніемъ матери онъ пріучился жить въ мірѣ своей души, ищущей Бога; религіозность его, унаслѣдованная отъ матери, съ годами все сильнѣе овладѣвала имъ.

Съ дѣтства привыкъ Гоголь интересоваться не только настоящимъ, но и прошлымъ Малороссіи; этотъ край имѣлъ свою бурную увлекательную исторію, и разсказы о томъ, что было пережито родиной, съ дѣтства занимали и увлекали будущаго писателя [2]).

Десяти лѣтъ отъ роду, Гоголь былъ отданъ въ полтавскую гимназію, а затѣмъ, черезъ два года, въ нѣжинскій лицей, гдѣ онъ провелъ семь лѣтъ (1821—1828).

Это учебное заведеніе для талантливаго мальчика не было въ тягость; здѣсь натуры его не ломали, и онъ выросъ свободно, развивая свои дарованія въ тѣсномъ кругу товарищей. Науками Гоголь занимался немного и въ послѣдніе годы пребыванія въ лицеѣ весь свой досугъ отдавалъ литературнымъ занятіямъ, рисованію и театру. Литературные интересы родного дома онъ перенесъ въ школу и сумѣлъ создать среди товарищей кружокъ молодыхъ любителей литературы и театра. Гоголь и его друзья слѣдили за всѣми

---

[1]) Содержаніе этихъ комедій отчасти использовалъ Н. В. Гоголь въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ своихъ „Вечеровъ“.

[2]) „Эхъ, старина, старина!“—восклицалъ впослѣдствіи онъ—„что за радость, что за разгулье падетъ на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему, и мѣсяца нѣтъ, дѣялось на свѣтѣ!“

новинками тогдашней русской литературы, завели свою особую библіотеку, издавали журналъ, подъ названіемъ „Звѣзда“, и устроили въ лицеѣ театръ.

Несмотря на счастливыя условія жизни, уже на школьной скамьѣ узналъ Гоголь тѣ грустныя настроенія, которыя съ этого времени навсегда сопутствовали ему въ жизни. Причины этой юношеской грусти кроются въ томъ серьезномъ отношеніи къ труднымъ вопросамъ бытія, которое рано стало волновать его душу. Живой, веселый и насмѣшливый въ кругу друзей,—Гоголь наединѣ съ собою часто дѣлался инымъ. Уже въ раннихъ его письмахъ, присланныхъ изъ лицея, обрисовывается онъ, какъ „искатель правды“, какъ моралистъ, съ строгимъ взглядомъ на жизнь... Это „исканіе правды“ не угасало у Гоголя съ годами,—напротивъ, съ теченіемъ времени, все сильнѣе овладѣвало его душой. Вотъ почему біографъ Гоголя долженъ серьезно относиться къ его дѣтскимъ исканіямъ и „тревогамъ“,—долженъ признать ихъ искренность и значительность. Незадолго до окончанія лицея писалъ онъ своей матери письмо, въ которомъ представляетъ себя „загадочной натурой“, говоритъ о томъ, сколько горя онъ вынесъ въ жизни, какъ хорошо знаетъ оборотную сторону жизни. Конечно, дѣйствительнаго горя Гоголь въ тѣ годы еще не зналъ, но онъ въ своемъ сердцѣ, очевидно, выстрадалъ много *воображаемаго горя*,—и уже это одно свидѣтельствуетъ о необыкновенной сложности и загадочности его натуры.

Рано развилось у Гоголя чувство честолюбія и самомнѣнія. „Какъ тяжело быть зарыту вмѣстѣ съ созданіями низкой неизвѣстности въ безмолвіе мертвое!“—писалъ онъ одному изъ своихъ юныхъ друзей. „Ты знаешь всѣхъ нашихъ существователей,—всѣхъ, населившихъ Нѣжинъ!“—восклицаетъ онъ далѣе.—„Они задавили корою своей земности, ничтожнаго самодовольствія, высокое назначеніе человѣка!.. И между этими существователями я долженъ пресмыкаться!.. Изъ нихъ не исключаются и дорогіе наставники наши!“... Еще не зная, въ чемъ будетъ заключаться его служеніе родинѣ, юноша съ увѣренностью говоритъ о томъ, что совершитъ „трудъ важный, благородный, на пользу отечества, для счастья гражданъ, для блага жизни подобныхъ“... „И дотолѣ нерѣшительный, неувѣренный въ себѣ,—продолжаетъ онъ,—я вспыхиваю огнемъ гордаго самосознанія!.. Чрезъ годъ вступаю я въ службу государственную!“... О карьерѣ писателя въ это время онъ не мечталъ совсѣмъ,—ему казалось, что чиновничество въ Петербургѣ и есть то поприще, на которомъ легко сразу облагодѣтельствовать отечество. Если мы припомнимъ, что это время (правленіе императора Николая I) было въ Россіи эпохой крайней централизаціи власти, — мы поймемъ, почему провинціалы той поры имѣли право придавать такое значеніе Петербургу.

Изъ произведеній Гоголя, написанныхъ имъ во время пребыванія въ лицеѣ, сохранились немногія,— большинство ихъ извѣстно лишь по названію. Кромѣ мелкихъ сатирическихъ произведеній, осмѣивающихъ товарищей, учителей и жителей Нѣжина („Нѣчто о Нѣжинѣ, или дуракамъ законъ не писанъ“), къ этому юношескому періоду его творчества относится нѣсколько произведеній болѣе крупныхъ, отразившихъ характерныя черты его юношескихъ настроеній. Изъ этихъ произведеній мы узнаемъ, что, въ бытность свою въ лицеѣ, Гоголь находился подъ вліяніемъ нашихъ романтиковъ: Жуковскаго и Марлинскаго. Къ произведеніямъ, отразившимъ вліяніе Жуковскаго, относится его большая идиллія: „Гансъ Кюхельгартенъ“, которую онъ самъ цѣнилъ такъ высоко, что счелъ возможнымъ отдать въ печать. Этому произведенію біографы Гоголя съ полнымъ правомъ придаютъ автобіографическое значеніе; въ героѣ ея, „прекраснодушномъ юношѣ“, усматриваютъ они отраженіе настроеній юноши-Гоголя, стремящагося въ міръ красоты и тоскующаго въ тѣсныхъ рамкахъ будничной жизни уѣзднаго города. Къ группѣ романтическихъ произведеній также относилась несохранившаяся трагедія: „Разбойники“, вѣроятно, подражаніе драмѣ Шиллера, затѣмъ историческая повѣсть: „Братья Твердиславичи“, въ духѣ произведеній Марлинскаго, романъ: „Гетманъ“, произведеніе, отличающееся фантастичностью, патетическимъ стилемъ и романтическими эффектами. Наконецъ, къ этой же группѣ должны быть отнесены и отрывки повѣсти изъ народной жизни: „Страшный кабанъ“.

Это произведеніе напоминаетъ собою, по типу своему, нѣкоторыя повѣсти, вошедшія впослѣдствіи въ составъ „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“.

Въ 1828 году пріѣхалъ Гоголь въ „завѣтный“ Петербургъ, куда его такъ тянуло съ дѣтства. Здѣсь дѣйствительность сразу, рядомъ тяжкихъ испытаній, охладила горячій пылъ его юношескихъ мечтаній. Дороговизна столичной жизни его поразила; рекомендательныя письма Трощинскаго не принесли ему той пользы, на которую разсчитывали онъ и его мать. Юношѣ, избалованному скромнымъ довольствомъ домашней жизни и лаской нѣжнолюбящей матери, въ столицѣ пришлось узнать лишенія: всю зиму принужденъ онъ былъ „отхватать“ въ лѣтней шинели и отказывалъ себѣ въ удовольствіи посѣщать театръ. Его, наивнаго провинціала, поразили холодность и эгоизмъ столичныхъ обывателей [1]). Очевидно, и чиновничья карьера, въ его глазахъ, скоро потеряла весь ореолъ „великаго служенія родинѣ“ и представилась, какъ „безплодное“, сѣрое существованіе. Это было новое разочарованіе для молодого энтузіаста. Съ лихорадочной поспѣшностью сталъ онъ искать себѣ новое поприще дѣятельности, и ненадолго остановился даже на мысли сдѣлаться актеромъ. Затѣмъ онъ рѣшился испробовать счастья на поприщѣ литературномъ и выпустилъ въ свѣтъ свою идиллію: „Гансъ Кюхельгартенъ“, скрывъ свою фамилію подъ псевдонимомъ „В. Алова“. Произведеніе было встрѣчено критикой очень враждебно, и юный авторъ сжегъ свое „дѣтище“, отобравъ изъ магазиновъ нераспроданные экземпляры. И напечатаніе этой слабой поэмы, и сожженіе ея,—все это очень цѣнные факты для пониманія души Гоголя: съ одной стороны, видно и самомнѣніе его, выразившееся въ переоцѣнкѣ своего таланта,—съ другой стороны, во всемъ сказалось его болѣзненное самолюбіе, не терпящее осужденія... Неудача „Ганса“ сильно потрясла его,—онъ даже внезапно рѣшился покинуть Россію и уѣхалъ заграницу. Характерно, что всѣ эти неудачи своихъ первыхъ шаговъ на житейскомъ поприщѣ религіозный юноша объяснилъ проявленіемъ мудрой воли Божьей. „Я чувствую налегшую на меня справедливымъ наказаніемъ тяжкую десницу Всемогущаго!“—писалъ онъ матери. Волей Бога объяснялъ онъ и свою неожиданную поѣздку на чужбину. Онъ утѣшаетъ свою мать, говоритъ, что ему нужно „передѣлать себя“, переродиться, оживиться новою жизнью, „расцвѣсть силою души въ вѣчномъ трудѣ и дѣятельности“, чтобы найти не личное счастье, а возможность посвятить свою жизнь для счастья и блага себѣ подобныхъ“.

Гоголь заграницей выжилъ только мѣсяцъ: онъ соскучился по родинѣ, да и тоска попрежнему его преслѣдовала... Въ одномъ письмѣ изъ-заграницы онъ пространно исповѣдуется передъ матерью: онъ сѣтуетъ, что Богъ, „создавъ такое единственное, или, по крайней мѣрѣ, рѣдкое въ мірѣ сердце, какъ его, создавъ такую душу, пламенѣющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному, облекъ ее въ такую грубую оболочку“. Это бореніе тѣла и духа, такъ мучительно выразившееся въ юной душѣ Гоголя, было главнымъ содержаніемъ духовной жизни древней Руси; тогда многихъ оно приводило къ аскетизму, подвижничеству, отреченію отъ земли... Это наслѣдіе родной старины досталось въ удѣлъ Гоголю: юношей, еще мало извѣдавшимъ жизнь, онъ узналъ уже тѣ духовныя страданія, которыми жили, которыми питали свою душу подвижники древней Руси. Подобно имъ, Гоголь-юноша интересуется своей душой, изучаетъ ее, бичуетъ себя за свои недостатки... Онъ спрашиваетъ Бога, зачѣмъ Онъ допустилъ въ его душѣ такую странную смѣсь противорѣчій,—упрямства, дерзкой самонадѣянности и самаго униженнаго смиренія...

Вернувшись въ Петербургъ въ первыхъ мѣсяцахъ 1830-го года, онъ поступилъ на службу въ департаментъ удѣловъ. Эта служба совсѣмъ не была похожа на то возвышенное „служеніе“ родинѣ, о которомъ мечталъ Гоголь,—естественно, что онъ не чувствовалъ себя удовлетвореннымъ. Даже жалованья чиновничьяго ему не хватало на существованіе. Приходилось давать частные уроки, заниматься гувернерствомъ и заказной литературной работой. И вотъ, въ поискахъ средствъ къ существованію, Гоголь остановился на счастливой мысли пустить въ литературный оборотъ свое знаніе малороссій-

[1]) Ср. разочарованія Тентетникова, Обломова и Адуева въ Петербургѣ.

ской жизни,—онъ принялся за сочиненіе своихъ „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“ – и, неожиданно для себя, завоевалъ этими веселыми поэтическими разсказами литературную „славу“... Этимъ произведеніямъ онъ никогда не придавалъ большого значенія, такъ какъ въ нихъ не отразилась его мучительная душевная борьба... Дороже былъ ему его неудачный „Гансъ Кюхельгартенъ“—произведеніе, въ которое вложилъ онъ всю свою душу.

Тѣмъ не менѣе, свои веселые разсказы писалъ онъ очень добросовѣстно: для нихъ онъ старательно собиралъ факты и матеріалы; мать его, друзья и знакомые, оставшіеся на родинѣ, присылали ему въ Петербургъ необходимыя свѣдѣнія, пополняющія его знанія малороссійской жизни. Эти матеріалы придали его веселымъ разсказамъ этнографическую полноту и содержательность.

Высокую художественность гоголевскихъ разсказовъ оцѣнили выдающіеся русскіе писатели того времени: Жуковскій, Пушкинъ, Плетневъ, Дельвигъ. Они сблизились съ Гоголемъ и ввели его въ кругъ тогдашнихъ русскихъ литераторовъ. На первыхъ порахъ, подъ впечатлѣніемъ своего шумнаго успѣха, Гоголь, словно, забылъ о своихъ душевныхъ страданіяхъ, — къ тому же онъ всецѣло подпалъ подъ вліяніе Пушкина, который съ любовью занялся литературнымъ и умственнымъ развитіемъ талантливаго „самородка“. Пушкинъ указывалъ Гоголю книги, которыя ему надо прочесть, объяснялъ ему сущность его таланта и рѣшительно повелъ его на путь художественнаго реализма. Изображеніе отрицательныхъ сторонъ русской дѣятельности — вотъ, дорога, на которую указалъ Гоголю Пушкинъ.

Подъ вліяніемъ своихъ новыхъ петербургскихъ друзей-писателей, Гоголь сталъ серьезнѣе смотрѣть на свои занятія литературой. Издавъ свои „Вечера“ въ свѣтъ, онъ, по совѣту Пушкина, берется за сочиненіе большой бытовой комедіи изъ русской жизни. Кромѣ того, онъ усердно изучаетъ русскую литературу, старается выяснить себѣ сущность и цѣли искусства, занимается исторіей [1])... Вообще семь лѣтъ (1829 — 1836), проведенныя имъ въ Петербургѣ, въ обществѣ Пушкина, были блестящей порой его жизни и творчества: въ этотъ періодъ времени развернулся его талантъ,—онъ написалъ „Вечера на хуторѣ“, въ 1835 году —„Арабески“, „Миргородъ“ (въ этотъ сборникъ вошла и повѣсть: „Тарасъ Бульба“), „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“, „Старосвѣтскіе помѣщики“, „Записки сумасшедшаго“, „Женитьбу“, „Ревизора“ (написанъ въ 1835 г., поставленъ на сцену 19 апрѣля 1836 г.), задумалъ и началъ „Мертвыя души“, критическія и теоретическія статьи по русской литературѣ и искусству,— словомъ, за это время онъ сказалъ почти все, что имѣлъ сказать (Котляревскій).

Въ эти же годы Гоголь изъ чиновника сдѣлался педагогомъ, преподавателемъ исторіи въ Патріотическомъ институтѣ, потомъ профессоромъ всеобщей исторіи въ С.-Петербургскомъ университетѣ. Но преподаваніе въ университетѣ оказалось неудачнымъ, и это было новымъ ударомъ для впечатлительнаго самолюбиваго писателя. Впрочемъ, неудача эта имѣла и хорошіе результаты: она прикрѣпила Гоголя къ литературѣ. Любопытно, что своими литературными успѣхами онъ былъ недоволенъ: друзья-писатели, петербургскіе и московскіе, носили его на рукахъ; публика читала нарасхватъ его произведенія; критика русская тоже заинтересовалась новымъ свѣтиломъ,—но Гоголю всего этого было мало... Судя по его письмамъ, онъ все мечталъ о какомъ-то „большомъ дѣлѣ“. Пушкинъ указывалъ ему, что это „большое дѣло“ можно было сдѣлать литературой,—и что обличеніе недостатковъ родной жизни— тоже дѣло немаловажное... Но, должно быть, ему не удалось убѣдить Гоголя. По крайней мѣрѣ, „Ревизоръ“, имѣвшій большой успѣхъ, принесъ Гоголю больше горя, чѣмъ радости...

Гоголю оскорбительно было сознаніе, что въ авторѣ „Ревизора“ никто не увидѣлъ „честнаго чиновника великаго Божьяго государства“, проповѣд-

---

[1]) Мысли Гоголя, касающіяся исторіи, нашли себѣ выраженіе въ тѣхъ статьяхъ, которыя вошли позднѣе въ составъ его сборника: „Арабески“.

ника добра,—а усмотрѣли или скомороха-шута, потѣшника толпы,—или либерала-обличителя,—или просто суроваго и несправедливаго судью-самозванца. Онъ убѣдился, что читатели его не поняли [1]), и тогда онъ охладѣлъ къ „Ревизору“, какъ прежде къ „Гансу Кюхельгартену“... Чтобы успокоиться, онъ отправился вторично заграницу.

Во время пребыванія Гоголя за предѣлами родины въ его сложной душѣ, полной противорѣчій, окончательно совершился тотъ таинственный переломъ, который великаго художника, въ концѣ концовъ, обратилъ въ моралиста и богослова.

Заграницей онъ искалъ только впечатлѣній эстетическихъ; онъ безучастно отнесся къ западно-европейской культурѣ, къ современной жизни Европы, даже къ исторической старинѣ... Только Италія увлекла его. Она успокоила его больные нервы; она обласкала его свѣтомъ, теплomъ и красотой „Кто былъ въ Италіи, тотъ скажи: „прощай“ другимъ землямъ“,—писалъ Гоголь друзьямъ,—„кто былъ на небѣ, тотъ не захочетъ на землю!.. Европа, въ сравненіи съ Италіей, все равно, что день пасмурный въ сравненіи съ днемъ солнечнымъ“.

Въ Римѣ Гоголь вращался въ обществѣ молодыхъ русскихъ художниковъ и въ кругахъ русскихъ аристократовъ. Такимъ образомъ окружали его интересы эстетическіе и религіозные. Особенно сблизился онъ въ это время съ извѣстнымъ энтузіастомъ-художникомъ Ивановымъ, который большую часть своей жизни отдалъ созданію одной картины: „Явленіе Христа народу“. Религіозное мистическое настроеніе Иванова было сродни Гоголю; одинаково-высокое пониманіе миссіи художника тоже связывало обоихъ.

Любопытно, что въ эту пору подъема эстетической и религіозной жизни, когда Гоголю, удаленному отъ Россіи, родина казалась далекимъ „сномъ“,—творчество его продолжало работать все въ томъ же направленіи, которое въ свое время сообщилъ ему Пушкинъ. Гоголь „жилъ“ Италіей, и въ то же время „грезилъ“ Россіей, и грезы эти были такъ ясны, такъ мучительно-живы, были облечены въ такую осязательную „плоть“, что перо Гоголя быстро рисовало одинъ русскій типъ за типомъ: Чичиковъ, Ноздревъ, Собакевичъ,—все это было такъ далеко отъ Италіи, отъ тогдашнихъ духовныхъ интересовъ Гоголя,—но все это вырастало передъ нимъ, окрашивалось ярко и жизненно...

Въ „Мертвыхъ Душахъ“ Гоголь задумалъ новое „великое“ произведеніе. Сперва, впрочемъ, и этому труду онъ не придавалъ серьезнаго значенія: начатое произведеніе казалось ему только смѣшнымъ анекдотомъ, „карикатурой“... Но его поразило, что чтеніе первыхъ главъ романа произвело на Пушкина такое впечатлѣніе, что великій поэтъ, смѣявшійся при началѣ чтенія, становился затѣмъ все сумрачнѣе и, наконецъ, когда чтеніе кончилось, сказалъ: „Боже! какъ грустна наша Россія!..“. „Меня это изумило,—вспоминалъ впослѣдствіи Гоголь,—Пушкинъ, который такъ зналъ Россію, не замѣтилъ, что все это—карикатура и моя собственная выдумка!“... Тѣмъ не менѣе, скоро и самъ Гоголь понялъ, что изъ „смѣшного анекдота можетъ выйти большая картина“. И вотъ, послѣ смерти Пушкина, въ 1837 году, отношеніе Гоголя къ начатому произведенію мѣняется: трудъ, завѣщанный ему великимъ учителемъ, сдѣлался, въ его глазахъ, „священнымъ“. И чѣмъ болѣе Гоголь углублялся въ работу, тѣмъ шире разрастались его художественные замыслы. И вотъ, именно въ это время, не сдерживаемый Пушкинымъ, покоренный своими мистическими настроеніями, онъ задумалъ изъ „карикатуры“ и „выдумки“ сдѣлать *поэму*. Подобно Данту, изобразившему въ трехъ частяхъ своей „Божественной Комедіи“: „адъ“, „чистилище“ и „рай“, всю исторію всей человѣческой жизни, такъ и Гоголь задумалъ въ своей поэмѣ изобразить

---

[1]) Свое толкованіе онъ далъ комедіи не только въ частныхъ бесѣдахъ и письмахъ, но и въ нѣсколькихъ статьяхъ, посвященныхъ „Ревизору“: „Отрывокъ изъ письма, писаннаго авторомъ послѣ перваго представленія „Ревизора“ къ одному литератору“, „Предувѣдомленіе для тѣхъ, которые хотѣли бы сыграть, какъ слѣдуетъ, „Ревизора“, „Театральный разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи“ и „Развязка Ревизора“.

исторію воскресенія грѣшной человѣческой души: первая часть его романа должна была соотвѣтствовать дантовскому „Аду“, вторая — „Чистилищу“, третья — „Раю“. Въ своемъ произведеніи Гоголь хотѣлъ захватить всю Россію,—изобразить все зло и добро ея жизни...

Но болѣзнь уже подтачивала его силы; нервы были разбиты; онъ самъ чувствовалъ, что боленъ, ждалъ смерти и боялся ея, такъ какъ хотѣлъ сказать людямъ то, чего онъ еще не успѣлъ сказать... И вотъ, онъ то примиряется съ мыслью о близкой смерти, видя въ этомъ проявленіе мудрой воли Бога, то боится своихъ мыслей о смерти, хватается за жизнь, лечится, молится...

Страшное впечатлѣніе произвело на него извѣстіе о смерти Пушкина [1]).

Какъ это ни странно, но, какъ будто, съ этого времени въ Гоголѣ умеръ великій *художникъ*-жанристъ, ученикъ Пушкина,—остался Гоголь-*человѣкъ*, больной, измученный, мистикъ и фанатикъ, съ мыслями о смерти, о загробныхъ мукахъ,—человѣкъ, съ каждымъ днемъ уходившій отъ земли въ таинственный міръ своихъ смутныхъ, неясныхъ идей...

Сильное впечатлѣніе произвела на него въ это время смерть его знакомаго юноши-друга Іосифа Вьельгорскаго, умершаго въ Италіи отъ чахотки [2]).

Кромѣ „Мертвыхъ душъ“, въ этотъ періодъ времени Гоголь написалъ повѣсть: „Шинель“, и занялся переработкой прежнихъ повѣстей: „Портретъ“, „Тарасъ Бульба“ и толкованіемъ своего, непонятаго публикой, „Ревизора“ („Театральный разъѣздъ“). Работая надъ I-ой частью „Мертвыхъ душъ“, надъ изображеніемъ этого „русскаго Ада“, Гоголь мечталъ уже о послѣдующихъ частяхъ,—и его тогдашніе этическіе, патріотическіе и религіозные взгляды выразились въ тѣхъ лирическихъ отступленіяхъ, которыя, кстати и некстати, прерываютъ въ первой части „Мертвыхъ душъ“ объективное изображеніе отрицательныхъ сторонъ русской жизни. Эти лирическія мѣста и отступленія (напр., „Русь, Русь! вижу тебя...“, „Не такъ ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься...“, „Другая судьба писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно передъ глазами...“)—оазисы, на которыхъ отдыхалъ писатель-идеалистъ, задыхавшійся среди тѣхъ уродовъ, рисовать которыхъ былъ онъ обреченъ въ силу своего таланта.

Въ 1839—1840-омъ и въ 1841—1842-омъ годахъ Гоголь пріѣзжалъ въ Россію. Но эти возвращенія не принесли ему ни счастья, ни успокоенія. Здоровье его таяло; онъ все дальше уходилъ отъ всѣхъ въ свой собственный міръ, а ему въ это время приходилось устраивать денежныя дѣла свои и своей семьи, хлопотать о себѣ, о правительственной субсидіи, объ изданіи своихъ сочиненій... Матеріально онъ не былъ обезпеченъ и зависѣлъ отъ своихъ пріятелей, которые помогали ему,—но духовно онъ чуждъ былъ имъ и считалъ себя человѣкомъ, далеко опередившимъ ихъ всѣхъ въ моральномъ отношеніи. Друзья не понимали тревожнаго, смятеннаго состоянія его души,—

---

[1]) „Все наслажденіе моей жизни,—говорилъ онъ,—все мое высшее наслажденіе исчезло вмѣстѣ съ нимъ!.. Ничего не предпринималъ я безъ его совѣта, ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собой... Что скажетъ онъ, что замѣтитъ онъ, чему посмѣется, чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое—вотъ, что меня только занимало и одушевляло мои силы... Боже!.. нынѣшній трудъ мой („Мертвыя души“), внушенный имъ,—его созданіе... Я не въ силахъ продолжать его“... „Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ!.. Когда я творилъ, я видѣлъ передъ собой только Пушкина. Ничто мнѣ были всѣ толки,—я плевалъ на презрѣнную чернь: мнѣ дорого было *его* вѣчное и непреложное слово. Все, что есть у меня хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой есть его созданіе: онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писалъ“. „О, Пушкинъ, Пушкинъ, какой прекрасный *сонъ* удалось мнѣ видѣть въ жизни,—и какъ печально было мое пробужденіе!“.

[2]) „Ночи на виллѣ“—произведеніе, въ которомъ Гоголь изобразилъ эту смерть и свое къ ней отношеніе.

они шли къ нему съ непрошенной дружбой, совѣтами, сожалѣніями, указаніями, даже требованіями...

Московскіе славянофилы Аксаковы, братья Кирѣевскіе, а также Погодинъ и Шевыревъ, представляли собой тотъ кругъ москвичей, въ которомъ преимущественно вращался Гоголь; они считали Гоголя „своимъ“, были увѣрены даже, что имѣютъ на него не только вліяніе, но и нѣкоторыя „права“... Это тяготило Гоголя, но бороться съ такимъ отношеніемъ къ себѣ онъ не былъ въ силахъ. Если онъ раздѣлялъ многіе излюбленные взгляды „славянофиловъ“, то этими взглядами поработенъ онъ не былъ. Это видно, хотя бы, изъ того, что онъ въ это же время пытался, было, установить свои отношенія съ людьми другого лагеря—съ „западниками“: такъ, ненадолго сблизился онъ съ Бѣлинскимъ, которому даже поручилъ представить въ цензуру рукопись первой части „Мертвыхъ душъ“.

Въ 1842 году онъ уѣхалъ опять заграницу. Здоровье его все слабѣло,—плоть разрушалась, а духъ все дальше и дальше отходилъ отъ земли... Въ это время на себя онъ начинаетъ смотрѣть, какъ на источникъ благодати, мечтаетъ о монашествѣ, о поѣздкѣ въ Іерусалимъ [1])...

Въ это время подъемы настроенія нерѣдко смѣнялись у него паденіемъ энергіи, страхомъ, душевнымъ безсиліемъ... Рѣдко выдавались періоды сравнительно-спокойные, когда Гоголь могъ отрываться отъ своей души и продолжать свой трудъ. Конечно, написанное имъ въ періодъ одного настроенія не удовлетворяло его тогда, когда душой его овладѣвало иное настроеніе. Это мучило Гоголя и приводило его въ отчаяніе; въ одинъ изъ такихъ припадковъ отчаянья, въ 1847 г., рѣшилъ онъ обратиться ко всей русской публикѣ съ исповѣдью-проповѣдью, путемъ опубликованія „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями“. Боязнь скорой смерти, страхъ унести съ собой въ могилу дорогія ему мысли и чувства, еще не высказанныя русскимъ людямъ,—сознаніе того, что не хватаетъ силъ эти мысли воплотить въ томъ „великомъ произведеніи“, которое онъ хотѣлъ сдѣлать изъ „Мертвыхъ душъ“,—вотъ, причины появленія этихъ интимныхъ писемъ въ печати. Въ нихъ Гоголь отдавалъ родинѣ все дорогое ему,—все имъ пережитое и перечувствованное. „Человѣкъ не отъ міра сего“, Гоголь не считался ни съ условіями тогдашней русской жизни, ни съ интересами современной ему жизни; въ своей книгѣ онъ защищалъ крѣпостное право, враждебно относился ко всякимъ новымъ вѣяніямъ въ области мысли и внутренней политики. Какъ истый сынъ „древней Руси“, онъ заботился только о „душевномъ дѣлѣ“, о спасеніи души, онъ говорилъ объ аскетизмѣ, объ отреченіи отъ земли и нравственномъ самосовершенствованіи — и говорилъ такому обществу, въ которомъ все сознательнѣе дѣлалась потребность коренныхъ реформъ жизни—подготовлялись 60-ые годы. Понятно, что русское общество не поняло его книги, и критика рѣзко осудила ее. Потрясенный новой неудачей, Гоголь пишетъ свою „Авторскую исповѣдь“ и въ 1848 г. ѣдетъ на поклоненіе въ Св. Землю. Послѣдніе годы сво-

---

[1]) „Съ каждымъ днемъ становится свѣтлѣй и торжественнѣй въ душѣ моей“,—писалъ онъ въ это время Жуковскому,—„не безъ цѣли и значенія были мои поѣздки, удаленія и отлученія отъ міра потому, что совершалось незримо въ нихъ воспитаніе души моей,—что я сталъ далеко лучше того, какимъ запечатлѣлся въ, священной для меня, памяти друзей моихъ,—что чаще и торжественнѣе льются душевныя мои слезы и что живетъ въ душѣ моей глубокая, неотразимая вѣра, что небесная сила поможетъ взойти мнѣ на ту лѣстницу, которая предстоитъ мнѣ, хотя я стою еще на нижайшихъ и первыхъ ея ступеняхъ!.. Много труда и пути, и душевнаго воспитанія впереди еще!.. Чище горнаго снѣга, свѣтлѣе небесъ должна быть душа моя, и тогда,—только тогда я приду въ силы начать подвиги и великое поприще,—только тогда разрѣшится загадка моего существованія... Грѣховъ, указанія грѣховъ желаетъ и жаждетъ теперь душа моя!.. Еслибъ вы знали, какой теперь праздникъ совершается внутри меня, когда открываю въ себѣ порокъ, дотолѣ не примѣченный мною!“

ей жизни проводитъ онъ на родинѣ, медленно угасая. На развитіе у Гоголя аскетическихъ идеаловъ особенно повліялъ въ это время ржевскій священникъ о. Матвѣй Константиновскій; его мрачное мистическое міросозерцаніе покорило больную душу Гоголя; бесѣды съ нимъ производили на великаго угасающаго писателя потрясающее впечатлѣніе. „Довольно!.. мнѣ слишкомъ страшно!“ —перебилъ онъ однажды рѣчь о. Матвѣя. Передъ смертью Гоголь совершенно ушелъ отъ міра и его интересовъ, сжегъ свои рукописи и, между ними, вторую часть своихъ „Мертвыхъ душъ“. Гоголь скончался 21-го февраля 1852 г., истощенный постами, измученный душевными муками...

Литературная дѣятельность Гоголя распадается на три періода. Первый захватываетъ всѣ юношескія произведенія его и «Вечера на хуторѣ». Это—періодъ, по преимуществу, *романтическій*. Ко второму періоду, по преимуществу, *реалистическому*, относятся всѣ лучшія произведенія его. Третій періодъ, съ конца сороковыхъ годовъ (послѣ 1837 г.) до смерти—періодъ его мистическихъ переживаній и упадка литературной дѣятельности.

а) Первый періодъ дѣятельности Гоголя.

„Гансъ Кюхельгартенъ“.

§ **2**. Первымъ печатнымъ произведеніемъ Гоголя была, сочиненная имъ еще въ лицеѣ, идиллія: «*Гансъ Кюхельгартенъ*». Историко-литературнаго значенія это произведеніе не имѣетъ, но оно цѣнно для біографа Гоголя, какъ краснорѣчивый и ясный показатель внутренней жизни писателя въ его юношескій періодъ. «Эта странная греза, съ ея героемъ изъ нѣмцевъ и съ нерусской обстановкой, была, въ сущности, страницей изъ жизни самого автора, который скрылся подъ псевдонимомъ» (Котляревскій). Гоголь вложилъ много души въ эту сентиментальную повѣсть, которая причинила ему затѣмъ много огорченій.

Содержаніе идилліи слѣдующее: тихо и мирно живетъ семья деревенскаго пастора. Украшеніемъ этой семьи была дочь Луиза, дѣвушка „рѣзвая“, беззаботная, ангелъ-хранитель своего престарѣлаго отца. Единственной тѣнью этого счастливаго бытія является женихъ Луизы — Гансъ. Это — мечтатель-романтикъ, недовольный дѣйствительностью. Онъ тайкомъ покидаетъ любимую Луизу и отправляется странствовать по свѣту. Въ его отсутствіе, печальная Луиза, вѣрная своей любви, изучаетъ своего жениха по тѣмъ книгамъ, которыя ему были особенно дороги. Перечень этихъ книгъ представляетъ любопытный документъ для біографа Гоголя,—очевидно, любимыя книги Ганса были, въ свое время, любимыми книгами самого писателя.

Два года скитался Гансъ. За это время осиротѣла Луиза... Но отчаянье и ропотъ не овладѣли ея сердцемъ; она все любитъ своего Ганса, ждетъ его и часто ходитъ на могилу отца. Наконецъ, Гансъ возвращается. Онъ растерялъ свои мечты и надежды, утомился жизнью и пришелъ къ сознанію, что

лучше жить мирной жизнью маленькихъ людей, чѣмъ гоняться по свѣту за какимъ-то неяснымъ „великимъ“ дѣломъ. Онъ женится на Луизѣ, и оба ведутъ счастливую, уединенную жизнь, чуждую треволненій большого свѣта.

Изслѣдователи литературной дѣятельности Гоголя отмѣчаютъ, что на этомъ первомъ его печатномъ произведеніи сказались вліянія нѣмецкой идилліи Фосса: «Луиза»—и баллады Жуковскаго: «Теонъ и Эсхинъ». Изъ перваго произведенія взято, какъ фонъ, изображеніе нѣмецкой жизни, взято сентиментальное освѣщеніе идиллическаго мѣщанскаго существованія,—изъ второго произведенія заимствованъ образъ героя, идеалиста-романтика, съ неяснымъ, но непобѣдимомогучимъ стремленіемъ «куда-то» вдаль, прочь изъ мирной, спокойной обстановки провинціальной жизни. Мы видѣли уже, что такія неясныя стремленія были родственны самому юношѣ-Гоголю, котораго тоже тянуло прочь изъ общества нѣжинскихъ «существователей». Такое совпаденіе міросозерцаній автора и «героя» его юношескаго произведенія, конечно, имѣетъ большое значеніе и придаетъ, въ глазахъ біографа, особое значеніе этому первому печатному произведенію Гоголя.

„Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“.

Повѣсти, извѣстныя подъ общимъ названіемъ: «*Вечера на хуторѣ близъ Диканьки*» (*Ист. хрест., т. II, вып. 4*), представляютъ собою сборникъ, составленный изъ двухъ частей,—въ *первую* вошли повѣсти: «Сорочинская ярмарка», «Вечеръ наканунѣ Ивана Купала», «Майская ночь, или утопленница». Во *вторую* часть вошли—«Ночь передъ Рождествомъ», «Страшная месть», «Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка», «Заколдованное мѣсто». Почти во всѣхъ этихъ повѣстяхъ (кромѣ повѣсти: «Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька») мы найдемъ, въ бо̀льшей, или меньшей мѣрѣ, всѣ главные признаки романтическаго и реалистическаго направленія. Обыкновенно, на фонѣ, написанномъ очень реально, развертываются событія самаго фантастическаго свойства. Воображеніе автора не знаетъ предѣловъ,—оно уноситъ читателя въ своеобразный міръ народной мечты, народныхъ суевѣрій, примѣтъ, преданій, легендъ,—міръ сказки и миѳа... Авторъ заимствовалъ эту фантастику изъ поэтическаго творчества малороссійскаго народа и сумѣлъ воплотить ее удивительно реально и жизненно... У народа взялъ онъ и тѣ настроенія, которыя своеобразнымъ свѣтомъ освѣщаютъ это содержаніе: къ таинственнымъ явленіямъ, къ чертямъ и вѣдьмамъ, къ нездѣшней, потусторонней жизни Гоголь относится то съ веселымъ, радостнымъ юморомъ, то съ ужасомъ человѣка, который

безсиленъ передъ этимъ страшнымъ сонмомъ мрачныхъ явленій, властвующихъ надъ людьми, надъ ихъ радостями и печалями [1])...

Въ повѣстяхъ, въ которыхъ преобладаетъ реалистическое изображеніе деревенской малороссійской жизни, эта жизнь и фонъ ея—природа нарисованы просто и безхитростно, но, въ то же время, художественно-просто и правдиво.

Такимъ образомъ, повѣсти, входящія въ составъ «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки», по характеру своему, дѣлятся на двѣ группы: 1) *съ преобладаніемъ романтизма*, и 2) *съ преобладаніемъ реализма*. Въ первую группу входятъ произведенія, въ которыхъ фантастика романтизма представлена: а) въ свѣтломъ, радостномъ освѣщеніи и b) въ мрачномъ, вызывающемъ ужасъ. Къ произведеніямъ, по преимуществу, романтическимъ, относятся веселыя повѣсти: «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или утопленница», «Пропавшая грамота», «Ночь передъ Рождествомъ», «Заколдованное мѣсто»,—и мрачныя повѣсти: «Вечеръ наканунѣ Ивана Купала», «Страшная месть». Къ произведеніямъ чисто-реалистическимъ относится бытовая повѣсть: «Иванъ Федоровичъ Шпонька и его тетушка».

а) *Романтизмъ* въ этихъ повѣстяхъ выразился, прежде всего, въ богатствѣ и яркости фантастическаго элемента. Гоголь съ особеннымъ вниманіемъ останавливался на различныхъ разсказахъ о событіяхъ и происшествіяхъ чуднаго характера. Въ «*Сорочинской ярмаркѣ*» такимъ происшествіемъ представлено появленіе чорта, разыскивающаго на ярмаркѣ свою «красную свитку»; эта свитка приноситъ людямъ несчастье; ея исторія и составляетъ ту основу разсказа, къ которой искусно прикрѣплены всѣ эпизоды этой повѣсти. Въ повѣсти: «*Вечеръ наканунѣ Ивана Купалы*» *(Ист. хрест., стр. 206)* передано народное повѣрье о томъ, что папоротникъ, расцвѣтающій въ ночь наканунѣ Ивана Купалы, можетъ помочь человѣку отыскивать клады. Колдунъ Басаврюкъ и вѣдьма завладѣваютъ, при помощи этого цвѣтка, душой бѣдняка-Петра; они заставляютъ Петра убить ребенка, маленькаго брата его невѣсты, и за это дѣлаютъ его богачомъ и мужемъ любимой дѣвушки. Но отъ мученій совѣсти онъ сходитъ съ ума и погибаетъ страшной смертью. Жена его идетъ въ монастырь замаливать великій грѣхъ мужа. Въ повѣсти: «*Майская ночь, или утопленница*» *(Ист. хрест., стр. 214)* передано поэтическое повѣрье о русалкахъ,

---

[1]) Въ народной поэзіи замѣчается такое же двоякое отношеніе къ этому міру—съ одной стороны, ужасомъ мрачной вѣры вѣетъ отъ многихъ народныхъ преданій и суевѣрныхъ представленій,—съ другой стороны, къ этимъ созданіямъ своей фантазіи очень часто народъ относится съ юморомъ. Оттого и народныя произведенія фантастическаго содержанія распадаются на двѣ группы: въ произведеніяхъ одной этотъ міръ народныхъ представленій рисуется съ трагической стороны, въ произведеніяхъ другой—съ комической.

ихъ ночныхъ играхъ при лунѣ; въ этой же повѣсти встрѣчаемся мы опять съ вѣрой въ существованіе вѣдьмъ. Въ повѣсти: «*Пропавшая грамота*» опять разсказаны народныя повѣрья о колдунахъ, вѣдьмахъ: опять передъ нами вырисовывается герой, душа котораго принадлежитъ дьяволу. Нечистая сила въ этой повѣсти представлена съ такимъ размахомъ необузданной фантазіи, что читатель остается въ недоумѣніи, не вѣритъ ли и самъ авторъ всѣмъ чудесамъ своего разсказа. Повѣсть: «*Ночь передъ Рождествомъ*» (*Ист. хрест., стр. 219*)—сродни «Сорочинской ярмаркѣ»; здѣсь все сверхъестественное представлено съ самой мирной, смѣшной стороны,—оттого и вѣдьма-Солоха, и чортъ, ея возлюбленный, и колдунъ-Пацюкъ не вызываютъ у читателя ни ужаса, ни отвращенія; ихъ вмѣшательство въ дѣла людскія никому изъ дѣйствующихъ лицъ не причиняетъ ни горя, ни страданія. За то въ повѣсти: «*Заколдованное мѣсто*» и, особенно, въ «*Страшной мести*»—сверхъестественное, чудесное опять принимаетъ размѣры какого-то безумнаго, ужаснаго бреда.

Такимъ образомъ, «чудесное», фантастическое, имѣетъ въ повѣстяхъ Гоголя самые различные оттѣнки—отъ комическаго до ужаснаго.

Какъ примѣръ *комическо-фантастическаго*, можно привести, хотя бы, изображеніе чорта въ повѣсти: „Ночь передъ Рождествомъ“: „Морозъ увеличился, и вверху такъ сдѣлалось холодно, что чертъ перепрыгивалъ съ одного копытца на другое“ и далѣе... (*Ист. хрест., стр. 223*).

Какъ примѣръ *прекрасно-фантастическаго*, можно привести разсказъ о появленіи русалки въ повѣсти: „Майская ночь“ (*Ист. хрест., стр. 218*).

Какъ примѣръ *грандіозно-фантастическаго*, можно привести изъ повѣсти: „Страшная месть“ описаніе чудеснаго витязя-призрака, заснувшаго волшебнымъ сномъ на вершинахъ Карпатъ: „Но кто среди ночи,—блещутъ, или не блещутъ звѣзды, ѣдетъ на огромномъ воронномъ конѣ?..“.

Какъ примѣръ *ужасно-фантастическаго*, можно привести разсказъ о смерти колдуна изъ той же повѣсти: „Страшная месть“: „Ухватилъ всадникъ страшною рукою колдуна и поднялъ его на воздухъ...“.

Дьяволъ представляется въ повѣстяхъ Гоголя то въ видѣ безшабашнаго кутилы-парня, который пропиваетъ все,—даже свою свитку („Сорочинская ярмарка“), то въ видѣ чудовища, или цѣлаго сонма безобразныхъ чудовищъ („Пропавшая грамота“, „Заколдованное мѣсто“), то въ видѣ франта-любезника, подшучивающаго надъ людьми и легко попадающаго впросакъ („Ночь передъ Рождествомъ“).

Природа въ этихъ повѣстяхъ Гоголя тоже изображается въ самыхъ различныхъ освѣщеніяхъ, въ зависимости отъ характера разсказа. Если разсказъ веселый,—природа представлена свѣтлой и ликующей; когда характеръ событія, разсказаннаго въ повѣсти, мрачный,—сгущаются и краски въ тѣхъ ландшафтахъ, которые служатъ фономъ для изображенія развертывающихся событій.

Какъ примѣръ пейзажа, залитаго солнцемъ, дышащаго лѣтнимъ жаромъ, истомою и лѣнью,—пейзажа, представляющаго собою, словно, увертюру къ веселой, свѣтлой повѣсти („Сорочинская ярмарка“), можно привести описаніе лѣтняго дня въ Малороссіи („Какъ упоителенъ, какъ роскошенъ лѣтній день въ Малороссіи“ и д.).

Какъ примѣръ мрачнаго пейзажа, можно привести картину Днѣпра въ повѣсти: „Страшная Месть“ („...глухо шумитъ внизу Днѣпръ, и съ трехъ сторонъ, одинъ за другимъ, отдаются удары мгновенно пробудившихся волнъ...).

Всѣ эти «описанія» малороссійской природы проникнуты субъективизмомъ автора; они передаютъ не столько самую картину, сколько «настроенія»,

получаемыя отъ ея созерцанія. Авторъ не скупится на различные поэтическіе пріемы для усиленія желаемаго имъ впечатлѣнія,—оттого гиперболы, олицетворенія, самыя смѣлыя метафоры [1]), громоздятся у него одна на другую. Но цѣли своей Гоголь этими «описаніями» достигаетъ,—онъ, несомнѣнно, подымаетъ настроеніе читателя, *настраиваетъ* его на тотъ тонъ, въ которомъ ведется разсказъ.

Вліяніе литературныхъ пріемовъ романтической школы въ этихъ повѣстяхъ нѣкоторые критики видятъ также въ изображеніи самой жизни малороссійскихъ крестьянъ: эта жизнь представлена исключительно съ поэтической и декоративной стороны. Крестьяне Гоголя пляшутъ, поютъ пѣсни, влюбляются, потѣшаются... Ихъ жизнь представлена вѣчнымъ праздникомъ; о трудовой сторонѣ ихъ жизни читатель не догадается по повѣстямъ Гоголя; на крѣпостное право нѣтъ ни одного намека въ этихъ произведеніяхъ. Такая идеализація жизни, или, вѣрнѣе, художественная односторонность въ обрисовкѣ жизни, была результатомъ литературной манеры романтиковъ, искавшихъ и въ природѣ, и въ исторіи, и въ жизни—только *интересныхъ* картинъ, событій и героевъ...

Поэтому, въ поискахъ «оригинальнаго», «красиваго»—писатель-романтикъ обращалъ вниманіе, главнымъ образомъ, на то, что̀ болѣе поражало его избалованное воображеніе,—крупныя личности, красоты народной поэзіи, своеобразные народные обычаи, оригинальный костюмъ, проявленіе въ народѣ высокихъ чувствъ,—вотъ, что̀ особенно привлекало его вниманіе.

б) Реалистическій элементъ въ этихъ повѣстяхъ выразился въ обрисовкѣ бытовыхъ сценъ малороссійской жизни, въ характеристикѣ нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ. Мы видѣли уже, что Гоголь очень старательно готовился къ сочиненію своихъ повѣстей: недовольный своимъ недостаточнымъ знаніемъ провинціальной жизни Малороссіи, онъ старался, при посредствѣ людей знающихъ, собирать достовѣрныя свѣдѣнія о жизни и обычаяхъ малороссовъ,—оттого многія этнографическія черты народной жизни оказались у него изображенными живо и правдиво. Въ «Сорочинской ярмаркѣ» онъ набросалъ яркую картину сельской ярмарки, нарисовалъ нѣсколько типичныхъ народныхъ образовъ (Черевикъ и его жена Хивря). Въ повѣсти: «Майская ночь, или утопленница» изображены шумныя потѣхи деревенской молодежи, обрисованы типичные образы стариковъ. Въ повѣсти: «Ночь передъ Рождествомъ» представлена жизнь деревни зимой, развлеченія молодежи (колядованье) и людей пожилыхъ; обрисованы яркіе типы Чуба, кума, дьячка, Солохи, Оксаны. Въ повѣсти: «Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька» Гоголь обстоятельно разсказалъ намъ жизнь мелкаго малороссійскаго «пана»—дворянина-Шпоньки, тихаго и скромнаго юноши, потомъ офицера и, наконецъ, помѣщика. Рядомъ съ нимъ, вырисовывается типичный образъ его тетушки, энергичной, добродушной старухи, и помѣщика Сторченка, напоминающаго собою Ноздрева.

Простонародные типы, представленные Гоголемъ въ его повѣстяхъ, не отличаются особенною сложностью. Онъ изображалъ или равнодушныхъ ко всему, флегматичныхъ и лѣнивыхъ хохловъ, въ родѣ Черевика («Сорочин-

---

[1]) Особенно ярко сказывается эта манера письма въ общеизвѣстномъ описаніи Днѣпра („Чуденъ Днѣпръ..."). Здѣсь Гоголь вводитъ немало гиперболъ (...рѣдкая птица долетитъ до середины его...); метафоры его порой вызываютъ недоумѣніе (напр.: „сыплется громъ").

ская Ярмарка»), или «кума» («Ночь передъ Рождествомъ»),—или отмѣчалъ въ своихъ герояхъ другую характерную малороссійскую черту — упрямство (Чубъ—изъ повѣсти «Ночь передъ Рождествомъ»; дѣдъ—въ «Заколдованномъ мѣстѣ»). Въ лицѣ «головы» (изъ повѣсти: «Майская ночь») Гоголь изобразилъ типичное деревенское «начальство»: «голова» полонъ самомнѣнія и упрямства,—въ своей деревнѣ, вдали отъ комиссара, онъ живетъ самовластнымъ «царькомъ».

Типы «старухъ» и «пожилыхъ женщинъ» въ этихъ повѣстяхъ обрисованы довольно однообразно: Гоголь представлялъ ихъ всегда въ комическомъ освѣщеніи—сварливыми, любительницами сплетенъ и ссоръ. Исключеніемъ изъ этихъ шаблонныхъ образовъ является Солоха—типъ хитрой, разбитной деревенской бабы, умѣющей всѣхъ провести.

Молодежь въ повѣстяхъ тоже изображена довольно однообразно; особенно это однообразіе замѣтно тамъ, гдѣ Гоголь хотѣлъ представить любящую пару, или нарисовать красавицу-дѣвушку, или красавца-молодца. Простыя малороссійскія деревенскія дѣвушки идеализированы имъ до того, что представляются какими-то поэтическими отвлеченностями (напр., Ганна изъ «Майской ночи», Пидорка изъ «Вечера наканунѣ Ивана Купалы»): онѣ окутаны поэтической дымкой, онѣ нѣжны и сентиментальны; ихъ рѣчи многословны и воодушевлены такимъ лиризмомъ, какой, конечно, въ дѣйствительности не могъ быть типичнымъ для простой малороссійской «дівчины». Наиболѣе жизненнымъ образомъ изъ «дѣвушекъ» Гоголя является кокетливая, задорная Оксана, избалованная деревенская красавица.

§ 3. Въ сторонѣ отъ этихъ повѣстей Гоголя стоитъ его интересный разсказъ: «*Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка*». Прежде всего, это—единственный разсказъ, въ которомъ совсѣмъ нѣтъ фантастики романтизма,—который является «реалистическимъ» отъ начала до конца. Затѣмъ, это—единственный разсказъ въ «Вечерахъ», съ содержаніемъ изъ жизни мелкопомѣстныхъ дворянъ,—тѣхъ «существователей», о которыхъ съ такимъ презрѣніемъ отзывался Гоголь еще въ юношескихъ письмахъ. Такимъ образомъ, этотъ разсказъ является переходнымъ ко всѣмъ дальнѣйшимъ повѣстямъ Гоголя, въ которыхъ великій писатель уже не касается болѣе міра народныхъ вѣрованій и быта народа, а уходитъ въ изображеніе жизни такихъ «существователей», какимъ былъ Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька.

„Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька"

Иванъ Ѳедоровичъ былъ въ дѣтствѣ „преблагонравный и престарательный мальчикъ"; способностями Богъ его обдѣлилъ, зато онъ былъ настолько послушенъ, тихъ, скроменъ, внимателенъ и вѣжливъ,—что учителя его очень любили и сдѣлали даже наблюдающимъ за успѣхами товарищей. Разъ только провинился Шпонька: проголодавшись, онъ взялъ съ одного лѣнтяя-товарища взятку блиномъ, но и то былъ изловленъ учителемъ во время ѣды и высѣченъ.

Не кончивъ училища, Шпонька сдѣлался офицеромъ пѣхотнаго полка, но и въ веселой и свободной военной семьѣ остался онъ одинокимъ: не принималъ участія въ шумныхъ развлеченіяхъ товарищей, сидѣлъ больше дома и занимался самыми мирными занятіями: „то чистилъ пуговицы, то чи-

талъ гадательную книжку, то ставилъ мышеловки по угламъ своей комнаты, то, наконецъ, скинувши мундиръ, лежалъ на постели".

Его маленькимъ имѣніемъ и восемнадцатью душами его крѣпостныхъ управляла его тетушка, сильная и энергичная старуха, которая никому спуска не давала. Она, при всей своей энергіи, была добродушна и нѣжно любила своего племянника, даже нѣсколько благоговѣла передъ его чиномъ подпоручика. Хорошая хозяйка, она довела маленькое имѣніе Шпоньки до процвѣтанія и, наконецъ, выписала его самого въ деревню. По полученіи ея письма, Шпонька, безъ колебанія, подалъ въ отставку и пріѣхалъ въ родное захолустье. Здѣсь его кроткую душу обвѣяло идиллической тишиной и безоблачнымъ счастьемъ спокойной растительной жизни. Даже трудовая жизнь крѣпостного рабочаго люда повернулась къ сентиментальному Шпонькѣ съ самой идиллической стороны.

Еще по дорогѣ домой въ деревню познакомился онъ съ сосѣдомъ своимъ по имѣнію Сторченкомъ. Этотъ помѣщикъ представлялъ собою полную противоположность Шпонькѣ: рѣзкій и грубоватый въ обращеніи, ругатель и порядочный плутъ, онъ, въ то же время, не былъ обдѣленъ добродушіемъ. Въ лицѣ его Гоголь далъ прототипъ Ноздрева, отчасти Собакевича. Своей рѣшительностью онъ совершенно поработилъ робкаго Шпоньку, между тѣмъ, тому нужно было получить одно завѣщаніе, припрятанное Сторченкомъ. Видя, что завѣщанія этого не вернуть, тетушка рѣшила женить племянника на сестрѣ Сторченка, въ надеждѣ получить завѣщанное въ качествѣ приданаго. Съ ужасомъ узналъ объ этомъ рѣшеніи тетушки робкій Шпонька, но не осмѣлился спорить съ нею и ограничился тѣмъ, что впалъ въ полное смущеніе и отчаянье,—даже сны стали видѣться ему все „про жену"...

Повѣсть кончается разсказомъ объ одномъ такомъ «снѣ», и читатель остается въ неизвѣстности, женился ли Шпонька, вернулъ ли онъ свое завѣщаніе, или нѣтъ...

Но отъ этого цѣнность повѣсти не проигрываетъ. Передъ нами — мастерскій набросокъ нѣсколькихъ лицъ изъ того круга, изъ котораго вышелъ самъ Гоголь. Съ юморомъ и, въ то же время, съ чувствомъ симпатіи, нарисовалъ онъ намъ этихъ провинціальныхъ «существователей», цѣль жизни которыхъ, хотя и ничтожна, но кажется имъ самимъ полной содержанія, — они тоже волнуются, страдаютъ, у нихъ имѣются свои интересы...

Любопытно, что хотя въ этой повѣстушкѣ Гоголь коснулся и крѣпостного права, но ничего безобразнаго въ мудрыхъ расправахъ тетушки и въ отношеніяхъ Сторченка къ лакеямъ онъ не замѣтилъ. Онъ даже одобрилъ «тетушку» за то, что она своей властной дворянской рукой сдѣлала пьяницу-мужика «золотомъ»; въ ругани Сторченка и въ колѣнопреклоненной просьбѣ офиціанта «взять стегнышко» онъ увидѣлъ только комическое...

Литературная исторія повѣстей Гоголя.

Матеріалъ для повѣстей, вошедшихъ въ составъ «Вечеровъ», Гоголь почерпалъ изъ воспоминаній дѣтства,—очевидно, ему самому въ дѣтствѣ приходилось неразъ слышать различныя народныя сказки, преданія, и веселыя, и страшныя («страховинны казочки»). Эти дѣтскія воспоминанія освѣжалъ онъ разсказами и матеріалами, которые, по его просьбѣ, присылались въ Петербургъ его матерью.

Народная пѣсня малороссійская оказала сильное вліяніе на эти повѣсти, главнымъ образомъ, на ихъ лирическія мѣста, монологи влюбленныхъ, или тоскующихъ героевъ, на описанія деревенскихъ красавицъ и красавцевъ. Приводя ихъ разговоры, Гоголь иногда прямо перифразируетъ слова соотвѣтствующихъ пѣсенъ, пересказываетъ эти пѣсни своими словами, удерживая изъ нихъ самое типичное, характерное [1]).

Кромѣ сказокъ и пѣсенъ, воспользовался Гоголь широко и легендами, которыя явились результатомъ скрещенія творчества церковнаго съ народнымъ [2]). Иногда онъ нѣсколько легендъ и сказаній соединяетъ вмѣстѣ; иногда ихъ самостоятельно развиваетъ.

Наконецъ, несомнѣнно, сказались на повѣстяхъ Гоголя и литературныя вліянія. Нѣмецкій романтизмъ, какъ мы видѣли выше, выдвинулъ цѣлую группу писателей, которые особенно охотно разрабатывали фантастику народнаго творчества. Такъ, Новалисъ, особенно Гофманъ, писатели, модные у насъ во времена Гоголя, дали въ своихъ произведеніяхъ образцы, которымъ подражали и русскіе романтики. Изъ нихъ Жуковскій, съ его колдунами, вѣдьмами и дьяволами, тоже оказалъ на Гоголя несомнѣнное вліяніе [3]). Любимый русской публикой Марлинскій нѣкоторыми своими произведеніями (напр., «Страшное гаданіе») тоже могъ поддержать стремленіе Гоголя творить въ этой же области романтической фантастики. Даже у Пушкина найдемъ мы нѣсколько произведеній этого рода: баллады: «Утопленникъ» и «Гусаръ» являются, въ этомъ отношеніи, типичными. Въ польской литературѣ, хотя бы, въ сочиненіяхъ Мицкевича, Гоголь также могъ встрѣтить разработку фантастическихъ народныхъ преданій. Наконецъ, изъ русскихъ писателей ближайшимъ предшественникомъ Гоголя надо признать Даля («Сказки казака Луганскаго»), который подошелъ къ произведеніямъ народной фантазіи съ той же стороны, что и Гоголь [4]).

И реализмъ первыхъ гоголевскихъ повѣстей тоже имѣетъ за собой богаторазработанную почву. Малороссійская народная сказка подсказала Гоголю яркообрисованные типы упрямаго, лѣниваго хохла, богато-надѣленнаго и хитростью, и юморомъ. Эта же сказка помогла ему создать живой образъ сварливой бабы-

---

[1]) Напр., „Ивасю, мой любый!.. бѣги къ Петрусю, мое золотое дитя, какъ стрѣла изъ лука; разскажи ему все: любила бъ я его карія очи, цѣловала бы его бѣлое личико, да не велитъ судьба моя!.. Не одинъ ручникъ вымочила я горючими слезами!.. Тошно мнѣ, тяжело на сердцѣ... И родной отецъ—врагъ мнѣ: неволитъ идти за нелюбаго ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовятъ,—только не будетъ музыки на нашей свадьбѣ: будутъ дьяки пѣть, вмѣсто кобзъ и сопилокъ... Не пойду я танцовать съ женихомъ своимъ,—понесутъ меня... Темная, темная будетъ хата! изъ кленоваго дерева и, вмѣсто трубы, крестъ будетъ стоять на крышѣ“. Такое пользованіе народной пѣсней было у Гоголя вполнѣ сознательнымъ. Онъ пѣснямъ народнымъ придавалъ очень большое значеніе, считая, что пѣсни эти для историка важнѣе документовъ (ср. „Арабески“).

[2]) Напр., летаніе Вакулы на чертѣ есть народная обработка эпизода изъ житія св. Іоанна Новгородскаго, который леталъ на дьяволѣ въ Іерусалимъ. Къ области „легендъ“ относится разсказъ Левко о той лѣстницѣ, которая соединяетъ небо и землю („Майская ночь“).

[3]) Напр., продажа Громобоемъ души дьяволу и страхъ его въ послѣднюю ночь напоминаетъ соотвѣтствующій эпизодъ изъ „Пропавшей грамоты“.

[4]) Впослѣдствіи Тургеневъ, въ его повѣсти: „Бѣжинъ лугъ“, опять введетъ насъ въ этотъ міръ народной фантазіи.

сплетницы. Оба эти характерные бытовые типы еще въ XVII в. изъ сказки попали въ народную комедію («интермедіи» и «интерлюдіи», «вертепъ»), а затѣмъ и въ ту комедію, которую усердно разрабатывали малороссійскіе писатели, въ родѣ Гоголя-отца, Котляревскаго, Квитки-Основьяненко, Артемовскаго-Гулака [1]) и др. Кромѣ того, большое значеніе для повѣстей Гоголя имѣли и такіе талантливые бытописатели, какъ Нарѣжный. Его умѣніе рисовать жизнь Украйны и ея типы, несомнѣнно, отразилось на повѣстяхъ Гоголя. Въ русской литературѣ, конечно, ближайшимъ предшественникомъ и учителемъ Гоголя былъ Пушкинъ, который сумѣлъ въ своихъ произведеніяхъ нарисовать жизнь разныхъ слоевъ русскаго общества, — между прочимъ, и захолустнаго, провинціальнаго, не безъ юмора обрисовавъ интересы и идеалы русскихъ деревенскихъ дворянъ («Евгеній Онѣгинъ»). Въ своей «Полтавѣ» онъ набросалъ яркую картину малороссійской жизни и природы.

Наконецъ, русскіе критики указываютъ на Погодина, какъ на писателя, котораго тоже, съ нѣкоторымъ правомъ, можно назвать учителемъ Гоголя. Среди русскихъ литераторовъ своего времени онъ былъ «одинъ изъ первыхъ, который попытался въ «картину нравовъ» включить описаніе быта низшихъ слоевъ нашего общества. Содержаніе его повѣстей оставалось въ большинствѣ случаевъ романтическимъ, но въ выполненіи проступалъ наружу довольно откровенный реализмъ» [2]) (Котляревскій).

Отношеніе русской публики и критики къ повѣстямъ Гоголя.

Успѣхъ «Вечеровъ» въ русской публикѣ былъ большой; даже придирчивая русская критика осталась, въ общемъ, довольна новой книгой. Публика русская оцѣнила въ этихъ повѣстяхъ не только яркость изображенія малороссійской жизни и природы, но и тотъ живой и искренній комизмъ, которымъ вообще не отличалась тогдашняя русская литература. Чѣмъ-то свѣжимъ, жизнерадостнымъ, неудержимо-веселымъ и молодымъ повѣяло въ русской литературѣ съ появленіемъ книги Гоголя. Съ такой точки зрѣнія похвалилъ ее Пушкинъ [3]). Но не всѣ критики были такъ доброжелательны,—многіе по-

---

[1]) На это знакомство Гоголя съ подобными „комедіями“ указываютъ, хотя бы, тѣ эпиграфы, которые онъ проставилъ въ нѣкоторыхъ главахъ „Сорочинской ярмарки“.

[2]) Выше, въ главѣ, посвященной характеристикѣ „романтизма“, указано, что реализмъ былъ тѣсно связанъ съ романтизмомъ, даже вытекалъ изъ него, какъ одно изъ главныхъ требованій романтической школы. Такое сліяніе двухъ направленій встрѣчаемъ мы и у Вальтеръ-Скотта, и у Гюго, и у Виньи, и у русскихъ романтиковъ—Марлинскаго, Загоскина, Лажечникова, Погодина и у Гоголя.

Въ разсказахъ своихъ Погодинъ рисовалъ драмы маленькихъ людей,— драмы, которыя разыгрывались въ купеческомъ быту („Суженый“, „Черная немочь“), мелкопомѣстномъ дворянствѣ („Невѣста на ярмаркѣ“); опускался онъ даже до вертепа людей падшихъ, чтобы показать читателямъ, что и въ сердцахъ воровъ и мошенниковъ теплятся искры добра; касался онъ и жизни крѣпостного люда. Наконецъ, есть у него повѣсть изъ малороссійскаго быта,—это трогательный разсказъ о томъ, какъ Петрусь-бѣднякъ любилъ Наталку, какъ гордый ея отецъ не хотѣлъ отдать дочь за бѣдняка, какъ Петрусь отправился зарабатывать деньги, но, вернувшись съ деньгами, засталъ свою Наталку замужемъ за другимъ, больную и разоренную. Петрусь отдалъ ей всѣ свои деньги.

[3]) Воейкову онъ писалъ: „Сейчасъ прочелъ „Вечера на хуторѣ“. Они изумили меня. Вотъ настоящая веселость, искренняя, непринужденная, безъ

старались, прежде всего, найти недостатки. Одинъ критикъ отмѣтилъ, что повѣсти страдаютъ излишнимъ реализмомъ, доходящимъ до «грубости» («парни ведутъ себя совсѣмъ, какъ невѣжи и олухи»). Полевой, не зная еще настоящаго автора этихъ повѣстей, осудилъ его за старанія «поддѣлаться» подъ народность. Сочувственнѣе отнеслись къ Гоголю Надеждинъ и Булгаринъ. Первый указывалъ на отсутствіе въ повѣстяхъ вычурности и хитрости, отмѣтилъ естественность дѣйствующихъ лицъ и положеній, неподдѣльную веселость и «невыкраденное остроуміе». Особенно нравилась ему въ повѣстяхъ выдержанность «мѣстнаго колорита». Булгаринъ хвалилъ Гоголя за стремленіе уловить «духъ» малороссійской и русской народности. Онъ поставилъ Гоголя выше Погодина, выше Загоскина.

Значеніе повѣстей, вошедшихъ въ составъ сборника: «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки», сводится къ тому, что онѣ представляютъ собой въ нашей литературѣ первый художественный опытъ нарисовать жизнь русскаго простонародья,—первую попытку заглянуть въ душу крестьянина, посмотрѣть на жизнь и природу глазами простого народа, заглянуть въ своеобразный міръ народнаго мистицизма,—міръ темный, но, въ то же время, не лишенный красоты. Если Гоголь отнесся къ изображаемому, какъ художникъ, какъ поэтъ, — то его ближайшіе послѣдователи-литераторы (особенно Григоровичъ и Тургеневъ) оцѣнили простонародную жизнь не только съ художественной стороны,—но и съ точки зрѣнія общественной...

§ 4. Повѣсти, вошедшія въ составъ второго гоголев- „Миргородъ“.
скаго сборника: «Миргородъ», по характеру своему и содержанію, очень близко подходятъ къ тѣмъ повѣстямъ, которыя составили его первый сборникъ: «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки». Здѣсь такое же соединеніе *романтизма* и *реализма*, и сюжеты, разрабатываемые Гоголемъ въ этомъ сборникѣ, берутся изъ тѣхъ же областей малороссійской жизни, которыя раньше дали богатый и пестрый матеріалъ для его «Вечеровъ».

Въ повѣсти: «Вій» Гоголь разсказываетъ о народныхъ суевѣрныхъ преданіяхъ; въ повѣстяхъ: «Старосвѣтскіе помѣщики» и «Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ»—онъ рисуетъ мелкую жизнь провинціальныхъ «существователей»; въ повѣсти: «Тарасъ Бульба» онъ повѣствуетъ о героическомъ прошломъ своей родины,—такимъ образомъ, беретъ тему, тоже затронутую въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ сборника: «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» («Страшная месть», «Ночь наканунѣ Ивана Купалы»).

жеманства, безъ чопорности. А мѣстами какая поэзія, какая чувствительность! Все это такъ необыкновенно въ нашей литературѣ, что я доселѣ не образумился!“

Такимъ образомъ отличаются эти повѣсти отъ болѣе раннихъ — не содержаніемъ своимъ и не характеромъ, а бо́льшею яркостью красокъ, бо́льшею тонкостью рисунка; кромѣ того, въ нихъ съ бо́льшею вдумчивостью авторъ относится къ изображаемой имъ жизни.

„Вій". Повѣсть: «*Вій*» (*Ист. хрест., стр. 274*) представляетъ собою произведеніе, въ которомъ жанровыя картины перемѣшаны съ фантастическими, образы вымышленные стоятъ рядомъ съ самыми обыкновенными, будничными типами, картины природы идиллически-мирной чередуются съ пейзажами, полными мистическаго ужаса.

а) *Романтизмъ* въ этой повѣсти выразился, прежде всего, въ фантастическомъ характерѣ ея: содержаніемъ повѣсти является народное вѣрованье въ существованіе какого-то таинственнаго существа Вія, — въ существованіе вѣдьмъ, — въ возможность ихъ общенія съ обыкновенными людьми. Красавица-панночка, дочь сотника, — вѣдьма; она обладаетъ способностью оборачиваться въ собаку и въ старуху; она пьетъ кровь у людей, особенно у дѣтей; она носится на плечахъ у тѣхъ парней, которые ей нравятся, и замучиваетъ ихъ. Объ ней много страшныхъ исторій знаютъ дворовые ея отца. Она находится въ общеніи и съ „нечистой силой", которая олицетворена въ видѣ чертей, демоновъ,—и съ темными силами земли, представленными въ видѣ „Вія", котораго самъ Гоголь называетъ „начальникомъ гномовъ" [1]).

Пристрастіе романтиковъ къ пользованію волшебными мотивами народнаго творчества было присуще, какъ мы видѣли, и Гоголю. Ему достаточно было намека—и его собственное воображеніе легко и свободно начинало создавать изъ этого намека цѣлыя картины. Гоголь тяготѣлъ къ этому міру фантазіи и потусторонней жизни, вѣроятно, потому, что, нервный и впечатлительный съ дѣтства, онъ самъ не чуждъ былъ мистицизма.

Оттого разсказъ о тѣхъ ужасахъ, что́ творились по ночамъ въ церкви, около гроба вѣдьмы (*Ист. хрест., стр. 282—283*), написанъ Гоголемъ въ такихъ яркихъ живыхъ краскахъ, что производитъ впечатлѣніе кошмара, галлюцинаціи. Въ русской литературѣ до Гоголя не было картины ужаснѣе этой, въ которой, необузданная до болѣзненности, фантазія писателя-*романтика* нашла такое изумительное воплощеніе благодаря описательной силѣ художника-*реалиста*.

До какой проникновенности въ „фантастическое" доходитъ Гоголь въ этой повѣсти, видно также изъ описанія той волшебной ночи, которую пережилъ Хома Брутъ, когда, въ какомъ-то забытьи, носился съ вѣдьмой на плечахъ (*Ист. хрест., стр. 278*). Трудно реальнѣе представить „волшебное"! Это—словно, разсказъ объ ужасномъ, когда-то видѣнномъ, снѣ,—о какой-то галлюцинаціи.

b) *Реализмъ* повѣсти выразился въ описаніи быта старой дореформенной кіевской бурсы (*Тамъ же, стр. 274—275*), въ характеристикѣ типичныхъ бурсаковъ и дворовыхъ пана-сотника (*Тамъ же, стр. 279*).

Бурса была своеобразной школой, въ которой только „избранные",—люди, надѣленные выдающимися способностями и научными интересами, пріобрѣтали образованіе,—большинство же ничему не научивалось, но зато выносило изъ этой школы характеры, вполнѣ подходящіе къ потребностямъ этого жестокаго, суроваго времени. Учениковъ въ этой школѣ жестоко наказывали,

---

[1]) Въ подстрочномъ примѣчаніи къ повѣсти Гоголь говоритъ слѣдующее: „Вій—есть колоссальное созданіе простонароднаго воображенія. Такимъ именемъ называется у малороссіянъ начальникъ гномовъ, у котораго вѣки на глазахъ идутъ до самой земли. Вся эта повѣсть есть народное преданіе".

держали впроголодь; ученики же, въ свою очередь, занимались больше всего избіеніемъ другъ друга, да заботами о собственномъ пропитаніи. Развлеченія бурсаковъ были грубы и суровы. Немудрено, что, послѣ такого воспитанія, многіе изъ бурсы шли прямо въ Запорожскую Сѣчь,—искать тамъ „лыцарской чести“ и вольной жизни внѣ всякихъ законовъ.

Героемъ повѣсти: «Вій» Гоголь выставилъ «философа» [1]) Хому Брута. Этотъ юноша представляетъ собою образъ, въ которомъ собрано много типичныхъ чисто-малороссійскихъ народныхъ чертъ. Онъ былъ до преизбытка надѣленъ душевнымъ спокойствіемъ, которое окрашивалось порою юморомъ, порою переходило просто въ лѣнь. «Чему быть, тому не миновать»—обычная его поговорка, съ которою онъ готовъ былъ спокойно идти навстрѣчу самому чорту. Этотъ фатализмъ всегда очень скоро приводитъ его въ душевное равновѣсіе, изъ котораго вывести его трудно. Въ церкви, глядя на страшную вѣдьму, лежащую въ гробу, онъ самъ успокаиваетъ себя магическимъ: «ничего!». Когда жуть прокрадывается ему въ сердце, онъ прогоняетъ ее напоминаніемъ себѣ, что онъ—«казакъ», что ему стыдно «бояться» чего бы то ни было. Послѣ первой страшной ночи въ церкви онъ, сытно поужинавъ, сразу начинаетъ чувствовать себя спокойнымъ и довольнымъ. «Философъ былъ изъ числа тѣхъ людей, которыхъ, если накормятъ, то у нихъ пробуждается необыкновенная филантропія. Онъ, лежа съ трубкой въ зубахъ, глядѣлъ на всѣхъ необыкновенно-сладкими глазами и безпрерывно поплевывалъ въ сторону»—говоритъ Гоголь... Посѣдѣвъ отъ ужасовъ второй ночи, Хома, на разспросы любопытныхъ о томъ, что происходитъ ночью въ церкви, хладнокровно отвѣчаетъ: «много на свѣтѣ всякой дряни водится!.. А страхи такіе случаются... Ну...»—и больше ничего не сказалъ. Готовясь къ третьей, послѣдней ночи, онъ старается взять отъ жизни послѣднюю радость и пускается въ такой плясъ, что всѣ на него смотрятъ съ изумленіемъ... Этотъ характерный образъ казака-философа, фаталиста и флегматика, неразъ рисовался Гоголемъ и до этой повѣсти, и послѣ нея [2])... Спокойное отношеніе Хомы къ «чертовщинѣ»—черта удивительная, проникающая многія повѣсти Гоголя,— черта, быть можетъ, тоже національная, русская... Все волшебное, фантастическое въ нашихъ сказкахъ и преданіяхъ изображается реально. И только, при этомъ условіи, волшебное, даже ужасное, можетъ быть представлено юмористически [3]).

---

[1]) „Философомъ“ онъ названъ потому, что въ предпослѣднемъ классѣ тогда преподавалась „философія“—и ученики назывались „философами“. Въ послѣднемъ классѣ преподавалось „богословіе“,—и ученики носили званіе „богослововъ“.

[2]) Старики-разсказчики, въ уста которыхъ вкладываетъ Гоголь свои „страховинны казочки“, почти всѣ отличаются у него этимъ же хладнокровіемъ. „Экая невидальщина!.. Кто на своемъ вѣку не знался съ нечистымъ!“, спокойно разсуждаетъ одинъ. Друзья погибшаго Хомы Брута—такіе же „философы“. „Такъ ему Богъ далъ!“ — спокойно заявляетъ фаталистъ - Халява:— „пойдемъ въ шинокъ, да помянемъ его душу!“.

[3]) Какъ образчикъ такого страннаго соединенія *ужаснаго* съ *смѣшнымъ*, можно привести разсказъ одного изъ дворовыхъ сотника о судьбѣ Микитки, влюбившагося въ вѣдьму-панночку: „воротился едва живой, и съ той поры изсохнулъ весь, какъ щепка; и когда разъ пришли на конюшню, то, вмѣсто его, лежала только куча золы, да пустое ведро,—сгорѣлъ совсѣмъ, сгорѣлъ самъ собою“.

Къ «реалистическому» элементу повѣсти надо отнести еще бѣглыя, но мастерски-сдѣланныя характеристики пріятелей Хомы Брута и дворовыхъ сотника.

Въ «психологическомъ» отношеніи, эта повѣсть тоже представляетъ большой интересъ: Гоголю удалось изобразить постепенное наростаніе страха въ безстрашномъ, спокойномъ сердцѣ бурсака-богатыря.

Въ повѣстяхъ: «Старосвѣтскіе помѣщики» и «Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» Гоголь воспроизвелъ, на основаніи личныхъ воспоминаній и наблюденій, нѣсколько сценъ изъ жизни тѣхъ «существователей», которые окружали его съ дѣтства, которыхъ оцѣнить онъ сумѣлъ уже въ ранней юности, будучи еще ученикомъ нѣжинскаго лицея.

„Старосвѣтскіе помѣщики".

§ 5. Въ повѣсти: «*Старосвѣтскіе помѣщики*» *(Ист. хрест., стр. 232)* Гоголь отмѣтилъ, что въ жизни этихъ помѣщиковъ казалось ему *симпатичнымъ*. Зная Гоголя, мы безъ труда поймемъ, что онъ всегда готовъ былъ «идеализировать» старину; это онъ и сдѣлалъ въ своей повѣсти, нѣсколько пристрастно изобразивъ людей «старосвѣтскихъ», т. е. представителей прошлаго, отживающаго поколѣнія.

Съ добродушнымъ юморомъ и съ теплой любовью рисуетъ онъ патріархальную жизнь этихъ двухъ любящихъ, нѣжныхъ стариковъ, которые доканчиваютъ свое, безобидное и безполезное для человѣчества и родины, существованіе на маленькомъ кусочкѣ земли, отдѣленномъ отъ жизни всего міра «частоколомъ» ихъ мелкой личной жизни. Старички за этимъ частоколомъ остаются чужды всякихъ широкихъ интересовъ, всякой «борьбы за существованіе», — имъ недоступны высокія чувства общественности и патріотизма, не знаютъ они даже о томъ, что гдѣ-то льются человѣческія слезы,—но, въ то же время, они незнаютъ и тѣхъ дурныхъ чувствъ, которыя рождаются отъ столкновенія человѣка съ человѣкомъ: имъ непонятна ненависть, зависть, честолюбіе... Чѣмъ меньше желаній,—тѣмъ меньше разочарованій, тѣмъ больше душевной тишины, больше *счастья*... Вотъ почему древніе философы учили, что счастливъ тотъ, кто умѣетъ ограничить свои желанія. Но это счастье будетъ эгоистическое,—для человѣка, живущаго въ государствѣ, въ обществѣ, нельзя замыкаться только въ кругу своей личной жизни!.. Нарисовавъ въ своихъ герояхъ пару такихъ «счастливцевъ», подчеркнувъ, что жизнь ихъ незапятнана зломъ,—Гоголь осудилъ ея безсодержательность... Только *отдыхать* могъ Гоголь въ обществѣ этихъ добродушныхъ старичковъ, но *жить* всегда въ обстановкѣ ихъ жизни онъ не могъ,—ему не хватало здѣсь воздуха...

Старички отличались и положительными качествами: они были очень просты, невзыскательны, добродушны и общительны,—по словамъ Гоголя, жили для гостей. Но ихъ гостепріимство и любезность не были проявленіемъ дѣятельной любви къ людямъ. Въ общепринятомъ смыслѣ, любовь къ людямъ тѣсно связывается съ «служеніемъ человѣчеству»; эта любовь всегда стремится проявиться въ *дѣлѣ*, — оно есть чувство *активное*, по существу. Гоголь не указалъ намъ ни одного добраго дѣла, которое сдѣлано было этими «добрыми»,

ласковыми, гостепріимными, любезными старичками. По словамъ Гоголя, они, какъ дѣти, были чисты, наивны и довѣрчивы. Эта «чистота» ихъ старческихъ сердецъ — удивительно-подкупающая черта. И все же, хотя въ ихъ душахъ нѣтъ мѣста злу, но нѣтъ мѣста и добру. Ихъ казнить не за что, но и идеализировать тоже не стоитъ.

Гоголь отмѣтилъ еще одну характерную черту ихъ жизни. Люди непросвѣщенные, старички были глубоко-невѣжественны,—они стояли на той же ступени развитія, на которой стояли ихъ крѣпостные. Темный міръ всевозможныхъ суевѣрій и примѣтъ окружалъ ихъ со всѣхъ сторонъ. Этотъ міръ владѣлъ ихъ жизнью и смертью, и съ нимъ бороться они не могли... Стоило Пульхеріи Ивановнѣ убѣдиться, что ея кошечка къ ней не вернется, она пришла къ нелѣпой мысли, что, въ видѣ кошки, приходила за ней смерть,—и что она должна скоро умереть. Аѳанасій Ивановичъ услышалъ голосъ, его зовущій. Онъ рѣшилъ, что это его зоветъ Пульхерія Ивановна и что поэтому онъ скоро умретъ. И, дѣйствительно, оба они умерли,—умерли отъ самовнушенія, отъ непоколебимой вѣры въ то, что какія-то темныя силы властвуютъ надъ безсильнымъ человѣкомъ, и что бороться съ этими силами невозможно... Да и не могли они бороться,—они не знали *во имя чего* должна была происходить борьба человѣка за жизнь: у нихъ не было сильныхъ интересовъ въ жизни, они не знали ея *смысла*,—они жили и умерли, какъ растенія: жили безъ душевныхъ потрясеній,—умерли безъ ропота, спокойно и безболѣзненно, ничего собою въ жизнь не внеся, ничего не унеся въ могилу...

Гоголь не замѣтилъ, что одинъ изъ главныхъ недостатковъ его героевъ—отсутствіе «общественнаго самосознанія»,—и отмѣтилъ другіе, какъ-то: ихъ душевную скудость, ихъ непроглядное невѣжество; онъ даже, подъ конецъ повѣсти, усумнился въ глубинѣ ихъ взаимной любви. «Долгой, медленной, почти безчувственной *привычкой*»—называетъ онъ любовь Аѳанасія Ивановича; на «привычку» похожи и чувства Пульхеріи Ивановны, которая, умирая, заботилась о томъ, чтобы Аѳанасію Ивановичу готовились тѣ кушанья, которыя онъ любитъ,—чтобы бѣлье, ему подаваемое, всегда было чисто и пр.

Изображая «патріархальную помѣщичью жизнь», сытую и безоблачную, Гоголь не коснулся въ своей повѣсти жизни крестьянъ; ничего не сказалъ объ отрицательныхъ сторонахъ того «крѣпостного права», которое дало возможность героямъ повѣсти, безъ труда, безъ «борьбы за существованіе», «безъ зла», провести всю свою долгую жизнь... Онъ даже постарался доказать, что, подъ патріархальнымъ управленіемъ «старосвѣтскихъ помѣщиковъ», и крестьяне блаженствовали, и «дѣвки» объѣдались фруктами и вареньями, и приказчикъ богатѣлъ, не бѣднѣли и помѣщики... Стоило появиться въ деревнѣ помѣщикамъ-реформаторамъ, какъ блаженство деревни кончилось,—все очень скоро оказалось разореннымъ... Позднѣе такую же патріархальную помѣщичью идиллію, однако съ полнымъ сознаніемъ причинъ ея и послѣдствій, а также ея безнравственности, изобразилъ Гончаровъ въ разсказѣ о жизни обывателей Обломовки и ея питомца—Ильи Обломова.

Своихъ безобидныхъ героевъ Гоголь сумѣлъ обрисовать всесторонне: онъ далъ намъ ясное представленіе о томъ, какой видъ извнѣ имѣлъ ихъ домикъ, каковы были комнаты этого домика. Онъ изобразилъ Аѳанасія Ивановича и Пульхерію Ивановну въ обществѣ ихъ самихъ, въ обществѣ знакомыхъ, въ отношеніяхъ ихъ къ крестьянамъ и приказчику. Онъ далъ намъ понятіе о томъ, какъ безтолково вели они свое хозяйство, какъ ихъ обкрадывали и обманы-

вали. Ни одна характерная деталь ихъ быта не ускользнула отъ внимательнаго глаза Гоголя. И вся совокупность этихъ смѣшныхъ, трогательныхъ и печальныхъ подробностей дастъ намъ, въ результатѣ, два ясныхъ старческихъ облика.

Исторія происхожденія этой повѣсти вполнѣ выясняется изъ указаній автора, что содержаніе ея основано на воспоминаніяхъ его дѣтства. По словамъ Гоголя, когда, въ шумѣ и суетѣ городской жизни, въ его памяти воскресали эти два старческихъ образа,—ему «мерещилось былое». «Вереница воспоминаній» возникала въ его душѣ, когда онъ вспоминалъ «поющія двери» ихъ деревенскаго домика...

„Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ".

§ 6. Замѣтнѣе осужденіе этой жизни «существователей» сказалось въ другой повѣсти этого же сборника: «*Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ*» *(Ист. хрест., стр. 282)*. Въ этомъ произведеніи жизнь захолустной провинціи изображена съ отрицательной стороны и лишена того смягчающаго освѣщенія, которое въ повѣсти: «Старосвѣтскіе помѣщики» явилось результатомъ личныхъ симпатій и воспоминаній Гоголя.

Въ повѣсти о ссорѣ двухъ друзей онъ во всей наготѣ представляетъ безотрадную жизнь «существователей» уѣзднаго города. Они не знаютъ никакихъ высшихъ интересовъ; живутъ растительной и животной жизнью, въ предѣлахъ того же «частокола», что́ отдѣлялъ и «старосвѣтскихъ помѣщиковъ» отъ шумнаго культурнаго міра... Но въ ихъ жизни нѣтъ и слѣда той подкупающей простоты и сердечности, которыя такъ характерны для старосвѣтскихъ помѣщиковъ. Въ ихъ лицѣ выведена пара «существователей», у которыхъ одна душа, одно сердце, однѣ привычки,—въ «Повѣсти о ссорѣ» передъ нами толпа «существователей», съ самыми различными сердцами и различными привычками... Имъ нужно обезопасить себя другъ отъ друга, и потому они обставляютъ себя какими-то своеобразными «приличіями», курьезными понятіями о чести и достоинствѣ человѣка... Этимъ «существователямъ» не прожить такъ мирно, какъ прожили герои первой повѣсти, хотя жизнь, которую они ведутъ въ этомъ уѣздномъ городкѣ, по существу, мало чѣмъ отличается отъ существованія Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны.

Эта жизнь такая же мелочная и праздная. Всѣ интересы ея обывателей сводятся къ ѣдѣ, спанью, къ праздной болтовнѣ... Понятно, что при этихъ условіяхъ всякая мелочь представляетъ огромное значеніе — отсюда любовь къ сплетнямъ, мелкимъ кляузамъ,—отсюда развитіе у обывателей города такихъ мелкихъ чувствъ, какъ зависть, подозрительность, обидчивость... Въ этой жизни нѣтъ мѣста глубокимъ и прочнымъ чувствамъ,—пустяка бываетъ достаточно для того, чтобы дружба обратилась во вражду.

Немудрено, что человѣку, даже обжившемуся въ этомъ мірѣ, все-таки порою дѣлается скучно, и тогда онъ цѣпляется за сплетню, за неосторожное слово, за всякій намекъ, чтобы раздуть въ себѣ «новыя» чувства, ими запол-

нить свою праздную жизнь... Таково психологическое основаніе этой смѣшной и печальной повѣсти Гоголя. Съ этой же самой точки зрѣнія, осудилъ онъ и жизнь «старосвѣтскихъ помѣщиковъ», указавъ, что въ ихъ праздной, мелочной жизни пустякъ могъ вызвать «великія событія» — смерть обоихъ героевъ. Въ повѣсти о ссорѣ двухъ друзей одного слова: «гусакъ» оказалось достаточнымъ, чтобы два друга, «честь и украшеніе Миргорода», поссорились на всю жизнь и нашли каждый цѣль и смыслъ жизни—въ судебной тяжбѣ, упорной, разорительной и непримиримой...

Характеристика двухъ героевъ, описаніе ихъ жизни, описаніе другихъ жителей города Миргорода, повѣствованіе объ ихъ занятіяхъ, развлеченіяхъ, представляетъ собою нѣчто замѣчательное именно потому, что въ этой характеристикѣ обрисовываются не только Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ,—но и самъ разсказчикъ. Повѣствованіе о жизни города, вложенное въ уста разсказчика, обличаетъ въ немъ человѣка, живущаго сплетнями миргородской жизни, не умѣющаго отличить мелкое отъ крупнаго,—существенное отъ незначительнаго. Онъ—глуповатый, наивный, словоохотливый человѣкъ, всецѣло живущій мѣстными интересами и съ обывательской точки зрѣнія смотрящій на все, здѣсь происходящее. Въ результатѣ, сравненіе Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, въ его устахъ, представляетъ собою перечень безъ системы и плана всевозможныхъ душевныхъ и тѣлесныхъ качествъ обоихъ героевъ: черты душевныя смѣшиваются съ физическими, съ привычками, даже съ особенностями костюма [1]). Всѣ эти подробности, порознь взятыя, любопытны и уясняютъ не только двухъ героевъ, ихъ жизнь, привычки, убогое содержаніе ихъ души, но характеризуютъ также и прочихъ миргородскихъ обывателей, которые отъ скуки, отъ праздности, изучили другъ друга до малѣйшихъ подробностей. Они знаютъ, что̀ скажетъ каждый изъ ихъ знакомыхъ, подавая другъ другу табакерку, знаютъ, что̀ они будутъ говорить еврею, продающему элексиръ противъ блохъ... Это жизнь, одуряющая своимъ однообразіемъ, своею скудостью,—жизнь, порождающая самые невозможные слухи (напримѣръ, будто, Иванъ Никифоровичъ родился съ хвостомъ), которые, однако, до того популярны, что приходится ихъ серьезно оспаривать. Въ оцѣнкѣ нравственныхъ качествъ человѣка эта среда совершенно безпомощна,—она можетъ «добрымъ» и «богомольнымъ» считать человѣка черстваго,—«прекраснымъ» она можетъ назвать человѣка зажиточнаго... Эта среда вѣритъ въ непоколебимый авторитетъ комиссара и время считаетъ по такимъ «историческимъ» событіямъ, какъ поѣздка какой-то Агаѳіи Ѳедосѣевны въ Кіевъ. По словамъ разсказчика, Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ—«честь и украшеніе Миргорода»; отсюда мы можемъ заключить о желаніи автора, въ лицѣ этихъ двухъ типичныхъ «существователей», изобразить «лучшихъ» людей Миргорода; въ нихъ, какъ въ фокусѣ, собрано все характерное, все своеобразное жизни города,—все, къ чему

---

[1]) Напр., „Иванъ Ивановичъ нѣсколько боязливаго характера. У Ивана Никифоровича, напротивъ того, шаровары въ такихъ широкихъ складкахъ, что, если бы раздуть ихъ, то въ нихъ можно бы помѣстить весь дворъ съ амбарами и строеніемъ“. Къ хорошимъ качествамъ души героевъ разсказчикъ относитъ, напримѣръ, такія обстоятельства, что у одного изъ нихъ— удивительныя яблони, что другой любитъ дыни, что его уважаетъ комиссаръ...

стремится мѣстный обыватель, съ чѣмъ онъ сроднился, но что поражаетъ всякаго свѣжаго человѣка.

Наивность этого разсказа выдержана Гоголемъ мастерски: она позволяетъ автору скрыть свое личное осужденіе этой жизни, позволяетъ ему удержаться отъ карикатурности, отъ субъективизма, который только въ концѣ повѣсти прорывается въ его восклицаніи: «скучно жить на бѣломъ свѣтѣ, господа!».

Иванъ Ивановичъ.

На Ивана Ивановича Гоголь обратилъ особое вниманіе. Прежде всего потому, вѣроятно, что онъ, по мнѣнію жителей Миргорода,—„прекрасный человѣкъ“. Но „разсказчикъ“ напрасно напрягаетъ всѣ свои усилія, чтобы доказать эту мысль: онъ говоритъ и о томъ, что у Ивана Ивановича удивительная бекеша, и что домъ его и садъ очень хороши, и что дыни-то онъ любитъ и самое удовольствіе ихъ кушать умѣетъ обставить: записываетъ день и число, когда дыня съѣдена... Повидимому, это съѣданіе дыни съ церемоніей, показывающее только, что у Ивана Ивановича слишкомъ много свободнаго времени,—въ глазахъ разсказчика, обозначало большую наклонность героя къ порядку и хозяйственности. Затѣмъ разсказчикъ старается доказать его богомольность и доброту. Но изъ дальнѣйшаго выясняется, что „богомольность“ Ивана Ивановича сводилась къ тому, что онъ по праздникамъ подтягивалъ басомъ на клиросѣ, а „доброта“ его выражалась въ томъ, что онъ любилъ разспрашивать нищихъ на паперти объ ихъ несчастіяхъ, хотя никогда не давалъ никому ни гроша. Затѣмъ мы узнаемъ, чѣмъ умѣлъ очаровать жителей Миргорода Иванъ Ивановичъ,—онъ былъ душой мѣстнаго общества: умѣлъ витіевато говорить, любилъ щегольнуть и зналъ, какъ держать себя; онъ соблюдалъ свое достоинство, какъ никто въ городѣ; онъ умѣлъ со всѣми уживаться и всѣмъ говорить пріятное [1]).

Это умѣніе „поддерживать свое достоинство“ основывалось у Ивана Ивановича на томъ уваженіи, которое онъ имѣлъ къ себѣ,—къ своему маленькому чину и званію. Къ тому же онъ совершенно серьезно считалъ себя „прекраснымъ человѣкомъ“, угоднымъ Богу и заслуживающимъ уваженія со стороны людей. Это наивное „фарисейство“ Ивана Ивановича—характерная его черта. Онъ не былъ сознательнымъ „тартюфомъ“—онъ жилъ *наивнымъ лицемѣромъ* и умеръ довольный собой, съ полной вѣрой въ себя, не омраченный сомнѣніями, не обезпокоенный внутренней борьбой, которая рождается въ душѣ человѣка, сознательно смотрящаго въ жизнь.

И, между тѣмъ, этотъ „богомольный“ и „добрый“ человѣкъ полжизни отдалъ на тяжбу съ другомъ-сосѣдомъ изъ-за слова: „гусакъ“; онъ прибѣгалъ и ко лжи, и къ клеветѣ, и къ подкупамъ... Онъ обнаружилъ въ своей „праведной“ душѣ бездну всякой дряни... Итакъ, *хорошихъ* качествъ души Ивана Ивановича „разсказчикъ“ не доказалъ — передъ нами, въ лицѣ этого героя повѣсти, человѣкъ ничтожный и потому мелочно-самолюбивый, праздный, любопытный, скупой, черствый и пустой, съ большимъ самомнѣніемъ. И читатель разстается съ Иваномъ Ивановичемъ, окончательно разувѣрившись въ томъ, что это—„прекрасный человѣкъ“.

Иванъ Никифоровичъ.

Меньше мѣста отводитъ разсказчикъ Ивану Никифоровичу. Этотъ „обыватель“ не отличался свѣтскими достоинствами Ивана Ивановича, но, съ точки зрѣнія согражданъ, онъ былъ тоже „хорошій“ человѣкъ, хотя бы потому, что, грузный и неподвижный, въ полу-

---

[1]) „Приличія“— вещь относительная,—и Гоголь далъ нѣсколько образчиковъ смѣшного и уродливаго толкованія этого понятія въ Миргородѣ: вѣрхомъ приличія здѣсь считалось, напримѣръ, отказываться до трехъ разъ отъ предложеннаго чая, и Иванъ Ивановичъ съ такимъ достоинствомъ умѣлъ ломаться передъ поставленной чашкой, что у наивнаго разсказчика вырывается восторженное восклицаніе: „Господи Боже!.. Какая бездна тонкости бываетъ у человѣка!.. Нельзя разсказать, какое пріятное впечатлѣніе производятъ такіе поступки!.. Фу, ты пропасть!.. Какъ можетъ, какъ найдется человѣкъ поддержать свое достоинство!“.

сонномъ состояніи пролежалъ у себя большую часть своей жизни, никого не трогая. Въ маленькомъ городкѣ считалось большимъ достоинствомъ, когда человѣкъ не дѣлаетъ зла другимъ людямъ, вѣдь здѣсь, въ этой мелочной сферѣ, изъ пустяка могли разыграться „великія событія“!.. Но дальнѣйшее повѣствованіе о жизни Ивана Никифоровича, объ его столкновеніяхъ съ бывшимъ другомъ обличаютъ и въ его душѣ массу мелкихъ, злыхъ качествъ. Это существо, почти полу-животное, оказывается и скупымъ, и упрямымъ, и великимъ сутяжникомъ. Приливъ злости даже даетъ ему силы и энергію на веденіе судебнаго дѣла. И мы убѣждаемся, что не любовь связывала друзей, а „привычка“... Только благодаря случайности ихъ „дружба“ была такъ продолжительна и благодаря случайности (пріѣздъ къ Ивану Никифоровичу Агафьи Ѳедосѣевны, которая окончательно разссорила друзей) вражда сдѣлалась непримиримой... Немудрено, что Гоголь, живя въ столицѣ, освѣженный интересами высшей культурной жизни, не могъ глядѣть на своихъ героевъ глазами „разсказчика“, глазами обывателей Миргорода, — ему грустно дѣлалось, когда онъ думалъ, что милліоны человѣчества, вездѣ, не только у насъ въ Россіи, ведутъ жизнь Миргорода! Вотъ почему у него вырвалось горькое восклицаніе: „скучно на этомъ свѣтѣ, господа!“.

Сцены изъ жизни города (повѣтовый судъ, ассамблея въ домѣ городничаго) представляютъ собою картины безотрадной пошлости и мелочности. Это—фонъ, на которомъ ярко выдѣляются два друга—«честь и украшеніе Миргорода». Если въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» читателя подкупала голубиная чистота героевъ, отсутствіе у нихъ претензій, то въ этой повѣсти пошлость жизни не прикрывается ничѣмъ. Простота и безсознательность патріархальной жизни смѣнились здѣсь своеобразными понятіями о чести, о достоинствѣ дворянина и чиновника—понятіями смутными, уродливыми, которыя еще яснѣе, еще очевиднѣе и безотраднѣе обнаружили бездну пошлости, скрывающейся за этими претензіями.

Такимъ образомъ, если мы сравнимъ это произведеніе съ повѣстью: «Старосвѣтскіе помѣщики», мы убѣдимся, что ни тѣни сочувствія въ отношеніи къ своимъ героямъ у автора не замѣтно. Въ этомъ произведеніи Гоголь послѣдовательно и сознательно осудилъ «пошлость пошлаго человѣка». Здѣсь впервые опредѣленно сказалась способность нашего писателя «вызывать наружу все, что ежеминутно передъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи,—всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ».

Литературная исторія повѣсти.

Литературная исторія этой повѣсти вполнѣ ясна. Живыя впечатлѣнія захолустной малороссійской жизни, обновленныя Гоголемъ въ 1832 г., когда онъ побывалъ на родинѣ, дали ему матеріалъ и краски для обрисовки тѣхъ образовъ, ничтожность которыхъ онъ чувствовалъ еще юношей. Но, кромѣ того, въ русской литературѣ были у него предшественники: такъ, Нарѣжный въ повѣсти: «Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ» высмѣялъ сутяжничество, свойственное человѣку, живущему мелочными интересами. То обстоятельство, что и Гоголь далъ своимъ героямъ тѣ же имена Ивановъ и высмѣялъ ту же страсть къ тяжбамъ—явленіе, очевидно, характерное для тогдашней провинціальной малороссійской жизни—позволяетъ утверждать, что повѣсть Гоголя, въ литературномъ отношеніи, зависѣла отъ произведенія Нарѣжнаго. Но стоитъ сравнить оба произведенія, чтобы убѣдиться, что для Гоголя повѣсть Нарѣжнаго была только *темой*,—канвой, по которой онъ расшилъ самостоятельные яркіе и сложные рисунки,—заимствованную идею онъ развилъ въ художественное произведеніе.

„Тарасъ Бульба“.

§ 7. Современная жизнь Украйны казалась Гоголю сѣрой и скучной. Эта жизнь не давала пищи его воображенію,—не видалъ здѣсь Гоголь, повидимому, никого, кромѣ «существователей», не живущихъ, а прозябающихъ... Вотъ почему больше настоящаго его интересовало *прошлое* Малороссіи—то время, когда его родина жила бурной исторической жизнью, когда полна «смысломъ» была жизнь всякаго казака, такъ какъ они были «борцами» за родину, за вѣру... Оттого, сочиняя свой романъ: «*Тарасъ Бульба*» (*Ист. хрест., стр. 244*), Гоголь, вѣроятно, отдыхалъ душой, и создавалъ съ радостью героическіе образы и картины, возвышающія душу. Размахъ его творчества въ этой повѣсти чисто-эпическій,—цѣлую эпоху народной жизни сумѣлъ онъ воплотить въ грандіозномъ обликѣ Тараса; въ лицѣ его Гоголь уловилъ яркія національныя черты своего народа [1]), и потому на эту повѣсть его можно смотрѣть, какъ на «эпопею казачества»..

Историческое значеніе малороссійскаго казачества Гоголь видѣлъ въ борьбѣ за народность и вѣру. Въ своей повѣсти онъ старался доказать, что именно эта борьба съ турками, татарами и поляками закалила характеръ малороссовъ; она придала имъ черты желѣзной энергіи, которая часто то скрывалась подъ личиной хитрости и простодушнаго лукавства, даже лѣни,—то вдругъ вырывалась на свободу и принимала широкіе размѣры стихійной силы, не знавшей удержу и предѣловъ. Жизнь была сложна: приходилось ее отстаивать и хитростью, и силой,—приходилось быть и дипломатомъ, и солдатомъ... Кромѣ того, нужды времени требовали отъ казаковъ и другихъ практическихъ знаній: каждый казакъ долженъ былъ быть и землепашцемъ, и охотникомъ, и скотоводомъ, и садовникомъ, и врачомъ, и ремесленникомъ... Это развивало разносторонность, находчивость, предпріимчивость, но не привязывало человѣка къ какому-нибудь одному опредѣленному дѣлу. Постоянная готовность идти на встрѣчу опасности, не-

[1]) Ошибка Гоголя, какъ историка, заключалась въ томъ, что онъ внесъ романтическую окраску въ историческую жизнь Украйны: такихъ „полковниковъ“, какъ Бульба, онъ представилъ какими-то феодальными рыцарями, которые имѣютъ свои полки, сами рѣшаютъ вопросы войны и мира. Въ то время полковники были „выборные“ и надъ своимъ полкомъ не имѣли той власти, которую впослѣдствіи помѣщики пріобрѣли надъ своими крѣпостными. Такимъ образомъ, отношеніе господъ къ крѣпостнымъ Гоголь перенесъ въ XV-ый вѣкъ, произвольно придавъ этимъ отношеніямъ феодальный характеръ. Очевидно, что романическая литература, съ ея замками, феодалами и самовластными средневѣковыми баронами, оказала, въ этомъ отношеніи, чрезмѣрное вліяніе на Гоголя и исказила историческую вѣрность его повѣсти. Такая же тенденція придать казачеству характеръ рыцарскаго ордена замѣчается и въ изображеніи жизни Запорожской Сѣчи.

Романтизмъ помѣшалъ Гоголю вѣрно представить психологію нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ. Если безукоризненно нарисованъ Тарасъ и его сынъ Остапъ, то фальшиво представленъ Андрій. Казакъ грубаго XV-го вѣка, „бурсакъ“, представленъ какимъ-то „романтическимъ любовникомъ“, съ самыми тонкими и сложными переживаніями изящной, чувствительной души.

увѣренность въ завтрашнемъ днѣ пріучали равнодушно смотрѣть въ глаза смерти, не дорожить ни своей головой, ни чужой...

Безпутно и безалаберно шла жизнь тогдашняго казака; семья и домашній очагъ были ему ненужны; важнѣе было для нихъ «товарищество», связавшее ихъ въ вольную дружину удальцевъ-«лыцарей». Суровая жизнь, полная опасностей, развивала въ ихъ сердцахъ духъ удальства и, въ то же время, умѣніе на всѣ опасности глядѣть съ равнодушнымъ спокойствіемъ, даже съ юморомъ. Для казаковъ въ жизни было немного «святого»—христіанская вѣра, родина, да чувство товарищества. Эти немногіе и простые идеалы, однако, наполняли всю ихъ жизнь, очищали, облагораживали ихъ существованіе, дѣлали ихъ «лыцарями», какъ они сами себя называли, оправдывали, въ ихъ собственныхъ глазахъ, и разбойничьи набѣги на берега Чернаго моря, и жестокія расправы съ евреями и католиками...

Родинѣ они служили беззавѣтно: патріотизмъ былъ главной чертой ихъ жизни,—чертой, преобладавшей надъ всѣми другими привязанностями и стремленіями (любовь къ семьѣ, къ женщинѣ, къ мирнымъ занятіямъ).

Тарасъ Бульба является носителемъ всѣхъ типичныхъ сторонъ тогдашняго казачества. Человѣкъ, полный энергіи, не выносящій мирной домашней жизни, до сѣдыхъ волосъ увлекающійся бурной жизнью, полной опасности и тревогъ, онъ рисуется Гоголемъ во весь ростъ, какъ семьянинъ, какъ военачальникъ, какъ человѣкъ вообще... **Тарасъ Бульба.**

Это—суровый мужъ и суровый отецъ. Съ презрѣніемъ относится онъ къ женѣ, которая, по его словамъ,—только «баба», т. е. существо, безконечно ничтожное. Она, въ его глазахъ, не пользуется никакимъ авторитетомъ; сыновей своихъ онъ пріучаетъ не подчиняться ея вліянію, потому что мягкость женской души представляла, по его мнѣнію, большую опасность для удалого казака: онъ утверждалъ, что, если казакъ поддастся чарамъ женской любви,—все равно хотя бы материнской,—онъ «обабится», сдѣлается «мазунчикомъ» и погибнетъ для великаго дѣла служенія родинѣ. Какъ отецъ, Бульба представляется такимъ же суровымъ: въ отношеніяхъ съ сыновьями онъ не допускаетъ ласки и мягкости и предпочитаетъ стать къ нимъ сразу въ отношенія старшаго товарища. Вотъ почему онъ, при первой же встрѣчѣ съ сыновьями, вернувшимися домой изъ бурсы, вступаетъ въ кулачную драку со старшимъ, чтобы узнать его темпераментъ и силу, т. е. опредѣлить въ немъ цѣнность будущаго боевого товарища. Когда приходится Бульбѣ рѣшать, что для него выше—любовь отца къ сыну, или любовь гражданина къ родинѣ, онъ, безъ колебаній и сомнѣній, съ рѣшимостью истиннаго римлянина, ставитъ гражданскій долгъ выше чувствъ родительскихъ и собственной рукою убиваетъ Андрія, измѣнившаго родинѣ.

Какъ военачальникъ, Бульба энергиченъ, неутомимъ, предпріимчивъ, не знаетъ страха и усталости... Своихъ удальцовъ-«лыцарей» онъ знаетъ прекрасно, умѣетъ вліять на нихъ и словомъ, и дѣломъ: когда надо—онъ то пошутитъ съ ними, то зажжетъ ихъ сердца воодушевленной патріотическою рѣчью, а иногда сумѣетъ воспламенить ихъ удаль и лишней бочкой «горилки»... Онъ хитеръ и въ Сѣчи ведетъ себя, какъ ловкій дипломатъ: такъ, напримѣръ, ловко управляя настроеніями казаковъ, онъ легко добивается назначенія новаго кошевого. Во время примиренія казаковъ съ поляками, онъ оказывается дальновиднѣе своихъ боевыхъ товарищей. Къ казакамъ относится

онъ по-братски, со всею нѣжностью, на которую онъ только былъ способенъ. Въ немъ глубоко развитъ духъ товарищества: умирая мучительною смертью, онъ думаетъ не о себѣ, а о своихъ ратныхъ товарищахъ, и, умирая, находитъ въ себѣ довольно силъ, чтобы казакамъ, уносящимъ свои головы, указать средство спасенія.

Какъ человѣкъ, Бульба является воплощеніемъ тѣхъ чертъ, которыя отмѣчены Гоголемъ въ различныхъ герояхъ его прежнихъ повѣстей. Только въ образѣ Бульбы эти самыя черты представлены въ крупномъ видѣ: упрямство казака Чуба, упрямство глупое и смѣшное, потому что направлено на вздоръ,—у Тараса вырастаетъ въ упорство титана, воодушевленнаго патріотизмомъ; лѣнивое равнодушіе и флегматичность кума («Ночь передъ Рождествомъ»)—у Тараса выливается въ героическое спокойствіе передъ лицомъ смерти... Юморъ Тараса суровъ и не смѣшонъ,—отъ него отзываетъ смертью...

Но жестокій и суровый въ дѣлѣ расправы и мести, Тарасъ великодушенъ, когда надо отплатить за содѣянное добро: онъ щадитъ Янкеля въ благодарность за ту помощь, которую тотъ оказалъ когда-то его брату. Гордый и непреклонный, Бульба умѣетъ на-время смириться, и, подъ кирпичами, ѣдетъ въ Варшаву повидать своего богатыря-сына, приговореннаго къ смерти... Онъ ѣдетъ къ нему, какъ его ближайшій другъ и ратный товарищъ, чтобы поддержать силы его мужественнаго сердца... Но честь казачества была дороже для Тараса этой «товарищеской любви» къ Остапу, и не выдержалъ онъ, когда полякъ при немъ выругалъ казаковъ, — выругался онъ самъ, не побоявшись поставить на карту и свою голову, и свиданіе съ сыномъ... Въ моментъ казни Остапа, когда мужество стало покидать молодого богатыря, и онъ воскликнулъ: «Батько! гдѣ ты? слышишь ли ты все это?»—Тарасъ воодушевилъ его своимъ желѣзнымъ крикомъ: «Слышу!»—и мужество сына-героя было спасено!..

Остапъ. Подъ стать Тарасу его старшій сынъ Остапъ: еще въ кіевской бурсѣ онъ закалилъ свой характеръ. Изъ этой суровой школы вынесъ онъ презрѣніе къ физической боли, духъ товарищества, нелюбовь къ наукѣ и страсть къ вольной жизни... Въ стѣнахъ бурсы онъ выросъ свободный, вполнѣ готовый къ бранной жизни. Онъ явился въ родной домъ безъ всякихъ нѣжныхъ сыновнихъ чувствъ,—въ отцѣ онъ уважалъ прежде всего *казака*, доблестнаго «лыцаря», и охотно пошелъ къ нему «въ науку». Запорожская Сѣчь, съ ея нравами и законами, а затѣмъ бурная казацкая жизнь въ короткое время сдѣлали изъ него истаго запорожца, который и дрался безъ страха, и умиралъ безъ стона... Какъ Тарасъ, онъ съ презрѣніемъ относился къ женщинѣ,—она не нужна была его юному, но уже суровому сердцу... И Тарасъ, и Остапъ—герои малороссійскихъ «думъ»,—пѣсенъ о доблестныхъ защитникахъ родины и вѣры.

Андрій. Не таковъ былъ его братъ-Андрій. Это—казакъ-романтикъ, который умѣетъ приласкать женское сердце, найдетъ много ласковыхъ именъ для милой дѣвушки... Это—Левко изъ «Майской ночи», паробокъ изъ «Сорочинской ярмарки». Это—нѣжная натура, откликающаяся на призывъ матери, на любовь женщины... Это—натура страстная и сильная, которая, подъ вліяніемъ женской любви, можетъ рѣшиться на многое.

Еще на школьной скамьѣ Андрій отличался большимъ воображеніемъ и мечтательностью. Къ продѣлкамъ товарищей по бурсѣ онъ относился, какъ поэтъ: не достиженіе цѣли ему было дорого, а тѣ настроенія, которыя волновали его. Когда онъ дрался съ поляками,—ему дороги были не цѣли этой войны, а са-

мая битва, — «поэзія битвы», ея настроенія... Оттого идеалы казачества не сдѣлались его «убѣжденіями», не смогли глубоко овладѣть его пылкой, поэтической душой; вотъ почему, побѣжденный новыми «настроеніями», онъ такъ легко перешелъ на сторону поляковъ.

Образъ Андрія слишкомъ тонокъ и сложенъ для той суровой казачьей среды, изъ которой вывелъ его Гоголь. И можно, съ полнымъ правомъ, сомнѣваться, правдивъ ли этотъ образъ въ историческомъ отношеніи.

Романтизмъ повѣсти.

§ 3. Повѣсть Гоголя представляетъ собой соединеніе *романтическаго* и *реалистическаго* элементовъ: а) *Романтическій элементъ* въ повѣсти сказался въ нѣкоторой подкраскѣ малороссійской исторической жизни. Идеализація старины (особенно среднихъ вѣковъ) была излюбленнымъ пріемомъ романтиковъ-историковъ. Такой писатель, какъ Вальтеръ-Скоттъ, далъ, въ этомъ отношеніи, самые характерные образцы творчества. Гоголь пошелъ по его слѣдамъ. Поэтому повѣсть: «Тарасъ Бульба» остается, все-таки, по существу, однимъ изъ самыхъ цѣнныхъ памятниковъ нашей романтики. Это—повѣсть о *геройхъ* и ихъ подвигахъ, причемъ повѣсть эта переходитъ нерѣдко за черту возможнаго и правдоподобнаго. Эта грандіозность образовъ и патетичность описаній—опять-таки характерные признаки романтизма. Читая многія страницы повѣсти, «чувствуешь себя, говоритъ Н. А. Котляревскій, невольнымъ участникомъ дѣяній какого-то сказочнаго міра,—міра преданій, или миѳа».

Реализмъ повѣсти.

b) *Реалистическій элементъ* въ повѣсти выразился въ изображеніи бытовой ея стороны. Описаніе домашней жизни казака, военной и мирной жизни Сѣчи, голодающаго польскаго города, лагерной жизни, типовъ казаковъ и евреевъ, описаніе Варшавы, особенно еврейскаго квартала, — все это перлы художественнаго реализма.

Литературная исторія повѣсти.

Литературная исторія повѣсти очень сложна. Прежде всего, интересъ къ прошлому Малороссіи, и особенно къ казачеству, какъ самому яркому явленію ея исторіи, сказался у Гоголя съ юности. Онъ давно мечталъ то объ исторической трагедіи изъ жизни старой Украйны, то о сочиненіи исторіи Малороссіи, «въ шести малыхъ, или въ четырехъ большихъ томахъ». По его словамъ, для этой исторіи онъ даже «около пяти лѣтъ» собиралъ матеріалы... По указанію Гоголя, матеріалы эти были очень разнообразны: малороссійскія лѣтописи, записки, пѣсни, повѣсти бандуристовъ, дѣловыя бумаги, различныя историческія сочиненія. Всѣмъ этимъ воспользовался Гоголь для своего романа. Но изъ всѣхъ этихъ «матеріаловъ» особое вниманіе остановилъ Гоголь на «народныхъ пѣсняхъ» [1]). Оттого, пѣсни

---

[1]) „Моя радость, жизнь моя, пѣсни!“—писалъ онъ собирателю народныхъ пѣсенъ Максимовичу—„Какъ я васъ люблю!.. Что всѣ черствыя лѣтописи, въ которыхъ я теперь роюсь, передъ этими звонкими, живыми лѣтописями!.. Я не могу жить безъ пѣсенъ... Вы не можете представить, какъ мнѣ помогаютъ въ исторіи пѣсни,—онѣ всѣ даютъ по новой чертѣ въ мою исторію!“... „Каждый звукъ пѣсни мнѣ говоритъ живѣе о протекшемъ, нежели наши вялыя и короткія лѣтописи“,—писалъ онъ Срезневскому. „Пѣсни—это народная исторія, живая, яркая, исполненная красокъ, истины, обнажающая всю жизнь народа“,—писалъ онъ въ „Арабескахъ“ о малороссійскихъ пѣсняхъ. „Пѣсни для Малороссіи — все: и поэзія, и исторія, и отцовская могила“. Гоголь говоритъ далѣе, что чуткій историкъ по пѣснямъ можетъ узнать

оказали особенно-значительное вліяніе на повѣсть (особенно на первую ея редакцію); пѣсни отразились на *стилѣ* повѣсти,—особенно на *лирическихъ* ея *мѣстахъ*, а также на описаніяхъ битвъ, на характеристикѣ Тараса и Остапа, на разсказѣ о любовной исторіи Андрія. Мѣстами самый языкъ повѣсти принимаетъ складъ пѣсни,—переходитъ въ размѣръ народной пѣсни...

Жизнь Сѣчи, ея обычаи и нравы, различныя детали вѣковой борьбы казачества съ Польшей,—все это было взято Гоголемъ изъ историческихъ сочиненій.

Выразилъ Гоголь въ своей повѣсти и свои завѣтныя стремленія, и идеалы: такъ, въ уста Тараса Бульбы вложилъ онъ горячую рѣчь, прославляющую Русь и русскаго человѣка. Вліяніе друзей-славянофиловъ сказалось ясно въ этомъ апоѳеозѣ русской души [1]).

Гоголь имѣлъ себѣ предшественниковъ и въ иностранной, и въ русской литературѣ. „Отцомъ“ европейскаго историческаго романа считается Вальтеръ-Скоттъ: въ своихъ произведеніяхъ онъ первый сумѣлъ сочетать знаніе исторіи съ занимательностью разсказа; онъ первый научилъ правдоподобію историческаго разсказа строить на вѣрной передачѣ couleur locale (couleur historique и couleur éthnografique). Цѣлая плеяда историковъ-романистовъ пошла по его стопамъ: Викторъ Гюго, Виньи, у насъ Пушкинъ были наиболѣе видными представителями этого жанра.

Изъ русскихъ предшественниковъ Гоголя замѣтнымъ романистомъ былъ также Нарѣжный, который написалъ немало историческихъ повѣстей, сентиментальныхъ и патріотическихъ. Выше его стоитъ, популярный у насъ въ 20-хъ годахъ XIX ст., Марлинскій; его разсказы изъ русской исторіи отличаются внѣшней исторической правдой,—онъ изображалъ исторически-вѣрно внѣшнюю сторону жизни старины, но не вникалъ въ духъ прошлаго. Оттого герои его повѣстей, съ содержаніемъ изъ исторіи древней Руси, говорятъ и мыслятъ, какъ люди XIX столѣтія. Романъ Загоскина: „Юрій Милославскій“, въ свое время, тоже былъ крупнымъ литературнымъ событіемъ, но даже современная критика отмѣтила существенные недостатки этого произведенія. Популярны были у насъ и романы Лажечникова, но и въ нихъ было немало обычныхъ романтическихъ эффектовъ: ужасовъ, восторговъ, сентиментальности въ любовныхъ приключеніяхъ и фальшиваго патріотизма...

„Арабески“.

§ **9.** Въ одно, приблизительно, время съ «Миргородомъ» выпустилъ Гоголь въ свѣтъ свой другой сборникъ: «*Арабески*». Сюда вошли его статьи историческаго, эстетическаго, критическаго, философскаго, педагогическаго и беллетристическаго содержанія.

Статьи Гоголя *эстетическаго* содержанія («Скульптура, живопись и музыка», «Объ архитектурѣ нынѣшняго времени», «Послѣдній день Помпеи») представляютъ собою (особенно первая) скорѣе стихотворенія въ прозѣ, чѣмъ разсужденія. Стиль этихъ статей отличается пафосомъ: Гоголь расточаетъ метафоры, сравненія, говоритъ въ приподнятомъ тонѣ... Въ первой своей статьѣ Гоголь, слѣдуя за нѣмецкими романтиками, превозноситъ музыку, какъ высшее изъ всѣхъ искусствъ, сильнѣе другихъ дѣйствующее на наши души. Онъ

„бытъ, стихію характера, всѣ изгибы и оттѣнки чувствъ, волненій, страданій, веселій народа, духъ минувшаго вѣка,—общій характеръ всего цѣлаго, такъ что исторія разоблачится передъ нимъ въ ясномъ величіи“.

[1]) „Нѣтъ, братцы, такъ любить, какъ можетъ любить русская душа,—любить не то, чтобы умомъ, или чѣмъ другимъ, а всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ, что ни есть въ тебѣ—а!.. нѣтъ!—такъ любить никто не можетъ!“...

полагаетъ, что только музыка можетъ вернуть насъ къ Богу: «она вся — порывъ,—писалъ онъ о музыкѣ,—она вдругъ, за однимъ разомъ, отрываетъ человѣка отъ земли, оглушаетъ его громомъ могучихъ звуковъ и разомъ погружаетъ его въ свой міръ; она обращаетъ его въ одинъ трепетъ. Онъ уже не наслаждается, онъ не сострадаетъ—онъ самъ превращается въ страданіе: душа его не созерцаетъ непостижимаго явленія, но сама живетъ, живетъ порывно, сокрушительно-мятежно...» [1]).

Въ статьѣ: «Послѣдній день Помпеи» онъ превозноситъ извѣстную картину Брюлова, отмѣчая умѣніе художника пользоваться «эффектами»,—умѣніе сочетать реальное съ идеальнымъ. Выше было указано, что такова же была манера писать самого Гоголя.

Историческія статьи Гоголя («О среднихъ вѣкахъ», «Жизнь», «Взглядъ на составленіе Малороссіи», «О малороссійскихъ пѣсняхъ», «Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ», «О движеніи народовъ въ концѣ V вѣка») были результатомъ его романтическаго увлеченія средними вѣками [2]), занятій исторіею Малороссіи и университетскими лекціями. Къ исторіи подошелъ Гоголь, не какъ ученый, а какъ поэтъ-художникъ, богато-надѣленный лиризмомъ и яркой фантазіей, владѣющій патетическимъ, цвѣтистымъ стилемъ... Кромѣ эстетизма, внесъ Гоголь въ свое толкованіе исторіи свое религіозное и консервативное міровоззрѣніе. Онъ стоялъ на той точкѣ зрѣнія, что «не люди устанавливаютъ правленіе, — что его нечувствительно устанавливаетъ и развиваетъ самое положеніе земли, отъ котораго зависитъ народный характеръ, что поэтому-то формы правленія и священны, и измѣненіе ихъ неминуемо должно навлечь несчастіе на народъ». Онъ и съ профессорской каѳедры, и въ своихъ статьяхъ училъ, что всеобщая исторія есть осуществленіе плановъ Провидѣнія. Такъ, волею Промысла объяснялъ онъ великое переселеніе народовъ, освѣжившихъ старыя, увядающія цивилизаціи; Божественное Провидѣніе, по его словамъ, усилило власть римскаго первосвященника, и это усиленіе сплотило Европу, просвѣтило варваровъ. Такимъ образомъ, къ католичеству относился онъ, какъ Шатобріанъ, Шеллингъ и Чаадаевъ.

Въ статьѣ о калифѣ Ал-Мамунѣ онъ доказывалъ, что дѣятельность «великаго поэта» имѣетъ государственное значеніе. Очевидно, «поэту» онъ придавалъ неизмѣримо больше значенія, чѣмъ Пушкинъ, который видѣлъ

---

[1]) Въ статьѣ: „Объ архитектурѣ“ Гоголь указываетъ на современное паденіе этого искусства и процвѣтаніе его въ прошломъ. Изъ всѣхъ архитектурныхъ стилей отдаетъ онъ предпочтеніе стилю готическому, „Нѣтъ величественнѣе, возвышеннѣе и приличнѣе архитектуры для зданія христіанскому Богу, какъ готическая“—писалъ онъ. „Но они прошли—тѣ вѣка, когда вѣра, пламенная, жаркая вѣра, устремляла всѣ умы, всѣ дѣйствія къ одному, когда художникъ выше и выше стремился вознести созданіе свое къ небу, къ нему одному рвался... Зданіе его летѣло къ небу, узкія окна, столпы, своды тянулись нескончаемо въ вышину; прозрачный, почти кружевной шпицъ, какъ дымъ, сквозилъ надъ ними, и величественный храмъ такъ бывалъ великъ передъ обыкновенными жилищами людей, какъ велики требованія души нашей передъ требованіями тѣла...“.

[2]) Эпоха, излюбленная романтиками. Недаромъ ученики нѣжинскаго лицея временъ Гоголя интересовались, главнымъ образомъ, средними вѣками и даже задумали сочинить книгу, посвященную этой эпохѣ.

въ поэтѣ свободную «личность», но никогда не смотрѣлъ на него, какъ на «государственнаго дѣятеля», совѣтника царей...

Въ статьѣ: «О пѣсняхъ малороссійскихъ», Гоголь отмѣтилъ большую историческую цѣнность этихъ народныхъ произведеній; онъ говорилъ, что въ этихъ произведеніяхъ сохранилась память о борцахъ за родину,—сохранилась память о тѣхъ чувствахъ, которыя пережиты были народомъ въ старину. Въ этихъ пѣсняхъ находитъ Гоголь ясно-выраженнымъ поэтическій образъ малороссійской женщины,—образъ, полный любви, ласки и красоты, осужденный суровой исторіей на печаль неисходную... Характерной чертой этихъ пѣсенъ, Гоголь признаетъ живой драматизмъ.

Въ статьѣ: «Взглядъ на составленіе Малороссіи» Гоголь даетъ сжатую исторію своей родины и особенно подробно останавливается на исторіи и характеристикѣ казачества. Идеи, здѣсь выраженныя сжато, нашли блестящее художественное развитіе въ «Тарасѣ Бульбѣ».

Изъ *критическихъ* статей, попавшихъ въ «Арабески», очень цѣнно разсужденіе Гоголя о Пушкинѣ: «Нѣсколько словъ о Пушкинѣ». Въ этой статьѣ Гоголь ясно и опредѣленно объясняетъ то понятіе «народность», которое тогдашнею русскою критикою, въ примѣненіи къ Пушкину, толковалось вкривь и вкось: одни критики смѣшивали это понятіе съ «простонародностью», другіе съ «національнымъ». Въ этой же статьѣ Гоголь превознесъ Пушкина за его художественный «реализмъ» и опредѣлилъ сущность этого направленія [1]), осудивъ романтизмъ за наклонность изображать только эффектное. Обвиненіе это любопытно въ устахъ Гоголя, который въ эту пору еще самъ не отдѣлался отъ указанной имъ самимъ слабости романтиковъ. Онъ защищаетъ Пушкина отъ нападеній критики, которая привыкла восхищаться пушкинскими романтическими поэмами, содержаніе которыхъ взято изъ кавказской и крымской жизни—и не поняла той «поэзіи дѣйствительности», съ которою великій поэтъ выступилъ въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ: «Онѣгинѣ», «Годуновѣ»...

Къ «*бѣллетристическимъ*» статьямъ, вошедшимъ въ составъ «Арабесокъ», относятся три: «*Портретъ*» (въ первой редакціи), «*Невскій проспектъ*» и «*Записки сумасшедшаго*». Изъ перечисленныхъ произведеній первыя два представляютъ собою выраженіе взглядовъ Гоголя на искусство, на жизнь художника и отношеніе его къ жизни.

---

[1]) „Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа“,—писалъ Гоголь въ этой статьѣ. „Это—русскій человѣкъ въ конечномъ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится черезъ двѣсти лѣтъ. Самая жизнь его совершенно русская: тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому иногда, позабывшись, стремится русскій, и которое всегда нравится свѣжей русской молодежи,—отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свѣтъ. Онъ остался русскимъ всюду, куда его забрасывала судьба: и на Кавказѣ, и въ Крыму, т. е. тамъ, гдѣ имъ написаны тѣ изъ его произведеній, въ которыхъ хотятъ видѣть всего больше подражательнаго. Онъ, при самомъ началѣ своемъ, уже былъ національнымъ, потому что *истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда національнымъ*, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами...“.

Возвышенный взглядъ на значеніе поэта-художника, убѣжденіе, что «всякій геній—благословеніе Божіе человѣчеству», заставляли Гоголя стремиться къ выясненію, каковы обязанности «генія» на землѣ, какія радости и печали встрѣтитъ онъ въ обществѣ простыхъ людей. Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ вопросы о призваніи поэта, о борьбѣ поэта съ прозой жизни были жгучими и интересовали не только Гоголя. Геніальный художникъ, музыкантъ, поэтъ, непонятые людьми, были любимыми героями многихъ повѣстей и романовъ того времени, не только русскихъ, но и иностранныхъ (Гофманъ). Обыкновенно, въ этихъ романахъ «геній» изображался несчастнымъ въ жизни: его оскорбляла «чернь», онъ тщетно боролся съ пошлостью жизни,—и жизнь его кончалась почти всегда трагически [1]).

Изъ гоголевскихъ повѣстей съ подобнымъ содержаніемъ особенно „**Портретъ**“. интересна—«*Портретъ*» *(Ист. хрест., стр. 356)*; въ этой повѣсти разработаны двѣ темы—1) гибель художника Черткова и—2) страшный ростовщикъ-дьяволъ. Главная мысль повѣсти заключается въ томъ, что нельзя служить заразъ корысти и чистому искусству,—практическимъ выгодамъ и идеалу. Злой духъ убѣдилъ талантливаго художника, что «все дѣлается на свѣтѣ для пользы», что глупо голодать, уйдя отъ людей въ міръ чистыхъ грезъ. И художникъ послушался этого голоса,—прельстился благами міра, сталъ смотрѣть на искусство, какъ на средство наживы, сдѣлался ремесленникомъ, разбогатѣлъ, потому что научился подлаживаться подъ вкусы «черни». Когда ему однажды удалось увидѣть произведеніе, написанное художникомъ-идеалистомъ, онъ понялъ, какому великому божеству измѣнилъ... Но вернуться къ этому утраченному, «проданному», божеству у него уже не было силъ...

Кромѣ этого требованія, чтобы искусство было чисто и свято, Гоголь высказалъ въ этой повѣсти еще интересную мысль о томъ, что «реализмъ», какъ художественный пріемъ, долженъ знать границы, такъ какъ не все въ окружающей насъ дѣйствительности можетъ быть предметомъ художественнаго изображенія. Отвратительное лицо ростовщика, особенно его ужасные глаза, были такъ реально написаны на портретѣ, что ужасъ овладѣвалъ всѣми, кто только видѣлъ эти глаза. Съ точки зрѣнія Гоголя, такой неумѣренный реализмъ является уже профанаціей искусства.

Эти мысли художника-Черткова были, на самомъ дѣлѣ, мыслями самого Гоголя въ этотъ періодъ его творчества, когда онъ отъ романтизма переходилъ къ реализму и старался опредѣлить себѣ сущность этого, новаго для него, художественнаго направленія.

Въ этой же повѣсти встрѣчаемъ мы идею о религіозномъ значеніи искусства. Художникъ, рисовавшій портретъ ростовщика, изобразилъ

---

[1]) Изъ современниковъ Гоголя охотно развивалъ въ своихъ повѣстяхъ подобныя темы Одоевскій; онъ любилъ взывать къ „чувству возвышеннаго“ и обличалъ пошлость жизни. Въ повѣстяхъ: „Послѣдній квартетъ Бетховена“, „Импровизаторъ“, „Себастіанъ Бахъ“ онъ говоритъ о тайнѣ поэтическаго творчества. Пушкинъ въ „Египетскихъ ночахъ“ изобразилъ геніальнаго поэта въ лицѣ „импровизатора“. Кукольникъ въ „Торквато Тассо“ развивалъ мысль о розни между геніемъ и средой. Тимофеевъ въ драматической фантазіи: „Поэтъ“, Полевой въ повѣсти: „Живописецъ“ и въ романѣ: „Аббадонна“, Павловъ въ повѣсти: „Именины“ и многіе другіе, современные Гоголю, писатели въ беллетристической формѣ разрабатывали подобныя-же темы.

въ немъ, самъ того не подозрѣвая, дьявола. Когда онъ это узналъ, онъ ушелъ въ монастырь, чтобы постомъ и молитвой искупить свой грѣхъ,—грѣхъ человѣка, изобразившаго воплощеніе зла—сатану. Съ тѣхъ поръ свое искусство онъ посвятилъ иконописанію, но долго еще не могъ отдѣлаться отъ вліянія сатаны.

Итакъ, конечную цѣль искусства усмотрѣлъ этотъ художникъ-монахъ (вмѣстѣ съ нимъ и самъ Гоголь) въ служеніи религіозно-нравственнымъ цѣлямъ.

„Невскій проспектъ“.

Трагическая участь непримиреннаго съ жизнью идеалиста-художника представлена въ повѣсти: «*Невскій проспектъ*». Пискаревъ, юный художникъ, съ пылкой, прекрасной душой, погибаетъ потому, что его вѣра въ неразрывную связь красоты съ добромъ и истиною оказывается поруганной и осмѣянной. Такимъ образомъ, въ основѣ повѣсти лежитъ мысль о разладѣ мечты и дѣйствительности [1]),—мысль о борьбѣ художника съ прозой жизни.

Повѣсть: «Невскій проспектъ» представляетъ собой собраніе реалистическихъ картинокъ изъ жизни столицы. Гоголь удивительно живо и правдиво описываетъ главную улицу столицы въ различные часы дня, характеризуетъ бытъ петербургскихъ ремесленниковъ, офицеровъ, чиновниковъ, художниковъ...

„Записки сумасшедшаго“.

Въ повѣсти: «*Записки сумасшедшаго*» представленъ разладъ мечты и дѣйствительности, доводящій до безумія несчастнаго чиновника Поприщина...

Титулярному совѣтнику Поприщину хотѣлось, очевидно, безъ всякихъ на то основаній, играть видную роль въ современномъ ему обществѣ. Онъ былъ самолюбивый, даже честолюбивый, но мелкій человѣкъ, котораго тяготила и мучила его незначительность. И чѣмъ острѣе дѣлались мученія его самолюбія, тѣмъ свободнѣе отъ власти разума становилась его мечта. Исторія постепеннаго помраченія разсудка Поприщина изображена Гоголемъ съ поразительной психологической вѣрностью.

Глубоко-трогательнымъ воззваніемъ къ матери кончается этотъ смѣшной и, въ то же время, полный драматизма разсказъ.

Произведеніе это можно сблизить съ «Мѣднымъ всадникомъ» Пушкина. Въ обоихъ произведеніяхъ выведены «маленькіе люди», надѣленные большими претензіями; обоихъ героевъ, пушкинскаго и гоголевскаго, высокое о себѣ мнѣніе и неудовлетворенность жизнью доводятъ до безумія. У Пушкина эта идея развита сплошь въ трагическомъ освѣщеніи, у Гоголя—въ комическомъ.

Русская критика объ „Арабескахъ“ и „Миргородѣ“.

И «Арабески», и «Миргородъ» появились въ печати приблизительно въ одно время. Съ большимъ сочувствіемъ о новыхъ произведеніяхъ Гоголя отозвался Шевыревъ; онъ поставилъ Гоголя въ ряды первыхъ юмористовъ міра, назвавъ его представителемъ славянскаго простодушнаго юмора. Многіе критики похвалили Гоголя и за его реализмъ. Самой значительной и содержательной была критика Бѣлинскаго. Правда, онъ отрицательно отнесся къ «ученымъ» статьямъ Гоголя, но за то съ восторгомъ отозвался о немъ, какъ о художникѣ, который безсозна-

---

[1]) „О, какъ отвратительна дѣйствительность!.. Что она противъ мечты!“—восклицаетъ Гоголь. „Боже! что за жизнь наша!—вѣчный раздоръ мечты съ существенностью!..“. Восклицаніемъ: „какъ странно играетъ нами судьба наша!“—оканчивается эта повѣсть.

тельно «изъ ничего» создаетъ «великое». Бѣлинскій превознесъ Гоголя за простоту вымысла въ его повѣстяхъ, за реализмъ его письма, за его умѣнье найти поэзію въ дѣйствительной жизни... «Каждая его повѣсть—смѣшная комедія», говорилъ Бѣлинскій,—«комедія, которая начинается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконецъ, называется *жизнью*. И таковы всѣ его повѣсти: сначала смѣшно, потомъ грустно! И такова жизнь наша: сначала смѣшно, потомъ грустно!.. Сколько тутъ поэзіи, сколько философіи, сколько истины!»... Далѣе Бѣлинскій отмѣтилъ «народность» гоголевскихъ повѣстей, отсутствіе въ нихъ сентенцій и нравоученій. Гоголя онъ называетъ талантомъ «необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ»... Онъ признаетъ Гоголя «главою русской литературы, занявшимъ мѣсто, оставленное Пушкинымъ», называетъ «начинателемъ новой эпохи въ исторіи русской литературы». «Если бы насъ спросили, писалъ Бѣлинскій, въ чемъ состоитъ существенная заслуга новой литературной школы, мы отвѣчали бы: въ томъ именно, что отъ высшихъ идеаловъ человѣческой природы и жизни она обратилась къ, такъ называемой, «толпѣ»,—исключительно избрала ее своимъ героемъ, изучаетъ ее съ глубокимъ вниманіемъ и знакомитъ ее съ нею же самою. Это значило сдѣлать литературу выраженіемъ и зеркаломъ русскаго общества, одушевить ее живымъ національнымъ интересомъ. Уничтоженіе всего фальшиваго, ложнаго, неестественнаго долженствовало быть необходимымъ результатомъ этого новаго направленія нашей литературы, которое вполнѣ обнаружилось съ 1836 года, когда публика прочла «Миргородъ» и «Ревизора».

b) Второй періодъ дѣятельности Гоголя.

Второй періодъ дѣятельности Гоголя.

§ **10**. Гоголь съ дѣтства интересовался театромъ; еще будучи ребенкомъ, онъ полюбилъ сцену, посѣщая представленія въ домѣ Трощинскаго; въ лицеѣ онъ составилъ изъ товарищей труппу, и самъ съ большимъ увлеченіемъ и успѣхомъ принималъ участіе въ представленіяхъ, причемъ особенно удачно игралъ роли старухъ (роль Простаковой была лучшей въ его репертуарѣ). По пріѣздѣ въ Петербургъ, онъ даже пытался, было, поступить на сцену, но его декламація, простая и естественная, была въ то время до такой степени необычна, что театральные судьи, привыкшіе къ высокопарному чтенію, на испытаніи забраковали его. Всѣ эти «сценическія наклонности» и драматическія способности Гоголя, опредѣлившіяся у него такъ рано, объясняютъ, до нѣкоторой степени, почему онъ такъ много и серьезно поработалъ для русской сцены въ качествѣ драматурга.

Въ исторіи русской драмы онъ занялъ почетное мѣсто «отца русской реалистической бытовой комедіи». Въ его пьесахъ впервые правда жизни сочеталась съ художественной правдой искусства. Послѣ него русская сцена стала вѣрнымъ отраженіемъ жизни: общіе типы, типы заимствованные, условности въ интригѣ, моральныя

тенденціи—всѣ эти особенности старой комедіи исчезли въ лучшихъ піесахъ, написанныхъ послѣ Гоголя... Были, конечно, недостатки и въ его комедіяхъ, но, тѣмъ не менѣе, съ момента ихъ созданія должны мы начинать исторію нашего самобытнаго, «національнаго» театра. Особенное значеніе въ исторіи нашей драмы имѣла его безсмертная комедія: «Ревизоръ». Но, конечно, для историка русской литературы любопытны и первые опыты Гоголя въ области драматургіи. Къ такимъ «опытамъ», предшествующимъ «Ревизору», относятся комедіи: «Игроки», «Женитьба» и отдѣльныя сцены комедіи: «Владиміръ 3-ьей степени».

„Женитьба“. По справедливости, «Женитьбѣ» должно быть присвоено почетное названіе «первой бытовой русской комедіи»: здѣсь ярко изображены типичныя черты чиновничьяго и купеческаго быта. Въ этомъ произведеніи каждое дѣйствующее лицо является представителемъ извѣстнаго сословія. Всѣ они очерчены ярко, характерно, и ничего общаго не имѣютъ съ безжизненными образами прежней комедіи. Яичница, Анучкинъ, Жевакинъ, Агафья Тихоновна, Устинья Наумовна, — все это яркіе образы, хотя и нѣсколько карикатурные, но, тѣмъ не менѣе, живые, облеченные въ плоть и кровь. «И всѣми этими людьми вертитъ и крутитъ Кочкаревъ, натура, безспорно, энергичная, но съ однимъ, очень часто встрѣчающимся, недостаткомъ,—съ отсутствіемъ мысли о томъ, «что изъ всего этого выйдетъ». Ему лишь бы дѣйствовать и суетиться, а какъ на другихъ его суета отзовется,—до этого ему дѣла мало: онъ доволенъ, что вмѣшался, что самъ на виду, и въ этой суетѣ, безъ расчета и плана, все его самоудовлетвореніе. И, рядомъ съ нимъ, его застѣнчивый спутникъ Подколесинъ, этотъ родной братъ Обломова, безъ стремленій, безъ желаній,—съ одной лишь мыслью, чтобы скорѣе прошелъ день, который безконечно тянется. Этого человѣка ничѣмъ не пробудишь къ дѣйствію: онъ, со своей флегмой и пассивностью, устоитъ противъ всякихъ доводовъ разума, или обольщеній мечты; жизнь для него—дремота въ сумерки, и никто, и ничто его отъ этого полусна не пробудитъ... Вскипѣть и заторопиться на мгновеніе онъ можетъ, но лишь затѣмъ, чтобы сейчасъ же впасть въ отчаянье страха передъ поступкомъ» (Котляревскій). Комедія смѣшная, но безотрадная, въ которой выведена цѣлая галлерея лицъ «сѣрыхъ, томительно-скучныхъ и глупыхъ»; жизнь ихъ безсодержательна, безсмысленна, а они этого не замѣчаютъ, не сознаютъ своего духовнаго убожества».

Въ лицѣ Агафьи Тихоновны Гоголь высмѣялъ современное ему купечество, измѣняющее старинѣ, добрымъ старымъ традиціямъ жизни, тяготѣющее къ «новшествамъ». Въ лицѣ Арины Пантелѣевны, и, особенно, въ лицѣ купца Старикова, Гоголь вывелъ положительные типы купечества; національностическія наклонности Гоголя и стремленіе его идеализировать патріархальныя «добрыя времена», ярко сказались въ созданіи этихъ двухъ типовъ.

Современники невѣрно поняли эту комедію, назвавъ ее веселымъ «фарсомъ» [1]). Они обратили все вниманіе на интригу комедіи, дѣйствительно, до-

---

[1]) „Фарсомъ“ называется комедія, построенная исключительно на смѣшныхъ „положеніяхъ“, на неожиданностяхъ, на курьезныхъ qui pro quo.

вольно запутанную и искусственную—и просмотрѣли то обстоятельство, что комизмъ комедіи основывался не только на «положеніяхъ» героевъ, но и на ихъ «характерахъ». По мнѣнію акад. Н. А. Котляревскаго, герои этой комедіи представляютъ собой общечеловѣческіе типы. «Хотя бы тѣ же Подколесинъ и Кочкаревъ... Ихъ можно встрѣтить въ любомъ мѣстѣ и въ любое время: здѣсь они передъ нами въ роли мелкихъ обывателей Петербурга, а сколько такихъ лицъ,—лицъ, прыгающихъ въ окно въ рѣшительную минуту, и лицъ, вносящихъ въ жизнь сумбуръ и суматоху, сколько ихъ дѣйствовало и дѣйствуетъ на широкой аренѣ, общественной и политической?»

Значеніе этого произведенія въ исторіи русской литературы велико: начать съ того, что многіе типы комедій Островскаго изъ купеческаго быта (купеческая дѣвица, ищущая жениховъ некупеческаго званія, типъ свахи, идеальный купецъ патріархальнаго склада, старая приживалка-тетка) развиваютъ и дополняютъ то, что̀ геніально намѣчено Гоголемъ въ его первой «бытовой» комедіи. Затѣмъ замѣтное вліяніе оказала комедія и на романъ Гончарова: «Обломовъ» (взяты—сцена разговора Подколесина со Степаномъ, типъ Подколесина, Кочкаревъ).

Поощряемый друзьями-писателями, толкавшими его на путь «обличителя» русской жизни, Гоголь, чуть было, не сочинилъ комедіи, въ которой, по его словамъ, «правдиво и зло» осмѣивалось высшее столичное чиновничество того времени. Гоголь написалъ уже нѣсколько сценъ для этой комедіи и придумалъ ей названіе: «Владиміръ 3-ьей степени», но потомъ онъ самъ счелъ свои замыслы дерзостью, и отказался отъ мысли сочинить комедію, которую все равно не пропустила бы тогдашняя строгая цензура [1]).

Отъ этой начатой комедіи остались только сцены: «Тяжба», «Утро дѣлового человѣка», «Лакейская» и «Отрывокъ». Обличеніе «бюрократіи», но мелкой, захолустной, Гоголь сдѣлалъ позднѣе въ своей комедіи: «Ревизоръ».

О «комедіи» и вообще о сущности и значеніи «смѣха» Гоголъ думалъ много и серьезно. Наканунѣ перваго представленія «Ревизора», въ 1836 году, онъ напечаталъ замѣчательную статью, въ которой выяснилъ свои взгляды на «смѣшное». Онъ жаловался, что отсутствуетъ на русской сценѣ «высокая комедія», «вѣрный сколокъ съ общества,—комедія, производящая смѣхъ глубокостью своей ироніи,—не тотъ смѣхъ, который производятъ на насъ легкія впечатлѣнія, который рождается бѣглой остротой, мгновеннымъ каламбуромъ,—не тотъ пошлый смѣхъ, который движетъ грубою толпою общества, для произведенія котораго нужны конвульсіи, гримасы природы, но тотъ электрическій, живительный смѣхъ, который исторгается невольно и свободно, который разноситъ по всѣмъ нервамъ освѣжающее наслажденіе, рождается изъ высокаго наслажденія души и производится высокимъ и тонкимъ умомъ». Онъ указывалъ на то, что русскіе писатели гоняются только за интересной искусственной фабулой, не замѣчая того, что въ самой жизни много интереснаго, достойнаго комедіи. Онъ указывалъ на отсутствіе національнаго элемента въ русскихъ пьесахъ;

---

[1]) Въ 1842 году онъ писалъ Погодину, что принялся, было, за ея сочиненіе; въ ней было много „злости, смѣха и соли“. „Но вдругъ остановился, писалъ онъ, увидѣвъ, что перо такъ и толкается о такія мѣста, которыя цензура ни за что не пропуститъ. А что изъ того, когда пьеса не будетъ играться? Драма живетъ только на сценѣ. Безъ нея она, какъ душа безъ тѣла!“

по его словамъ, это происходило потому, что большинство пьесъ были переводными, или передѣланными съ иностраннаго. «Не странно-ли?»—спрашиваетъ Гоголь.— «Тогда, какъ мы больше всего говоримъ теперь объ естественности,—намъ, какъ нарочно, подносятъ подъ носъ верхъ уродливости!.. Русскаго мы просимъ!.. *Своего* давайте намъ!.. Что намъ французы и весь заморскій людъ? Развѣ мало у насъ своего народа? русскихъ характеровъ! своихъ характеровъ! Давайте *насъ самихъ* [1])... Давайте намъ нашихъ плутовъ, которые тихомолкомъ употребляютъ во зло благо, изливаемое на насъ правительствомъ нашимъ, которые превратно толкуютъ наши законы». Въ этой же статьѣ говоритъ Гоголь и о великой нравственной силѣ «смѣха». «О, смѣхъ—великое дѣло!.. Ничего болѣе не боится человѣкъ такъ, какъ смѣха. Онъ не отнимаетъ ни жизни, ни имѣнія у виновнаго, но онъ ему силы связываетъ, и, боясь смѣха, человѣкъ удержится отъ того, отъ чего бы не удержала его никакая сила. Благосклонно склонится око монарха къ тому писателю, который, движимый чистымъ желаніемъ добра, предпримет уличить низкій порокъ, недостойныя слабости и привычки въ слояхъ нашего общества и этимъ подать отъ себя помощь и крылья его правдивому закону. Театръ — великая школа; глубоко его назначеніе: онъ цѣлой толпѣ, цѣлой тысячѣ народа, за однимъ разомъ читаетъ живой, полезный урокъ и, при блескѣ торжественнаго освѣщенія, при громѣ музыки, показываетъ смѣшное привычекъ и пороковъ, или высокотрогательное достоинство возвышенныхъ чувствъ человѣка». Съ такимъ высокимъ пониманіемъ того значенія, которое должна была имѣть его комедія для современниковъ и для исторіи русскаго театра, выступилъ Гоголь передъ русской публикой со своимъ «Ревизоромъ».

„Ревизоръ“.

§ 11. Захолустный городокъ, въ которомъ развертывается дѣйствіе комедіи: «*Ревизоръ*» *(Ист. хрест. стр. 306)* представляетъ собой, въ полномъ смыслѣ слова, «темное царство». Только «смѣхъ» Гоголя яркимъ лучомъ прорѣзаетъ тотъ мракъ, въ которомъ пресмыкаются герои комедіи. Все это—люди мелкіе, пошлые, ничтожные; ни у одного изъ нихъ не теплится въ душѣ «искра Божія»,—всѣ они живутъ безсознательной, животною жизнью. Гоголь обрисовалъ ихъ и какъ общественныхъ дѣятелей, и какъ людей частныхъ,—въ ихъ семейномъ быту, въ кругу друзей и знакомыхъ. Это—не крупные преступники, не злодѣи, а мелкіе плуты, которые живутъ вѣчной тревогой, что придетъ день расплаты...

---

[1]) Что такія слова—не пустыя „общія мѣста“, видно, хотя бы, изъ того, что С. Т. Аксаковъ, до появленія въ свѣтъ комедіи Гоголя, какъ-то сказалъ ему, что въ русской жизни нѣтъ ничего интереснаго для комедіи,—все такъ однообразно, гладко, прилично и пусто,—„даже глупости смѣшной не встрѣтишь,—свѣтъ пустой“. Если такъ смотрѣли на русскую жизнь многіе даже литературные дѣятели,—тѣмъ громаднѣе была заслуга Гоголя, открывшаго „смѣшное въ русской жизни“. Понятно, почему Гоголь страстно сталъ оспаривать приведенныя слова С. Т. Аксакова. Онъ сказалъ, что комизмъ кроется вездѣ, что, живя посреди него, мы его не видимъ; но что, если художникъ перенесетъ его на сцену, то мы уже сами надъ собой будемъ валяться съ смѣху и будемъ дивиться, что прежде не замѣчали его“.

Городничій.

Въ лицѣ городничаго Гоголь изобразилъ чиновника-лихоимца и казнокрада. Изъ всѣхъ своихъ товарищей-чиновниковъ, онъ — хищникъ самый безпощадный. „Такого городничаго“, жалуются купцы Хлестакову, „никогда еще, государь, не было!“... Онъ даже именины свои справляетъ въ годъ дважды, чтобы дважды въ году получать подарки. Онъ не только злоупотребляетъ традиціонными „порядками“ жизни [1]),—онъ обираетъ казну, входя въ мошенническія сдѣлки съ подрядчиками, присвапвая себѣ деньги, ассигнованныя на постройку церкви. Но безобразіе своего лихоимства и казнокрадства онъ понимаетъ очень смутно. Это видно изъ того, что онъ оправдываетъ себя—1) наивнымъ восклицаніемъ: „если что я и взялъ, то ужъ безъ всякой злобы!“—и 2) очень употребительнымъ аргументомъ: „всѣ такъ дѣлаютъ“. „Нѣтъ человѣка, говоритъ онъ, который бы за собой не имѣлъ грѣховъ! Это ужъ такъ самимъ Богомъ устроено,—и вольтерьянцы напрасно противъ этого говорятъ!“

По отношенію къ обывателямъ онъ проявляетъ безпредѣльное самовластіе и произволъ: отдаетъ въ солдаты не того, кого слѣдуетъ,—подвергаетъ сѣченію невинныхъ людей.

Онъ отличается большой практической сметкой—и это его гордость. Онъ самъ говоритъ, что ни одинъ мошенникъ его провести не могъ, что онъ самъ ихъ неразъ „поддѣвалъ на уду“. Онъ яснѣе всѣхъ другихъ чиновниковъ понимаетъ положеніе вещей, и когда тѣ, пытаясь объяснить причину присылки къ нимъ ревизора, заносятся, Богъ знаетъ куда,—онъ, какъ человѣкъ практическій, говоритъ не о *причинахъ посылки ревизора*, а о грядущихъ *послѣдствіяхъ*. Онъ лучше всѣхъ другихъ чиновниковъ города умѣетъ обдѣлывать свои дѣлишки, потому что понимаетъ душу человѣческую, потому что находчивъ и умѣетъ играть на человѣческихъ слабостяхъ... Оттого долго и безнаказанно удается ему лавировать среди различныхъ добродѣтельныхъ губернаторовъ и ревизоровъ.

Онъ очень наивно понимаетъ свои отношенія къ Богу: считая себя настоящимъ христіаниномъ и человѣкомъ образцовой набожности („я въ вѣрѣ твердъ“—говоритъ онъ), подъ религіей понимаетъ онъ только обрядность. Онъ стоитъ еще на той „двоевѣрной“ точкѣ зрѣнія, которая допускаетъ возможность „подкупать“ Бога жертвоприношеніями, въ родѣ пудовой свѣчи [2]).

Свѣтлой чертой городничаго надо признать его добродушіе. Считая себя, благодаря сватовству Хлестакова, безконечно выше всѣхъ въ городѣ, онъ не заносится такъ, какъ его супруга, и остается тѣмъ же простымъ человѣкомъ,—грубовато-радушнымъ и гостепріимнымъ.

Жена его, глупая, ничтожная женщина, до старости сохранившая манеры молодой кокетки-щеголихи, поражаетъ безконечной пустотой своей души. Она помѣшана на „свѣтской жизни“, на нарядахъ,—она воображаетъ себѣ, что еще можетъ нравиться мужчинамъ. Живетъ она сплетнями и интригами уѣзднаго города. Женщина неумная, она легко всему вѣритъ. Когда она рѣшила, что переѣдетъ въ Петербургъ и будетъ тамъ играть роль свѣтской львицы, она не считаетъ необходимымъ скрывать свое презрѣніе ко всѣмъ своимъ недавнимъ друзьямъ и знакомымъ.

Дочь городничаго идетъ по стопамъ матери,—она тоже любитъ наряжаться, тоже любитъ кокетничать, но она еще не испорчена такъ, какъ мать, ложью и пустотой провинціальной жизни и не научилась еще такъ ломаться, какъ ея мать.

Хлестаковъ.

Хлестаковъ—пустой бездѣльникъ, ничтожный, маленькій чиновникъ, весь смыслъ жизни котораго заключается въ томъ, чтобы „пустить кому-нибудь пыль въ глаза“—своими манерами, сигарами,

---

[1]) Купцы, жалуясь Хлестакову, говорятъ, что не прочь дѣлать подношенія городничему—„мы ужъ всегда *порядокъ* исполняемъ“,—говорятъ они.

[2]) „Поставлю такую свѣчу, какой еще никто не ставилъ: на каждаго бестію-купца наложу доставить по три пуда воску!“,—говоритъ онъ.

моднымъ костюмомъ, хлесткими словечками... Онъ хвастаетъ постоянно передъ всѣми и даже передъ самимъ собой. Его ничтожная, безсмысленная и безполезная жизнь жалка, но онъ этого не замѣчаетъ: онъ всегда доволенъ собой, всегда счастливъ... Онъ тщеславенъ, богато надѣленъ „необыкновенною легкостью въ мысляхъ“ и живетъ день за днемъ, не отдавая себѣ отчета, что онъ дѣлаетъ и зачѣмъ живетъ на свѣтѣ. Одинаково легко онъ можетъ сдѣлать зло и добро, и сознательнымъ плутомъ никогда не будетъ: онъ не выдумываетъ никакихъ плановъ, а говоритъ и дѣлаетъ то, что подскажетъ ему его фантазія. Оттого онъ можетъ заразъ сдѣлать предложеніе и женѣ городничаго и дочери, съ полной готовностью на обѣихъ жениться,—можетъ забрать въ долгъ деньги у чиновниковъ, въ убѣжденіи, что современемъ эти деньги отдастъ,—можетъ разолгаться до очевидной чепухи...

Напуганное воображеніе чиновниковъ, ожидавшихъ ревизора, создало изъ этой „сосульки“ ожидаемаго ревизора. Психологически эта ошибка городничаго и его товарищей вполнѣ понятна; она выражается народными пословицами: „пуганая ворона и куста боится“, „у страха глаза велики“.

Другіе чиновники города представляютъ собою мелкія разновидности типа городничаго. Судья—человѣкъ, тоже нечистый на руку, сознающій это, но оправдывающій свои дѣянія [1]); дѣла своего онъ не дѣлаетъ, очень недалекъ и, въ то же время, полонъ самомнѣнія только потому, что обладаетъ смѣлостью говорить о вопросахъ религіозныхъ съ такою свободой, что у друзей его, вѣрующихъ въ Бога, „волосы дыбомъ встаютъ“... Въ лицѣ Земляники Гоголь вывелъ не только казнокрада, но еще мелкаго интригана, который готовъ товарищамъ по бѣдѣ подставить ножку.

Добчинскій и Бобчинскій—олицетвореніе безпросвѣтной пошлости. Они оба дѣломъ никакимъ не занимаются, никакими вопросами религіозными, философскими, политическими, даже въ той скромной мѣрѣ, которая доступна другимъ дѣйствующимъ лицамъ комедіи, не интересуются... Они собираютъ и разносятъ маленькія мѣстныя сплетни; ими питаютъ свое убогое любопытство, ими наполняютъ свою праздную, никому ненужную жизнь...

Въ лицѣ Осипа Гоголь изобразилъ типъ крѣпостного слуги, испорченнаго бездѣльемъ лакейской жизни. Онъ вкусилъ „плодовъ цивилизаціи“ во время жизни въ Петербургѣ,—научился ѣздить на извозчикахъ безплатно, уходя отъ нихъ въ сквозныя ворота; онъ цѣнитъ „галантерейное обращеніе“ столичныхъ мелочныхъ лавокъ и Апраксина двора. Своего легкомысленнаго и пустого барина онъ презираетъ отъ всей своей души потому, что чувствуетъ себя неизмѣримо умнѣе его. Если его баринъ мошенничаетъ по наивности, то онъ—вполнѣ сознательно.

Если сравнить драматическія произведенія Гоголя съ лучшими образцами русской комедіи XVIII и начала XIX столѣтія, то мы увидимъ, что, въ *формальномъ* отношеніи, піесы Гоголя далеко оставляютъ за собой даже пьесы Фонвизина и Грибоѣдова: и «Женитьба», и «Ревизоръ»—первыя русскія *реалистическія* комедіи, почти свободныя отъ узъ псевдоклассическихъ правилъ [2]). Подобно тому, какъ Пушкинъ далъ въ «Борисѣ Годуновѣ» первый образецъ драмы въ «шекспировскомъ» вкусѣ, Гоголь то же самое сдѣлалъ въ области русской комедіи. Онъ первый изъ русскихъ писателей далъ пьесы безъ положительныхъ героевъ, которые въ пьесахъ его предшественниковъ (и у Фон-

---

[1]) Онъ оправдываетъ себя очень распространеннымъ аргументомъ, указывающимъ на *количественную* сторону зла: „грѣхи грѣхамъ рознь!“—говоритъ онъ. Съ его точки зрѣнія, брать взятки „борзыми щенками“—это пустякъ, брать крупныя взятки—это преступленіе.

[2]) Въ обѣихъ пьесахъ соблюдено только единство времени: дѣйствіе пьесъ совершается въ одинъ день.

визина, и у Грибоѣдова) вводились для «контраста»; онъ обошелся безъ любовной интриги, которая во всѣхъ прежнихъ пьесахъ, обыкновенно, связывала идеальнаго героя съ героиней. Онъ, первый изъ русскихъ драматурговъ-комиковъ, введъ *массу* въ дѣйствіе комедіи. Въ пьесахъ псевдоклассическихъ все вниманіе устремлялось, главнымъ образомъ, на героя и героиню, — остальныя немногочисленныя дѣйствующія лица оставались въ тѣни,—они нужны были только для того, чтобы подавать реплики главнымъ героямъ. Въ пьесахъ Гоголя всѣ дѣйствующія лица, существеннымъ образомъ, вовлечены въ дѣйствіе пьесы, и интрига завязана такъ, что въ развертываньи ея принимаютъ участіе *многія* дѣйствующія лица. Наконецъ, подобно Шекспиру и Пушкину, Гоголь въ своихъ бытовыхъ пьесахъ нарисовалъ живыхъ людей, со всѣми своеобразностями ихъ сложныхъ характеровъ, — между тѣмъ, псевдоклассики, слѣдуя примѣру древнихъ комиковъ, выдвигали въ своихъ комедіяхъ готовые шаблонные «типы», дѣлая ихъ носителями опредѣленныхъ страстей [1])...

Но если, въ «формальномъ» отношеніи, обѣ комедіи Гоголя были «новымъ» и очень смѣлымъ словомъ, то въ «*идейномъ*» отношеніи и «Женитьба», и «Ревизоръ», стоятъ ниже многихъ предшествующихъ русскихъ пьесъ даже XVIII-го вѣка. Не только въ комедіяхъ Фонвизина, Грибоѣдова, но даже въ произведеніяхъ менѣе выдающихся,—напр., въ «Ябедѣ» Капниста, встрѣтимъ мы больше сознательнаго отношенія къ русской жизни, больше смѣлости въ ея обличеніи, больше глубины въ ея пониманіи.

Литературная исторія комедіи.

Изъ современныхъ драматурговъ особенное значеніе для исторіи „Ревизора“ имѣетъ Квитка-Основьяненко; среди его пьесъ есть одна, несомнѣнно, повліявшая на сочиненіе „Ревизора“. Эта пьеса называется: „Пріѣзжій изъ столицы, или суматоха въ уѣздномъ городѣ“,—пьеса, по содержанію и по характеру дѣйствующихъ лицъ, очень близкая къ „Ревизору“.

Самъ Гоголь говорилъ, что сюжетъ „Ревизора“ былъ уступленъ ему Пушкинымъ, который передалъ ему разсказъ о дѣйствительномъ случаѣ, происшедшемъ въ одномъ изъ провинціальныхъ русскихъ городовъ [2]). Но содержаніе комедіи Квитки доказываетъ, что, если у Пушкина Гоголь и позаимствовался „идеею“, то многія детали онъ взялъ у Квитки, разработавъ оригинально заимствованное у него.

Критика о „Ревизорѣ“.

Критики отнеслись къ „Ревизору“ очень различно: одни строго осудили эту комедію; другіе ее расхвалили. Такъ, кн. Вяземскій превознесъ комедію Гоголя, поставивъ ее наряду съ „Недорослемъ“ и „Горемъ отъ ума“. Критикъ отрицательно относится къ старой точкѣ зрѣнія псевдоклассиковъ, дѣлившихъ явленія жизни на „низкія“, которыхъ не смѣло изображать истинное искусство,—и на явленія „возвышенныя“, исключительно-доступныя искусству. „Для художника, говоритъ Вяземскій, нѣтъ въ природѣ низкаго, а есть только истинное“. Поэтому Гоголя онъ превоз-

---

[1]) Лучше всего выясняются размѣры реформы, произведенной Гоголемъ въ области русской драматургіи изъ сравненія съ современными ему пьесами Хмельницкаго, кн. Шаховскаго, Загоскина и Квитки-Основьяненко. Произведенія ихъ—легкіе фарсы, въ которыхъ разыгрываются анекдоты изъ какой-то интернаціональной жизни и дѣйствуютъ герои, шаблонно-нарисованные. Если авторы этихъ комедій брались за изображеніе русской жизни, они скользили, обыкновенно, по поверхности этой жизни, не заглядывая въ глубины ея.

[2]) Въ г. Устюжну пріѣхалъ какой-то авантюристъ, выдалъ себя за ревизора и обобралъ чиновниковъ.

несъ, какъ художника-реалиста. Далѣе защищаетъ онъ пьесу Гоголя и отъ тѣхъ критиковъ, которые осуждали ее за отсутствіе морали, отсутствіе положительныхъ типовъ. „Литература не для малолѣтнихъ“, говорилъ онъ, „и авторъ былъ правъ, что нарисовалъ лицо въ томъ видѣ, съ тѣми оттѣнками свѣта и безобразіями, какими они представлялись его взору. Пусть безнравственны лица — нравственно само впечатлѣніе, произведенное комедіей — и въ этомъ ея общественный смыслъ!.. Но надо быть справедливымъ и не преувеличивать самой безнравственности героевъ комедіи. Зачѣмъ клепать на нихъ,—они болѣе смѣшны, нежели гнусны: въ нихъ болѣе невѣжества, необразованности, нежели порочности... Говорятъ, что въ комедіи Гоголя не видно ни одного умнаго человѣка... Неправда!.. Уменъ авторъ. Говорятъ, что въ комедіи Гоголя не видно ни одного честнаго и благомыслящаго лица,— неправда! честное и благомыслящее лицо есть правительство, которое, силою закона поражая злоупотребленія, позволяетъ и таланту исправлять ихъ оружіемъ насмѣшки“. Съ большимъ сочувствіемъ отнесся къ комедіи журналъ Надеждина. Гоголя въ этомъ журналѣ похвалили за „умѣніе схватывать черты характеровъ“,—за то, что пьеса его отличается „народностью“... „Театръ нашъ скоро воскреснетъ“,—говорилъ критикъ,—„скажемъ больше, что мы скоро будемъ имѣть нашъ національный театръ, который будетъ насъ угощать не насильственными кривляньями на чужой манеръ, не заемнымъ остроуміемъ, не уродливыми передѣлками, а художественнымъ представленіемъ нашей общественной жизни“. Дальше критикъ указывалъ, что успѣхъ пьесы объясняется не только тѣмъ, что она „смѣшна“,—„талантъ автора и современность произведенія“ — вотъ, по его словамъ, главныя причины ея успѣха. „Да, она смѣшна, продолжаетъ критикъ, такъ сказать,—снаружи; но внутри—это горегореваньице, лыкомъ подпоясано, мочалами испутано“.

Гоголь о „Ревизорѣ“.

Всѣ эти мнѣнія русскихъ критиковъ, очевидно, не удовлетворили Гоголя: онъ былъ убѣжденъ, что и хвалятъ его, и бранятъ многіе потому, что не понимаютъ тѣхъ цѣлей, къ которымъ стремился онъ самъ, сочиняя свое произведеніе. Желая выяснить истинный смыслъ своей комедіи, Гоголь написалъ нѣсколько разъясненій «Ревизора»: «Развязка Ревизора», «Дополненіе къ „Развязкѣ Ревизора“», «Театральный разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи».

„Развязка Ревизора“.

Въ „Развязкѣ Ревизора“ *(Ист. хрест., стр. 344)* Гоголь пытался придать своей комедіи аллегорическій смыслъ: по его словамъ, городъ, въ который ждутъ ревизора— это наша грѣшная душа, которая бонтся голоса совѣсти. Ревизоръ—это сама совѣсть, „которая заставитъ насъ вдругъ и разомъ взглянуть во всѣ глаза на самихъ себя. Передъ этимъ ревизоромъ ничто не укроется, потому что по Именному Высшему Повелѣнію онъ посланъ“,—говоритъ Гоголь. „Въ нашемъ душевномъ городѣ, продолжаетъ Гоголь, безчинствуютъ страсти, какъ безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей“. Хлестаковъ—это не настоящій ревизоръ,—это продажная „свѣтская совѣсть, которую легко подкупаютъ наши же страсти“. Такъ толковалъ свое произведеніе Гоголь въ то время, когда всѣ опредѣляли его комедію, какъ сатиру на безотрадную русскую дѣйствительность. Никто не понялъ его желанія своей комедіей содѣйствовать очищенію „чиновничьей совѣсти“.

„Театральный разъѣздъ“.

Въ „Театральномъ разъѣздѣ“ *(Ист. хрест., стр. 347)* Гоголь отвѣчаетъ своимъ критикамъ, разбирая ихъ обвиненія, отчасти похвалы... Главныя обвиненія противъ пьесы сводились къ слѣдующему: 1) „Ревизоръ“—не комедія, а фарсъ; 2) построена піеса не по правиламъ: нѣтъ завязки и развязки, нѣтъ добродѣтельныхъ героевъ; 3) комедія есть насмѣшка надъ Россіей; она опасна въ политическомъ отношеніи, такъ какъ подрываетъ государственныя „основы“ русской жизни. Эти обвиненія высказываются зрителями, которые, спускаясь послѣ окончанія представленія по театральной лѣстницѣ, дѣлятся впечатлѣніями, вынесенными изъ театра. На всѣ обвиненія тутъ же изъ толпы слышатся и отвѣты, оправдывающіе

автора и его произведеніе. Одинъ изъ зрителей говоритъ о правильности построенія пьесы, о великомъ общественномъ значеніи серьезнаго комическаго сочиненія. Другой зритель опровергаетъ мнѣніе, будто комедія опасна въ политическомъ отношеніи, причемъ ссылается на слова одного мужичка, сказавшаго по поводу комедіи: „небось, прытки были воеводы, а всѣ поблѣднѣли, какъ пришла царская расправа". Изъ этого восклицанія онъ выводитъ заключеніе, что „основъ" государственной жизни пьеса не затрагиваетъ,—теряется уваженіе только къ порочнымъ слугамъ государства. Тотъ же зритель говоритъ о великомъ нравственномъ значеніи комедіи, приглашая каждаго изъ слушателей внимательнѣе заглянуть въ свое сердце,—поискать, нѣтъ ли тамъ тѣхъ чувствъ и мыслей, которыя высмѣяны авторомъ. Въ концѣ концовъ, въ уста самого „автора" піесы Гоголь вкладываетъ свои собственныя мысли о великомъ очищающемъ значеніи „смѣха". Онъ указываетъ, какая громадная духовная сила сокрыта въ смѣхѣ: его боится всякій,—даже тотъ, „кто уже ничего не боится на свѣтѣ". Серьезный смѣхъ не есть пустозвонство. Осмѣивая зло, юмористъ, тѣмъ самымъ, возвышаетъ идеалъ добра. Вотъ почему сочинитель серьезной комедіи—не гаеръ, не балаганный шутъ-зубоскалъ, а врачъ, который врачуетъ человѣческіе недуги, скорбя въ то же время надъ падшимъ человѣкомъ. „Въ глубинѣ холоднаго смѣха, говоритъ „авторъ", могутъ отыскаться горячія искры вѣчной, могучей любви, и кто льетъ часто душевныя, глубокія слезы,—тотъ, кажется, болѣе всѣхъ смѣется на свѣтѣ".

Какова же идея пьесы? та ли, которую приписывалъ ей Гоголь, или та, которую усмотрѣли въ пьесѣ его современники?.. Исторія литературы даетъ неразъ указанія на то, что даже великіе писатели не всегда вѣрно понимали свои творенія. Геній создаетъ часто безсознательно, но его твореніе оказывается настолько содержательнымъ, что люди иногда въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ думаютъ надъ его творчествомъ; каждая эпоха открываетъ въ его произведеніяхъ такія идеи, которыхъ не подозрѣвалъ, быть можетъ, самъ ихъ творецъ. То же самое произошло съ произведеніемъ Гоголя: служа одной идеѣ, онъ безсознательно послужилъ другой. Авторъ хотѣлъ показать зрителямъ и читателямъ своей пьесы всю низость порочнаго человѣка, не исполняющаго того дѣла, къ которому онъ призванъ своимъ офиціальнымъ положеніемъ. Своихъ героевъ Гоголь судилъ съ точки зрѣнія своего высокаго пониманія значенія государственной службы, и судъ его оказался строгимъ. Но Гоголь не сталъ на общественную точку зрѣнія, которая подсказала бы ему болѣе широкое и глубокое пониманіе причинъ и слѣдствій того зла, которое внесли въ жизнь его герои. Судилъ онъ ихъ только за то, что они угасили въ своей душѣ „искру Божію"—утратили сознаніе своего человѣческаго достоинства, пониманіе смысла и цѣлей жизни. Критика русская глубже поняла „Ревизора" и совершенно справедливо опредѣлила эту комедію, какъ серьезное обличительное произведеніе, имѣющее большую общественную цѣнность.

Изъ повѣстей Гоголя послѣдняго періода, написанныхъ имъ въ Италіи, особенно цѣнны двѣ: «Шинель» и «Мертвыя души».

§ **12**. Основная идея повѣсти: «*Шинель*» *(Ист.* „**Шинель**". *хрест., стр. 296)* очень возвышенна. Положительно можно сказать, что это маленькое произведеніе, по глубинѣ своего содержанія, стоитъ выше всего, написаннаго раньше Гоголемъ. Въ этой повѣсти онъ выступаетъ съ евангельской проповѣдью любви къ ближнимъ, рисуя въ образѣ героя, человѣка «маленькаго», ничтожнаго, малозамѣтнаго, одного изъ «нищихъ духомъ», и утверждая, что это существо достойно и человѣческой любви, и даже уваженія...

Акакій Акакіевичъ Башмачкинъ, незначительный чиновникъ, обиженный судьбою и людьми, не надѣленный никакими способностями, кромѣ умѣнія красиво переписывать бумаги, представленъ человѣкомъ, который не только добросовѣстно, но даже съ любовью занимается своимъ маленькимъ дѣломъ. Переписываніе бумагъ—весь смыслъ и единственная радость его одинокой, полуголодной жизни; ни о чемъ другомъ онъ не мечтаетъ, ни къ чему не стремится и ни на что другое онъ не способенъ. Когда ему, въ видѣ повышенія, дали самостоятельную работу, онъ оказался не въ состояніи эту работу исполнить и просилъ оставить его при перепискѣ. Эта скромность подкупаетъ зрителя, сразу располагая его въ пользу Башмачкина.

Гоголь въ своей повѣсти требуетъ уваженія къ этому человѣку, которому, говоря словами евангельской притчи, былъ данъ „одинъ талантъ“, и этотъ „талантъ“ не былъ имъ зарытъ въ землю. Башмачкинъ, по мнѣнію Гоголя, стоитъ выше даровитыхъ чиновниковъ, занимающихъ видныя мѣста, но небрежно исправляющихъ свои обязанности.

Но не только уваженія къ Башмачкину, какъ къ скромному и честному работнику, требуетъ Гоголь въ своей повѣсти,—онъ требуетъ любви къ нему, какъ къ „человѣку“. Въ этомъ требованіи и заключена высокая моральная идея его произведенія.

Не надѣясь на то, что современные читатели въ состояніи будутъ сами разобраться въ истинномъ значеніи этого произведенія и вѣрно поймутъ «идею» его, Гоголь самъ раскрываетъ смыслъ своей повѣсти, изображая состояніе души одного чуткаго юноши, который понялъ, благодаря встрѣчѣ съ Башмачкинымъ, великое чувство христіанской любви къ ближнимъ. Эгоистическая и легкомысленная молодежь, въ чиновничьихъ вицъ-мундирахъ, любила потѣшаться надъ смѣшнымъ и безотвѣтнымъ старикомъ. Онъ покорно все переносилъ, лишь изрѣдка жалкимъ голосомъ повторяя: «Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?..». И Гоголь продолжаетъ:

„и въ этихъ проникающихъ словахъ звенѣли другія слова: „я—братъ твой!“... И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной, образованной свѣтскости—и, Боже! даже въ томъ человѣкѣ, котораго свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ!“

Башмачкинъ умеръ отъ такой же ничтожной причины, какъ старосвѣтскіе помѣщики,—слишкомъ бездержательна была его жизнь, и оттого до гигантскихъ размѣровъ вырастала въ этой пустой жизни всякая мелочь, всякая случайность. Что для другого человѣка, живущаго полною жизнью, было бы непріятнымъ, но незначительнымъ событіемъ, то для Башмачкина сдѣлалось единственнымъ содержаніемъ жизни.

Кромѣ Башмачкина, Гоголь нарисовалъ въ этой повѣсти нѣсколько чиновниковъ, находящихся на различныхъ ступеняхъ чиновничьей іерархіи. Легкомысленные молодые чиновники, между которыми есть и богачи, и знатные—это толпа, въ которой авторъ увидѣлъ и осудилъ тотъ эгоизмъ, ту «свирѣпую грубость», которой, по его словамъ, онъ много видѣлъ въ самой утонченной, образованной свѣтскости. Въ «значительномъ лицѣ» повѣсти Гоголь изобразилъ человѣка добродушнаго, но тщеславнаго и пустого; генеральскій чинъ вскружилъ ему голову: къ своимъ подчиненнымъ и вообще къ людямъ, ниже его стоящимъ по службѣ, онъ считалъ необходимымъ относиться «строго, распекать ихъ при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ»... Такова была его «система»... И вотъ, человѣкъ добрый въ душѣ, но тщеславный, онъ совершаетъ поступки, въ которыхъ тоже оказывается много самой «свирѣпой гру-

бости»: «человѣческія», гуманныя отношенія къ людямъ вычеркнуты изъ программы его дѣйствій, такъ какъ онъ не желаетъ «унижать» свое званіе внимательнымъ отношеніемъ къ людямъ, низшимъ по своему положенію...

Литературная исторія повѣсти.

Происхожденіе этой повѣсти выяснено историками литературы. Въ основѣ ея лежитъ дѣйствительный случай, происшедшій съ однимъ маленькимъ петербургскимъ чиновникомъ, который долго копилъ деньги, чтобы купить ружье. Добившись, наконецъ, того, чего желалъ, онъ отправился на охоту, нечаянно уронилъ ружье въ рѣку и не могъ его достать. Съ горя онъ чуть не умеръ, но его спасли товарищи, въ складчину купившіе ему новое ружье. Но, кромѣ этого случая, давшаго для повѣсти *сюжетъ*, нельзя не отмѣтить и того обстоятельства, что повѣсть Гоголя органически связана съ русскимъ романомъ XVIII и начала XIX в.

Среди произведеній Чулкова была выше указана повѣсть: „Горькая участь", въ которой нарисованъ чиновникъ, прообразъ Башмачкина. То же ничтожное, мелкое существованіе героя, то же сочувственное, гуманное отношеніе къ этому герою автора. Сентиментализмъ принесъ съ собой проповѣдь любви къ людямъ „малымъ",—и, вотъ, Карамзинъ сдѣлалъ въ своей „Бѣдной Лизѣ", великое открытіе: „и крестьянки чувствовать умѣютъ"; а потомъ, за его „Флоромъ Силинымъ, добродѣтельнымъ крестьяниномъ", въ нашей литературѣ излюбленными сдѣлались образы разныхъ маленькихъ людей, въ сердцахъ которыхъ авторы находили высокія чувства любви къ людямъ, къ родинѣ, къ своему долгу... Пушкинъ раскрылъ въ душѣ безхитростныхъ русскихъ людей (Маша Миронова и ея родители) цѣлый міръ возвышенныхъ чувствъ. Словомъ, это гуманное, благородное вниманіе къ тѣмъ людямъ, мимо которыхъ равнодушно проходитъ толпа, сдѣлалось традиціей русской литературы, и поэтому можно сказать, что разбираемая повѣсть Гоголя органически связана со всей предшествующей русской литературой. Гоголь сказалъ „новое слово" въ этой повѣсти только въ томъ отношеніи, что онъ въ „смѣшномъ", „жалкомъ" нашелъ возвышенное и сумѣлъ свою идею воплотить такъ художественно, какъ это не удалось его предшественнику въ XVIII в.—Чулкову.

Повѣсть Гоголя имѣетъ большое значеніе и для послѣдующей русской литературы. Всѣ первыя произведенія Достоевскаго («Бѣдные люди», «Униженные и оскорбленные»)—представляютъ собою развитіе гуманныхъ идей Гоголя, воплощенныхъ въ его «Шинели». Иностранная критика отмѣтила, что одной изъ самыхъ характерныхъ чертъ русской литературы надо признать тенденцію проповѣдывать состраданіе къ падшему брату, или вообще къ человѣку несчастному, обиженному судьбой и людьми. Дѣйствительно, такова традиція нашей литературы, и можно сказать, что въ исторіи ея укрѣпленія и развитія самое видное мѣсто занимаетъ Гоголь, съ его трогательною повѣстью: «Шинель».

„Мертвыя души".

§ **13**. Самымъ крупнымъ и замѣчательнымъ произведеніемъ Гоголя былъ романъ-поэма: «*Мертвыя души*» *(Ист. хрест., стр. 369).*

Чичиковъ.

Центральной фигурой въ „поэмѣ" является Чичиковъ. Гоголь особенно обстоятельно очертилъ этотъ образъ, который долженъ былъ занимать видную роль и въ слѣдующихъ частяхъ „Мертвыхъ душъ". Обрисовывая своихъ героевъ, Гоголь почти всегда даетъ

намъ, болѣе или менѣе, обстоятельную *исторію* ихъ душъ [1]). Эта исторія, въ его глазахъ, многое объясняетъ въ характерѣ героя, ко многому заставляетъ относиться снисходительнѣе. Вотъ почему обстоятельно разсказываетъ писатель о дѣтствѣ и воспитаніи своего героя. Безпросвѣтно, безотрадно было это дѣтство: бѣдность, отсутствіе любви и ласки, безнравственность черствaго нелюбящаго отца, грязь внѣшняя и внутренняя,—вотъ, та обстановка, въ которой выросъ Чичиковъ, никѣмъ не любимый, никому не нужный... Но судьба надѣлила его желѣзной энергіей и стремленіемъ устроить свою жизнь „*порядочнѣе*“, чѣмъ была жизнь отца-неудачника, нечистоплотнаго и въ нравственномъ, и въ физическомъ смыслѣ. Эта „неудовлетворенность дѣйствительностью“ окрылила энергію маленькаго Чичикова. Изъ раннихъ столкновеній съ нищетой и голодомъ, изъ жалобъ отца на безденежье, изъ наставленія его: „копить деньгу“, такъ какъ, по его словамъ, только на одну „деньгу“ въ жизни и можно было положиться,—вынесъ мальчикъ убѣжденіе, что деньги—основа земного счастья. Оттого „счастьемъ“ жизни стало представляться ему все то, что можно достать деньгами—сытая, роскошная жизнь, комфортъ... Такіе „идеалы“ стали рисоваться ему... И вотъ, онъ началъ „изобрѣтать“ и „пріобрѣтать“: грошъ за грошемъ копилъ онъ деньги, изворачиваясь всячески въ обществѣ товарищей, обнаруживая настойчивость необыкновенную. Еще въ школѣ сталъ онъ „дѣлать карьеру“, поддѣлываясь подъ вкусы учителя, и уже на школьной скамьѣ развилъ онъ въ себѣ способность всматриваться въ человѣческія слабости и умѣло играть на этихъ слабостяхъ, медленно, упорно созидая свою муравьиную работу. Умѣніе подладиться подъ вкусы человѣка помогало ему на службѣ, но оно же развило въ немъ стремленіе дѣлить людей на „нужныхъ“ и „ненужныхъ“—ухаживать за одними и пренебрегать другими. Вотъ почему холодно отнесся онъ къ печальной участи своего бывшаго учителя, вотъ почему онъ никакихъ чувствъ благодарности не питалъ къ старому откупщику, который помогъ ему получить мѣсто. Деньги, какъ главная цѣль жизни,—цѣль низменная, и Чичиковъ пошелъ къ этой цѣли дорогой мошенничествъ и обмановъ...

Между тѣмъ, выйдя на широкій просторъ жизни, онъ расширилъ и углубилъ свои идеалы. Прежнее желаніе обезпечить себѣ сытую, роскошную жизнь смѣнилось другимъ,—онъ сталъ мечтать о спокойной, чистой, семейной жизни, въ обществѣ жены и дѣтей. Тепло, уютно и чисто казалось ему, когда онъ отдавался этой мечтѣ, когда рисовалась ему такая заманчивая картина: въ домѣ—полное довольство; онъ—примѣрный мужъ, уважаемый отецъ и почтенный гражданинъ родной земли. Онъ думалъ, что, когда сбудутся его мечты, онъ забудетъ все прошлое,—свое грязное, безотрадное и голодное дѣтство и тернистую дорогу, обозначенную мошенничествами и плутовствомъ. Ему казалось, что тогда онъ броситъ плутовство,—„исправится“ и сумѣетъ оставить „честное имя“ своимъ дѣтямъ. И вотъ, раньше онъ, плутуя, оправдывалъ себя мыслью, что „всѣ такъ дѣлаютъ“, теперь прибавилось новое оправданіе: „цѣль оправдываетъ средства“,—чтобы современемъ жить честно, можно и мошенничать!..

Немного выше сдѣлались его идеалы, но пути къ нимъ оставались по

---

[1]) Ср. исторію Плюшкина, Тентетникова, исторію жизни русскихъ мужиковъ (см. чтеніе Чичиковымъ списка именъ купленныхъ имъ крестьянъ). Въ уста Муразова Гоголь вкладываетъ объясненіе, почему интересна исторія человѣка. Строгому генералъ-губернатору Муразовъ говоритъ: „Если не примешь во вниманіе и прежнюю жизнь человѣка, если не разспросишь обо всемъ хладнокровно, а накричишь съ перваго разу, запугаешь только его,—да и признанія настоящаго не добьешься; а какъ съ участіемъ его разспросишь, какъ братъ брата,—самъ-съ все и выскажетъ... Затруднительны положенья человѣка, ваше сіятельство, очень, очень затруднительны!.. Бываетъ такъ, что кажется кругомъ виноватъ человѣкъ... а какъ войдешь,—даже и не онъ...“. Такое гуманное отношеніе къ каждому человѣку рекомендуетъ Гоголь въ письмѣ къ „занимающему важное мѣсто“ („Выбранныя мѣста“). Отсутствіе этого гуманнаго вниманія осудилъ онъ въ „Шинели“—въ той сценѣ, когда „значительное лицо“ накричало на Башмачкина.

прежнему грязными!.. И, въ концѣ концовъ, ему самому пришлось сознаться, что „плутоватость“ сдѣлалась его привычкой,—его второй натурой: „нѣтъ больше отвращенія отъ порока!“—жаловался онъ Муразову—„огрубѣла натура; нѣтъ любви къ добру, нѣтъ такой охоты подвизаться для добра, какова есть для полученія имущества!“... Нѣсколько разъ удавалось Чичикову воздвигнуть шаткое зданіе своего благополучія на мошенническихъ продѣлкахъ всякаго рода; нѣсколько разъ былъ онъ близокъ къ осуществленію своихъ завѣтныхъ желаній, и всякій разъ все рушилось,—приходилось все строить сначала...

Чичиковъ отличается необыкновенной силой воли. „Назначеніе ваше—быть великимъ человѣкомъ“,—говоритъ ему Муразовъ, упрекая за то, что великая сила души Чичикова, вся его энергія, были всегда направлены къ нечистымъ цѣлямъ. Объ его энергіи неразъ говоритъ и Гоголь, напримѣръ, характеризуя его многотрудную жизнь, когда ему нѣсколько разъ сызнова приходилось устраивать свою карьеру.

Кромѣ силы воли, Чичиковъ надѣленъ большимъ умомъ, не только практическимъ,—смѣткой, изобрѣтательностью, лукавствомъ и изворотливостью,—но и тѣмъ созерцательнымъ, „философскимъ“ умомъ, который ставитъ его выше другихъ героевъ поэмы. Недаромъ Гоголь именно Чичикова заставляетъ размышлять о судьбѣ русскаго человѣка (чтеніе списка купленныхъ мужиковъ),—о пошлости жизни прокурора, о дурномъ воспитаніи, которое въ Россіи даютъ дѣвицамъ. Недаромъ изъ всѣхъ героевъ Чичиковъ лучше другихъ понимаетъ не только слабости, но и достоинства человѣческія, и, сталкиваясь съ честными людьми (генералъ-губернаторъ, Муразовъ), онъ оказывается способнымъ, именно въ моментъ своего крайняго униженія, нравственно подыматься... Не плутомъ изворотливымъ и лукавымъ является онъ въ обществѣ этихъ добродѣтельныхъ людей, а павшимъ человѣкомъ, который понимаетъ всю глубину и позоръ своего паденія.

Въ своемъ Чичиковѣ Гоголь отмѣтилъ еще одну характерную черту—наклонность къ поэзіи, къ мечтательности... Его минутное увлеченіе барышней, встрѣченной въ пути, увлеченіе губернаторской дочкой, его настроеніе въ домѣ Платоновыхъ, наслажденіе вечеромъ въ имѣніи Пѣтуха, весной—въ деревнѣ Тентетникова, самыя мечты его о тихомъ „благообразномъ“ семейномъ счастьѣ полны дѣйствительной поэзіи.

Образъ Чичикова сразу пошлѣетъ, когда онъ попадаетъ въ общество ничтожныхъ людей. Это происходитъ потому, что онъ всегда подлаживается подъ вкусы тѣхъ людей, съ которыми имѣетъ дѣло,—онъ даже говоритъ и ведетъ себя различно въ обществѣ разныхъ людей: Манилова, Собакевича и Коробочки,—съ первымъ онъ сентиментальничаетъ, мечтаетъ, втирается въ его чувствительное сердце,—со вторымъ онъ дѣловитъ, и, на недовѣріе хозяина, отвѣчаетъ такимъ же недовѣріемъ (сцена съ деньгами и распиской); на безобидную, глупую Коробочку онъ кричитъ, сулитъ ей „чорта“... Когда Чичиковъ оказывается въ „обществѣ“, онъ поддѣлывается подъ „тонъ“ этого общества, легко усваиваетъ тѣ манеры, которыя въ этомъ обществѣ считаются „приличными“,—и потому, въ глазахъ толпы, онъ всегда былъ „приличнымъ“, „благонамѣреннымъ“, „пріятнымъ“... Онъ не шелъ, какъ Чацкій противъ Москвы,—политика Молчалина была ему удобнѣе и легче...

Чичиковъ понимаетъ людей и, когда хочетъ, умѣетъ производить впечатлѣніе для себя выгодное,—даже умнаго Костанжогло онъ очаровываетъ, недовѣрчиваго брата Платонова располагаетъ къ себѣ... Кромѣ того, онъ остороженъ,—даже въ подвыпитіи умѣетъ удержать свой языкъ отъ излишней болтливости... Такой осторожности, очевидно, научила его жизнь. Впрочемъ, иногда и онъ ошибается: такъ ошибся онъ въ отношеніяхъ съ Ноздревымъ и съ Коробочкой. Но эта ошибка объясняется тѣмъ, что и у Ноздрева, и у Коробочки такіе своеобразные характеры, которыхъ сразу не постигъ даже Чичиковъ.

Чичиковъ очень высокаго мнѣнія о себѣ: онъ уважаетъ себя за свою энергію, за свой умъ, за свое „умѣніе жить“... Онъ любитъ себя за свои „чистыя мечты“, которымъ ревностно служитъ; онъ любитъ себя за свое благообразіе, за свой костюмъ, за свои „благородныя манеры“,—словомъ, за то, что, выйдя изъ грязной норы, онъ сумѣлъ сдѣлаться, по его мнѣнію, „порядочнымъ человѣкомъ“.

Страсть къ „пріобрѣтенію“ наложила на него печать „мелочности“: онъ собираетъ въ свою шкатулку даже старыя афиши,—черта, достойная Плюшкина. Устройство его шкатулки, съ ящичками и секретными отдѣленіями, напоминаетъ комодъ Коробочки, съ мѣшечками для гривенниковъ, двугривенныхъ... Еще въ школѣ Чичиковъ началъ копить деньги по методу Коробочки. Мелочность Чичикова выражается и въ его любопытствѣ: онъ всегда выспрашиваетъ половыхъ, слугъ,— собираетъ всевозможныя свѣдѣнія „на всякій случай“,—совершенно такъ, какъ Плюшкинъ собиралъ разные предметы въ своемъ кабинетѣ.

Отмѣчаетъ Гоголь, правда, не безъ ироніи, вскользь, еще одну черту Чичикова—его „сострадательность“: онъ всегда подавалъ нищимъ гроши. Но сострадательность эта „грошовая“,—Чичиковъ не способенъ на самопожертвованіе, на отреченіе отъ какихъ-нибудь благъ въ пользу ближняго... У Чичикова вообще нѣтъ любви къ ближнему. Онъ не поднялся выше любви семейной,—по существу своему, чувства все-таки эгоистическаго.

Если Гоголь, дѣйствительно, хотѣлъ на Чичиковѣ показать возможность возрожденія порочнаго человѣка, то надо сознаться, что выборъ героя сдѣланъ былъ имъ удачно. Мы видѣли, что сложная натура Чичикова богата была самыми разнообразными качествами.

Кромѣ указанныхъ чертъ, Гоголь отмѣтилъ въ душѣ своего героя наличность сознательности,—Чичиковъ знаетъ, что совершаетъ зло, но онъ утѣшаетъ себя мыслью, что это „дѣланіе зла“ въ его жизни—лишь „переходный моментъ“. Несомнѣнно, въ этомъ умѣніи отличить „добро“ и „зло“—кроется источникъ его возрожденія. Это возрожденіе тѣмъ для него легче, что, въ сущности, жизненные идеалы („чистое семейное счастье“) его были, если не особенно высоки, то, все же, безупречны. Къ тому же въ душѣ его имѣются мягкіе элементы поэзіи и мечтательности. Вѣроятно, именно на этихъ положительныхъ качествахъ Чичикова и думалъ Гоголь построить его возрожденіе.

Въ первой части своей поэмы Гоголь, кромѣ Чичикова, вывелъ цѣлый рядъ помѣщиковъ и чиновниковъ. Между помѣщиками есть люди хозяйственные (Собакевичъ, Коробочка) и бездѣльники, разоряющіе свое хозяйство (Маниловъ, Ноздревъ, Плюшкинъ); между чиновниками есть безобидные (губернаторъ, вышивающій по тюлю, почтмейстеръ, прокуроръ и др.), есть плуты и взяточники различныхъ степеней и оттѣнковъ, добродушные и злостные,—но нѣтъ ни одного „*человѣка*“ въ томъ высокомъ значеніи этого слова, которое связываетъ Гоголь съ этимъ понятіемъ, когда рисуетъ уродовъ первой части „Мертвыхъ душъ“. Критикуя Плюшкина, Гоголь даетъ намъ понять, что съ словомъ: „человѣкъ“ онъ соединяетъ представленіе о существѣ, полномъ благородныхъ движеній души, надѣленномъ яснымъ сознаніемъ того, что такое жизнь, каковы ея смыслъ и цѣль (размышленія Чичикова по случаю смерти прокурора), каковы обязанности человѣка къ семьѣ, обществу, государству. Ни у кого изъ этихъ перечисленныхъ лицъ нѣтъ сознанія „долга“ [1]) передъ родиной и людьми,—всѣ они ведутъ безсознательную, пошлую жизнь, день за днемъ... Духовные интересы ихъ ничтожны. Такимъ образомъ, „темный уголокъ“ Руси, изображенный Гоголемъ въ „Ревизорѣ“, — въ „Мертвыхъ Душахъ“ разросся въ обширное „темное царство“.

Собакевичъ. Въ лицѣ Собакевича Гоголь изобразилъ дворянина-„кулака“, захолустнаго медвѣдя, грубаго, плутоватаго (помѣстилъ въ списокъ мужиковъ имя бабы, поддѣлавъ конецъ имени). Духовныхъ интересовъ у него нѣтъ никакихъ,—его „душа“ проситъ только ѣды, основательной, богатырской... На людей онъ смотритъ съ недовѣріемъ (сцена съ расплатой Чичикова и распиской); онъ—большой пессимистъ и ругатель. Къ „просвѣщенію“ онъ относится критически, понимая, впрочемъ, подъ „просвѣщеніемъ“ только модную изысканность блюдъ во вкусѣ французской кухни. Человѣкъ онъ практическій, хитрый,—и потому умѣетъ ловко обдѣлывать свои дѣла. Хозяинъ онъ хорошій; и самъ онъ живетъ въ теплѣ и сытости, и крестьяне у него сыты и здоровы; ихъ онъ бережетъ съ эгоистической точки зрѣнія, какъ необходимый ему рабочій скотъ.

---

[1]) Ср. разсужденія Костанжогло о „долгѣ“ помѣщиковъ, рѣчь генералъ-губернатора о долгѣ чиновниковъ, Муразова—о долгѣ человѣка.

Коробочка

Домовитой хозяйкой представлена въ поэмѣ Коробочка; но это человѣкъ другого масштаба,—все въ ней мелко: и душа, и жизнь ея, и хозяйство... Глупая и темная старуха, суевѣрная, туго соображающая, она ловко устраиваетъ свое существованіе, потому что, при всей своей глупости, хитра, расчетлива, осторожна; къ людямъ она тоже относится подозрительно, недовѣрчиво; подобно Собакевичу, она всегда „на-сторожѣ“, будучи убѣждена въ душѣ, что человѣкъ человѣку—врагъ. Свое черствое, суровое міросозерцаніе она хитро и умѣло прикрываетъ своею слезливостью, жалобами на свою вдовью безпомощность; она бѣднится изъ хитрости, а въ комодѣ ея, вмѣстѣ со всякими старыми юбками, лежатъ и толстѣютъ мѣшечки съ гривенниками и двугривенными. Она—такая же скопидомка, какъ Собакевичъ. Ко всякимъ „новшествамъ“ она, какъ и онъ, относится съ недовѣріемъ; у обоихъ слишкомъ узокъ хозяйственный кругозоръ; у обоихъ—полное отсутствіе фантазіи, ширины и свободы замысловъ.

Плюшкинъ.

Въ лицѣ Плюшкина вывелъ Гоголь скрягу-психопата; Гоголь указалъ въ этомъ жалкомъ старикѣ ужасныя слѣдствія страсти „пріобрѣтать“, —когда само пріобрѣтеніе дѣлается цѣлью, когда теряется смыслъ жизни... Гоголь подробно разсказываетъ намъ, какъ изъ разумнаго практическаго человѣка, полезнаго для государства и семьи, Плюшкинъ обратился въ „наростъ на человѣчествѣ“, въ какую-то отрицательную величину, „въ прорѣху“... Для этого ему нужно было только утратить смыслъ жизни. Прежде онъ работалъ для семьи. Его идеалъ жизни былъ тотъ же, что и у Чичикова,—и онъ былъ счастливъ, когда шумная, радостная семья встрѣчала его, возвращающагося отдохнуть домой. Потомъ жизнь его обманула,—онъ остался одинокимъ, злобнымъ старикомъ, которому всѣ люди стали казаться ворами, лгунами, разбойниками... Нѣкоторая наклонность къ черствости съ годами увеличивалась; жестче дѣлалось сердце; тускнѣлъ прежде ясный хозяйственный глазъ,—и Плюшкинъ потерялъ способность различать крупное отъ мелкаго, нужное отъ ненужнаго — все вниманіе, всю свою бдительность устремилъ онъ на домашнее хозяйство, на свои кладовыя, ледники... Крупнымъ хлѣбнымъ хозяйствомъ пересталъ онъ заниматься, — и хлѣбъ, главное основаніе помѣщичьяго благосостоянія, — годами гнилъ въ сараяхъ, а онъ въ это время собиралъ всякую рухлядь въ свой кабинетъ,—даже у своихъ же мужиковъ кралъ ведра и другія вещи... Онъ терялъ сотни, тысячи, такъ какъ не хотѣлъ уступить копейки, рубля... Онъ выжилъ совсѣмъ изъ ума, и душа его совсѣмъ измельчала и опошлѣла... Плюшкинъ сдѣлался рабомъ своей страсти, жалкимъ скрягой, живущимъ впроголодь, въ лохмотьяхъ... Нелюдимый, угрюмый, доживалъ онъ свою ненужную жизнь, вырвавъ изъ сердца даже родительскія чувства къ дѣтямъ...

Плюшкина можно сопоставить со „скупымъ рыцаремъ“ Пушкина,—только въ Пушкинскомъ героѣ „скупость“ представлена въ трагическомъ освѣщеніи... Пушкинъ показалъ, что сдѣлало золото съ человѣкомъ доблестнымъ, человѣкомъ крупнымъ,—Гоголь показалъ, какъ извратила „копейка“ душу обыкновеннаго „средняго человѣка“...

Впрочемъ, Гоголь, такъ гуманно относящійся ко всѣмъ людямъ, даже къ падшимъ, не могъ не бросить луча свѣта въ деревянное сердце своего героя: когда Плюшкинъ вспомнилъ свое дѣтство, школу, товарищей,—на минуту согрѣлось его сердце, теплѣе сдѣлался его потухшій взоръ... Такъ и въ сердцѣ скупого барона воспоминаніе о былой дружбѣ съ умершимъ герцогомъ, о дняхъ боевой славы, тоже согрѣваетъ его охладѣвшее сердце...

Маниловъ.

Интересный образъ представляетъ собою Маниловъ. Самъ Гоголь призналъ, что рисовать такіе характеры очень трудно: въ Маниловѣ нѣтъ ничего яркаго, рѣзкаго, бросающагося въ глаза. Такихъ расплывчатыхъ, неопредѣленныхъ образовъ много въ свѣтѣ, говоритъ Гоголь; на первый взглядъ, они всѣ похожи другъ на друга, но стоитъ вглядѣться въ нихъ, и только тогда усмотришь въ нихъ „много самыхъ неуловимыхъ особенностей“. „Одинъ Богъ развѣ могъ сказать, какой былъ характеръ Манилова“,—продолжаетъ Гоголь,—„есть родъ людей, извѣстныхъ подъ именемъ: „люди такъ себѣ, ни то, ни се,—ни въ городѣ Богданъ, ни въ селѣ Селифанъ“. Изъ этихъ словъ мы заключаемъ, что главное затрудненіе для Гоголя представляло не

столько внѣшнее опредѣленіе характера Манилова, сколько внутренняя оцѣнка его: хорошій человѣкъ онъ, или нѣтъ?.. Неопредѣленность Манилова и объясняется тѣмъ, что онъ ни добра, ни зла не дѣлаетъ, а мысли и чувства его безупречны. Онъ—мечтатель, сентименталистъ; онъ напоминаетъ собою героевъ различныхъ сентиментальныхъ, отчасти романтическихъ произведеній конца XVIII-го начала XIX-го вѣка: тѣ же мечты о дружбѣ, о любви, та же идеализація жизни и человѣка, тѣ же высокія слова о добродѣтели, и „храмы уединеннаго размышленія“, и „сладкая меланхолія“, и слезы безпричинныя, и сердечные вздохи... Приторнымъ, слащавымъ называетъ Гоголь Манилова... Скучно съ нимъ всякому „живому“ человѣку... Совершенно такое же впечатлѣніе производитъ на человѣка, избалованнаго художественной литературой XIX-го вѣка, чтеніе старыхъ сентиментальныхъ повѣстей,—та же приторность, та же слащавость и, въ концѣ концовъ, та же скука...

Но сентиментализмъ у насъ захватилъ нѣсколько поколѣній, и потому Маниловъ—живой человѣкъ, отмѣченный не однимъ Гоголемъ. Гоголь только отмѣтилъ карикатурную сторону его созерцательной натуры, указавъ на безплодность жизни сентиментальнаго человѣка, живущаго исключительно въ мірѣ своихъ тонкихъ настроеній. И вотъ, тотъ образъ, который для людей конца XVIII-го вѣка считался „идеальнымъ“, у Гоголя представленъ „пошлякомъ“, коптителемъ неба, живущимъ безъ пользы для родины и людей, не понимающимъ смысла жизни... Маниловъ—карикатура на „прекраснодушнаго человѣка“ (die schöne Seele); это—изнанка Ленскаго... Недаромъ самъ Пушкинъ, рисуя поэтическій образъ своего юноши-поэта, боялся, что, если бы онъ остался въ живыхъ и подольше пожилъ бы впечатлѣніями русской дѣйствительности, то подъ старость, отяжелѣвъ отъ сытой, бездѣльной жизни въ деревнѣ, онъ легко обратился бы въ „пошляка“. И Гоголь нашелъ, во что онъ могъ бы обратиться—въ человѣка, напоминающаго собою Манилова.

Цѣли жизни у Манилова нѣтъ,—въ его душѣ нѣтъ никакой страсти... Оттого нѣтъ въ немъ задора, нѣтъ жизни.. Хозяйствомъ онъ не занимался; мягкій и гуманный въ обращеніи съ крестьянами, онъ ихъ отдаетъ на полный произволъ приказчика-плута, и имъ отъ этого, конечно, было не легко...

Чичиковъ легко понялъ Манилова и ловко разыгралъ съ нимъ роль такого же „прекраснодушнаго“ мечтателя; онъ засыпалъ Манилова витіеватыми словами, очаровалъ нѣжностью своего сердца, разжалобилъ жалкими фразами о своей бѣдственной судьбѣ и, наконецъ, погрузилъ его въ міръ мечты, „паренія“, „духовныхъ наслажденій“... „Магнетизмъ души“, грезы о вѣчной дружбѣ, мечты о блаженствѣ философствовать вдвоемъ въ тѣни вяза,—вотъ, мысли, чувства и настроенія, которыя Чичиковъ ловко сумѣлъ создать въ Маниловѣ...

Ноздревъ. Полную противоположность Манилову представляетъ Ноздревъ. Насколько Маниловъ—натура, въ себя углубленная, живущая въ своемъ собственномъ мірѣ, настолько Ноздревъ—натура „общественная“, человѣкъ, не имѣющій никакого собственнаго міра... Это—общественный паразитъ, который не можетъ существовать безъ людей. Хозяинъ онъ никуда негодный, семьянинъ—тоже: онъ—картежникъ-шуллеръ, барышникъ, собутыльникъ,—словомъ, онъ можетъ жить только въ „обществѣ“... Чѣмъ больше народу, тѣмъ онъ чувствуетъ себя лучше, тѣмъ откровеннѣе раскрываетъ онъ себя... Это—лгунъ и хвастунъ по профессіи,—крайняя степень Хлестакова, который вралъ только тогда, когда разыгрывалась его фантазія. Въ противоположность ему, Ноздревъ вретъ всегда,—и пьяный, и трезвый, когда это ему было нужно и когда не надо,—вретъ, не разбирая, вѣрятъ ему, или нѣтъ... Это—человѣкъ „изолгавшійся“. Легкость въ мысляхъ у него необыкновенная,—такая же, какъ у Хлестакова,—оттого мысль у него скачетъ непослѣдовательно: одна фраза часто логически не связывается съ другой (ср. разсказъ его объ ярмарочныхъ развлеченіяхъ). Жизнерадостный, суетливый, онъ всегда доволенъ собой и своей жизнью. Самолюбія у него нѣтъ, оскорбленій никакихъ онъ не боится, и поэтому, взбалмошный и задорный, онъ легко наноситъ оскорбленія другимъ, не разбирая людей, не задумываясь о будущемъ; съ людьми онъ совершенно не считается, ни подъ кого не подлаживается и во всѣхъ видитъ только себя—то есть безшабашнаго гуляку, добродушнаго, беззаботнаго плута, для котораго

суета и плутовство даютъ возможность наполнить чѣмъ-нибудь свою безпокойную жизнь,—средство занять чѣмъ-нибудь праздныя силы своей пошлой, но сильной натуры. Эта жажда жизни, дѣятельности, неразумно направленная, и создаетъ изъ него безпокойнаго человѣка, „историческаго человѣка“-скандалиста, который готовъ навредить кому угодно не по злобѣ, а вслѣдствіе „неугомонной юркости и бойкости характера“. Это—натура стихійная,—онъ не воленъ въ своихъ поступкахъ, въ своихъ словахъ... Его моральное безволіе удивительно сочетается у него съ наличностью энергіи (онъ можетъ на недѣлю запереться въ домѣ для подбиранія картъ), съ рѣшительностью и настойчивостью... Въ лицѣ его Гоголь вывелъ сильнаго, но ничтожнаго человѣка, въ жизни котораго нѣтъ никакой цѣли и смысла: онъ предпріимчивъ, какъ Чичиковъ, но его предпріимчивость безцѣльна, безсмысленна, а потому и все существованіе его—безнадежная глупость. Его Гоголь не выбралъ бы въ герои возрожденія.

§ 14. Опредѣлить основную идею «Мертвыхъ душъ» не совсѣмъ просто, прежде всего потому, что мы имѣемъ лишь *первую* часть этого произведенія, да отдѣльные, разрозненные куски *второй*. Такимъ образомъ, судить обо *всемъ* произведеніи мы не имѣемъ возможности. По собственному признанію Гоголя, онъ началъ писать свое произведеніе, не задаваясь никакими серьезными цѣлями. Пушкинъ подсказалъ ему сюжетъ, благодарный для его таланта; Гоголь увлекся комизмомъ тѣхъ положеній, которыя легко вплетались въ этотъ сюжетъ,—и сталъ, по его собственному признанію, писать «карикатуру». Такъ создались лучшія страницы первой части «Мертвыхъ душъ»—тѣ страницы, которыя вызвали у Пушкина восклицаніе: «Господи, какъ грустна Русь!». Восклицаніе это поразило Гоголя—онъ увидѣлъ, что изъ его шутливаго, несерьезнаго произведенія можетъ выйти нѣчто крупное. И вотъ тогда, поощренный Пушкинымъ, онъ задумалъ въ своемъ произведеніи показать «съ одного боку Россію», т. е. еще полнѣе, чѣмъ въ «Ревизорѣ» [1]), изобразить отрицательныя стороны русской жизни.

Чѣмъ болѣе углублялся Гоголь въ свое произведеніе,—тѣмъ сложнѣе, искусственнѣе и тенденціознѣе дѣлались его замыслы. Прежде всего, онъ задумалъ расширить предѣлы изображаемаго,—захотѣлъ показать Россію ужъ не «съ одного бока», а всю цѣликомъ—все зло и все добро, въ ея жизни заключенное. И тогда произведеніе его, въ его замыслахъ, разрослось въ три части. Эти три части «Мертвыхъ душъ» должны были, въ законченномъ видѣ, соотвѣтствовать тремъ частямъ дантовской «Божественной комедіи»: первая часть «Мертвыхъ душъ», посвященная изображенію одного зла, должна была соотвѣтствовать «Аду»; вторая часть, въ кото-

[1]) Въ „Ревизорѣ“ представленъ былъ, по мнѣнію Гоголя, „уголокъ“ Россіи,—въ „Мертвыхъ душахъ“ онъ хотѣлъ представить всю Россію, хотя бы и „съ одного бока“.

рой начинается возрожденіе души героя и вводятся уже нѣкоторые положительные типы, отвѣчала бы «Чистилищу», и, наконецъ, въ заключительной, третьей, части Гоголь хотѣлъ представить въ апоѳеозѣ все то добро, которое заключается въ душѣ «русскаго человѣка»... Эта часть должна была соотвѣтствовать «Раю». Такимъ образомъ, въ мысляхъ Гоголя создалось то искусственное, громоздкое построеніе будущаго произведенія, съ которымъ справиться оказался онъ, однако, не въ состояніи [1]).

Итакъ, самъ Гоголь даетъ намъ три толкованія своей поэмы— 1) сначала это произведеніе должно было дать безхитростное изображеніе своеобразныхъ лицъ и характеровъ, взятыхъ изъ русской жизни. Характерная черта, объединяющая почти всѣхъ героевъ первой части—безотрадная пошлость, безсознательное отношеніе къ жизни, непониманіе ея цѣлей и смысла: съ «этого боку» представилъ онъ «русское общество» въ первой части своего произведенія. 2) Затѣмъ, въ дальнѣйшемъ, это произведеніе должно было охватить всю Россію, — все зло и добро, въ ней заключенное,—и наконецъ,—3) произведеніе это должно было служить ему лично,— дѣлу его личнаго духовнаго самосовершенствованія. На себя Гоголь смотрѣлъ, какъ на «моралиста», который не только укажетъ согражданамъ на то зло, которое вносятъ въ жизнь отдѣльные порочные дѣятели, но нарисуетъ и тѣ идеалы, которые спасутъ родину.

Нетрудно понять, что для читателя «Мертвыхъ душъ» необязательны всѣ эти толкованія: читатель имѣетъ передъ глазами только *первую* часть поэмы, въ которой мелькаютъ лишь случайныя обѣщанія на то, что въ будущемъ разсказъ приметъ иной характеръ. Поэтому приходится судить гоголевское произведеніе, оставивъ замыслы и обѣщанія автора. И вотъ, современная и послѣдующая критика, вопреки Гоголю, опредѣлила сама идею произведенія. Какъ раньше въ «Ревизорѣ», такъ теперь, въ «Мертвыхъ душахъ», усмотрѣно было желаніе автора высмѣять отрицательныя

---

[1]) Но, кромѣ этой надуманности композиціи, еще моральныя тенденціи помѣшали Гоголю свободно творить. Все выраставшія заботы о своемъ „душевномъ дѣлѣ“, объ очищеніи своего сердца, пагубнымъ образомъ отразились на его творчествѣ. И вотъ, въ своей поэмѣ понемногу сталъ онъ изображать и казнить свои собственные, воображаемые и дѣйствительные, „пороки“. „Герои мои потому близки душѣ, говоритъ онъ, что они изъ души“,—„всѣ мои послѣднія сочиненія—исторія моей собственной души“. Онъ самъ сознавался, что, когда въ немъ усиливалось желаніе избавиться отъ разныхъ душевныхъ пороковъ, онъ „сталъ надѣлять своихъ героевъ“, сверхъ ихъ собственныхъ „гадостей“—своими собственными. И, по его словамъ, это помогало ему самому дѣлаться лучше...

стороны русской жизни, зависѣвшія, съ одной стороны, отъ крѣпостного права,—съ другой стороны, отъ системы управленія Россіей. Такимъ образомъ, основная «идея» дошедшей до насъ первой части «Мертвыхъ душъ» большинствомъ русскихъ критиковъ была признана «обличительной», авторъ, въ глазахъ критики и публики, представился сатирикомъ, смѣло бичующимъ зло современной ему русской дѣйствительности.

c) Третій періодъ дѣятельности Гоголя.

Третій періодъ литературной дѣятельности Гоголя.

§ **15.** Гоголь сжегъ вторую часть своихъ «Мертвыхъ душъ», но сохранившіеся отрывки этого произведенія позволяютъ высказать предположеніе, что, дѣйствительно, идея этой второй части была уже иная: въ *первой части* Гоголь судилъ русское общество съ точки зрѣнія содержательности его жизни и пришелъ къ печальному выводу, — русская жизнь оказалась безсмысленной, пошлой, — почти всѣ герои (кромѣ Чичикова) оказались «безнадежно-мертвыми душами»,— ни одинъ не подошелъ, сколько-нибудь, подъ то идеальное пониманіе «человѣка», которое выработалось у писателя... Въ отрывкахъ *второй части* чувствуется иное отношеніе къ русскому обществу: и герои здѣсь уже не животныя (кромѣ Пѣтуха, которому, собственно, мѣсто въ первой части), и отношеніе къ нимъ автора другое... Глубже, гуманнѣе относится теперь Гоголь къ падшему человѣку: горячей, мучительной любовью къ ближнему проникнуты тѣ страницы, гдѣ говоритъ у него Муразовъ,—гдѣ авторъ разсказываетъ о Хлобуевѣ, объ униженіи Чичикова... Это «гуманное» отношеніе къ людямъ—и есть основная «идея» сохранившихся отрывковъ второй части. И замѣчательно, что именно эти разрозненныя главы, по настроенію своему, гораздо ближе къ лучшимъ произведеніямъ Достоевскаго, Тургенева, Гончарова, Островскаго, чѣмъ законченныя и отдѣланныя главы 1-ой части.

Гоголь хотѣлъ создать «положительные» русскіе типы, но, очевидно, онъ не сумѣлъ художественно выполнить своего замысла,—онъ лишь *намѣтилъ* образы, воплощающіе этотъ замыселъ. Писатели-реалисты, его ученики, слѣдуя за нимъ, нарисовали намъ тѣ идеальныя лица изъ русской дѣйствительности, которыя не дались ему [1])... Это

[1]) Такъ, напримѣръ, его желаніе нарисовать идеальную русскую дѣвушку въ лицѣ Улиньки ему не удалось,—но, вмѣсто него, эту задачу разрѣшили Тургеневъ, Островскій, Л. Толстой и др.

реалистическое изображеніе «добра» создало новую эру въ русской литературѣ. Оно неразрывно связалось съ *проповѣдью* гуманности, съ *проповѣдью* любви къ человѣку. Такъ незамѣтно, постепенно, благодаря Гоголю, русская литература, въ сущности, вернулась къ проповѣди идеаловъ христіанства. Въ зависимости отъ этого, самое значеніе писателя измѣнилось. Раньше, въ XVIII-омъ вѣкѣ, писатель былъ мирнымъ «одописцемъ-виршеплетомъ», былъ «гражданиномъ», былъ «сатирикомъ», въ началѣ XIX-го столѣтія онъ былъ, какъ Пушкинъ—«человѣкомъ», въ самомъ лучшемъ значеніи этого слова, изображавшимъ въ художественныхъ образахъ добро и красоту жизни, но никто изъ писателей XVIII—XIX-го в. до Гоголя не былъ «проповѣдникомъ *слова Божія*», проповѣдникомъ *евангельской* любви. А послѣ него почти всѣ лучшіе наши писатели сдѣлались такими «проповѣдниками» (Достоевскій, Л. Толстой и др.). Такимъ образомъ писательское слово у него и у его учениковъ вернуло себѣ то значеніе, которое имѣло оно въ древней Руси...

Въ дошедшихъ до насъ главахъ *второй части* яснѣе вырисовываются идеалы общественной жизни, какъ они представлялись теперь Гоголю. Дворянинъ, по его убѣжденію, долженъ былъ «сидѣть на землѣ», быть отцомъ для крестьянъ, вѣрнымъ слугою отечеству. Служба его заключается въ заботахъ о процвѣтаніи своего имѣнія, о довольствѣ его самого и его крестьянъ, потому что, по мнѣнію Гоголя, процвѣтаніе родины зависѣло отъ процвѣтанія тѣхъ единицъ, изъ которыхъ слагается государство. Такимъ образомъ, не на реформахъ и не на новшествахъ строилъ Гоголь это благополучіе родины, а на возстановленіи и укрѣпленіи патріархальной, но «поисшатавшейся старины» [1]). Обязанности чиновника, купца, человѣка сводились, по его мнѣнію, къ выясненію своего «долга» передъ людьми и Богомъ, и къ святому выполненію этого долга... По его мнѣнію, никто не долженъ былъ гоняться за большимъ, никто не долженъ былъ выходить за тѣ предѣлы, въ которые поставленъ былъ судьбой. Обязанности начальствующихъ лицъ—относиться къ людямъ, ниже ихъ стоящимъ, такъ же патріархально-гуманно, какъ помѣщикъ долженъ былъ относиться къ своимъ крѣпостнымъ.

Въ апоѳеозѣ представилъ Гоголь «трудъ»,—неустанный трудъ вездѣ,—на всѣхъ областяхъ человѣческой дѣятельности. Особенно рельефно подчеркнулъ онъ значеніе труда жизнью и рѣчами Костан-

---

[1]) Ср. попытку Москвы XVI в. улучшить жизнь очищеніемъ жизни въ духѣ старины.

жогло. «Самъ возьми въ руку заступъ,—говоритъ этотъ герой Гоголя,—жену, дѣтей, дворню заставь... Умри на работѣ!.. Умрешь, по крайней мѣрѣ, исполняя долгъ». Если мы этотъ «гимнъ труду», даже физическому, сопоставимъ съ тѣмъ «тяготѣніемъ къ землѣ», которое такъ явственно чувствуется во многихъ другихъ отрывкахъ второй части «Мертвыхъ душъ», мы убѣдимся, что Гоголь—предшественникъ Льва Толстого, тоже призывавшаго и къ «землѣ», и къ «труду».

Въ своей поэмѣ Гоголь часто съ тревогой и любовью говоритъ о «русскомъ человѣкѣ», объ его душевныхъ качествахъ [1]), — отмѣчаетъ онъ и недостатки русскаго характера, отмѣчаетъ и достоинства его... Во второй части онъ, видимо, старался эти отдѣльныя, подмѣченныя имъ, разрозненныя черты воплотить въ живыхъ образахъ,—оттого типы первой части болѣе широки, болѣе общечеловѣчны,—типы второй, хотя и блѣднѣе очерчены, типы болѣе русскіе... Быть можетъ, этимъ объясняется, что именно имъ суждено было произвести литературное потомство въ послѣдующей русской литературѣ.

Тентетниковъ.

Изъ типовъ второй части наибольшею обработкою отличается образъ Тентетникова. Это—человѣкъ съ хорошимъ сердцемъ, недюжиннымъ умомъ, человѣкъ съ честными принципами, съ тонкимъ чувствомъ чести и самолюбіемъ, но человѣкъ, по словамъ Гоголя, „недодѣланный“: у него отъ природы нѣтъ огня въ сердцѣ, а извнѣ этотъ огонь къ нему не былъ привитъ, такъ какъ рано умеръ его идеальный учитель Александръ Петровичъ. Учитель успѣлъ лишь развить въ душѣ юноши хорошія чувства,—оставалось только воспламенить его... Но этого не произошло, и „невоспламененнымъ“ вступилъ Тентетниковъ въ жизнь. Мечталъ онъ сослужить родинѣ великую службу на поприщѣ чиновничьемъ; для этого даже поѣхалъ въ Петербургъ, но ничтожность предоставленной ему работы скоро погасила рвеніе молодого чиновника, мечтавшаго о болѣе широкомъ полѣ дѣятельности. Къ тому же онъ не сошелся со своимъ начальствомъ,—вотъ почему безъ сожалѣнія бросилъ онъ службу и уѣхалъ въ деревню, съ мечтами служить отечеству въ качествѣ дворянина-помѣщика. Но выдержки не хватило и здѣсь. Неумѣло взялся онъ за улучшеніе жизни крестьянъ, и изъ его благихъ начинаній ничего не вышло,—даже школа, имъ заведенная, не имѣла успѣха, а поведеніе крестьянъ сдѣлалось еще хуже.

Онъ легко изнемогъ и тоскующій, упрекая себя, сдѣлался „байбакомъ“, „лежебокою“. Правда, онъ мечталъ порой принести пользу отечеству въ качествѣ писателя—и уже началъ обдумывать обширное сочиненіе,

---

[1]) Онъ отмѣтилъ слѣдующія черты русскаго человѣка: беззаботность, способность не задумываться долго надъ затрудненіями, способность вѣрно угадывать инстинктомъ то, чего не хватаетъ вслѣдствіе незнанія, размашистость натуры и добродушіе, способность ругаться отъ всего сердца, нелюбовь сознаться въ своихъ грѣхахъ, способность сильно и мѣтко выражаться, гостепріимность, разгульность и способность съ грустью задуматься надъ жизнью, неспособность дѣлать дѣло путемъ общественной работы, наклонность жить заднимъ умомъ, любовь къ широкимъ, захватывающимъ настроеніямъ (быстрая ѣзда), донкихотство русскаго человѣка, способность увлекаться утопіей, потребность въ постоянныхъ побужденіяхъ извнѣ...

которое должно было обнять всю Россію со всѣхъ точекъ зрѣнія—съ гражданской, политической, религіозной, философской, но дальше этого „обдумыванья“ онъ не пошелъ,—и медленно, вяло и безцѣльно потянулась его молодая жизнь... Такъ, съ даровитостью его натуры, съ яснымъ пониманіемъ смысла жизни соединились безволіе, отсутствіе выдержки... Чуть было не женился онъ на прекрасной дѣвушкѣ Улинькѣ, дочери генерала Бетрищева, да самолюбіе помѣшало,—помѣшала нетерпимость къ чужимъ слабостямъ: не могъ онъ допустить, чтобы добродушный старикъ-генералъ называлъ его на „ты“, И свадьба его разстроилась... О себѣ у него вообще высокое мнѣніе, — и потому, какъ Онѣгинъ, онъ презираетъ деревенскихъ сосѣдей и со всѣми спѣшитъ раззнакомиться.

Платоновъ. Подъ пару ему—молодой Платоновъ, богатый, образованный юноша, надѣленный и умомъ, и хорошимъ сердцемъ, но рѣшительно ничего не дѣлающій и потому до болѣзни скучающій. И этотъ герой, какъ Тентетниковъ, очень близокъ къ Онѣгину,—въ немъ нѣтъ только холодности и жестокости озлобленнаго онѣгинскаго духа,—но у него такое же безотрадное отношеніе къ жизни, смыслъ которой, никогда ему не былъ понятенъ.

Костанжогло. Въ лицѣ Костанжогло изобразилъ Гоголь, собственно, Плюшкина въ пору его процвѣтанія: та же „мудрая скупость“, то же знаніе жизни и хозяйства,—знаніе, которому пріѣзжали учиться къ Плюшкину его сосѣди. Только идеалы Костанжогло шире: Плюшкинъ работалъ для себя, для семьи,—Костанжогло работаетъ изъ принципа: онъ считаетъ, что работа—есть нравственный долгъ всякаго гражданина, долгъ передъ родиной, передъ крестьянами... Онъ не корыстолюбивъ,—онъ даже щедръ, готовъ дать взаймы большую сумму денегъ почти незнакомому Чичикову...—Онъ не „пріобрѣтатель“: цѣль его жизни не деньги, а „трудъ“... Это—его жизненный идеалъ. Онъ работаетъ, чтобы показать примѣръ крестьянамъ и сосѣдямъ... Онъ „пріобрѣтаетъ“ потому, что, по его мнѣнію, процвѣтаніе родины зависитъ отъ богатства помѣщиковъ. Онъ—нервный, возбужденный человѣкъ, котораго возмущаютъ Хлобуевы, Платоновы, Тентетниковы... Онъ потому легко сближается съ Чичиковымъ, что чувствуетъ и въ немъ силу „созидающую“. Костанжогло—фанатикъ своей идеи; оттого онъ односторонненъ: онъ, напримѣръ, врагъ всякихъ новшествъ, не только тѣхъ глупыхъ, которыя завелъ у себя въ деревнѣ Кошкаревъ, но даже школы, такъ какъ считаетъ землепашество „святымъ дѣломъ“ и грѣхомъ отрывать отъ сохи мужика ради книги. „Дай Богъ, чтобы всѣ были хлѣбопашцами!“—говоритъ онъ.

Муразовъ. Неудачную профессію выбралъ Гоголь для идеальнаго героя второй части своей поэмы Муразова. Онъ—откупщикъ, т. е. лицо, взявшее у казны въ аренду право торговли водкой. На этомъ занятіи онъ нажилъ большія деньги. И вотъ, въ уста этого „благообразнаго старца“, торгующаго водкой, вложилъ Гоголь гуманныя рѣчи о любви къ падшему человѣку, о необходимости кротко относиться къ людямъ; Муразовъ чуть не договаривается до толстовской мысли, что человѣкъ не имѣетъ права судить другого. Этотъ старикъ не извѣрился въ жизнь и человѣка; оттого его бодрое слово можетъ поднять упавшій духъ Хлобуева,—оттого ему уступаетъ законникъ генералъ-губернаторъ,—оттого Муразовъ, кажется, и долженъ былъ возродить Чичикова.

Пѣтухъ. Пѣтухъ—это обжора, для котораго весь смыслъ жизни, вся поэзія бытія—въ ѣдѣ. Собакевичъ любитъ поѣсть съ аппетитомъ и основательно, потому что ѣда — физіологическая потребность. Пѣтухъ ѣстъ съ увлеченіемъ, потому что иного смысла въ жизни у него нѣтъ.

Хлобуевъ. Хлобуевъ—добрый, честный человѣкъ, помѣщикъ, разорившійся вслѣдствіе своей безалаберности, ширины своего характера и слабости воли. Человѣкъ вѣрующій, онъ, однако, находитъ утѣшеніе въ своей безхитростной религіи и живетъ такимъ чудакомъ, день за днемъ, махнувъ на все рукой, приближаясь быстро къ полному разоренію и нищетѣ.

Въ лицѣ Кошкарева осмѣялъ Гоголь то зло русской жизни, съ которымъ онъ никогда не могъ примириться,—бюрократическій строй, наклонность къ централизаціи власти, къ „управленію бумажному, фантастическому управленію провинціями, отстоящими за тысячи верстъ, гдѣ не была нога моя, и гдѣ могу надѣлать только кучи несообразностей и глупостей“—говоритъ Гоголь мыслями Тентетникова. Въ дѣятельности Кошкарева, который даже въ управленіе деревней ввелъ сложный бюрократическій режимъ, высмѣялъ Гоголь, модный въ его время, обычай назначать всевозможныя комиссіи и изводить кипы бумаги на „отношенія“, „рапорты“ и пр. **Кошкаревъ.**

Было уже указано, что типы, выведенные Гоголемъ (особенно въ первой части его поэмы) отличаются шириной художественнаго захвата. Въ самомъ дѣлѣ, Чичиковъ—не только типъ русскій,—это типъ, имѣющій общечеловѣческое и вѣчное значеніе [1]). Это—образъ дѣльца, предпринимателя-аферисма, которыхъ немало было, есть и будетъ у разныхъ народовъ и въ разныя эпохи. Только въ «Мертвыхъ душахъ» Гоголя этотъ типъ принялъ чисто-русскую окраску довольно-откровеннаго плута, который, въ обществѣ помѣщиковъ-крѣпостниковъ, чиновниковъ-взяточниковъ, дѣйствуетъ не такъ тонко, какъ, быть можетъ, дѣйствовалъ бы въ наши дни русскій, или западно-европейскій, «пріобрѣтатель»-аферистъ.

Такое же широкое значеніе имѣютъ и нѣкоторые другіе герои поэмы. Мы видѣли уже, что, говоря о «Ревизорѣ», самъ Гоголь объяснилъ широкое значеніе Хлестакова. То же онъ дѣлаетъ относительно нѣкоторыхъ героевъ «Мертвыхъ душъ»: относительно Коробочки онъ говоритъ, что Коробочку можно найти въ любомъ аристократическомъ домѣ [2]); по поводу Ноздрева онъ говоритъ, что Ноздревы еще долго не выведутся изъ міра [3]); расширяетъ онъ и образъ Тентетникова, сказавъ, что онъ принадлежитъ къ семейству тѣхъ людей, которые на Руси не переводятся; послѣгоголевская русская литература доказала справедливость этихъ словъ своими «лишними людьми».

Такая ширина художественнаго обобщенія сдѣлала то, что почти всѣ герои Гоголя получили нарицательное значеніе,—обратились въ клички, сразу опредѣляющія типическія черты человѣка. Стоитъ, напримѣръ, сказать слово: «маниловщина»,—и передъ нами ярко предстанетъ цѣлая жизнь человѣка...

Кромѣ психологіи отдѣльныхъ лицъ, Гоголь богато разработалъ и «психологію толпы»: губернскій городъ, съ которымъ связано дѣйствіе поэмы, представленъ имъ съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ: представленъ онъ мирнымъ и соннымъ въ началѣ поэмы, когда пріѣзжаетъ Чичиковъ; представленъ онъ заинтересованнымъ личностью новоприбывшаго; представленъ влюбленнымъ въ

---

[1]) Гоголь послѣ характеристики Чичикова задаетъ читателю вопросъ: „А кто изъ васъ, полный христіанскаго смиренія, не гласно, а въ тишинѣ, одинъ, въ минуту уединенныхъ бесѣдъ съ самимъ собою, углубитъ во внутрь собственной души сей тяжелый запросъ: „а нѣтъ ли и во мнѣ какой-нибудь части Чичикова?“.

[2]) „Да полно, точно ли Коробочка стоитъ такъ низко на безконечной лѣстницѣ человѣческаго совершенствованія?.. Точно ли такъ велика пропасть, отдѣляющая ее отъ сестры ея, недостигаемо-огражденной стѣнами аристократическаго дома...“.

[3]) „Онъ вездѣ между нами и, можетъ быть, только въ другомъ кафтанѣ; но легкомысленно-непроницательны люди и человѣкъ въ другомъ кафтанѣ кажется имъ другимъ человѣкомъ“

Чичикова, когда тотъ прослылъ «мильонщикомъ» и «херсонскимъ помѣщикомъ»; представленъ этотъ городъ «за дѣломъ», въ канцеляріи, — представленъ веселящимся во время бала и за карточнымъ столомъ; наконецъ, мы видимъ его, когда онъ встревоженъ таинственными слухами о «мертвыхъ душахъ», о пріѣздѣ генералъ-губернатора,—наконецъ, подавленнымъ и уничтоженнымъ суровой рѣчью генералъ-губернатора... Чиновники, дамы, вообще обыватели города, представляютъ эту толпу, которую наблюдаетъ авторъ: онъ разсказываетъ намъ мелькомъ о губернаторѣ, главная радость жизни котораго— вышивать по тюлю, о прокурорѣ, съ подмигивающимъ глазомъ и густыми бровями, о квартальномъ, «съ привлекательнымъ румянцемъ на щекахъ», о дамахъ, «просто-пріятной» и «пріятной во всѣхъ отношеніяхъ», о трактирномъ половомъ, о мужикахъ, размышляющихъ вслухъ о судьбѣ колеса чичиковской брички,—и вся эта пестрая толпа живетъ передъ нами. Въ «обществѣ губернскаго города» Гоголь рисуетъ міръ пошлости и сплетни, — міръ, въ которомъ добродушіе какъ-то сливается съ мелочной злобою и недоброжелательствомъ,— міръ безпросвѣтный, «темное царство», которое освѣщается только громовой рѣчью генералъ-губернатора...

И въ предыдущихъ своихъ произведеніяхъ Гоголь касался міра животныхъ, и въ «Мертвыхъ душахъ» онъ неразъ изъ міра человѣческаго спускается въ міръ животныхъ, заглядываетъ въ ихъ психологію: кони Чичикова,— почтенный «Гнѣдой», «Засѣдатель» и лукавецъ-«Чубарый»,—какъ живые стоятъ передъ читателемъ. Благодаря Гоголю, читатель знаетъ ихъ темпераменты, ихъ привычки и характеры... Животныя и птицы во дворѣ Коробочки, красноногій мартынъ, задумчиво глядящій на другого мартына,—всѣ очерчены, хотя и мелькомъ, но мастерски; человѣческія настроенія, ощущенія, міровоззрѣнія открываетъ Гоголь въ этомъ низшемъ мірѣ, который окружаетъ человѣка...

Поэма богата самыми разнообразными описаніями: Гоголь даетъ много различныхъ картинъ природы [1]); охотно рисуетъ онъ и картины бытовыя, жанровыя [2]); всегда обстоятельно описываетъ обстановку комнатъ, костюмы героевъ, ихъ наружность. Детальность его письма,—то, что въ XVIII-омъ вѣкѣ получило у нѣмцевъ названіе: «Kleinmalerei»,—достигаетъ у него высокой степени. Стоитъ прочесть начало самой поэмы,—въѣздъ Чичикова въ городъ, чтобы убѣдиться, до какой художественной мелочности доходитъ письмо Гоголя. Но всѣ эти детали типичны, характерны, всѣ умѣстны, всѣ прибавляютъ нѣчто цѣнное или къ характеру героевъ, или къ физіономіи города, деревни, дома, человѣка, животнаго, или природы.

Въ своемъ произведеніи (особенно въ первой части) Гоголь далъ образцовое реалистическое произведеніе, въ которомъ уже нѣтъ и слѣда прежняго романтизма. Съ „Мертвыми душами“ Гоголь окончательно вступилъ на путь художественнаго реализма,—недаромъ онъ самъ неразъ выступалъ на защиту этой художественной школы. И въ „Мертвыхъ душахъ“

---

[1]) Напр., изъ *большихъ* описаній интересны:—лѣсъ Пѣтуха, садъ Плюшкина, садъ Платонова, усадьба Тентетникова, деревни Манилова, Собакевича, Плюшкина.

[2]) Напр., трактиръ, въ которомъ остановился Чичиковъ; харчевня, гдѣ онъ встрѣтился съ Ноздревымъ; базаръ въ Москвѣ въ Щепномъ ряду, канцелярія, губернскій балъ, игра чиновниковъ въ карты...

онъ отдаетъ должное писателямъ-идеалистамъ, которые изъ жизни берутъ только возвышенное, благородное и прекрасное; они правы, если таковъ характеръ ихъ генія, что жизнь представляется имъ только съ прекрасной стороны,—велико ихъ значеніе и велика благодарность, которую услышатъ они отъ современниковъ, говоритъ Гоголь. Но правъ и тотъ писатель, продолжаетъ онъ,—который изображаетъ „всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земля, подчасъ горькая и скучная дорога,—и, крѣпкою силою неумолимаго рѣзца, дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи... Ибо не равно чудны стекла, озирающія солнцы, и передающія движенья незамѣченныхъ насѣкомыхъ; много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданія; высокій восторженный смѣхъ достоинъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ!“—таково заключеніе Гоголя.

Но, защищая права писателя-реалиста, Гоголь считалъ, что можетъ и долженъ рисовать идеальные характеры и отдаваться высокимъ лирическимъ движеніямъ. Неразъ въ первой части своей поэмы обѣщаетъ онъ въ будущемъ дать другіе образы, болѣе чистые и высокіе [1]); неразъ вводитъ онъ лирическія отступленія, въ которыхъ чувствуется искренній пафосъ. Содержаніе ихъ различно,—въ нихъ отдается онъ мечтательнымъ воспоминаніямъ о своемъ дѣтствѣ (начало VI-ой главы первой части), обращается къ молодежи съ просьбой дорожить тѣми благородными чувствами, которыя присущи юности,—не терять легкомысленно эти чувства на жизненномъ пути... То съ пафосомъ говоритъ онъ о счастливой участи писателя-идеалиста (начало VII-ой гл.), то восторженно взываетъ онъ къ Руси,—говоритъ объ ея величіи, бѣдности, о непостижимой связи, которая его сердце привязываетъ къ родинѣ (глава XI);—то воспоминаніе о быстрой русской ѣздѣ и „птицѣ-тройкѣ“ переполняетъ его сердце восторгомъ и гордостью, вѣрой и любовью къ родинѣ,—то онъ мечтаетъ о появленіи на Руси могучаго человѣка, который сумѣетъ однимъ словомъ сдвинуть заснувшую громаду впередъ (ч. II, гл. I).

Литературная исторія „Мертвыхъ душъ“.

Если даже Пушкинъ и далъ Гоголю сюжетъ „Мертвыхъ душъ“, то развитіе сюжета и юмористическое освѣщеніе его,—тонъ самого произведенія, принадлежатъ исключительно Гоголю. И, въ этомъ отношеніи, онъ—ученикъ великаго юмориста XVIII-го вѣка Лаврентія Стерна и нѣмецкаго писателя XIX в. Жана-Поля Рихтера. Въ „Исторіи Тристрама-Шанди“ Стерна встрѣчаемъ мы ту же детальность письма, которая такъ характерна для Гоголя,—ту же яркость въ обрисовкѣ психики и внѣшности разныхъ чудаковъ, — наконецъ, то же грустно-насмѣшливое отношеніе автора къ жизни.

Самое названіе „поэмы“, конечно, мало подходитъ къ гоголевскому произведенію,—писатель назвалъ свое „поэмой“ тогда, когда захотѣлъ предста-

---

[1]) „И долго еще опредѣлено мнѣ чудною властью идти объ руку съ моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя слезы! И далеко еще то время, когда инымъ ключомъ грозная вьюга вдохновенья подымется изъ облеченной въ святой ужасъ и въ блистаніе славы,—и почуютъ, въ смущенномъ трепетѣ, величавый громъ другихъ рѣчей!“...

„Но... можетъ быть, въ сей же самой повѣсти почуются иныя, еще доселѣ небраныя струны, предстанетъ несмѣтное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ, одаренный божественными доблестями, или чудная русская дѣвица, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всей дивной красотой женской души,—вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія,—и мертвыми покажутся предъ ними всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ, какъ мертва книга передъ живымъ словомъ! Подымутся русскія движенія!“

„...Предстанутъ колоссальные образы, двинутся рычаги широкой повѣсти, раздастся далече ея горизонтъ, и вся она приметъ величавое лирическое теченіе“.

вить въ этомъ произведеніи *всю Русь*, написать нѣчто всеобъемлющее, напоминающее, по композиціи, „Божественную комедію“ Данте. На самомъ дѣлѣ, передъ нами,—типичный „плутовской романъ“, повѣствующій о приключеніяхъ мошенника. Такіе романы очень были популярны у насъ въ XVIII вѣкѣ. Самый образцовый представитель этого жанра романъ Лесажа: „Приключенія Жилблаза“ [1]).

Въ области реалистическаго творчества Гоголь, въ свое время, имѣлъ у насъ много предшественниковъ и современниковъ, но никто такъ широко и глубоко не захватывалъ русской жизни, какъ это сдѣлалъ онъ въ своихъ „Мертвыхъ душахъ“: это—первый, по времени, „реальный романъ, который помогъ читателю уловить смыслъ переживаемаго имъ историческаго момента“ (Котляревскій).

Русская критика о „Мертвыхъ душахъ“.

Русская критика и въ оцѣнкѣ „Мертвыхъ душъ“ разошлась кореннымъ образомъ съ авторомъ; и хотя больше отзывовъ услышалъ Гоголь восторженныхъ,—тѣмъ не менѣе, русской критикой, какъ было уже указано, онъ остался недоволенъ.

Изъ серьезныхъ критикъ надо отмѣтить отзывъ Шевырева, который указалъ, между прочимъ, на торжество реализма въ нашей литературѣ, на то значеніе, которое въ этой литературной побѣдѣ сыграли „Мертвыя души“. К. Аксаковъ отъ произведенія Гоголя былъ въ такомъ восхищеніи, что поставилъ Гоголя рядомъ съ Гомеромъ и Шекспиромъ. Это преувеличеніе вызвало даже рѣзкую отповѣдь со стороны Бѣлинскаго, который вступился за униженныхъ міровыхъ геніевъ. Самъ Бѣлинскій не посвятилъ „Мертвымъ душамъ“ цѣлой статьи, но нѣсколько разъ, въ разныхъ работахъ, отзывается о нихъ сочувственно. „Мертвыя души“, по его словамъ, „твореніе чисторусское, національное, выхваченное изъ тайника народной жизни, столь же истинное, сколько и патріотическое, безпощадно сдергивающее покровъ съ дѣйствительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовью къ плодовитому зерну русской жизни,—твореніе необъятно-художественное по концепціи и выполненію, по характерамъ дѣйствующихъ лицъ и подробностямъ русскаго быта и, въ то же время, глубокое по мысли, соціальное, общественное и историческое“. Бѣлинскій былъ живо затронутъ и лиризмомъ Гоголя, романтическими порывами его души, его страстнымъ исканіемъ живой русской души; Бѣлинскаго заинтересовали и обѣщанія Гоголя дать продолженіе поэмы съ другими лицами... Но „славянофильскіе“ восторги Шевырева и К. Аксакова по поводу обѣщанія Гоголя дать въ будущемъ галлерею идеальныхъ русскихъ героевъ сдѣлали Бѣлинскаго подозрительнѣе... Бѣлинскій въ этихъ обѣщаніяхъ Гоголя даже усмотрѣлъ опасность, грозящую его таланту, и сталъ печатно убѣждать его „не увлекаться такими замыслами, которые не отвѣчаютъ вполнѣ опредѣлившемуся характеру его таланта“. По адресу К. Аксакова, Бѣлинскій сказалъ, что „истинная“ критика „Мертвыхъ душъ“ должна состоять не въ восторженныхъ крикахъ о Гомерѣ и Шекспирѣ, объ актѣ творчества, о тройкѣ, — нѣтъ, истинная критика должна раскрыть пафосъ поэмы, который состоитъ въ *противорѣчіи общественныхъ формъ жизни съ ея глубокимъ субстанціальнымъ началомъ*, доселѣ еще таинственнымъ, доселѣ не открывшимся собственному сознанію и неуловимымъ ни для какого опредѣленія“. Увлеченный Гегелемъ, Бѣлинскій такъ же страстно, какъ и Гоголь, старался опредѣлить идеальныя стороны народности русской,—то положительное, что она должна внести въ сокровищницу человѣческой культуры, чтобы завоевать право на почетный титулъ „историческаго“ народа. Ясное опредѣленіе русскихъ идеаловъ и искаженіе этихъ идеаловъ въ изображенной Гоголемъ русской жизни, — вотъ, на что рекомендовалъ Бѣлинскій обращать вниманіе всякому серьезному критику „Мертвыхъ душъ“.

---

[1]) Оттуда, вѣроятно, Гоголь заимствовалъ, между прочимъ, идею повѣсти о капитанѣ Копѣйкинѣ.

О причинахъ появленія въ свѣтъ «*Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями*» было уже говорено выше (стр. 7). „Выбранныя мѣста“. Гоголь въ этомъ произведеніи поторопился «передъ смертью» договорить то, чего онъ не могъ,—не имѣлъ времени и таланта,—выговорить путемъ беллетристики—въ своихъ «Мертвыхъ душахъ». И вотъ, онъ обнародовалъ нѣкоторыя интимныя письма свои къ ближайшимъ друзьямъ и знакомымъ,—въ результатѣ, получилась странная книга, въ которой торопливо, сбивчиво, мѣстами съ горячимъ воодушевленіемъ, мѣстами съ какимъ-то фальшиво-приподнятымъ паѳосомъ говоритъ онъ о тѣхъ вопросахъ, которые мучили его въ послѣдній періодъ его жизни. Это книга «больная», но это книга правдивая. И нельзя было придумать тяжелѣе оскорбленія великому человѣку, какъ сказать, что онъ «лгалъ» въ своей книгѣ. И это Гоголю сказали.

Въ своей „Авторской исповѣди“ онъ говоритъ по этому поводу слѣдующее: „...называть лжецомъ и обманщикомъ, надѣвшимъ личину набожности, приписывать подлыя и низкія цѣли—это такого рода обвиненія, которыхъ я бы не въ силахъ былъ взвести даже на отъявленнаго мерзавца... Не мѣшало бы подумать прежде, чѣмъ произносить такое обвиненіе: „не ошибаюсь ли я самъ? вѣдь я тоже человѣкъ. Дѣло тутъ душевное. Душа человѣка—кладезь, не для всѣхъ доступный, и на видимомъ сходствѣ нѣкоторыхъ признаковъ нельзя основываться... Нѣтъ, въ книгѣ: „Переписка съ друзьями“, какъ ни много недостатковъ во всѣхъ отношеніяхъ, но есть также въ ней много того, что̀ не скоро можетъ быть доступно всѣмъ... Для того, чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно имѣть или очень простую и добрую душу, или быть слишкомъ многостороннимъ человѣкомъ, который, при умѣ, обнимающемъ со всѣхъ сторонъ, заключалъ бы высокій поэтическій талантъ и душу, умѣющую любить полною и глубокою любовью“.

Гоголь былъ правъ, говоря, что мысли его не умрутъ—многое изъ того, что онъ высказалъ въ своей книгѣ, нашло развитіе въ наши дни въ литературной и публицистической дѣятельности Л. Толстого.

Слишкомъ пестро и разнохарактерно содержаніе „Выбранныхъ мѣстъ“, чтобы можно было сколько-нибудь стройно и полно изложить „философію“ Гоголя. Приходится довольствоваться лишь болѣе главнымъ. Во-первыхъ, въ этомъ произведеніи много чисто-автобіографическаго: боязнь смерти, горячая, фанатическая любовь къ Богу, заботы о строеніи своего „душевнаго дѣла“, самобичеваніе, различныя признанія писателя касательно его сочиненій... Затѣмъ встрѣчаемъ мы здѣсь мысли Гоголя о государствѣ, обществѣ, русскомъ народѣ и русской интеллигенціи, о значеніи литературы, ея содержаніи и цѣляхъ. Гоголь, въ юности идеализировавшій бюрократическій строй русской жизни, подъ конецъ жизни, совершенно въ немъ разочаровался. И въ „Мертвыхъ душахъ“, и въ „Перепискѣ“ найдемъ мы рѣзкія нападки его на систему управлять страной при помощи „бумагъ изъ Петербурга“, при помощи комиссій и іерархіи чиновниковъ. Вмѣсто этого строя, Гоголь мечталъ о „патріархальномъ устройствѣ“ государства: во главѣ его стоитъ государь, который къ подданнымъ относится сердечно, какъ „отецъ“, съ вѣрою и любовью. Такими-же государями „въ миніатюрѣ“ должны были быть „генералъ-губернаторы“ и „губернаторы“... Гуманно, просто, безъ чинопочитанія должны были всѣ относиться другъ къ другу въ этомъ гоголевскомъ государствѣ. Прямой путь къ этому идеалу—„очищеніе своей собственной души и сердца“. Не реформы въ западномъ духѣ необходимы отечеству,—говорилъ Гоголь, а моральное возрожденіе каждаго отдѣльнаго человѣка. То же приблизительно въ наши дни говорилъ Л. Толстой. Къ просвѣщенію въ западномъ духѣ онъ относился такъ же, какъ тотъ же Л. Толстой. Жизнь идеальнаго государства будетъ течь быстро и правильно, когда каждый опредѣлитъ свой „долгъ“ и, довольствуясь своимъ жребіемъ, будетъ честно выполнять его въ жизни: мужикъ пусть пашетъ землю, пусть помѣщикъ патріархально къ нему относится, оберегаетъ его, наставляетъ, хвалитъ, нака-

зываетъ, судитъ... И чиновникъ пусть честно исполняетъ свою работу, купецъ пусть честно торгуетъ,—и тогда все процвѣтетъ безъ реформъ...

Особенное вниманіе удѣлилъ Гоголь помѣщику-дворянину. Это, по его представленію, — маленькій государь въ своемъ помѣстьи: онъ передъ Богомъ отвѣчаетъ за своихъ крѣпостныхъ,—оттого „святой“ называетъ онъ деревенскую работу разумнаго, добродѣтельнаго помѣщика. Не освобожденіе крестьянъ нужно мужикамъ, училъ Гоголь, не школы и не книги, а разумное руководительство и религіозное воспитаніе. Трудъ землепашца и дворянина-помѣщика, живущаго неотлучно въ деревнѣ, — основа процвѣтанія Россіи.

Это тяготѣніе къ „землѣ“, обожествленіе труда, особенно физическаго, опять сближаетъ Гоголя съ Л. Толстымъ.

Судя по его письмамъ, русскимъ обществомъ своего времени Гоголь былъ недоволенъ: онъ неразъ говоритъ о какой-то тревогѣ, которая растетъ въ русской интеллигенціи, о растерянности, пустотѣ русской мысли, о какихъ-то исканіяхъ чего-то. Гоголь правъ былъ, отмѣтивъ въ современномъ ему обществѣ ломку міросозерцанія, но онъ ошибся, не угадавъ близости 60-хъ годовъ и всего переустройства русской жизни на новыхъ началахъ. Въ своей книгѣ онъ повторилъ ту ошибку, въ которую впали многіе русскіе люди временъ Грознаго, которые мечтали исправить русскую жизнь возстановленіемъ „поисшатавшейся старины“ тогда, когда въ русскомъ обществѣ уже назрѣвало предчувствіе реформъ Петра. Вотъ почему и книга Гоголя нѣсколько походитъ на „Домострой“, съ его патріархальными взглядами на жизнь, съ его идеализаціей изжитыхъ формъ жизни.

Съ историко-литературной точки зрѣнія любопытны письма Гоголя о поэзіи русской. Онъ отмѣчаетъ органическую связь русской лирики съ поэзіей древне-русской, церковной. Онъ указываетъ, что русскіе поэты даже XVIII вѣка изъ Св. Писанія почерпали и образы, и настроенія. Ломоносовъ, Державинъ, Пушкинъ, Языковъ даютъ ему особенно много основаній для этого утвержденія. По мнѣнію Гоголя, восхваленіе Россіи, русскаго царя есть въ нашей поэзіи отзвукъ того полурелигіознаго пафоса, съ которымъ о царяхъ и родинѣ говорится только въ Ветхомъ Завѣтѣ. И Гоголь лирическому поэту своего времени рекомендуетъ Ветхій Завѣтъ, говоря, что тамъ—источникъ вѣчной и возвышенной, божественной поэзіи. Изъ христіанскихъ книгъ онъ отдаетъ предпочтеніе православной: въ ней видитъ онъ больше заботъ о небесномъ, въ ней больше смиренія, больше любви къ людямъ, больше гуманности... И опять, въ его словахъ, мы слышимъ словно указаніе русскому писателю, откуда брать ему идеалы—изъ Св. Писанія, изъ ученія восточной Церкви.. „Святые отцы“ и „Златоустъ“—лучшія книги для народа, говоритъ Гоголь. И въ этихъ словахъ передъ нами опять воскресаетъ старая, допетровская Русь, когда, дѣйствительно, названныя сочиненія были настольными книгами у русскаго грамотѣя.

Касается Гоголь неразъ вопроса объ отношеніяхъ Европы и Россіи: онъ критически, даже съ юморомъ, относится къ „квасным патріотамъ“, къ славянофиламъ, но и къ „западу“ и западникамъ онъ относится съ полнымъ недовѣріемъ,—ему кажется, что западная культура изсякаетъ, и что скоро къ Россіи „за мудростью“ обратятся заграничные люди. „Всѣ европейскія государства, говоритъ онъ, теперь болѣютъ необыкновенною сложностью всякихъ законовъ и постановленій“; идеалы религіозные тамъ забыты, и „душевнымъ дѣломъ“ никто не занимается. Не то онъ видѣлъ въ Россіи, по крайней мѣрѣ, въ томъ кругу, въ которомъ онъ вращался: очевидно, въ самомъ дѣлѣ, его друзья—всѣ эти губернаторши, помѣщики, „значительныя лица“, поэты, которымъ онъ писалъ свои письма, думали больше о своей душѣ, о „своемъ внутреннемъ строеніи“, чѣмъ о землѣ... И это утѣшало Гоголя. Онъ говоритъ, что русское общество его времени „все чего-то ищетъ, ищетъ уже не внѣ, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевѣсъ надъ политическими и надъ ученными“. Очевидно, Гоголь судилъ русское общество односторонне и не зналъ о наростаніи въ немъ другихъ настроеній.

Гоголь писалъ свои письма къ разнымъ лицамъ; онъ самъ говоритъ, что писалъ такъ, чтобы всякій его понялъ,—оттого въ его письмахъ много

разнообразія даже въ манерѣ и стилѣ письма. Недалекому деревенскому помѣщику онъ написалъ письмо, разговаривая съ нимъ, очевидно, понятнымъ для него грубоватымъ языкомъ. Это письмо особенно возмутило Бѣлинскаго. Гоголь совѣтуетъ помѣщику внѣдрять въ сознаніе крестьянъ уваженіе къ честнымъ и хорошимъ работникамъ; передъ образцовымъ „мужикомъ“ обыкновенные должны были снимать шапки; если кто не сниметъ, то, въ назиданіе ему, Гоголь рекомендовалъ помѣщику употребить „крѣпкое слово“: „ахъ, ты, невымытое рыло!.. Самъ весь зажилъ въ сажѣ, такъ что глазъ не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному!.. Поклонись же ему въ ноги!“ Это „невымытое рыло“—только „мужицкій стиль“, которымъ, очевидно, Гоголь хотѣлъ указать на моральную неочищенность мужика. „Мужика не бей!“ говоритъ онъ въ томъ же письмѣ. „Съѣздитъ его въ рожу еще не большое искусство. Но умѣй пронять его хорошенько словами“. Это—„съѣздить по уху“—уже, очевидно, помѣщичій жаргонъ, подъ который поддѣлывается Гоголь, стараясь сдѣлаться вполнѣ яснымъ своему простоватому корреспонденту...

Многіе совѣты его часто наивны... Такъ, въ этомъ же письмѣ къ помѣщику онъ рекомендуетъ помѣщику, для поднятія въ деревнѣ авторитета сельскаго батюшки,—брать съ собой этого батюшку на всѣ работы и каждый день сажать его съ собою за господскій столъ. Наивны совѣты тому же помѣщику сжечь передъ мужиками нѣсколько ассигнацій въ доказательство того, что онъ, помѣщикъ, не корыстолюбивъ!

Когда эти странныя письма сдѣлались достояніемъ публики, они ни въ комъ, кромѣ интимныхъ друзей Гоголя, не вызвали къ себѣ сочувствія. Особенно возмущены были люди либеральнаго склада мыслей, недавніе поклонники Гоголя. Они увидѣли въ книгѣ его измѣну его прежнимъ „честнымъ“ убѣжденіямъ. Особенно энергично такое отношеніе выразилось въ письмѣ Бѣлинскаго къ Гоголю. Самъ фанатикъ по темпераменту, самъ больной и измученный жизненной борьбой, критикъ много злого и несправедливаго сказалъ Гоголю, уже стоявшему одной ногой въ могилѣ. Въ этомъ столкновеніи двухъ великихъ современниковъ сказалось все русское общество, съ различными полюсами его тогдашняго міровоззрѣнія.

Бѣлинскій написалъ Гоголю, что прежде „любилъ его со всею страстью“, видя въ немъ надежду, честь, славу русской земли, „одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія, прогресса“. Послѣ прочтенія „Выбранныхъ мѣстъ“ отъ этой страсти осталось, по словамъ критика, въ его душѣ „презрѣніе и ненависть“, такія же страстныя... Книгу Гоголя Бѣлинскій назвалъ „хитрой, но черезчуръ нецеремонной продѣлкой для достиженія небеснымъ путемъ чисто-земной цѣли“. Онъ съ негодованіемъ остановился на выраженіи: „ахъ, ты, невымытое рыло!“... Не вникая въ истинный смыслъ этой грубости, онъ назвалъ Гоголя „проповѣдникомъ кнута, апостоломъ невѣжества, поборникомъ обскурантизма и мракобѣсія“; онъ нападаетъ на религію Гоголя: „не истиной христіанскаго ученія, говоритъ онъ, а болѣзненной боязнью смерти, чорта и ада вѣетъ изъ вашей книги“; онъ высмѣялъ библейскій стиль книги, указалъ на слухи о томъ, что книга Гоголя написана была имъ для того, чтобы попасть въ наставники цесаревича...

Историческое значеніе Гоголя.

Изъ всего вышеуказаннаго ясно великое историческое значеніе Гоголя:

1) Если Пушкинъ, какъ художникъ, открылъ *поэзію древней Руси*,—поэзію ея идейной жизни, то Гоголь, какъ человѣкъ и писатель, сдѣлался проводникомъ въ новую русскую жизнь нравственныхъ и религіозныхъ идеаловъ старины. Достоевскій и Л. Толстой—его ученики.

2) Вслѣдствіе этого онъ кореннымъ образомъ измѣнилъ у насъ пониманіе роли „писателя“; онъ первый придалъ писателю характеръ „пророка“, „проповѣдника“ христіанской морали; литературу онъ, *при помощи Бѣлинскаго*, объяснившаго истинный смыслъ его творчества, сдѣлалъ общественной силой.

3) Гоголь органически связанъ съ реалистической литературой XVIII вѣка,—съ русскими сатириками и драматургами этой эпохи. Какъ Пушкинъ, онъ подвелъ *итоги* всей предшествовавшей литературы, упорно раскрывавшей безотрадныя стороны русской жизни.

4) Подобно Пушкину, онъ не только подвелъ итоги прошлой литера-

турной жизни,—онъ *намѣтилъ и содержаніе послѣдующей.* Оттого самъ Бѣлинскій поставилъ его во главѣ *новаго періода* русской литературы. Въ этомъ новомъ періодѣ, впрочемъ, не умерли и пушкинскія традиціи. Поэтому въ русской послѣгоголевской литературѣ XIX в. мы должны различать двѣ литературныя школы—„пушкинскую“ и „гоголевскую“.

5) Въ исторіи русскаго реализма онъ играетъ большое значеніе, потому что первый заговорилъ о *теоріи реализма*, первый сознательно выработалъ пріемы новаго творчества.

6) Гоголь страстно любилъ Россію и хотѣлъ проникнуть въ „духъ“ русскаго народа, опредѣлить его будущее. Вотъ почему и въ исторіи русскаго „народничества“ играетъ онъ большую роль.

Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій.

(1811—1848).

Біографія. *Біографія его.* В. Г. Бѣлинскій родился въ бѣдной семьѣ военнаго врача въ г. Свеаборгѣ. Тяжелы были первыя впечатлѣнія ребенка. Отецъ его, „неудачникъ въ жизни“, былъ человѣкъ умный и, для своего времени, образованный, но озлобленный.

Мать Бѣлинскаго, человѣкъ незначительный, не отличалась уживчивостью и мягкостью, и еще меньше мужа могла имѣть вліяніе на ребенка.

Первоначальное образованіе получилъ Бѣлинскій въ уѣздномъ училищѣ въ г. Чембарѣ (Пензенской губ.), гдѣ рано выдѣлился изъ среды товарищей своимъ развитіемъ и начитанностью.

Продолжалъ онъ свое образованіе въ Пензенской гимназіи. Здѣсь онъ сблизился съ учителемъ естественной исторіи Поповымъ, который отнесся къ нему сердечно и давалъ ему книги изъ своей большой библіотеки. Гимназіи Бѣлинскій не кончилъ: бросилъ ее посѣщать и, оставивъ ее, держалъ экзаменъ прямо въ университетъ. Уже въ это время ранней юности увлекся онъ романтизмомъ: Жуковскій, Марлинскій, Шиллеръ, Радклифъ были его любимыми писателями; вмѣстѣ съ юными своими друзьями слѣдилъ онъ и за русской журналистикой: Полевой и Надеждинъ были тогда у насъ самыми популярными журналистами. Они особенно увлекли и юношу-Бѣлинскаго. Этотъ ранній періодъ своей сознательной жизни онъ самъ называлъ впослѣдствіи „бурнымъ періодомъ“ („Sturm und Drang“). Въ это время пробужденія критицизма и молодого задора онъ чувствовалъ себя большимъ либераломъ и безпощадно относился къ тогдашней русской дѣйствительности.

Въ 1824 году, выдержавъ экзаменъ, Бѣлинскій поступилъ въ московскій университетъ на словесный факультетъ. Здѣсь онъ увлекся лекціями Надеждина, который знакомилъ своихъ слушателей съ нѣмецкими философскими системами, особенно пропагандируя міросозерцаніе Шеллинга. Въ университетѣ Бѣлинскій пробылъ только три года,—онъ не ужился съ тяжелымъ режимомъ, которымъ обставлена была тогда жизнь „казенно-коштныхъ“ студентовъ Московскаго университета; кромѣ того, провинился тѣмъ, что сочинилъ драму „Дмитрій Калининъ“, которая представляетъ собой протестъ противъ крѣпостного права [1]). Драма своимъ страстнымъ либерализмомъ произвела на товарищей Бѣлинскаго сильное впечатлѣніе. Когда открылось, что сочинитель драмы—„казеннокоштный“ студентъ Бѣлинскій, уже неоднократно навлекавшій на себя гнѣвъ ближайшаго начальства самостоятельностью своихъ мыслей и поведенія, онъ былъ исключенъ „за неаккуратное посѣщеніе лекцій“ и „по ограниченности способностей“. Ничего

[1]) Все это время, до сближенія со Станкевичемъ, онъ, по его словамъ, „былъ полонъ героическихъ стремленій, горячо ненавидѣлъ существовавшій общественный строй, въ то же время мучительно сознавалъ себя нулемъ“.

не далъ Бѣлинскому университетъ, но зато въ его стѣнахъ Бѣлинскій сблизился съ студенческимъ кружкомъ Станкевича. Юноши, участники кружка, чтеніемъ и бесѣдами усердно восполняли недостатки тогдашняго университетскаго образованія. Особенно увлекались они нѣмецкой философіей Шеллинга, потомъ Гегеля; изучали всемірныя литературы, разрабатывали вопросы эстетики и философіи. Бѣлинскій всей душой отдался этому кружковому самообразованію, и сразу выдѣлился въ обществѣ своихъ друзей умомъ и страстной жаждой знанія...

Своимъ изгнаніемъ изъ университета Бѣлинскій былъ сильно смущенъ; онъ долго даже не рѣшался сообщить домой о своей неудачѣ. Въ это время онъ сталъ испытывать крайнюю нужду, и ради куска хлѣба пришлось ему зарабатывать деньги уроками и переводами бульварныхъ романовъ...

Сближеніе съ Надеждинымъ открыло ему доступъ къ журналистикѣ: онъ сдѣлался переводчикомъ съ французскаго и сталъ сотрудничать въ журналахъ своего бывшаго профессора: „Телескопѣ“ и „Молвѣ“. Въ это время, ради заработка, переводилъ онъ всякую мелочь: мелкія газетныя сообщенія, анекдотцы... Душевную бодрость его поддерживала только дружба съ Станкевичемъ и съ другими членами ихъ кружка, — людьми, избранными „по уму, образованности, талантамъ и благородству чувствъ“,—какъ онъ характеризовалъ своихъ друзей въ одномъ письмѣ.

Отъ нихъ позаимствовался Бѣлинскій своими знаніями нѣмецкой философіи, знаніемъ теорій эстетическихъ и историческихъ. Мы видѣли уже, что всѣ эти ученія и у Шеллинга, и у Гегеля отличались крайней отвлеченностью. Увѣровавъ въ эти теоріи, Бѣлинскій и его друзья стали мыслить отвлеченно: отъ жизни русской они ушли въ идеальныя, умозрительныя построенія. Подъ вліяніемъ этой отвлеченности, юношескій либерализмъ Бѣлинскаго сталъ безслѣдно вывѣтриваться. Недавно еще Шиллеръ, „благородный защитникъ правъ угнетеннаго человѣчества“, былъ, въ его глазахъ, „богомъ“,—теперь Бѣлинскій отвернулся отъ Шиллера съ тою рѣшительностью, на которую былъ способенъ только онъ. Теперь онъ превозноситъ Пушкина, Гёте, Шекспира за то, что эти писатели, по его убѣжденію, стояли далеко отъ мелочной, будничной жизни, съ олимпійскимъ величіемъ созерцали вѣчную красоту, только ей одной служили въ своихъ міровыхъ созданіяхъ...

„Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мысли!.. Люби добро,—и тогда ты будешь необходимо полезенъ своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ“,—писалъ въ это время въ одномъ письмѣ юноша-Бѣлинскій, покоренный идеалами отвлеченнаго прекраснодушія. „Если бы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства,—тогда Россія, безъ всякой политики, сдѣлалась бы счастливѣйшею страною въ мірѣ. Просвѣщеніе—вотъ, путь ея къ счастью“. Въ другомъ письмѣ онъ пишетъ, что политическія движенія, въ духѣ французскихъ, для Россіи ненужны: каждый народъ имѣетъ свой историческій путь; постепенность развитія—залогъ истиннаго прогресса. „Правда, говоритъ онъ, мы еще не имѣемъ правъ, мы еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россія еще—дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать Россіи, въ теперешнемъ ея состояніи, конституцію—значитъ погубить Россію“. Онъ теперь оправдывалъ правительство, которое „не позволяетъ писать противъ крѣпостного права, а, между тѣмъ, исподволь освобождаетъ крестьянъ“. Приводя другіе подобные факты, онъ восклицаетъ: „въ Россіи идетъ все къ лучшему!“. Христіанскую любовь къ ближнему онъ рекомендуетъ, какъ разумное основаніе общественной и государственной жизни. Онъ готовъ вѣрить, что эта „христіанская политика“ есть особый удѣлъ русскаго народа. „Быть апостолами просвѣщенія—вотъ, наше назначеніе!“—говоритъ онъ. „Итакъ будемъ подражать апостоламъ Христа, которые не дѣлали заговоровъ и не основывали ни явныхъ, ни тайныхъ политическихъ обществъ, распространяя ученіе своего божественнаго Учителя. Не суйся въ дѣла, которыя до тебя не касаются, но будь вѣ-

ренъ *своему* дѣлу, а твое дѣло—любовь къ истинѣ! Къ чорту политику, да здравствуетъ наука!.. Къ чорту французовъ!", которые занимаются политикой: „Германія—вотъ, Іерусалимъ новѣйшаго человѣчества!"... Съ такой страстностью проводилъ въ русскую жизнь Бѣлинскій „умиротворяющія" идеи Шеллинга и Гегеля...

Когда Бѣлинскій познакомился съ „философіей религіи" и „права" Гегеля и усвоилъ основы историческаго міросозерцанія этого мыслителя—по его словамъ, „новый міръ" ему открылся...

„Сила есть право и право есть сила",—писалъ онъ. „Нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова! Это было освобожденіе!.. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоевателей!.. Я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности... И кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ, и значеніе моего отечества предстало мнѣ въ новомъ видѣ... Слово: «дѣйствительность» сдѣлалось для меня равнозначительно слову «Богъ»!"... Это и былъ тотъ моментъ, когда Бѣлинскій увѣровалъ, что *все дѣйствительное разумно*. „Я гляжу на дѣйствительность, говоритъ онъ, столь презираемую прежде мною, и трепещу таинственнымъ восторгомъ, сознавая ея разумность".

Увлекается теперь Бѣлинскій „чистымъ искусствомъ". Одинъ изъ его друзей, Панаевъ, такъ характеризуетъ его въ эту пору: „Увлекшись толкованіями гегелевой философіи и знаменитою формулою, извлеченною изъ этой философіи, что „все дѣйствительное разумно",—Бѣлинскій проповѣдывалъ примиреніе въ жизни и искусствѣ. Онъ дошелъ до того (крайности были въ его натурѣ!), что всякій общественный протестъ казался ему въ это время преступленіемъ, насиліемъ... Искусство представлялось для него теперь какимъ-то высшимъ, отдѣльнымъ міромъ, замкнутымъ въ самомъ себѣ, не имѣющимъ никакой связи съ житейскими дрязгами и мелочами... Истинными художниками почиталъ онъ только тѣхъ, которые творили *безсознательно*.

Свои философскія убѣжденія Бѣлинскій скоро приложилъ къ дѣлу. Въ это время его участіе въ журналахъ сдѣлалось болѣе значительнымъ, и въ 1834 году, черезъ два года послѣ изгнанія изъ университета, напечаталъ онъ свою большую критическую статью: „Литературныя мечтанія". Здѣсь онъ широко примѣнилъ и свои философскіе взгляды (Шеллингъ), и свое знаніе русской литературы. Съ этого времени начинается его серьезная литературная дѣятельность.

Послѣ напечатанія писемъ Чаадаева журналъ Надеждина: „Телескопъ", которымъ жилъ Бѣлинскій, прекратилъ свое существованіе, и юному критику пришлось искать новый источникъ доходовъ. Но философъ, признавшій, что „все дѣйствительное разумно", не унывалъ, хотя положеніе его было трудно, и ему приходилось пользоваться матеріальной поддержкой друзей: В. Боткина, К. Аксакова, Ефремова... И любопытно, что именно въ эти тяжкіе годы Бѣлинскій жилъ стремленіемъ къ „абсолютной жизни" и особенно упорно доказывалъ „разумность" „прекрасной дѣйствительности" (Пыпинъ).

Въ 1837 году онъ встрѣтился съ Герценомъ. Вернувшись въ Москву изъ ссылки, Герценъ, жившій въ то время исключительно-политическими интересами, былъ пораженъ перемѣной, происшедшей съ Бѣлинскимъ. Послѣ первой же словесной стычки, они сразу разошлись, но диспуты ихъ продолжались... Въ интересахъ спора Герценъ самъ изучилъ Гегеля, по своему истолковалъ нѣкоторыя его „истины" и сталъ доказывать Бѣлинскому, что тотъ невѣрно понялъ Гегеля... Вѣроятно, горячія рѣчи Герцена поколебали философскія вѣрованія Бѣлинскаго, такъ какъ съ этого времени онъ понемногу сталъ охладѣвать къ своей примирительной философіи и, „утомившись отвлеченностью", сталъ опять „жаждать сближенія съ дѣйствительностью".

Въ концѣ 1839 года онъ переселился въ Петербургъ, чтобы вести критическій отдѣлъ въ „Отечественныхъ Запискахъ" Краевскаго. Въ первые годы онъ по-прежнему проводилъ еще гегеліанскіе взгляды („Очерки Бородинскаго сраженія", „Менцель, критикъ Гете", „Горе отъ ума"), но уже съ конца 1839 года начинается въ міросозерцаніи Бѣлинскаго рѣшительный

переворотъ, а съ середины 1840 года онъ рѣзко мѣняетъ свои „примирительные“ взгляды на „протестующіе“. Въ письмахъ его теперь попадаются такія фразы: „Проклинаю мое гнусное стремленіе къ примиренію съ гнусною дѣйствительностью!.. Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія, эманципаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія!“... Далѣе Бѣлинскій говоритъ, что, сбросивъ иго нѣмецкой философіи, онъ окончательно „проснулся“— и что ему „страшно вспомнить объ его снѣ“. Отъ страстнаго преклоненія предъ Гегелемъ онъ переходитъ теперь къ его вышучиванью: называетъ его „Егоръ Ѳедоровичемъ“, трунитъ надъ его „философскимъ колпакомъ“ и пр.

Удивляясь самъ рѣзкимъ переворотамъ своего міровоззрѣнія, оправды валъ онъ себя тѣмъ, что они—результатъ его честнаго исканія истины [1]).

Въ это время онъ сблизился съ Герценомъ и, подчинившись его вліянію, увлекся сенсимонизмомъ и политическими тревогами, которыми наканунѣ 1848 года сталъ волноваться западъ. На семейную жизнь и положеніе женщины онъ смотрѣлъ теперь глазами сенсимонистовъ. Совершенно мѣняется его взглядъ на отношенія личности къ обществу: „Что мнѣ въ томъ, что живетъ общее,—восклицаетъ онъ,— когда страдаетъ личность. Что мнѣ въ томъ, что геній на землѣ живетъ въ небѣ, когда толпа валяется въ грязи!.. Прочь же отъ меня блаженство, если оно—достояніе мнѣ одному изъ тысячъ!“.

Мѣняется у него и критическое мѣрило: не красоты требуетъ онъ теперь отъ литературы, а только того, чтобы она была *дѣльна*, служила жизни... Любопытенъ отзывъ его о томъ стихотвореніи Пушкина („Поэтъ и Чернь“), которымъ онъ восхищался недавно... „Помню,—разсказываетъ Тургеневъ,—съ какою комическою яростью онъ однажды при мнѣ напалъ на отсутствующаго, разумѣется, Пушкина за его два стиха въ „Поэтъ и Чернь“—

„Печной горшокъ тебѣ дороже,—
Ты пищу въ немъ себѣ варишь!“

„И, конечно!—твердилъ Бѣлинскій, сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ,—конечно, дороже!.. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бѣдняка въ немъ пищу варю... И прежде, чѣмъ любоваться красотою истукана,—будь онъ распрефидіасовскій Аполлонъ—мое право, моя обязанность накормить своихъ и себя, на-зло всякимъ негодующимъ баричамъ и виршеплетамъ!“... Бѣлинскій самъ сознавалъ, что въ своемъ пристрастномъ, непримиримомъ отношеніи ко всему, противорѣчащему его убѣжденіямъ, доходитъ до крайностей, но, тѣмъ не менѣе, фанатически стоялъ за свою нетерпимость...

Строгости тогдашней цензуры не позволяли Бѣлинскому свои новыя „убѣжденія“ проводить въ печати, — онъ могъ высказывать ихъ лишь въ дружескихъ, интимныхъ бесѣдахъ, да въ письмахъ... И вотъ, вмѣстѣ со своими друзьями-единомышленниками, онъ внимательно слѣдитъ за политическою жизнью Европы, интересуется всѣми иностранными литературными новинками, главнымъ образомъ, по вопросамъ соціологическимъ. Въ печати же свой неизрасходованный пылъ „неистовый Виссаріонъ“ тратилъ, главнымъ образомъ, на высмѣиваніе славянофиловъ, не стараясь особенно вникать въ ихъ философскіе взгляды, съ легкою совѣстью путая ихъ взгляды со взглядами Погодина и Шевырева. Любопытно при томъ, что съ славянофилами у него до конца жизни осталось нѣчто общее: да это и немудрено: и онъ, и они вышли изъ-подъ крыла Станкевича,—всѣ воспитались на Гегелѣ [2]). Бѣлинскій, напримѣръ, подобно тѣмъ же славянофиламъ, всегда интересовался русскимъ народомъ, и пытался опредѣлить его „духъ“...

---

[1]) „Тотъ не любитъ истины, кто не хочетъ для нея заблуждаться“,— говоритъ онъ.

[2]) Даже соціальными ученіями славянофилы увлекались,—отсюда преклоненіе ихъ передъ русскою „общиной“.

Долго работалъ Бѣлинскій въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Время его сотрудничества въ этомъ журналѣ было порой расцвѣта его таланта. Съ жадностью читались молодежью его статьи и заучивались наизусть, какъ стихи. Наконецъ, въ силу принципіальныхъ разногласій, онъ разошелся въ 1846 г. съ издателемъ. Опять въ жизни Бѣлинскаго настали крутыя времена,—тѣмъ болѣе, что теперь онъ былъ уже семейнымъ человѣкомъ и, къ тому же ,обострилась его хроническая болѣзнь легкихъ... Въ цѣляхъ леченія ѣздилъ онъ на югъ Россіи, но эта кратковременная поѣздка мало принесла ему пользы: плоть его замѣтно разрушалась, но духъ горѣлъ все тѣмъ же огнемъ...

Въ 1847 году основанъ былъ новый журналъ: „Современникъ“. Лучшіе писатели того времени были сотрудниками этого журнала: Герценъ, Гончаровъ, Тургеневъ, Григоровичъ, Дружининъ, Достоевскій, Некрасовъ въ эти первые годы „Современника“ помѣщали на его страницахъ свои повѣсти и романы [1]). Привлечены были въ число сотрудниковъ и такіе ученые, какъ Соловьевъ, Кавелинъ. Бѣлинскій въ этомъ журналѣ велъ отдѣлъ критики.

Въ 1847 году ему, для поправленія легкихъ, пришлось ѣхать заграницу. Но изъ леченія зальцбруннскими водами никакой пользы онъ тоже не получилъ: между тѣмъ, работать было нужно, чтобы не жить на счетъ друзей, чтобы не умереть съ голоду... Тѣмъ не менѣе, почти умирающій, взбудораженный, съ разбитой грудью и издерганными нервами, Бѣлинскій продолжаетъ горѣть „огнемъ неугасимымъ“,—пишетъ свои пламенныя статьи, всѣмъ интересуется, по-прежнему восхищается и возмущается, какъ юноша... Заграницей, подъ сердитую руку, написалъ онъ свое письмо Гоголю... Фанатизмъ партійности внушилъ ему это письмо. Вѣдь, въ сущности, Гоголь говорилъ въ своихъ „Выбранныхъ мѣстахъ“ многое такое, во что̀ еще недавно самъ Бѣлинскій вѣрилъ и о своей вѣрѣ заявлялъ даже въ печати,—и все-таки Бѣлинскій не сумѣлъ простить умирающаго Гоголя и жестоко „распялъ“ его!..

Въ 1848 году болѣзнь его быстро приняла опасный характеръ, но онъ работалъ все съ тою же энергіею; наконецъ, работать стало не подъ силу... Онъ сознавалъ, что идетъ смерть, но ясность его духовныхъ интересовъ осталась та же. Неутомимый труженикъ умеръ бѣднякомъ, потому что никогда не былъ „пріобрѣтателемъ“, а былъ только честнымъ слугой своей родины.

Бѣлинскій принадлежалъ къ той же семьѣ „алчущихъ правды“, какъ и Гоголь, но онъ былъ счастливѣе великаго юмориста: больше ясности и широты было въ его умѣ, отличался онъ бо́льшею вѣрою въ истину—и бо́льшею энергіею въ ея достиженіи. Къ служенію истинѣ не примѣшивалъ онъ личныхъ заботъ о себѣ, о своей душѣ,—онъ весь отдался русскому обществу, только ему служилъ...

Литературная дѣятельность Бѣлинскаго.

§ 17. *Литературная дѣятельность Бѣлинскаго* ясно распадается на три періода: *первый періодъ* захватываетъ время отъ начала его литературной работы до увлеченія Гегелемъ (съ начала 30-ыхъ годовъ до ихъ конца). Это—періодъ, когда онъ находился подъ вліяніемъ Надеждина, «скептической школы» и Шеллинга. *Второй періодъ*, съ конца 30-ыхъ годовъ, захватываетъ первые годы сороковыхъ. Въ этотъ періодъ времени Бѣлинскій находился подъ вліяніемъ Гегеля. И, наконецъ, сороковые годы до смерти составляютъ *третій періодъ*, когда великій критикъ всецѣло увлекся идеями общественными и политическими.

---

[1]) Почти всѣ эти писатели составили „кружокъ“ Бѣлинскаго; его горячія рѣчи въ кругу этой избранной молодежи имѣли большое воспитательное значеніе для этихъ молодыхъ писателей.

а) Первый періодъ дѣятельности Бѣлинскаго совпалъ съ участіемъ его въ журналахъ Надеждина. Надеждинъ былъ самъ извѣстный, въ свое время, критикъ, популярный профессоръ, поклонникъ и пропагандистъ «шеллингіанства».

Онъ былъ ученикомъ извѣстнаго профессора Московскаго университета Каченовскаго, основателя у насъ „скептической школы“ въ наукѣ русской исторіи. Человѣкъ образованный, ловко владѣющій перомъ, начитанный въ философіи, Надеждинъ, въ свое время, производилъ большое впечатлѣніе своими статьями, въ которыхъ была и ѣдкость остроумія, и свобода сужденій. Онъ былъ одинъ изъ самыхъ строгихъ критиковъ Пушкина.

Изъ школы Надеждина вынесъ Бѣлинскій рѣшительность и смѣлость сужденія, требованіе отъ русской литературы народности, усвоилъ скептическое отношеніе къ русской исторіи, шеллингіанское пониманіе сущности поэзіи и, къ сожалѣнію, нѣкоторую несогласованность въ самыхъ основахъ своего міросозерцанія.

Всѣ эти особенности сказались въ первой большой статьѣ его: «*Литературныя мечтанія*» (*Ист. хрест., т. II, в. 5, стр. 152*).

Въ основу этой статьи положена мысль, что у насъ нѣтъ литературы, потому что нѣтъ еще общества, потому что не выяснилась еще физіономія народа и не опредѣлилась русская народность. Между прочимъ, критикъ дѣлаетъ попытку опредѣлить самыя понятія: „литература“ и „народность“.

Литература, это—„собраніе такого рода художественно-словесныхъ произведеній, которыя суть плодъ свободнаго вдохновенія и дружныхъ усилій людей, созданныхъ для искусства, дышащихъ для одного его и уничтожающихся внѣ его, вполнѣ выражающихъ и воспроизводящихъ въ своихъ изящныхъ созданіяхъ духъ того народа, среди котораго они рождены и воспитаны“. Итакъ, литература — зеркало жизни; поэтъ служитъ только красотѣ, отражая всю жизнь, невольно, безсознательно, какъ эхо... Искусство—высшее образованіе божественнаго духа въ человѣкѣ, поэтъ—глашатай вѣчной истины, — жрецъ, служитель „чистой красоты“... „Духомъ“ народа называетъ онъ ту сторону его бытія, въ которой народъ отражаетъ какую-нибудь сторону жизни цѣлаго человѣчества; если народъ не въ состояніи этого сдѣлать,—„онъ не живетъ, а прозябаетъ“ и цѣнности исторической не имѣетъ... Восторженныя строки посвящаетъ Бѣлинскій красотѣ и стройности мірозданія: для него природа—живой организмъ, конкретное воплощеніе мірового духа. Всѣ эти идеи—отраженіе шеллингіанства, наслѣдіе лекцій Надеждина и бесѣдъ съ нимъ.

Надеждинскій скептицизмъ выразился въ строгомъ отношеніи къ русской литературѣ: ея у насъ нѣтъ, говорилъ Бѣлинскій,—имѣются лишь писатели, но нѣтъ между ними той органической преемственности, которая говорила бы о развитіи культуры, объ ея исторіи... Это рѣшительное сужденіе Бѣлинскаго совершенно ошибочно: онъ не зналъ русской литературы XVIII столѣтія во всемъ ея объемѣ,—зналъ лишь произведенія отдѣльныхъ писателей, а потому не замѣтилъ тѣхъ звеньевъ, что́ соединяютъ крупныя произведенія XVIII-го и начала XIX-го столѣтія, при помощи произведеній мелкихъ, въ нѣчто органически-цѣлое.

Бѣлинскій опредѣлилъ свое время, какъ „переходное“,—когда кончился одинъ періодъ, „пушкинскій“, и когда всѣ старые боги оказались упраздненными, а новыхъ еще не намѣчалось. Еще при жизни Пушкина сказалъ онъ въ печати, что талантъ великаго поэта угасъ (вліяніе Надеждина).

Къ этому же *первому* періоду относится много другихъ статей Бѣлинскаго; лучшія изъ нихъ слѣдующія: «*О русской повѣсти и*

повѣстяхъ Гоголя» (Ист. хрест., т. II, вып. 5, стр. 313), «О стихотвореніяхъ Баратынскаго, Кольцова, Бенедиктова», «О романахъ Лажечникова» и др.

Бѣлинскій о Гоголѣ.

Говоря о Гоголѣ, Бѣлинскій написалъ цѣлую исторію русской повѣсти и разсужденіе объ идеальной и реальной поэзіи. Въ Гоголѣ онъ призналъ художника, который вѣрно отражаетъ дѣйствительность,—призналъ „народность“ его повѣстей, ихъ художественныя красоты. Вѣрный себѣ, Бѣлинскій превозноситъ „безсознательность“ Гоголя, отмѣчаетъ отсутствіе въ его творчествѣ моральныхъ и другихъ тенденцій. „Способность творчества, —говоритъ онъ,—есть великій даръ природы; актъ творчества въ душѣ творящей есть великое таинство; минута творчества есть минута великаго священнодѣйствія; творчество безцѣльно съ цѣлью, безсознательно съ сознаніемъ, свободно съ зависимостью“. „Поэтъ—рабъ своего предмета, ибо не властенъ ни въ его выборѣ, ни въ его развитіи, ибо не можетъ творить ни по приказу, ни по заказу, ни по собственной волѣ, если не чувствуетъ вдохновенія, которое рѣшительно не зависитъ отъ него“ [1]). Въ Гоголѣ Бѣлинскій нашелъ замѣстителя Пушкину и поставилъ его во главѣ новаго періода русской литературы—„гоголевскаго“.

Второй періодъ литературной дѣятельности Бѣлинскаго.

§ **18**. *в) Второй періодъ литературной дѣятельности* Бѣлинскаго интересенъ потому, что теперь онъ, благодаря Гегелю, выработалъ «систему», которая сразу внесла порядокъ въ его міросозерцаніе. За эту «стройность» системы, въ которой все такъ было послѣдовательно, все было рѣшено, все было «на мѣстѣ», Бѣлинскій и привязался къ Гегелю. Теперь въ мысляхъ и статьяхъ нашего критика нѣтъ уже тѣхъ неясностей, несогласованностей, даже противорѣчій, которыя были у него наслѣдіемъ надеждинской школы [2]). Въ своихъ критическихъ статьяхъ сталъ онъ теперь твердить о «разумности дѣйствительнаго», о наличности развитія въ историческомъ ходѣ русской жизни; еще настойчивѣе сдѣлались теперь его попытки опредѣлить «духъ» русскаго народа.

Наиболѣе типичными статьями этого періода были слѣдующія: *«Менцель, критикъ Гете» (Ист. хрест., стр. 211), «Очерки Бородинскаго сраженія» (Тамъ же, стр. 235)*, разборъ комедіи: *«Горе отъ ума»*.

Въ первой изъ названныхъ статей онъ защищаетъ „дѣйствительность“. „Все, что есть,—необходимо,—говоритъ онъ,—разумно и дѣйствительно... Посмотрите на природу, приникните съ любовью къ ея материнской груди, прислушайтесь къ біенію ея сердца—и увидите въ ея безконечномъ разнообразіи удивительное единство; въ ея безконечномъ противорѣчіи — удивительную гармонію. Кто можетъ найти хоть одну погрѣшность, хоть одинъ недостатокъ въ твореніи Предвѣчнаго Художника?.. Кто можетъ сказать, что вотъ эта былинка ненужна, это животное лишнее?.. Если же міръ природы, столь разнообразный,—столь, повидимому, противорѣчивый, такъ разумно дѣйствителенъ, то неужели міръ его высшій, міръ исторіи—есть не такое же ра-

---

[1]) Понятно, что, придерживаясь такихъ взглядовъ, Бѣлинскій долженъ былъ въ это время восхищаться стихотвореніями Пушкина: „Поэтъ и Чернь“, „Поэту“, „Чернь“, „Эхо“.

[2]) См. объ этихъ противорѣчіяхъ въ работѣ акад. Жданова: „Памяти В. Г. Бѣлинскаго“, стр. 22 и др.

зумно-дѣйствительное развитіе божественной идеи, а какая-то сказка, полная случайныхъ и противорѣчащихъ столкновеній между обстоятельствами?.. Разумъ не создаетъ дѣйствительности, а *сознаетъ ее*, предварительно взявъ за аксіому, что все, что̀ есть, все то и необходимо, и законно, и разумно... Онъ не говоритъ, что такой-то народъ хорошъ, а всѣ другіе, непохожіе на него, дурны,—что такая-то эпоха въ исторіи народа, или человѣка, хороша, а такая-то дурна, но для него всѣ народы и всѣ эпохи равно велики и важны, какъ выраженія абсолютной идеи, діалектически въ нихъ развивающейся".

Обращаясь къ „дѣйствительности" въ жизни, Бѣлинскій говоритъ: „самыя преступленія, какъ бы они ни были ужасны, все это явленія одной и той же дѣйствительности, выражающія необходимые моменты духа, или уклоненія его отъ нормальности, вслѣдствіе внутреннихъ и внѣшнихъ причинъ". Онъ высмѣиваетъ тѣхъ историковъ, которые берутся говорить объ „ошибкахъ" великихъ историческихъ дѣятелей. Стоя на такой точкѣ зрѣнія, онъ и осуждаетъ Менцеля, который строго отнесся къ Гете.

„Очерки Бородинскаго сраженія".

Въ статьѣ объ «Очеркахъ Бородинскаго сраженія» Глинки, Бѣлинскій, стоя на своей излюбленной точкѣ зрѣнія, обращается къ русской жизни и защищаетъ разумность ея началъ, отстаиваетъ великое значеніе монархической власти. «Царь есть намѣстникъ Божій,—говоритъ онъ,—а царская власть, замыкающая въ себѣ всѣ частныя воли, есть преобразованіе единодержавія вѣчнаго и довременнаго разума» [1]). Всѣ эти идеи Бѣлинскаго, даже его патріотическія настроенія, не чуждыя шовинизма, удивительно совпадаютъ съ мыслями Пушкина въ послѣдній періодъ его жизни [2]) и съ настроеніемъ его патріотическихъ одъ.

„Горе отъ ума".

Въ статьѣ о «Горѣ отъ ума» Бѣлинскій напалъ на Грибоѣдова за его стремленіе бороться съ русскою дѣйствительностью». Поэтому онъ отрицательно отнесся къ Чацкому: назвалъ его «крикуномъ, фразёромъ, идеальнымъ шутомъ», призналъ его лицомъ комическимъ, и причину его «горя» увидѣлъ не въ «умѣ» его, а въ «умничаньи» [3])... Гораздо выше комедіи Грибоѣдова поставилъ онъ гоголевскаго «Ревизора», въ которомъ увидѣлъ объективное изображеніе дѣйствительности, безъ всякихъ попытокъ, при помощи «резонеровъ», въ родѣ Чацкаго, «поучать» зрителей.

---

[1]) Въ этой статьѣ Бѣлинскій доказываетъ, что престолъ долженъ быть наслѣдственнымъ; онъ говоритъ, что президентъ Соединенныхъ Штатовъ—только „почтенная, но не священная особа", да и сами Соединенные Штаты—не народъ.

[2]) Пушкинъ о монархіи говоритъ слѣдующее: „Зачѣмъ нужно, чтобы одинъ изъ насъ сталъ выше всѣхъ и даже выше самого закона?.. Затѣмъ, что законъ—дерево; въ законѣ слышитъ человѣкъ что-то жесткое и небратское. Съ однимъ буквальнымъ исполненіемъ закона недалеко уйдешь!.. Государство безъ полномощнаго монарха—автоматъ: много-много, если оно достигнетъ того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты?.. Мертвечина. Человѣкъ въ нихъ вывѣтрился до того, что и выѣденнаго яйца не стоитъ".

[3]) Опять близкое совпаденіе съ мыслями Пушкина.

Въ этой статьѣ критикъ дѣлитъ поэзію на два вида: на „поэзію положенія“, или „дѣйствительности“,—и „поэзію отрицанія“, или призрачности. „Подъ словомъ: *„дѣйствительность“* разумѣется все, что есть міръ видимый и міръ духовный, міръ фактовъ и міръ идей—разумъ въ сознаніи и разумъ въ явленіи“, говоритъ Бѣлинскій. Открывающійся самому себѣ духъ есть дѣйствительность,—тогда все частное, все случайное, все неразумное есть призрачность, какъ противоположность дѣйствительности, какъ ея отрицаніе, какъ кажущееся, но не сущее... Человѣкъ служитъ царю и отечеству, вслѣдствіе возвышеннаго понятія о своихъ обязанностяхъ къ нимъ, вслѣдствіе сознанія себя, какъ части общества, своего кровнаго и духовнаго родства съ нимъ—это *міръ дѣйствительности*. „Овому талантъ, овому два“ и потому, какъ бы ни была ограничена сфера дѣятельности человѣка, какъ бы ни незначительно было мѣсто, занимаемое имъ не только въ человѣчествѣ, но и въ обществѣ, но если онъ, кромѣ своей конечной личности, кромѣ своей ограниченной индивидуальности, видитъ въ жизни нѣчто общее и, въ сознаніи этого общаго, по степени своего разумѣнія, находитъ и источникъ своего счастья,—*онъ живетъ въ дѣйствительности* и есть „дѣйствительный человѣкъ“, а не призракъ,—истинный сущій, а не кажущійся только человѣкъ... Если человѣку недоступны объективные интересы, каковы жизнь и развитіе отечества, ему могутъ быть доступны интересы своего сословія, своего города, своей деревни, такъ что онъ находитъ какое-то, часто странное и непонятное для самого себя, наслажденіе для ихъ выгодъ лишаться собственныхъ, личныхъ выгодъ—*и тогда онъ живетъ въ дѣйствительности*... Если же онъ не возвышается и до такихъ интересовъ,—пусть будетъ онъ супругомъ, отцомъ, семьяниномъ, но только не въ животномъ, а въ человѣческомъ значеніи, источникъ котораго есть любовь... Какъ ни была она ограничена, лишь бы только была ограниченіемъ его личности онъ *опять живетъ въ дѣйствительности*... На какой степени ни проявился духъ, онъ—дѣйствительность, потому что онъ—любовь, или безсознательная разумность, а потомъ—разумъ, или любовь, сознавшая себя... Когда его сознаніе, или его субъективно-объективное существованіе, заключено только въ смыслѣ, или въ конечномъ разсудкѣ, наглухо заперто въ соображеніи своихъ личныхъ выгодъ, въ эгоистической дѣятельности, а не въ разумѣ, какъ въ сознаніи себя только чрезъ общее, какъ въ частномъ и переходящемъ выраженіи общаго и вѣчнаго—онъ—*призракъ, ничто*, хотя и кажется чѣмъ-то“. Стоя на такой точкѣ зрѣнія, осудилъ Бѣлинскій героевъ „Ревизора“, видя въ нихъ „извращеніе дѣйствительности“.

По-прежнему страстно и въ эти годы стремился Бѣлинскій опредѣлить «духъ» русской народности: нашему гегеліанцу-патріоту необходимо было опредѣлить «субстанцію» духа русскаго народа, чтобы защитить его права на почетное званіе «историческаго народа». Конечно, опредѣлить основы русской «народности» Бѣлинскому, при его скептицизмѣ, было нелегко: въ рѣшеніи этого вопроса не могъ онъ примкнуть къ «патріотамъ», не выносилъ онъ и «космополитовъ»...

Впрочемъ, рѣшая трудный вопросъ о духѣ русской народности, Бѣлинскій все же скорѣе готовъ былъ примкнуть къ своимъ постояннымъ литературнымъ противникамъ—славянофиламъ, чѣмъ оказаться въ одномъ лагерѣ съ противниками національной идеи.

„Что «личность» въ отношеніи человѣка,—говоритъ онъ,—то «народность» въ отношеніи къ идеѣ человѣчества. Безъ національностей человѣчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ,—словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія... Въ отношеніи къ этому вопросу, я скорѣе готовъ перейти на сторону славянофиловъ, чѣмъ оставаться на сторонѣ гума-

ническихъ космополитовъ, потому что, если первые и ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа,—а вторые и истину-то говорятъ, какъ такое-то изданіе такой-то логики".

Бѣлинскій вѣрилъ въ русскій народъ, въ его будущее. „Да, въ насъ есть національная жизнь,—говоритъ онъ,—мы призваны сказать міру *свое* слово, *свою* мысль, но какое это слово, какая мысль—объ этомъ еще рано намъ хлопотать!". „Мы вѣримъ и знаемъ,—писалъ онъ въ одной статьѣ,—что назначеніе Россіи есть всесторонность и универсальность: она должна принять въ себя всѣ элементы (западноевропейской) жизни духовной, внутренней, гражданской, политической, общественной и, принявши, должна сама быстро развить ихъ изъ себя" [1]).

Теперь, въ періодъ увлеченія Гегелемъ, онъ примиряется съ русской исторіей, признаетъ существованіе исторіи русской литературы. Но не изученіе фактовъ привело его къ этому вѣрному заключенію, а Гегель, съ его системою «развитія».

Въ это время, въ его глазахъ, страшно выросъ Пушкинъ, какъ явленіе, органически-связанное съ многовѣковой русской литературой, какъ результатъ ея развитія.

„Чѣмъ болѣе думали мы о Пушкинѣ,—говоритъ онъ,—тѣмъ глубже прозрѣвали въ живую связь его съ прошедшимъ и настоящимъ русской литературы, и убѣждались, что писать о Пушкинѣ—значитъ писать о цѣлой русской литературѣ; ибо, какъ прежніе писатели русскіе объясняютъ Пушкина, такъ Пушкинъ объясняетъ послѣдовавшихъ за нимъ писателей. Эта мысль сколько истинна, столько и утѣшительна: она показываетъ, что, несмотря на бѣдность нашей литературы, въ ней есть жизненное движеніе и органическое развитіе,—слѣдственно, у нея есть *исторія*".

Третій періодъ литературной дѣятельности Бѣлинскаго.

§ **19**. *c) Третій періодъ литературной дѣятельности Бѣлинскаго.* Наиболѣе цѣнной работой Бѣлинскаго въ этотъ періодъ было большое критическое изслѣдованіе дѣятельности Пушкина въ связи съ его предшественниками, начиная съ Ломоносова; цѣнны отдѣльныя статьи о Лермонтовѣ, Кольцовѣ и, наконецъ, рядъ годичныхъ «обозрѣній» текущей русской литературы съ 1844 по 1847-ой года.

Цензурныя условія времени не позволили Бѣлинскому быть откровеннымъ съ читателями, — приходилось отводить душу въ интимныхъ бесѣдахъ, а печатно говорить лишь намеками и общими фразами.

Въ 1848-омъ году, незадолго до смерти, Бѣлинскій писалъ: «поэтъ, прежде всего,—человѣкъ, потомъ гражданинъ своей земли, сынъ своего времени. Онъ и долженъ служить времени. Поэтъ долженъ выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое даетъ колоритъ и мысль всей его эпохѣ».

---

[1]) Ср. мнѣніе Достоевскаго о „всемірной отзывчивости, какъ главнѣйшей способности нашей національности".

Это заключеніе обязываетъ критика объяснять писателя «изъ его времени». «Исключительно-эстетическая критика,—продолжаетъ Бѣлинскій,—потеряла всякій кредитъ: на смѣну ей пришла *критика историческая*».

Взглядъ на Пушкина.

Такимъ опытомъ „исторической критики“ было его новое изслѣдованіе о Пушкинѣ. Теперь Пушкинъ, въ глазахъ Бѣлинскаго, нѣсколько опускается: въ этотъ періодъ для критики Пушкинъ былъ только великимъ поэтомъ-художникомъ, съ гуманными идеалами, съ тонкимъ чувствомъ изящнаго. Онъ сдѣлалъ для русской поэзіи великое дѣло, облагородивъ ее истинной красотой, на этомъ и кончилась его историческая миссія. Теперь Бѣлинскій „старается извинить“ Пушкина за его стихотворенія: „Поэту“, „Поэтъ и Чернь“, ошибочно видя въ нихъ полное и единственное выраженіе пушкинскаго взгляда на поэзію и значеніе поэта. Критикъ объясняетъ ошибки поэта историческими причинами, условіями его жизни и т. д. По поводу „ревности“ Алеко и жизни Татьяны Лариной онъ пишетъ прочувствованныя страницы о „правахъ любви“, о предразсудкахъ общества, о неправильномъ положеніи женщины въ культурномъ обществѣ. Взгляды сенсимонистовъ чувствуются въ этихъ статьяхъ Бѣлинскаго.

Пестро и разнообразно содержаніе критическихъ статей Бѣлинскаго. Для историка русской литературы его работы важны потому, что онъ далъ оцѣнку всѣхъ величайшихъ русскихъ писателей своего времени; по выраженію Аполлона Григорьева, «имя Бѣлинскаго, какъ плющъ, обросло четыре поэтическихъ вѣнца: четыре великихъ и славныхъ имени (Пушкина, Гоголя, Лермонтова [1]), Грибоѣдова) сплелись съ нимъ такъ, что, говоря о нихъ, какъ объ источникахъ современнаго литературнаго движенія, постоянно бываешь въ необходимости говорить о немъ,—высокій удѣлъ, данный судьбою немногимъ изъ критиковъ. Но, кромѣ оцѣнки сочиненій названныхъ писателей, говорилъ Бѣлинскій о многихъ другихъ русскихъ писателяхъ, прежнихъ и современныхъ ему. Онъ далъ характеристики всѣхъ вожаковъ русской литературы XVIII-го и начала XIX вв. Въ своихъ статьяхъ онъ обстоятельно разработалъ много идей различнаго характера: касался онъ и эстетики, и театра, и общественныхъ вопросовъ, и философіи, и науки...

Его статьи были всегда содержательны; это ихъ характерная особенность: иногда по поводу пустой книжонки Бѣлинскій высказывалъ широкія, захватывающія мысли, которыя покоряли читателя, главнымъ образомъ, страстностью и искренностью убѣжденія. Вообще и страстность, и искренность — отличительныя черты Бѣлинскаго: онъ самъ говорилъ, что его лучшія работы—«импровизаціи», что, отдавшись вдохновенію, онъ чувствовалъ себя, какъ будто на каѳедрѣ, въ роли горячаго оратора... Такимъ образомъ,

[1]) Отзывы Бѣлинскаго о Пушкинѣ, Гоголѣ, Лермонтовѣ и Кольцовѣ. См. *Ист. хрест., ч. II, вып. 5, стр. 258—376.*

Бѣлинскій ясно сознавалъ, что онъ—прирожденный полемистъ, что полемика—его стихія. Онъ многое повторилъ изъ того, что́ сказано было его ближайшими предшественниками, напр., Надеждинымъ, но никто до него не сумѣлъ *такъ горячо, такъ проникновенно* говорить съ читателями, какъ Бѣлинскій.

Главное значеніе его дѣятельности заключается въ томъ, что онъ —

Значеніе Бѣлинскаго.

1) Разъяснилъ высокую поэзію „реалистической" литературы. Явившись самъ, какъ литературное слѣдствіе дѣятельности Пушкина и Гоголя, онъ отплатилъ имъ тѣмъ, что объяснилъ современникамъ ихъ значеніе. Благодаря его критикѣ, эти писатели выросли въ русскомъ самосознаніи,—ихъ вѣрнѣе поняли, оцѣнили. Этимъ облегчена была возможность болѣе глубокаго вліянія ихъ на послѣдующую русскую литературу,—этимъ *ускоренъ былъ темпъ развитія всей русской литературы.*

2) Въ русскую критику онъ внесъ опредѣленные эстетическіе, философскіе и общественные принципы.

3) Изъ критики, до него отличавшейся педантскимъ доктринерствомъ, сдѣлалъ онъ живую общественную силу, внеся жгучую струю отзывчивости къ общественной жизни. Благодаря ему, писатель у насъ сдѣлался „общественнымъ дѣятелемъ".

4) „Эстетическую" критику онъ замѣнилъ „исторической".

5) Его значеніе велико и какъ личности. Не имѣя возможности *въ печати* высказывать свои убѣжденія, онъ сумѣлъ *въ своемъ интимномъ кружкѣ* вліять на литературную молодежь своимъ горячимъ словомъ: вотъ почему ученики Пушкина и Гоголя, *въ литературномъ отношеніи*,—такіе писатели, какъ Тургеневъ, Гончаровъ, Некрасовъ,—сдѣлались учениками Бѣлинскаго, *въ идейномъ отношеніи* [1]).

Русская литература сороковыхъ годовъ.

Воздѣйствіе Пушкина, Гоголя и Бѣлинскаго на развитіе русской литературы XIX в.

§ **20.** Гоголь, Бѣлинскій и Пушкинъ шли по разнымъ путямъ человѣческаго самосознанія: Гоголь, въ своихъ исканіяхъ истины, шелъ узкимъ путемъ самоуглубленія, питаясь исключительно «своими русскими соками», почти не освѣжая ихъ, мало пополняя ихъ «вліяніями извнѣ». Бѣлинскій, наоборотъ, жилъ, главнымъ образомъ, чужими вліяніями, широко и свободно черпая ихъ изъ жизни западно-европейской интеллигенціи и неразъ мѣняя ихъ. Пушкинъ въ своей жизни соединилъ оба эти пути: его внутренняя работа органически слилась съ широкимъ и, въ то же время, осторожнымъ изученіемъ чужихъ мыслей, чужого ума... И Гоголь, и Бѣлинскій отразили на себѣ двѣ крайнія стороны русской души, первый—тяготѣніе къ самоанализу, къ «внутреннему дѣянію» (настроенія древней Руси, идеалы сектантства, идеи Л. Толстого), а второй—способность русскихъ людей легко увлекаться «послѣднимъ словомъ», пришедшимъ извнѣ (Русь XVII в. и весь XVIII-й вѣкъ, начиная съ реформъ Петра; философскія и политическія увлеченія русскаго общества въ XIX ст.). Изъ «скрещенія» всѣхъ этихъ различныхъ, взаимно-дополняю-

---

[1]) Оттого выше въ оцѣнкѣ Гоголя, сказано, что Гоголь *при помощи Бѣлинскаго* сдѣлалъ литературу общественною силой.

щихъ «воздѣйствій» Пушкина, Гоголя и Бѣлинскаго,—воздѣйствій литературныхъ и идейныхъ, сложилось все содержаніе, характеръ, особенности и идеалы русской литературы второй половины XIX-го столѣтія.

Бѣлинскій провозгласилъ Гоголя главой новаго литературнаго періода—*«гоголевскаго»*, рѣшительно заявивъ, что *«пушкинскій»* періодъ окончился. Великій критикъ ошибался, когда предположилъ, что вліяніе одного великаго писателя можетъ сразу угаснуть съ появленіемъ другого, столь же великаго. Исторія русской литературы XIX в. доказываетъ, что вліяніе Гоголя не уничтожило вліяній Пушкина,—что, рядомъ съ «гоголевской школой», въ теченіе всего вѣка, процвѣтаетъ у насъ и школа «пушкинская», сохраняющая и развивающая литературныя традиціи своего великаго учителя. Обѣ школы не только не исключаютъ другъ друга, но даже оказываютъ воздѣйствіе одна на другую.

Различіе между писателями обѣихъ школъ сказалось не только въ томъ *содержаніи*, которое вкладывали они, по преимуществу, въ свои творенія, но—и въ *различіи способовъ чувствовать* и понимать жизнь. «Художникъ, говоритъ проф. Овсянико-Куликовскій, либо *наблюдаетъ* дѣйствительность и въ своемъ произведеніи подводитъ итогъ этимъ наблюденіямъ,—либо дѣлаетъ своего рода *опыты* надъ дѣйствительностью, выдѣляя нѣкоторыя интересующія его, черты этой дѣйствительности, которыя въ ней, сами по себѣ, вовсе не выдѣляются, а всегда, или въ огромномъ большинствѣ случаевъ, даны въ соединеніи съ другими чертами, ихъ заслонившими»...

Художникъ-*наблюдатель*, изучая людей и жизнь, стремится дать, по возможности, правдивое воспроизведеніе дѣйствительности. На его картинѣ жизнь изображена такъ, какъ она есть, но только въ образахъ типичныхъ, обобщающихъ; художникъ-наблюдатель не навязываетъ читателю своей точки зрѣнія на жизнь: онъ только широко рисуетъ дѣйствительность.

Художникъ, пользущійся *опытомъ*, какъ методомъ художественнаго познанія жизни и человѣка, даетъ произведеніе, въ которомъ имѣется *нарочитый подборъ извѣстныхъ чертъ*, взятыхъ изъ жизни; оттого въ его произведеніяхъ изображена не вся жизнь, а лишь *нѣкоторыя черты* жизни выступаютъ особенно ярко и отчетливо. Такимъ образомъ, въ изображеніяхъ жизни, вышедшихъ изъ-подъ пера писателей этого типа, есть та, или другая, *тенденція*.

Это коренное различіе въ *пріемахъ созерцать жизнь* впервые сказалось у Пушкина и Гоголя; оно повторилось впослѣдствіи и у другихъ писателей XIX в.: одни только изображали жизнь, — другіе жизнью пользовались для обличенія, для ученія, для проведенія опредѣленныхъ взглядовъ и тенденцій. Это замѣчено было давно, напримѣръ, Тургеневымъ, который въ 1856 г. писалъ въ одномъ письмѣ, что, хотя онъ и поклонникъ Гоголя, но для литературы русской считаетъ необходимымъ «вернуть *пушкинскій элементъ* въ *противовѣсъ гоголевскому*». Сущность этого «пушкинскаго элемента» видѣлъ Тургеневъ «въ томъ спокойномъ и свѣтломъ поэтическомъ созерцаніи, которое составляетъ характерную черту Пушкина, какъ художника»,—въ «стремленіи къ безпристрастію и истинѣ всецѣлой». Такимъ образомъ, умѣніе изображать жизнь широко и свободно отъ тенденцій,—вотъ, главная особенность Пушкина и его литературныхъ учениковъ [1]).

---

[1]) Самъ Гоголь чувствовалъ, что онъ, выросшій подъ вліяніемъ Пушкина, однако, начинаетъ своимъ творчествомъ другую школу: „нельзя по-

Въ этомъ раздѣленіи русской литературы на «школы» и «направленія» главную роль сыгралъ Бѣлинскій. Онъ выяснилъ характеръ и элементы творчества Пушкина и Гоголя; онъ первый опредѣлилъ существованіе у насъ литературной школы «искусства для искусства»; первый заговорилъ о «реализмѣ», въ спорахъ съ славянофилами онъ поднялъ и обострилъ интересъ къ народному творчеству... Онъ установилъ значеніе Гоголя, какъ борца съ неправдой русской жизни. Онъ внесъ *сознательность* въ русскую литературу, привилъ ей ту тенденціозность, которая сдѣлала лучшихъ нашихъ писателей XIX-го столѣтія врагами крѣпостного права, врагами «обломовщины» и тѣхъ «лишнихъ людей», что прозябали безъ пользы для общества и родины... Какъ критикъ, Бѣлинскій создалъ русскую *публицистическую* критику—либеральную и консервативную (В. Майковъ, Добролюбовъ, Писаревъ, Чернышевскій, Катковъ, Ап. Григорьевъ и Страховъ).

Сороковые и шестидесятые годы въ русской жизни XIX ст.

Въ изложеніи историческихъ судебъ русской литературы выше отмѣчены были *восемь* историческихъ *моментовъ*, когда особенно ярко выразились коренныя измѣненія строя русской жизни.

Такими-же ярко-выраженными, историческими моментами въ жизни русскаго общества XIX-го столѣтія были *сороковые* и *шестидесятые годы*; всѣ остальныя десятилѣтія менѣе характерны, такъ какъ отличаются переходнымъ характеромъ,—представляя собою или подготовленіе, или продолженіе и развитіе двухъ указанныхъ эпохъ.

„Сороковые годы".

Въ литературномъ отношеніи особый интересъ представляютъ *сороковые годы:* въ эту эпоху русское творчество достигло необыкновенной интенсивности; подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ дѣятельности Пушкина и Гоголя, подъ непосредственнымъ руководствомъ Бѣлинскаго, вдохновителя этой эпохи, у насъ въ это время появилось большое количество литературныхъ талантовъ. Такъ, въ области лирическаго творчества къ этому времени относится дѣятельность Лермонтова, Кольцова, Майкова, Фета, Полонскаго, Некрасова, А. Толстого; въ области романическаго творчества выступили Григоровичъ, Тургеневъ, Герценъ, Гончаровъ, С. Аксаковъ, Л. Толстой. Всѣ эти писатели «сороковыхъ годовъ» захватили и «шестидесятые годы»; многіе изъ нихъ дожили до конца XIX-го столѣтія и сдѣлались свидѣтелями того могущественнаго интенсивнаго развитія, которое пережито было русскимъ обществомъ въ теченіе всего XIX-го столѣтія.

Въ идейномъ отношеніи, *сороковые годы* тѣсно связаны съ предшествующими эпохами русской жизни. «Западничество» и «славянофильство» по-прежнему дѣлили русскую интеллигенцію на два лагеря; по-прежнему въ полной силѣ было направленіе «офиціальной народности». Въ литературномъ отношеніи особенно сильно бился пульсъ жизни въ той группѣ русской

вторять Пушкина,—говоритъ онъ,—нѣтъ, не Пушкинъ, или кто другой, долженъ стать теперь въ образецъ намъ,—другія уже времена пришли... Другія дѣла наступаютъ для поэзіи... Какъ во времена младенчества народовъ служила она къ тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая бранолюбивый духъ, такъ придется ей теперь вызывать и другую, высшую битву—но битву уже не за временную нашу свободу, но за нашу душу!" Къ этимъ словамъ Мережковскій прибавляетъ: „онъ (Гоголь) покидаетъ искусство для искусства: кончается пушкинская „молитва", „жертвоприношеніе" („Поэтъ и Чернь")—начинается „битва", „самопожертвованіе" Гоголя; исчезаетъ *поэтъ*,—выступаетъ *пророкъ*".

интеллигенціи, которая примкнула къ «западничеству». Русская жизнь, освѣщенная съ точки зрѣнія передовыхъ идей запада, предстала передъ этими русскими интеллигентами съ отрицательной стороны. Что могли они сдѣлать, чтобы провести свои идеалы въ жизнь?.. Ни правительство, ни масса общества не были расположены благопріятно къ проповѣди либерализма въ западно-европейскомъ духѣ. Оттого въ тогдашнюю русскую литературу проникли лишь немногія, разрозненныя и очень ослабленныя идеи западнаго либерализма... Это видно, хотя бы, изъ того, что Тургеневъ, въ 40-ые годы считался вожакомъ русской либеральной молодежи.

На западѣ сороковые годы XIX-го столѣтія ознаменованы были страстной общественной борьбой, которая явилась результатомъ столкновенія различныхъ общественныхъ классовъ. Въ Россіи той эпохи не было этой соціальной борьбы. Къ тому же «демократическія» идеи запада у насъ попали, на первыхъ порахъ, въ среду дворянскую, «аристократическую», что, конечно, сразу ослабило ихъ силу и значеніе; кромѣ того, эти идеи сдѣлались достояніемъ немногочисленныхъ передовыхъ людей, которые не имѣли возможности примѣнить ихъ, такъ какъ въ самой жизни не было почвы для ихъ развитія...

Вниманіе этихъ идеалистовъ-теоретиковъ направилось, главнымъ образомъ, на вопросъ объ *освобожденіи личности* (крѣпостное право, личность въ семьѣ и обществѣ). Крѣпостное право еще съ XVIII-го вѣка вызывало къ себѣ негодованіе со стороны русскихъ интеллигентныхъ людей; еще тогда это явленіе осуждалось съ точки зрѣнія высшей, общечеловѣческой гуманности,—теперь, въ эпоху 40-ыхъ годовъ, мужикъ, «страдающій меньшой братъ», сдѣлался предметомъ преклоненія, даже обожанія, возведенъ былъ на пьедесталъ... «Мужикомъ» стали восхищаться, его жизнь стали описывать, въ его душѣ стали открывать особыя глубины чувства и мысли... Эта *демократизація* литературы, начавшаяся еще съ XVIII в., съ эпохи сентиментализма, съ «Бѣдной Лизы» Карамзина,—въ эту эпоху достигаетъ своего апогея...

Кромѣ осужденія «крѣпостничества» либеральная мысль людей 40-ыхъ годовъ увлекалась также разрѣшеніемъ запутаннаго и темнаго вопроса семейныхъ отношеній. Освобожденіе человѣка, особенно женщины, отъ гнета вѣковыхъ условностей, «традицій»,—желаніе устроить жизнь на новыхъ началахъ, исканіе сильнаго человѣка, который можетъ выйти на этотъ новый путь,—вотъ, что характерно для писателей этой эпохи. Эта жажда найти «сильнаго человѣка» заставила Бѣлинскаго восхищаться Онѣгинымъ и Печоринымъ, заставила Тургенева искать «идеальную русскую женщину»...

Недостатковъ правительственнаго строя николаевской Россіи, тѣмъ менѣе вопросовъ о государственныхъ реформахъ, люди 40-ыхъ годовъ не смѣли касаться въ печати, и сатира Гоголя вплоть до Щедрина оставалась въ нашей литературѣ самымъ смѣлымъ словомъ, обличающимъ недостатки нашей дореформенной жизни.

Тѣмъ не менѣе, значеніе 40-ыхъ годовъ въ исторіи русскаго самосознанія громадно: за это время въ русскомъ обществѣ все-таки опредѣлились и укрѣпились тѣ освободительныя идеи, которыя изъ *шестидесятыхъ годовъ* сдѣлали въ нашей исторіи «эпоху великихъ реформъ».

„Шестидесятые годы".

Подъему культурной жизни русскаго народа въ эту эпоху особенно помогло назрѣвшее сознаніе необходимости реформировать жизнь: съ одной стороны, усилились вліянія запада, пережившаго волненія 1848 года, съ другой стороны, начались у насъ волненія крестьянъ,

быстро росло число людей, недовольныхъ строемъ жизни Россіи, и, наконецъ, разразилась неудачная Крымская война. Въ ряды вожаковъ общественной русской жизни вступили теперь «новые люди»—не мечтатели-утописты дворянскаго происхожденія, а утилитаристы, вышедшіе изъ рядовъ народившагося у насъ культурнаго «мѣщанства». «Человѣкъ 40-хъ годовъ, при всемъ своемъ идейномъ демократизмѣ, оставался человѣкомъ высшаго культурнаго слоя»... (Головинъ). Вожаки 60-ыхъ годовъ, напротивъ того, стали ближе къ народу, такъ какъ были демократами не только по своимъ идеаламъ, но и по своему происхожденію.

Опредѣлившаяся въ 60-ыхъ годахъ демократизація русскаго общества, идейная и бытовая, сказалась, прежде всего, въ измѣненіи отношеній публики и критики къ поэзіи, ея цѣлямъ и задачамъ. Вотъ почему «культъ изящнаго» и въ жизненной обстановкѣ, и въ литературномъ творчествѣ,—культъ, воодушевлявшій и Гоголя, и Бѣлинскаго, почти исчезаетъ съ поколѣніемъ 60-ыхъ годовъ. Писатели этой эпохи даже проповѣдуютъ небрежность формы, презрѣніе къ изяществу...

Писатели 40-ыхъ годовъ требовали служенія обществу, народу, но они не рѣшились бы утверждать, что у литературы и вообще у искусства нѣтъ другихъ цѣлей, кромѣ служебныхъ. Теперь, въ 60-ые годы, искусство оказалось совершенно подчиненнымъ жизни: рѣшительно и безповоротно было осуждено «чистое искусство», «искусство для искусства».

Насколько идеалисты 30-ыхъ и 40-ыхъ годовъ увлекались нѣмецкой идеалистической философіей,—настолько люди 60-ыхъ годовъ заинтересовались естествознаніемъ. Эти интересы пришли къ намъ съ запада, гдѣ въ это время (50—60-ые годы) естественныя науки не только сдѣлали большіе успѣхи въ своей области, но свои методы перенесли даже въ область соціологіи. Имена Фарадея, Гельмгольца, Тиндаля, Дарвина, Вирхова, Гексли, работавшихъ въ области міровѣдѣнія, сплелись съ именами философовъ, пытавшихся найденными законами и методами естественныхъ наукъ объяснить ходъ развитія человѣческихъ обществъ: Милль, Бокль, Спенсеръ—самые популярные работники въ этомъ направленіи. Всѣ эти, модныя на западѣ, научныя теоріи занесены были къ намъ,—и въ 60-ые годы мы наблюдаемъ въ русскомъ обществѣ увлеченіе естествознаніемъ, соціологіей и чисто-матеріалистическими ученіями Фохта, Молешота, Бюхнера.

Любопытно, что у насъ этотъ научный теоретическій матеріализмъ сыгралъ роль освободительной проповѣди даже въ области духовной жизни. Психическая жизнь человѣка и тѣ изъ ея отправленій, которыя принято называть «волевыми», съ точки зрѣнія этихъ матеріалистовъ, объяснялись, какъ проявленіе органической жизни, возвысившейся до самосознанія. Явленія природы объяснялись, какъ результатъ простого взаимодѣйствія свойствъ вещества; явленія историческія разсматривались, какъ результатъ условій климата, почвы и расы. Это увлеченіе матеріализмомъ привело людей 60-ыхъ годовъ къ перевороту въ области морали: на страсти человѣка стали смотрѣть, какъ на нѣчто естественное, что̀ не нуждается въ контролѣ «условныхъ» правилъ и традицій.

Въ русской литературѣ 60-ыхъ годовъ всѣ эти новыя увлеченія выразились въ усиленной демократизаціи литературныхъ сюжетовъ и героевъ: теперь крупная личность, интересовавшая всѣхъ въ 40-ые годы, мало-по-малу, сокращается,—интересы писателя обращаются больше къ «толпѣ», къ средѣ,—къ тѣмъ условіямъ жизни, которыми главнымъ образомъ объясняются ея типичныя

проявленія. Вооружившись пріемами естествоиспытателей, наши писатели начали анализировать характеръ человѣка, разбирать его психику, начали изучать бытъ различныхъ сословій. Крайнее развитіе индивидуализма, отличавшее собою романтическую школу, смѣнилось теперь новымъ представленіемъ о характерѣ человѣка, въ которомъ стали видѣть естественный продуктъ данной среды. Вотъ почему романы и повѣсти 60-ыхъ годовъ изобилуютъ сословными типами: наши писатели усвоили себѣ ту точку зрѣнія, что принадлежность къ извѣстному классу уже, сама по себѣ, опредѣляетъ душевное свойство лица. Явились фигуры купца-самодура, образованнаго разночинца, богатаго хлыща, честнаго «труженика-пролетарія» и т. д.

Крайности міровоззрѣнія людей 60-ыхъ и 70-ыхъ годовъ (особенно неумѣренное увлеченіе матеріализмомъ и утилитаризмомъ) вызвали протестъ со стороны «отставныхъ» вожаковъ русской мысли: писатели 40-ыхъ годовъ, дожившіе до 60—70 годовъ, въ свое время сами провозвѣстники новыхъ идеаловъ, теперь почувствовали себя отброшенными въ сторону теченіями новаго времени. И они встали на защиту забытыхъ идеаловъ своей юности,—начали обличать и высмѣивать увлеченія новаго времени, далеко ушедшаго отъ нихъ. Достоевскій («Бѣсы»), Гончаровъ («Обрывъ»), А. Толстой («Потокъ-богатырь», «Пантелей-цѣлитель» и др.), даже Тургеневъ («Дымъ», «Новь»),—всѣ стали критически, даже отрицательно, относиться къ новому времени и его вожакамъ...

а) Писатели-„скорбники“.

Значеніе Пушкина въ развитіи литературы XIX ст.

§ **21**. Мы видѣли уже выше, насколько литературная дѣятельность Пушкина богата была самыми разнообразными настроеніями и содержаніемъ—1) онъ первый у насъ далъ произведенія, въ которыхъ отразились вліянія «*міровой скорби*». И вотъ, литературная дѣятельность Баратынскаго, Лермонтова, Огарева, отчасти Тютчева и Козлова является однимъ направленіемъ «пушкинской школы»—направленіемъ, которое культивировало у насъ «*поэзію разочарованія и тоски*». 2) Пушкинъ во многихъ своихъ произведеніяхъ является поклонникомъ «чистаго искусства»,—эстетикомъ, отрицающимъ служебное значеніе поэзіи. Эта идея развита имъ въ цѣломъ рядѣ замѣчательныхъ произведеній и, подъ ихъ вліяніемъ, складывается другое направленіе его школы—*чисто-эстетическое*,—Ап. Майковъ, Полонскій, Фетъ, Мей, Алексѣй Толстой, являются самыми видными представителями этого эстетическаго направленія. 3) Пушкинъ, во многихъ своихъ произведеніяхъ, особенно второго періода, явился поэтомъ-*народникомъ*, постигшимъ духъ русской пѣсни, духъ русской исторіи. И вотъ, его геніальныя подражанія народному русскому творчеству отражаются на поэзіи Кольцова, Никитина, отчасти Некрасова и Алексѣя Толстого. Его любовь къ русской исторіи, умѣніе понять духъ родного прошлаго («Борисъ Годуновъ») создаютъ историческое направленіе въ исторіи русской драмы; продолжателями его являются — Алексѣй Толстой («Трилогія»), Островскій («Василиса Мелентьева» и др.), Мей («Псковитянка»). 4) Пушкинъ, какъ *реалистъ*-бытописатель, спокойно-объективно и широко рисующій русскую жизнь, создалъ реалистическую русскую повѣсть. И, въ этомъ отношеніи, романисты: Тургеневъ, С. Аксаковъ, Л. Толстой («Война и Миръ» и др.) примыкаютъ болѣе къ нему, чѣмъ къ Гоголю.

Гоголь въ развитіи русской литературы XIX ст.

Въ дѣятельности Гоголя выше были отмѣчены два направленія: *обличительное* и *учительное* (моральное и религіозно-мистическое). *Реализмъ* Гоголя, въ противоположность пушкинскому, никогда не былъ объективнымъ, такъ какъ всегда онъ служилъ извѣстнымъ тенденціямъ. И вотъ, въ «гоголевской школѣ» русскихъ писателей-реалистовъ мы можемъ видѣть отраженіе обоихъ этихъ направленій: обличительнаго и учительнаго.

Къ писателямъ, реализмъ которыхъ имѣетъ *обличительный* характеръ, относятся—Григоровичъ («Антонъ Горемыка» и др.), Тургеневъ («Записки охотника», «Муму», «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда», «Дневникъ лишняго человѣка», «Рудинъ»), Гончаровъ («Обыкновенная исторія» и «Обломовъ»), Герценъ («Сорока-Воровка», «Кто виноватъ»), Некрасовъ и Островскій (всѣ его бытовыя комедіи и драмы).

Къ писателямъ-*учителямъ* жизни относится Л. Толстой, который, въ большинствѣ своихъ произведеній («Дѣтство и Отрочество», «Утро помѣщика», «Севастопольскіе разсказы», «Три смерти», «Казаки», «Смерть Ивана Ильича», «Анна Каренина»), является писателемъ, разрѣшающимъ проблемы моральнаго характера. Къ этой же группѣ примыкаетъ и Достоевскій во многихъ своихъ произведеніяхъ (напр., «Бѣдные люди», «Униженные и оскорбленные», «Преступленіе и наказаніе»).

Пушкинская школа.

„Міровая скорбь"; ея историческія основанія на Западѣ.

Выше были уже выяснены характерныя черты того настроенія, которое историками европейской жизни XIX-го вѣка называется «міровой скорбью». Историческія причины этого настроенія кроются въ томъ разочарованіи, которое овладѣло многими мыслящими людьми Европы, когда они увидѣли, что французскій народъ, обѣщавшій, при помощи революціи, создать новый, лучшій строй жизни, не оправдалъ ихъ надеждъ, а вожаки-идеалисты, шедшіе спасать человѣчество отъ «произвола» и «насилія», сами сдѣлались палачами. При видѣ этого, у многихъ мечтателей того времени гордая вѣра въ себя и человѣка смѣнилась презрѣніемъ къ себѣ и къ людямъ, даже ненавистью къ нимъ... «Усталость отъ несчастій смирила многія души», — замѣтила, по этому поводу, въ одномъ произведеніи г-жа Сталь. Разочарованіе это захватило не только людей западной Европы,—оно сдѣлалось хорошо знакомо и русской интеллигенціи, которая въ XVIII-мъ и XIX-мъ вв. чутко слѣдила за всѣмъ, происходившимъ на Западѣ,—жила и волновалась тѣми же мечтами и чаяньями, что и Западъ.

Изъ литераторовъ Шатобріанъ первый сумѣлъ найти полное и яркое литературное воплощеніе этому модному настроенію въ образѣ героя своихъ двухъ повѣстей—Рене.

Вслѣдъ за Шатобріаномъ, другой писатель, де-Сенанкуръ, изобразилъ этотъ же типъ разочарованнаго скорбника въ романѣ: «Оберманъ».

Приблизительно такими же представлены герои романовъ: «Адольфъ» Бенжамена Констана, «Мельмотъ» Матюрена, «Вампиръ», «Вѣчный Жидъ» Сю, «Сбогаръ» Нодье.

Байронъ.

Но особенно ярко и сильно выразились мотивы «міровой тоски» въ творчествѣ Байрона. Это настроеніе, уединявшее поэта въ міръ

его души, выразилось у Байрона въ крайнемъ *индивидуализмѣ*: Байронъ никогда не поддавался настроеніямъ толпы, всегда шелъ противъ теченія... Смѣло обличалъ онъ своекорыстную, эгоистическую политику своей родины тогда, когда эта политика была популярной въ широкихъ кругахъ англійскаго общества; на своей родинѣ онъ говорилъ языкомъ свободнаго мыслителя, не смущаясь тѣмъ, что современное ему англійское общество было религіозно до педантизма; въ эпоху пробужденія національнаго во всѣхъ странахъ Европы (послѣ пораженія Наполеона) онъ проповѣдовалъ космополитизмъ; защищалъ Наполеона, когда всѣ его поносили, издѣвался надъ Священнымъ Союзомъ и надъ его политикой... Субъективистъ въ своемъ творчествѣ, онъ, въ лицѣ своихъ героевъ, изобразилъ всѣ характерныя черты своей гордой, титанической души, въ которой безмѣрная любовь сочеталась съ такою же безмѣрною злобой... Въ героѣ поэмы: «Чайльдъ-Гарольдъ» онъ представилъ человѣка, протестующаго всей своей жизнью противъ узкихъ, условныхъ правилъ общепринятой морали; этотъ герой знаетъ «пресыщеніе» жизнью и, зараженный хандрой, съ холоднымъ смѣхомъ презрѣнія покидаетъ край родной. Въ «Корсарѣ» Байронъ нарисовалъ морского разбойника, который тоже уходитъ отъ людей и своей свободной жизнью «морского волка» мститъ имъ; другой герой его, Лара, мрачный рыцарь, всѣмъ чужой, озлобленный противъ всѣхъ,—таинственный преступникъ, презирающій людей и потому одинокій... Онъ ведетъ первобытный образъ жизни, но остается человѣкомъ, сердце котораго отравлено навсегда цивилизаціей. Всѣ эти герои не хотятъ связывать своей судьбы съ женщиной, такъ какъ счастья ни она имъ, ни они ей не дадутъ. Только природа даетъ имъ нѣкоторое успокоеніе... Въ лицѣ Манфреда Байронъ изобразилъ волшебника, сверхъ-человѣка, надѣленнаго такой силой презрѣнія ко всему, что даже злые духи боятся его. Этотъ титанъ сохраняетъ независимое положеніе между небомъ и адомъ; онъ не нуждается въ законахъ и свободенъ отъ всѣхъ условностей человѣческой жизни; въ себѣ самомъ находитъ онъ воздаянье и за свое добро, и за свое зло...

Титанизмъ всѣхъ этихъ героевъ, приближающій ихъ къ существамъ демоническимъ, соединеніе въ ихъ душѣ добра и зла, препятствующее имъ слиться съ жизнью или неба, или ада,—крайній индивидуализмъ, обрекающій этихъ героевъ на гордое одиночество, на «серединное» существованіе между небомъ и землей—ихъ характерныя черты.

Вотъ почему и Байронъ, и другіе писатели этого направленія излюбили образъ ангела, или демона, оторвавшагося отъ своей стихіи, тоскующаго и одинокаго. Такъ, напримѣръ, въ поэмѣ: «Небо и Земля» Байронъ изобразилъ ангела, влюбленнаго въ земную дѣвушку; въ его поэмѣ: «Каинъ» дѣйствуетъ падшій ангелъ-Люциферъ, который сближается съ Каиномъ и частицу своего титаническаго протеста противъ Бога передаетъ ему.

Такой герой увлекалъ фантазію не одного Байрона: Ламартинъ, тоже пережившій настроенія «міровой тоски» и, подобно Шатобріану, нашедшій утѣшеніе въ религіи, оставилъ послѣ себя «Великую поэму», въ составъ которой, какъ эпизодъ, входитъ разсказъ объ ангелѣ, полюбившемъ земную дѣву («Паденіе ангела»). Альфредъ де-Виньи въ своей поэмѣ: «Элоа» тоже развилъ сходный сюжетъ: Элоа, сестра ангеловъ, въ то же время близка и къ людямъ, не чужда человѣческихъ страстей...

Таковы были *литературныя* выраженія того разочарованія, которое явилось въ западной Европѣ, какъ результатъ неудачъ французской

революціи и тяжести наполеоновскаго режима. Эти настроенія нашли въ Россіи почву, благопріятную для развитія аналогичныхъ настроеній, потому что русскіе люди съ XVIII-го в. жили культурными интересами Запада, раздѣляли вмѣстѣ съ западноевропейцами всѣ ихъ переживанія. Но, кромѣ того, въ русскомъ обществѣ для развитія этого настроенія были и свои мѣстныя историческія причины.

Громадны были историческія послѣдствія первыхъ либеральныхъ начинаній императора Александра I: впечатлѣнія отъ этихъ начинаній оказались настолько глубоки и серьезны, что реакція, смѣнившая либерализмъ императора, не смогла вырвать изъ сознанія русскаго общества зародившейся въ немъ мечты о правахъ личныхъ и гражданскихъ. Режимъ николаевской эпохи поддержалъ поколебавшееся самодержавіе: оно выросло и окрѣпло, овладѣло симпатіями массъ. Либералы, воспитанники политики императора Александра, остались одиноки. Въ результатѣ, русское общество пошло по тѣмъ тремъ дорогамъ, которыя обозначились уже въ послѣдній періодъ царствованія Александра I: одни (ихъ огромное большинство) пошли вслѣдъ за правительствомъ, другіе попытались, было, бороться (Бѣлинскій, Герценъ), третьи замкнулись въ себѣ,— ушли или въ философскіе интересы, или погрузились въ безпросвѣтную тоску... Преисполненные презрѣнія къ дѣйствительности, къ человѣчеству вообще, которое не сумѣло создать лучшей жизни, они остановились на сознаніи, что дальнѣйшая борьба безнадежна, что силъ расходовать некуда, что жизнь—«пустая и глупая шутка», что поколѣніе этой эпохи безсильно и слабо и ничего не оставитъ въ наслѣдство грядущимъ вѣкамъ...

Къ такимъ одинокимъ наблюдателямъ жизни принадлежалъ, между прочимъ, и Лермонтовъ: онъ не примкнулъ къ западникамъ, которые бранили прошлое Россіи, мечтали о будущемъ и уживались кое-какъ съ настоящимъ; онъ былъ далекъ отъ энтузіастовъ-славянофиловъ, которые восхищались и прошлымъ и будущимъ Россіи... Онъ остался одинокъ и замкнулся въ себѣ, покоренный «модной болѣзнью» вѣка—«міровой тоской».

До него въ русской литературѣ эта болѣзнь нашла уже поэтическое выраженіе въ творчествѣ многихъ писателей, изъ которыхъ самыми крупными являются два: Пушкинъ и Баратынскій.

Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ.

(1814—1841).

Біографія.

§ **22.** Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ родился въ Москвѣ; со стороны отца онъ принадлежалъ къ обѣднѣвшему дворянскому роду, ведущему свое начало отъ одного шотландскаго знатнаго выходца, поселившагося въ Россіи еще въ XVII-омъ столѣтіи; со стороны матери, онъ происходилъ изъ богатаго и вліятельнаго старинnаго дворянскаго рода Арсеньевыхъ. Все дѣтство поэта протекло въ имѣніи бабушки его (со стороны матери) Е. А. Арсеньевой въ селѣ Тарханахъ, Пензенской губ.; здѣсь умерла мать поэта, когда ему не было еще трехъ лѣтъ. Е. А. Арсеньева привязалась къ внуку со всею страстью своей сильной, властной натуры, и хотѣла всѣми силами отдалить его отъ отца. Насколько мы знаемъ, отецъ Лермонтова былъ тоже человѣкомъ незаурядnымъ: онъ былъ надѣленъ и волей, и страстью, но не отличался уравновѣшенностью и слылъ „страннымъ“. Борьба бабушки и отца сперва неясно чувствовалась впечатлительнымъ ребенкомъ, а потомъ, мало-по-малу, съ теченіемъ времени, сильно захватила его дѣтское, рано раздерганное, сердце.

Бабушка не жалѣла средствъ на воспитаніе и образованіе внука. Его обучали не только общеобразовательнымъ предметамъ и тремъ новымъ язы-

камъ, но и латинскому, и греческому; его окружили сверстниками, чтобы занятія шли оживленнѣе. Въ свободное отъ занятій время его развлекали дворовые мальчики, его однолѣтки, и дворня, пѣвшая пѣсни, устраивавшая на потѣху ему игры... При всемъ томъ онъ рано привыкъ себя чувствовать одинокимъ и оскорбленнымъ въ лучшихъ своихъ чувствахъ; росъ своевольнымъ и капризнымъ, чувствуя себя маленькимъ царькомъ среди раболѣпной челяди [1]). Онъ рано пріучилъ себя жить своимъ внутреннимъ міромъ: мечтатель и фантазеръ, онъ грезилъ на яву и во снѣ. Рано полюбилъ онъ природу какой-то восторженной, мистической любовью... Поѣздка на Кавказъ сыграла въ его жизни особенную роль,—онъ поддался обаянію величественной природы и на всю жизнь полюбилъ горы.

Когда Лермонтову пошелъ 14-ый годъ, бабушка перебралась, ради дальнѣйшаго его образованія, въ Москву, гдѣ и помѣстила его въ Московскій Благородный пансіонъ. Въ Москвѣ пришлось ему вести разсѣянный образъ жизни, но юноша въ это время уже научился критически относиться къ людямъ, даже осмѣивалъ ихъ въ сатирахъ, и потому вліянію московскаго общества онъ не подчинился. Онъ сумѣлъ и въ шумной Москвѣ остаться такимъ же одинокимъ.

Сочинять стихи Лермонтовъ сталъ очень рано, и къ 1829-му году творчество его созрѣло до такой степени, что позднѣе стихи этого года онъ самъ счелъ возможнымъ печатать... Уже въ этихъ раннихъ стихотвореніяхъ опредѣлились почти всѣ характерныя черты его, какъ поэта. Судя по этимъ раннимъ стихотвореніямъ, онъ чутко откликался тогда на политическія настроенія русскаго общества и, въ эти годы торжества императора Николая надъ декабристами, стоялъ на сторонѣ послѣднихъ; онъ съ презрѣніемъ говоритъ о пошломъ московскомъ обществѣ и мечтаетъ о политической свободѣ [2]). Но очень рано эти интересы къ политическимъ вопросамъ стали переплетаться у него съ характерными настроеніями „міровой тоски“ и уже съ 1830 г. совсѣмъ исчезаютъ, уступая мѣсто разочарованію и отчужденію отъ земли и людей.

Въ Благородномъ пансіонѣ въ средѣ учениковъ еще со временъ Жуковскаго жили прочныя литературныя традиціи,—онѣ-то, вѣроятно, и укрѣпили страсть Лермонтова къ литературѣ и творчеству. Судя по сохранившейся тетрадкѣ съ переписанными имъ самимъ стихотвореніями, видно, что въ это время особенно нравились ему произведенія въ „батобріановскомъ“ и „байроновскомъ“ духѣ. Поэтому увлекается онъ въ это время и „Кавказскимъ Плѣнникомъ“ Пушкина и самъ передѣлываетъ это произведеніе по своему.

Между тѣмъ, отношенія между бабушкой и отцомъ поэта все ухудшались... Теперь въ эту борьбу втянутъ былъ и юноша. Особенно оскорблялась его гордость пренебрежительнымъ отношеніемъ знатныхъ родичей его бабушки къ бѣдности и незнатности его отца. Наконецъ, между бабушкой и отцомъ произошелъ окончательный разрывъ. Отецъ, послѣ долгихъ колебаній, уступилъ тещѣ своего сына, сознавая, что долженъ поступиться своей отцовской любовью ради сына, который въ домѣ Арсеньевой можетъ получить лучшее образованіе. Изрѣдка отецъ съ сыномъ видѣлись, и эти краткія встрѣчи только подливали масла въ тотъ огонь, который мучительно горѣлъ въ сердцѣ юноши [3]). Однажды онъ хотѣлъ, было, оставить бабушку и перебраться къ отцу, но старуха стала упрекать его въ неблагодарности, стала описывать отца черными красками и, наконецъ, захворала. Отецъ уѣхалъ одинъ и вскорѣ скончался, въ бѣдности, вдали отъ любимаго сына. Вѣсть о смерти отца страшно поразила Лермонтова [4]).

---

[1]) Въ „Отрывкѣ изъ неоконченной повѣсти“ Лермонтовъ разсказываетъ о своемъ дѣтствѣ, скрывъ себя подъ именемъ Саши Арбенина.

[2]) „Романсъ“, „Жалобы турка“, „Два сокола“, „Настанетъ день“, „Прелестницѣ“.

[3]) „Menschen und Leidenschaften“, „Странный человѣкъ“— юношескія драмы Лермонтова даютъ намъ ясное понятіе о тѣхъ чувствахъ, которыя волновали его подъ вліяніемъ борьбы отца съ бабушкой.

[4]) Объ отцѣ вспоминаетъ онъ въ стихотвореніяхъ: „Я видѣлъ тѣнь блаженства“, „Ужасная судьба отца и сына“, „Гляжу впередъ сквозь сумракъ лѣтъ“ и др.

Такъ обстоятельства семейной жизни рано отравили сердце Лермонтова и пріучили его смотрѣть на жизнь и на людей сквозь черныя стекла. Во многихъ своихъ произведеніяхъ, прозаическихъ и стихотворныхъ, вспоминаетъ онъ свою семейную драму и самъ съ этими ранними, дѣтскими и юношескими, впечатлѣніями связываетъ свои позднѣйшія скорбныя настроенія и свое преждевременное разочарованіе [1]). Неразъ возникалъ въ его памяти и нѣжный образъ рано-утраченной матери, передъ которой неправъ былъ его отецъ... Едва ли могъ онъ оправдывать и свою бабушку... Немудрено что мрачной стала казаться ему жизнь: по его словамъ, „скелеты“ стали на порогѣ его жизни; себя онъ часто называетъ „сыномъ страданья“. Въ это время онъ задумывался надъ самоубійствомъ...

Изъ литературныхъ направленій *романтическое*, въ особенности, подчинило его себѣ. Онъ любилъ декламировать изъ Ламартина и Пушкина, зачитывался драмами Шиллера, увлекался Гёте, Руссо, Байрономъ...

Къ этому же времени относится нѣсколько увлеченій Лермонтова знакомыми барышнями... Но трагизмъ, вносимый шестнадцатилѣтнимъ поэтомъ въ свои чувства, вызывалъ съ ихъ стороны только шутки, — отъ этого тѣмъ сильнѣе страдало самолюбіе подростка-поэта, съ байроническимъ складомъ души. Въ то время въ немъ уже сталъ зрѣть человѣкъ и сталъ складываться самостоятельный поэтъ: первые наброски „Демона“ сдѣланы были въ эти годы (1830 г.); къ этому же времени относится его попытка опредѣлить индивидуализмъ своихъ душевныхъ настроеній: въ стихотвореніи: „Нѣтъ, я не Байронъ,—я другой, еще невѣдомый избранникъ“, видно, что онъ въ это время ясно сознавалъ свою самобытность и желалъ отличить себя отъ властнаго учителя вѣка—Байрона [2]).

Въ августѣ 1830 года Лермонтовъ поступилъ въ число слушателей Московскаго университета на „нравственно-политическое отдѣленіе“; потомъ онъ перешелъ на „словесное отдѣленіе“. Научное преподаваніе въ университетѣ въ это время стояло невысоко, но это не мѣшало тогдашней русской молодежи работать усердно и надъ самообразованіемъ, и надъ самовоспитаніемъ: вліяніе нѣмецкой идеалистической философіи уже сказалось на ея настроеніяхъ.

Сильны были въ кругу тогдашней молодежи и литературные интересы: въ это время она зачитывалась Пушкинымъ, Грибоѣдовымъ, спорила о романтизмѣ и классицизмѣ. Въ одно время съ Лермонтовымъ въ университетѣ были Бѣлинскій, Станкевичъ, К. Аксаковъ, Герценъ... Уже это одно обстоятельство свидѣтельствуетъ объ интеллигентности того круга, въ который попалъ Лермонтовъ; однако, онъ не примкнулъ къ этой молодежи, и, хотя ею не только интересовался, но, судя по приведеннымъ выше стихамъ, даже увлекался, тѣмъ не менѣе, въ силу какого-то страннаго упорства, оставался отъ нея въ сторонѣ. Очевидно, ему, юношѣ гордому, съ большимъ запасомъ самомнѣнія, тяжело было „ученикомъ“ входить въ эту шумную семью, гдѣ были уже свои „авторитеты“...

Въ 1831-омъ году Лермонтовъ оставилъ Московскій университетъ.

Мечтая о болѣе свободной жизни, въ ноябрѣ 1832 года Лермонтовъ поступаетъ въ школу военныхъ подпрапорщиковъ (нынѣ Николаевское кавалерійское училище); но и здѣсь онъ не нашелъ желанной свободы, такъ какъ попалъ въ это училище какъ разъ въ то время, когда тамъ введена была строгая дисциплина и обращено было особое вниманіе на фронтовыя ученія. Тѣмъ не менѣе, въ образованіи характера поэта пребываніе его въ стѣнахъ этого училища имѣло хорошія послѣдствія: жизнь въ закрытомъ заведеніи, помѣшала ему слишкомъ замыкаться въ себѣ.

---

[1]) Ср. стихотвореніе: „Ночь II“, „Элегія“, „1830 года Іюля 15-го“, „Ночь IV“, „Къ *“, „Нерѣдко люди и бранили“, „Морякъ“ и др.

[2]) Впрочемъ, нѣсколько ранѣе въ другомъ стихотвореніи — онъ признаетъ, что у Байрона и у него „одна душа, однѣ и тѣ же муки“.

Въ ноябрѣ 1834 года Лермонтовъ былъ произведенъ въ корнеты лейбъ-гвардіи гусарскаго полка, и съ этого времени началась его жизнь на свободѣ. Сперва онъ, повидимому, съ увлеченіемъ предался свѣтской жизни, но скоро разочарованіе и тоска овладѣли имъ съ новой силой, и Лермонтовъ снова ощутилъ въ своей душѣ приливъ „міровой тоски“. Слишкомъ пуста и безсодержательна была тогдашняя жизнь „свѣта“.

Къ этому времени относится развязка одного лермонтовскаго увлеченія, начавшагося еще давно, въ Москвѣ—увлеченія Варварой Александровной Лопухиной. Это чувство нашло выраженіе въ цѣломъ рядѣ его стихотвореній, начиная съ 1830 г., и у Лермонтова не было спокойнымъ: поэтъ упорно боролся съ этой любовью, которая, какъ онъ думалъ, грозила ему „рабствомъ“. Тѣмъ не менѣе, въ 1834 г. онъ очень тяжело перенесъ вѣсть о томъ, что дѣвушка, все еще любимая имъ, выходитъ замужъ, уступая волѣ родителей. Ревность, даже вспышка ненависти къ Лопухиной овладѣли имъ и ярко отразились въ его творчествѣ [1]). Позднѣе, въ 1837 году, сердце его успокоилось и покорилось свѣтлому чувству прощенія.

Къ періоду 1834—1837 гг. относится особенно много его произведеній,—очевидно, къ этому времени относится расцвѣтъ его литературнаго творчества [2]).

Смерть Пушкина переполнила его сердце враждой къ людямъ,—главнымъ образомъ, къ тому „свѣту“, пошлость котораго была ясна ему самому раньше, а жестокость и бездушіе открылись особенно ясно теперь... Потрясенный, онъ написалъ извѣстное стихотвореніе: „На смерть Пушкина“, а затѣмъ прибавилъ къ нему и эпилогъ, въ которомъ намекнулъ на свѣтскихъ враговъ поэта. За это „дерзкое“ стихотвореніе Лермонтовъ былъ изъ гвардейскаго гусарскаго полка переведенъ въ кавказскую армію.

Въ концѣ апрѣля 1837 г. Лермонтовъ прибылъ на Кавказъ. Ему пришлось служить въ отрядѣ генер. Вельяминова; но поэтъ мало участія принималъ въ походахъ,—бо́льшую часть времени прожилъ онъ на Кавказскихъ Минеральныхъ водахъ, а затѣмъ путешествовалъ по Кавказу, наслаждаясь его природой, всматриваясь въ бытъ горцевъ, въ жизнь русскихъ солдатъ, а также знакомясь съ декабристами, которые, въ видѣ наказанія, служили въ здѣшнихъ войскахъ [3]). Въ октябрѣ 1837 года, благодаря ходатайству бабушки, онъ былъ прощенъ и былъ зачисленъ въ лейбъ-гвардіи Гродненскій гусарскій полкъ.

На мѣсто своего новаго служенія Лермонтовъ пріѣхалъ только черезъ четыре мѣсяца. На этотъ разъ въ Петербургѣ Лермонтовъ искалъ, по преимуществу, общества людей развитыхъ,—къ нимъ привыкъ онъ во время службы въ кавказской арміи, благодаря обществу декабристовъ.

Цѣлый рядъ крупныхъ произведеній былъ имъ написанъ, или задуманъ, въ это время. Такъ, онъ работалъ тогда надъ романомъ: „Герой нашего времени“ и поэмой: „Мцыри“, написалъ „Пѣсню о купцѣ Калашниковѣ“, переработалъ заново поэму: „Демонъ“, сочинилъ извѣстное стихотвореніе: „Бородино“.

Состояніе его души дѣлается теперь мягче: онъ знаетъ высокія молитвенныя настроенія; съ сердечнымъ вниманіемъ относится онъ къ людямъ простымъ, безхитростнымъ; въ его любовныхъ произведеніяхъ звучатъ теперь нотки нѣжности [4]); онъ вообще дѣлается разнообразнѣе, и смот-

---

[1]) Напр., въ драмѣ: „Два брата“, въ романѣ: „Княгиня Лиговская“.

[2]) Въ 1835 г. появляется въ печати его произведеніе: „Хаджи-Абрекъ“, затѣмъ—„Бояринъ Орша“, „Сашка“, драма: „Маскарадъ“, повѣсть: „Княгиня Лиговская“.

[3]) Особенно онъ подружился съ кн. Одоевскимъ и А. Бестужевымъ-Марлинскимъ.

[4]) Его неугасающая любовь къ Варварѣ Лопухиной (въ замужествѣ Бахметевой) дѣлается теперь серьезнѣе, глубже и мягче („Я не хочу, чтобъ свѣтъ узналъ...“, „Разстались мы“, „Молитва странника“, „Ребенку“, „Оправданье“).

ритъ на жизнь шире; онъ серьезно задумывается надъ назначеніемъ поэта. Но, чѣмъ строже и выше дѣлаются его идеалы, тѣмъ безотраднѣе его отношеніе къ русской жизни того времени.

1839—40-ые годы были апогеемъ славы Лермонтова: въ это время онъ напечаталъ всѣ лучшія свои произведенія, и общій голосъ назвалъ его „преемникомъ Пушкина".

Но въ личной жизни Лермонтовъ счастливъ по-прежнему не былъ,— онъ никакъ не могъ жить одной жизнью съ обществомъ: вездѣ онъ былъ чужой: и въ высшемъ обществѣ, и среди различныхъ партій русской интеллигенціи, и даже среди тогдашнихъ литераторовъ.

Равнодушный къ жизни, Лермонтовъ, кажется, въ это время намѣренно искалъ смерти... Изъ-за пустяковъ произошла его дуэль съ де-Барантомъ, сыномъ французскаго посланника, — и Лермонтовъ, не защищавшійся во время поединка былъ легко раненъ.

За дуэль судъ приговорилъ Лермонтова опять къ службѣ на Кавказѣ.

На этотъ разъ Лермонтовъ принялъ горячее участіе во всѣхъ самыхъ опасныхъ боевыхъ предпріятіяхъ. Кажется, и на Кавказѣ онъ искалъ смерти... Сраженіе подъ Валерикомъ было самымъ серьезнымъ сраженіемъ, въ которомъ онъ принималъ участіе.

На три мѣсяца пріѣзжаетъ онъ въ Петербургъ; но отсюда высылаютъ его обратно на Кавказъ въ 48 часовъ. Онъ хотѣлъ, было, выйти въ отставку, но ему дали понять, что онъ „наказанъ" службой на Кавказѣ, а потому не можетъ идти въ отставку и долженъ нести свое наказаніе до конца.

Съ тяжелымъ чувствомъ обиды оставилъ Лермонтовъ столицу. Не доѣхавъ до Кавказа, онъ задержался на Минеральныхъ водахъ. Здѣсь встрѣтился онъ со своимъ бывшимъ товарищемъ по школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ — Мартыновымъ, человѣкомъ недалекимъ и обидчивымъ. Его сдѣлалъ Лермонтовъ мишенью своихъ шутокъ, былъ вызванъ имъ на дуэль и убитъ 15 іюля недалеко отъ Пятигорска, у подошвы Машука.

Литературная дѣятельность Лермонтова.

Литературная дѣятельность Лермонтова; ея особенности.

§ 23. Поэтъ субъективный, по преимуществу, Лермонтовъ въ своей литературной дѣятельности выразилъ всѣ характерныя черты своей души: 1) ея *двойственность*, сказавшуюся въ способности жить двойной жизнью,— показной, ясной для всѣхъ,—и внутренней, ото всѣхъ скрытой. Въ творчествѣ своемъ онъ открываетъ оба эти міра, причемъ откровенность его увеличивается съ годами, — 2) постепенную *побѣду началъ свѣтлыхъ* надъ ложными, — проясненіе міра внутренняго. Это совпадаетъ съ началомъ его эпическаго творчества, съ переходомъ отъ творчества субъективнаго къ творчеству объективному. Поворотъ, который у Пушкина завершился въ короткій промежутокъ времени, отдѣляющаго поэму: «Кавказскій Плѣнникъ» отъ поэмы: «Цыгане», у Лермонтова сдѣлался содержаніемъ всей его, правда, кратковременной поэтической жизни.

Въ зависимости отъ всего вышесказаннаго, мы должны опредѣлить два періода въ литературной дѣятельности Лермонтова:

одинъ *лирическій* по преимуществу (1828—1832 г.г.), другой—*эпическій* по преимуществу (1832—1841 г.г.).

Первый періодъ дѣятельности Лермонтова.

А) *Первый періодъ дѣятельности Лермонтова (Ист. хрест., т. II, вып. 5, стр. 11—43).* Двойственность внутренняго міра у Лермонтова въ этотъ періодъ выражается въ упорномъ стремленіи опредѣлить себя и отдѣлить свою личность отъ толпы. Въ это время онъ, по преимуществу, занятъ собою: въ многочисленныхъ автобіографическихъ признаніяхъ старается выяснить исторію своего душевнаго склада, его характерныя особенности, свои отношенія къ внѣшнему міру, къ людямъ, къ природѣ и къ Богу; старается опредѣлить свое положеніе въ мірѣ.

Лирическія произведенія Лермонтова за этотъ періодъ.

Лирическихъ произведеній автобіографическаго характера за этотъ періодъ написано имъ много (особенно въ періодъ 1829 — 1830 годовъ): онъ говоритъ неразъ о томъ, что на порогѣ жизни узналъ онъ преждевременныя страданія, что онъ «рано свѣтъ узналъ» — и потому «опустѣла» его душа... «Начало жизни» его было «мрачнымъ», и его «духъ погасъ и состарѣлся». По его словамъ, онъ сначала вѣрилъ людямъ и пошелъ къ нимъ съ открытымъ сердцемъ, долго имъ многое «прощалъ», но они, словно, «старались отравить» его «ребяческіе дни». Тогда онъ навсегда ушелъ отъ нихъ и замкнулся въ себѣ. Обладая «привязчивой душой», онъ «рано началъ любить», во цвѣтѣ лѣтъ, но его обманула эта любовь къ женщинѣ... Тогда онъ не захотѣлъ быть «рабомъ» толпы и женщинъ и предпочелъ «угрюмое уединенье» [1]).

Въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ рисуетъ онъ свой портретъ: на челѣ его—«печать страстей». Но мучительной борьбы этихъ страстей не видятъ люди, потому что поэтъ умѣетъ владѣть собой, а люди слишкомъ невнимательны, холодны и безучастны... И вотъ, въ концѣ концовъ, онъ одинокъ—

„Холодный умъ средь мрачныхъ думъ
Не тронутъ слезы красоты!
Вездѣ одинъ, природы сынъ,
Не зналъ онъ друга межъ людей".

---

[1]) Хотя автобіографическій интересъ имѣютъ почти всѣ его лирическія произведенія этихъ годовъ, но особенно интересны слѣдующія: „Къ П . . ву", „Портретъ", „Къ А. С.", „Мой демонъ", „Ночь II", „Элегія", „1830 года Іюля 15-го", „Ночь IV", „Нерѣдко люди и бранили", „Раскаянье", „1831 года Іюня 11", „Я видѣлъ тѣнь блаженства...", „Ужасная судьба отца и сына", „Стансы", „Мой демонъ"... *(Ист. хрест., стр. 11—30).*

Въ другомъ стихотвореніи онъ говоритъ, что въ его сердцѣ—«ненависть» и «холодъ».

Въ себѣ онъ рано увидѣлъ что-то «демоническое».

Этотъ демонъ, владѣвшій его душой, былъ «унылымъ и мрачнымъ»... Такимъ самъ поэтъ нерѣдко представляетъ себя людямъ...

Во многихъ произведеніяхъ Лермонтовъ требуетъ, чтобъ люди, обманувшіе его въ нѣжные дни дѣтства, считались съ его мрачной, одинокой, личностью, полной ненависти къ нимъ...

Лермонтовъ уже въ раннихъ своихъ произведеніяхъ говоритъ, что живетъ въ двухъ мірахъ; одинъ изъ этихъ міровъ для всѣхъ открытъ,—другой скрытъ бережно отъ всѣхъ—это тотъ міръ его души, котораго сначала люди въ немъ не пощадили, а потомъ онъ самъ ревниво сталъ его скрывать отъ ихъ недостойныхъ взоровъ—

„Я холоденъ и гордъ и даже злымъ
Толпѣ *кажуся*; но ужель она
Проникнуть дерзко въ сердце мнѣ должна?
Зачѣмъ ей знать, что въ немъ заключено?“.

Поэтъ увѣренъ былъ, что когда-нибудь впослѣдствіи въ его созданьяхъ люди сумѣютъ открыть тайны его затаенной души, непонятой, незамѣченной ими при его жизни. И онъ вѣрилъ, что тогда люди благословятъ его мечты, потому что—

„Къ погибшимъ люди справедливы...“.

Впрочемъ, въ эту пору поэтъ и для себя казался «загадкой»: онъ видѣлъ въ своей душѣ какое-то безпокойное стремленіе къ чему-то «тайному»—

„Къ тому, чего даны въ залогъ
Съ толпою звѣздъ ночные своды...“.

Съ дѣтскихъ лѣтъ его душа искала «чудеснаго»...

И жизнь любилъ онъ странною любовью:

„...Я любилъ
Всѣ обольщенья свѣта, но не свѣтъ,
Въ которомъ я минутами лишь жилъ“.

Такое соединеніе стремленій къ надзвѣздному міру и къ обольщеніямъ чисто-земнымъ, къ земной любви и къ земной славѣ—его самого погружало въ недоумѣніе. И онъ объяснялъ это сложностью человѣческой души.

„Лишь въ человѣкѣ встрѣтиться могло
Священное съ порочнымъ. Всѣ его
Мученья происходятъ оттого“.

Этими словами поэтъ указываетъ, что тогдашній его *внутренній міръ* отличался двойственностью: въ немъ добро уживалось со зломъ.

Сознавать такое состояніе ему было тяжело: борьба свѣта и тьмы въ его душѣ не давала ему покоя. По словамъ Лермонтова, съ его душой можно было быть—«иль Богомъ, иль злодѣемъ»,—въ его мечтахъ «все было адъ, иль небо». Оттого онъ въ себѣ чувствовалъ присутствіе заразъ и херувима, и демоновъ,—оттого и возвышенныя поэтическія мечты представлялись ему, въ это время, какъ—

„гласъ залетный херувима
Надъ сонной демоновъ толпой".

Такая двойственность души представляла ему сомнительнымъ и тревожнымъ будущее: «жизнь ненавистна, но и смерть страшна» — восклицаетъ онъ. Отвратительной казалась ему земная жизнь—«гнѣздо разврата, безумства и печали»... И оттого часто міръ иной, загробный, къ себѣ привлекаетъ его мысль. Онъ сознаетъ существованіе этого міра, онъ туда стремится мечтой, но въ то же время и отъ земли оторваться онъ не можетъ: «міръ земной мнѣ тѣсенъ, къ Тебѣ жъ проникнуть я боюсь!»—восклицаетъ онъ; по его словамъ, у него «нездѣшняя», т. е. неземная, душа, но для небесъ она еще не готова, и вотъ, въ концѣ концовъ, онъ чувствуетъ себя равно-чуждымъ «всему: землѣ и небесамъ»... Впрочемъ, хотя онъ—существо и не отъ міра сего, но оторваться отъ земной жизни онъ не можетъ: «мракъ земли могильный съ ея страстями я люблю»—говоритъ онъ. По его словамъ, онъ порою любитъ даже «мученія земли», т. е. любитъ страсти, борьбу, но не людей... Оттого потерять жизнь онъ боится, хотя ею не дорожитъ, хотя и увѣренъ, что въ земной неволѣ будетъ томиться недолго... Въ минуты особой тоски онъ призываетъ смерть, какъ желанный конецъ. Въ такія минуты отчаянія смерть ему нужна, чтобы потушить въ груди мучительный огонь. Смерть представляется ему тогда какимъ-то «желаннымъ сномъ».

Такая спутанность желаній, отчужденность отъ всего, невозможность слиться съ небомъ, или съ землею,—невозможность «неизмѣримое измѣрить» и чувствамъ «безбрежнымъ» дать предѣлъ, — источникъ его мучительной душевной борьбы. Порою онъ утѣшалъ себя надеждой, что когда-нибудь люди будутъ счастливѣе: не будутъ проклинать они жизни, не будутъ знать невыразимыхъ и необъяснимыхъ страданій...

Къ современной толпѣ человѣческой поэтъ относится съ презрѣніемъ: для современниковъ онъ не находитъ въ своемъ сердцѣ

любви [1]). По его убѣжденію, «недостоинъ бѣдный свѣтъ даже презрѣнья»,—

„Жалокъ міръ!
Въ немъ каждый средь толпы забытъ и сиръ,
И люди всѣ къ ничтожеству спѣшатъ".

Люди представлялись ему «царями зла»; у нихъ сердца «коварны», языкъ ихъ «ложенъ»; человѣческій міръ, въ его глазахъ,—«куча каменныхъ сердецъ». Люди никого не любятъ, и потому не стоитъ ихъ любить. «Я презираю жизнь другихъ!»—говоритъ онъ. «Не для людей я жилъ на свѣтѣ»,—признается онъ въ другомъ стихотвореніи.

Любовь къ женщинѣ могла бы, въ его глазахъ, придать цѣну жизни. И онъ встрѣчалъ женщинъ, по его словамъ, достойныхъ его любви, и онъ любилъ ихъ [2]): онъ «готовъ былъ цѣлый міръ возненавидѣть, чтобы любить сильнѣй» свою избранницу... Но разочарованіе ждало его и здѣсь: въ сердцѣ женщинъ увидѣлъ онъ или пустое тщеславіе, властолюбіе,—или одно легкомысленное кокетство, неумѣніе, или нежеланіе, оцѣнить его истинную страсть [3]).

«Тебѣ я душу отдавалъ!»—восклицаетъ онъ въ одномъ стихотвореніи:

„Такой души ты знала ль цѣну?
Ты знала?—я тебя не зналъ".

И, въ концѣ концовъ, онъ пришелъ къ заключенію, что нельзя уважать женщинъ: онѣ и вѣроломны, и коварны... Нищій у вратъ обители святой молилъ хлѣба—

„И кто-то камень положилъ
Въ его протянутую руку!—
Такъ я молилъ твоей любви"

—восклицаетъ поэтъ... Онъ молилъ напрасно отвѣтной любви...

„Такъ чувства лучшія мои
Навѣкъ обмануты тобою!"

По его словамъ, первая любовь его была уже «облита горечью»,—и потому онъ вырвалъ изъ своего сердца вѣру въ женщинъ, потому рано опустѣло его сердце... И вотъ, остался онъ одинъ на свѣтѣ... Сознаніе этого духовнаго одиночества, сердечной пустоты

---

[1]) Напр., въ стихотвореніяхъ: „Къ П . . ву", „Два сокола", „Склонись ко мнѣ", „Къ ***", „Кладбище", „7 Августа", „Романсъ", „Болѣзнь въ груди моей" *(Ист. хрест., стр. 11—30)*.

[2]) Напр., „Встрѣча", „Къ Нинѣ", „Преступникъ", „Къ *** " *(Тамъ же)*.

[3]) „Заблужденіе Купидона", „Къ Нинѣ", „Преступникъ", „Къ *** ", „Я не унижусь", „Опасеніе", „Незабудка", „Благодарю", „Нищій", „Стансы", „Ночь IV", „Пиръ Асмодея" *(Тамъ же)*.

заставляетъ Лермонтова сравнивать себя то съ «пустымъ храмомъ безъ божества», то съ пустымъ «замкомъ», то съ «одинокимъ дубомъ», чаще съ «утесомъ», «камнемъ средь камней»... Всматриваясь въ свое сердце, онъ часто вспоминаетъ безбрежное, пустынное море, по которому ходятъ волны, — или безконечную степь, надъ которой носятся лишь свободный вѣтеръ, да орлы...

„Природа“. «Природы сынъ», онъ только передъ лицомъ природы чувствовалъ себя свободно и радостно. Въ одномъ стихотвореніи онъ восклицаетъ:

„Мой домъ вездѣ, гдѣ есть небесный сводъ,
Гдѣ только слышны звуки пѣсенъ!
Все, въ чемъ есть искра жизни, въ немъ живетъ
И для поэта онъ не тѣсенъ“.

Съ природой онъ чувствовалъ свое духовное сродство—

„...моя мать—степь широкая,
... мой отецъ—небо далекое...
Они меня воспитали,
Кормили, поили, ласкали.
Мои братья въ лѣсахъ—
Березы да сосны...
Несусь ли я на конѣ,—
Степь отвѣчаетъ мнѣ.
Брожу ли позднею порой —
Небо свѣтитъ мнѣ луной!“.

Неразъ онъ говоритъ, что въ свою грудь «втѣснить желалъ бы всю природу»,—что хотѣлъ бы слить себя съ «вѣтромъ степнымъ», жить одной жизнью со «степью»; онъ хотѣлъ бы быть «ворономъ степнымъ, свободнымъ и могучимъ»... Только среди необъятной пустыни, передъ лицомъ безбрежнаго моря, или на вершинахъ Кавказа чувствуетъ онъ себя «вольнымъ»... Среди природы—

„...вольность мнѣ гнѣздо свила,
Какъ міръ необъятное!“

—восклицаетъ онъ.

Эпическія произведенія Лермонтова за этотъ періодъ. § **24**. Изъ наиболѣе раннихъ его опытовъ *эпическаго* творчества надо отмѣтить поэмы: «*Кавказскій Плѣнникъ*», «*Черкесы*», «*Корсаръ*»... Всѣ эти поэмы относятся къ 1828 году; къ 1829-ому относится первая редакція «Демона»,—поэмы, съ которою Лермонтовъ не разставался въ теченіе всей своей литературной жизни и передѣлывалъ ее *шесть* разъ.

„Демонъ“. Въ поэмѣ: «*Демонъ*» Лермонтовъ подражалъ тѣмъ романтическимъ произведеніямъ Байрона («Небо и земля», отчасти «Каинъ»), Ламартина и Виньи, въ которыхъ развита тема любви неземного героя къ земной героинѣ.

Въ *первой редакціи* поэмы нѣтъ никакого пріуроченья къ какой-нибудь опредѣленной мѣстности. Демонъ представленъ падшимъ ангеломъ, тоскливо

вспоминающимъ другіе, лучшіе дни [1])... Потомъ онъ узнаетъ, что ангелъ любитъ одну смертную дѣву, находящуюся въ монастырѣ; тогда злыя чувства овладѣваютъ демономъ: онъ обольщаетъ дѣву, возмущая ее противъ Бога; она скоро умираетъ и дѣлается духомъ зла; ангелъ груститъ, а побѣдоносный демонъ торжествуетъ...

Но уже во *второй редакціи* видно иное осмысленіе этого сюжета: по мнѣнію біографовъ Лермонтова, любовь къ Лопухиной оживила эту тему: изъ „посвященія“ къ поэмѣ видно, что поэтъ сближаетъ теперь себя съ образомъ демона, а образъ любимой дѣвушки соединяетъ съ образомъ героини. Любовь чистой дѣвушки можетъ спасти демона,—то же должно произойти и съ самимъ поэтомъ. Такова идея произведенія.

Хотя въ самой поэмѣ нѣтъ этого возрожденія демона,—тѣмъ не менѣе, онъ нарисованъ гораздо мягче, чѣмъ въ первомъ очеркѣ; кромѣ того, во второй редакціи уже есть пріуроченіе дѣйствія поэмы къ Испаніи.

Юношескія драмы Лермонтова.

Подъ вліяніемъ драмъ Шиллера, Лермонтовъ рано увлекся и драматическимъ творчествомъ: особенно любопытны двѣ драмы его: „Menschen und Leidenschaften“ и „Странный человѣкъ“. Обѣ имѣютъ автобіографическое значеніе.

Въ драмѣ: „*Menschen und Leidenschaften*“ разсказываются тяжелыя обстоятельства дѣтства Юрія Волина: бабушка и отецъ не могутъ „подѣлить“ ребенка; всѣ симпатіи автора на сторонѣ отца. Онъ подробно разсказываетъ о сердечной драмѣ героя, которая приводитъ его, однако, къ рѣшенію остаться съ бабушкой; раздраженный отецъ его проклинаетъ, и сынъ кончаетъ жизнь самоубійствомъ.

Въ драмѣ: „*Странный человѣкъ*“ авторъ уже не съ такой симпатіей относится къ отцу. Въ этой драмѣ Лермонтовъ, повидимому, хотѣлъ разобраться въ характерѣ своего отца, хотѣлъ выяснить отношенія его къ покойной женѣ; она представлена доброй, любящей, загнанной... Героя драмы зовутъ Арбенинымъ; онъ тоже оканчиваетъ свои дни самоубійствомъ; нѣкоторыя отдѣльныя мѣста, даже дѣйствующія лица, введены сюда изъ драмы: „Menschen und Leidenschaften“.

Второй періодъ творчества.

В) *Второй періодъ* (1832—1841 г.г.) творчества Лермонтова—*эпическій* по преимуществу. Лирическихъ произведеній за это время имъ написано гораздо меньше числомъ, чѣмъ въ первый періодъ, но, тѣмъ не менѣе, эти немногія произведенія представляютъ большой интересъ: своимъ содержаніемъ они ясно доказываютъ, что въ настроеніяхъ Лермонтова за это время происходили большія измѣненія [2]).

Лирика.

Лирика. Правда, и въ произведеніяхъ этого времени неразъ встрѣтимъ мы прежніе мотивы: поэтъ по-прежнему говоритъ о томъ, что онъ не понятъ людьми, что съ презрѣніемъ относится къ ихъ жизни и чуждается ихъ интересовъ, что онъ равно далекъ отъ земли и неба. По-прежнему говоритъ онъ о своей гордости, о своемъ одиночествѣ, по-прежнему жаждетъ

---

[1]) Настроеніе тоски и разочарованія, проникающее лирику Лермонтова въ это время, отражается на созданіи этого образа.

[2]) Кромѣ большихъ поэмъ, къ эпическимъ надо отнести и такія произведенія, какъ: „Два великана“, „Вѣтка Палестины“, „Бородино“, „Три пальмы“, „Русалка“, „Умирающій гладіаторъ“.

покоя и сна... Но всѣ эти знакомые намъ мотивы теперь въ творчествѣ Лермонтова звучатъ рѣже, *являются исключеніемъ*...

Обычными настроеніями поэта являются теперь другія, болѣе мирныя, въ которыхъ нѣтъ протеста, нѣтъ злобы и презрѣнія...

Онъ самъ говоритъ:

„Люблю я больше, годъ отъ году,
Желаньямъ мирнымъ давъ просторъ,
По утру ясную погоду,
Подъ вечеръ—тихій разговоръ".

Теперь тихая, глубокая, спокойная *грусть* часто смѣняетъ въ его душѣ прежнее раздраженіе [1]); эта грусть проникаетъ отношенія поэта къ людямъ [2]) и къ женщинамъ [3]). Даже въ природѣ старается онъ теперь отыскивать картины, по преимуществу, съ элегическимъ настроеніемъ [4]).

Съ трогательной симпатіей всматривается онъ теперь въ сердца людей простыхъ: въ сердцѣ казачки-матери оцѣниваетъ онъ великое чувство матери, полное самоотреченія и любви, которое не считается съ эгоизмомъ молодости (*«Казачья колыбельная пѣснь»— Ист. хрест., стр. 37*). Онъ съ нѣжностью смотритъ въ ясныя очи ребенка любимой женщины (*«Ребенку»— Ист. хрест., стр. 34*); онъ вѣритъ, что съ дѣтьми говорятъ «ангелы-хранители»; «ребенка милаго рожденье» онъ привѣтствуетъ «благословеніемъ всѣхъ ангеловъ небесныхъ и земныхъ»!

Онъ знаетъ Бога теперь лучше, чѣмъ прежде: вдали отъ людей, среди мирной природы, «смиряется души» его «тревога», «расходятся морщины на челѣ, и счастье онъ можетъ постигнуть на землѣ и въ небесахъ онъ видитъ Бога!» (*Ист. хрест., стр. 33*).

Онъ постигъ теперь возвышающую силу молитвы: причемъ по собственному признанію, одна изъ молитвъ особенно подымаетъ его душу... «Въ минуту жизни трудную» (*Ист. хрест., стр. 35*). Молитва эта производитъ чудо: стоитъ прочесть ему эту молитву, и въ душу его нисходитъ миръ,—

„И вѣрится, и плачется,
И такъ легко, легко"...

Онъ, недавній врагъ женщинъ, теперь находитъ въ себѣ силу молить Богоматерь за любимое существо (*Ист. хрест., стр. 31*).

Онъ проситъ «не за свою душу пустынную, за душу странника, въ свѣтѣ безроднаго»: онъ хочетъ—

---

[1]) „И скучно и грустно".

[2]) „Памяти А. И. Одоевскаго", „Аннѣ Григорьевнѣ Хомутовой" („Слѣпецъ, страданьемъ вдохновленный"), „Воздушный Корабль".

[3]) „Кинжалъ" („Люблю тебя"), „Какъ небеса твой взоръ...", „Сонъ" („Въ полдневный жаръ"...), „Они любили другъ друга".

[4]) „Утесъ" („Ночевала тучка"...), „Зеленый листокъ оторвался", „Сосна".

„...вручить дѣву невинную
Теплой Заступницѣ міра холоднаго!
Окружи счастіемъ душу достойную,
Дай ей сопутниковъ, полныхъ вниманія,
Молодость свѣтлую, старость покойную,
Сердцу незлобному миръ упованія“ [1]).

За то съ прежней страстью относится онъ къ свободной природѣ: по-прежнему онъ восторгается моремъ, въ которомъ—

„...Каждая волна
...душой одарена“.

По-прежнему онъ любитъ бурю, по-прежнему хочетъ носиться, какъ свободный вѣтеръ, по степи и восторгается серебрянымъ вѣнцомъ величественнаго Кавказа...

«Новымъ» въ этихъ произведеніяхъ, посвященныхъ природѣ, является стремленіе поэта выяснить ту роль, которую играетъ человѣкъ по отношенію къ природѣ. Въ стихотвореніи: «*Три пальмы*» *(Ист. хрест., стр. 45)* жалуется онъ на безсердечіе и неблагодарность людей, радушно принятыхъ пальмами подъ кровъ своихъ вѣтвей. Бурнымъ Терекомъ онъ восхищается за то, что тотъ, неукротимый,—

„Съ чужой властью человѣка
Вѣчно спорить былъ готовъ“.

Въ стихотвореніи: «*Споръ*» *(Тамъ же, стр. 48)* представлена бесѣда горы Эльборусъ («Шатъ-горы») съ горою Казбекъ о человѣкѣ, который, съ настойчивостью муравья, лѣзетъ всюду, строитъ дымныя кельи по уступамъ горъ, врѣзается желѣзною лопатой въ ихъ каменную грудь... Противна поэту, какъ Эльборусу, эта назойливая суетня людей, и, глядя на поле битвы подъ Валерикомъ, онъ восклицаетъ:

„...жалкій человѣкъ!
Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно;
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ“...

Поэтъ не похожъ на другихъ людей,—онъ не оскорбитъ величественной жизни природы... Только подъ вліяніемъ природы онъ въ небесахъ можетъ увидѣть Бога *(«Въ минуту жизни трудную...»— Тамъ же, стр. 35)*. Только природа успокаиваетъ его, когда—

„Ночь тиха; пустыня внемлетъ Богу,
И звѣзда съ звѣздою говоритъ...
Въ небесахъ торжественно и чудно...“.

---

[1]) „...сколько кроткой задушевности въ тонѣ этого стихотворенія, сколько нѣжности безъ всякой притворности; какое благоуханное, теплое, женственное чувство!.. Все это трогаетъ въ голубиной натурѣ человѣка; но въ духѣ мощномъ и гордомъ, въ натурѣ львиной — все это больше, чѣмъ умилительно!“ (Бѣлинскій).

Въ такую ночь ему хотѣлось бы «забыться и заснуть»,— но не сномъ смерти, а живымъ сномъ природы—

„Чтобъ въ груди дремали жизни силы,
Чтобъ, дыша, вздымалась тихо грудь...“—

чтобъ дубъ надъ нимъ склонялся и шумѣлъ, чтобъ не умолкала та величественная симфонія міровой любви, которую услышалъ поэтъ въ безгласномъ разговорѣ звѣздъ, въ томъ благоговѣйномъ молчаніи, съ которымъ все внимаетъ Богу въ эту торжественную и чудную ночь... *(Ист. хрест., стр. 43)*.

Но это—сонъ, мечта... Когда поэтъ просыпался, когда дѣйствительность вступала въ свои права, — онъ среди людей опять чувствовалъ себя, какъ въ тюрьмѣ...

Въ стихотвореніяхъ этого періода онъ неразъ говоритъ о «толпѣ» и объ отношеніи толпы къ «поэту».

Онъ понялъ теперь великое назначеніе «поэта» *(«Поэтъ»— Ист. хрест., стр. 37)*: прежде поэтъ-пѣвецъ былъ пророкомъ, воспламенителемъ народа.

„Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ словъ
Воспламенялъ бойца для битвы.
Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,
Какъ ѳиміамъ въ часы молитвы.
Твой стихъ, какъ Божій духъ, носился надъ толпой,
И отзывъ мыслей благородныхъ
Звучалъ, какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой
Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ“...

Но это было прежде... Теперь рѣчей возвышающихъ душу не пойметъ толпа, привыкшая къ «блесткамъ и обманамъ». И потому лучше онъ замолкнетъ, «осмѣянный пророкъ»... Вѣдь, если онъ рискнетъ читать въ сердцахъ людей «страницы злобы и порока», станетъ «провозглашать любви и правды чистыя ученье», толпа закидаетъ его каменьями... Вмѣсто того, чтобы жить съ людьми «пророку» лучше уйти въ пустыню, къ природѣ,—тамъ будутъ его слушать звѣзды, тамъ покорится ему тварь земная...

Вотъ почему удѣлъ пѣвца, понявшаго свое великое назначеніе, такъ же тяжелъ, какъ судьба пророка, «вопіющаго въ пустынѣ». Вотъ почему Лермонтовъ въ стихотвореніи: «*Не вѣрь, не вѣрь себѣ*» *(Ист. хрест., стр. 35)* говоритъ, что вдохновенья надо бояться. Особенно не надо это вдохновенье показывать людямъ, потому что, въ глазахъ толпы, поэтъ, съ его возвышенными рѣчами, будетъ только «разрумяненнымъ трагическимъ актеромъ», который махаетъ «мечомъ картоннымъ»!

«О чемъ же писать?»—спрашиваетъ «писатель» (*«Журналистъ, читатель и писатель»—Ист. хрест., стр. 38*). Бываютъ минуты, когда—

„... съ отвагою свободной И міръ мечтою благородной
Поэтъ на будущность глядитъ, Предъ нимъ очищенъ и обмытъ...“.

Но возвышенныхъ твореній, созданныхъ въ такую минуту, не стоитъ показывать толпѣ,—и поэтъ самъ сжигаетъ ихъ... Бываютъ другія настроенія, когда «весело и больно тревожить язвы старыхъ ранъ»,—тогда сатира, бичующая людей, выходитъ изъ-подъ его пера... Но и «этихъ горькихъ строкъ» толпѣ онъ не покажетъ,—

„Къ чему толпы неблагодарной [1]) Чтобъ бранью назвали коварной
Мнѣ злость и ненависть навлечь,— Мою пророческую рѣчь?“.

Вотъ почему поэтъ, съ высокимъ пониманіемъ значенія поэзіи, чуждъ людей и, какъ воспѣтый имъ пророкъ, стремится въ пустыню, къ природѣ... По словамъ самого поэта, ему душно было въ тогдашней Россіи, съ ея крѣпостнымъ правомъ. Онъ чувствовалъ, что жизнь тяжела ему, какъ каменныя стѣны для плѣннаго рыцаря [2]).

Сидитъ этотъ плѣнный рыцарь «подъ окошкомъ темницы», да смотритъ, какъ—

„Въ небѣ играютъ все вольныя птицы...“.

Глядитъ онъ на этихъ вольныхъ птицъ и скорбитъ его душа отъ сознанія, что нѣтъ у него ни воли, ни силы... (*Ист. хрест., стр. 41*)... То же чувствовалъ и самъ поэтъ, которому все «поколѣніе» его труднаго времени часто представлялось безсильнымъ и жалкимъ, какъ онъ самъ: „Дума“.

„Печально я гляжу на наше поколѣнье!“

—восклицаетъ поэтъ—

„Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы...
Передъ опасностью позорно-малодушны,
И передъ властію презрѣнные рабы!“.

Въ душѣ этого поколѣнія царствуетъ «какой-то холодъ тайный»; «безъ счастія и славы» оно «спѣшитъ ко гробу»—

„Толпой угрюмою и скоро позабытой
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда...“ и д.

—говоритъ поэтъ (*Тамъ же, стр. 34*).

Это сознаніе своей безполезности было тѣмъ тяжелѣе для Лермонтова, что онъ любилъ «родину» и гордился ея величіемъ... Чувствомъ патріотизма проникнуты его стихотворенія: «*Два великана*» (*Тамъ же, стр. 44*), «*Бородино*» (*стр. 44*)...

---

[1]) „Толпу“ Лермонтовъ въ разныхъ стихотвореніяхъ называетъ „лукавой“, „жестокой“, „самодовольной“, „бездушной“...

[2]) Всѣ его гимны свободѣ почти всегда вложены въ уста томящагося въ „темницѣ“ („Сосѣдка“, „Плѣнный рыцарь“, „Узникъ“, „Желаніе“ и др.).

Изъ этихъ двухъ произведеній Лермонтова и нѣкоторыхъ другихъ подобныхъ нетрудно заключить, что Лермонтовъ не былъ чуждъ настроеній «офиціальной народности»... Хотя онъ и говоритъ, что слава Россіи, «купленная кровью», и ея «полный гордаго довѣрія покой» его не увлекаютъ, но въ этихъ словахъ позволительно усомниться,—Лермонтовъ, какъ и многіе его великіе современники, несмотря на свой критицизмъ, нерѣдко находился подъ обаяніемъ распространенныхъ въ николаевскую эпоху убѣжденій, что могущественнѣе Россіи нѣтъ страны... Въ стихотвореніи: «*Родина*» *(Ист. хрест., стр. 40)* поэтъ увѣряетъ насъ, что «странною любовью» любитъ родину,—любитъ за ея своеобразную природу, за тѣ широкія и грустныя настроенія, которыми проникнуты ея пейзажи, за ту оригинальность и самобытность, которая сказывается въ русской жизни...

Поэмы второго періода. „Измаилъ-Бей".

§ **25**. *Поэмы.* Въ поэмѣ: «*Измаилъ-Бей*» *(стр. 51)* изображенъ горецъ, который провелъ всю свою юность въ Россіи и потомъ, уже въ зрѣломъ возрастѣ, возвратился на Кавказъ. Культурная жизнь и христіанская религія не смягчили его дикой души, но отравили ее сомнѣніемъ и разочарованіемъ: въ обществѣ цивилизованныхъ людей онъ только научился ненавидѣть человѣчество и презирать жизнь. И вотъ, имъ овладѣваетъ «скука пресыщенья» и «міровая тоска»—болѣзнь неизлечимая, которой не поможетъ—

„...ни кровь врага, ни рѣчь друзей".
Измаилъ никому и ничему не вѣритъ—
„И презиралъ онъ этотъ міръ ничтожный,
Гдѣ жизнь – измѣнъ взаимныхъ вѣчный рядъ".

Вотъ почему грудь его „тоской опустошена" и смѣхъ его холоденъ.. Вотъ почему онъ отвергаетъ любовь черкешенки Зары и, на признаніе ея' отвѣчаетъ приблизительно то же, что́ сказалъ Онѣгинъ Татьянѣ. Подобно самому поэту, Измаилъ только природу любитъ страстною любовью: очутившись въ родныхъ горахъ, онъ—

„какъ невѣсту въ часъ свиданья,
Душой природу обнималъ".

Измаилъ вернулся къ роднымъ горамъ, чтобы мстить русскимъ за униженіе свой родины; въ борьбѣ съ ними онъ проявляетъ чудеса храбрости. За Измаиломъ, подъ именемъ Селима, повсюду слѣдуетъ отвергнутая имъ Зара; она въ бою бьется рядомъ съ нимъ; она ухаживаетъ за нимъ, когда онъ былъ раненъ. Изъ зависти къ его славѣ его убиваетъ родной братъ, а соратники героя, увидя на груди убитаго Измаила крестъ, съ презрѣніемъ отворачиваются отъ ренегата

Поэма богата яркими пейзажами кавказской природы; неразъ авторъ говоритъ и о горцахъ, причемъ ихъ онъ идеализируетъ, представляя какими-то рыцарями «вольности»...

„Хаджи-Абрекъ".

Поэма: «*Хаджи-Абрекъ*» тоже посвящена *(стр. 62)* жизни горцевъ; герой поэмы, желая отомстить Бей-Булату

за убійство своего брата, убиваетъ возлюбленную Бей-Булата. Въ суровыхъ чертахъ этого мстителя узнаемъ мы что-то демоническое и, опять-таки, черты байроновскихъ героевъ.

Хаджи-Абрекъ тоже разочарованъ. Какъ всѣ „скорбники", и онъ „страненъ": для него одно блаженство въ мірѣ—это месть людямъ.

„Бояринъ Орша".

Совершено такой же типъ «мстителя» представленъ и въ третьей поэмѣ Лермонтова: «*Бояринъ Орша*» *(Ист. хрест., стр. 64).*

Любимецъ и сподвижникъ Іоанна Грознаго, угрюмый, жестокій старикъ, бояринъ Орша удалился отъ двора царскаго въ свое уединенное помѣстье съ красавицей-дочкой: она—одно его утѣшеніе.

„Онъ жилъ; онъ зналъ людей и свѣтъ,
Онъ зломъ не могъ быть удивленъ.
Добру жъ давно не вѣрилъ онъ,—
Не вѣрилъ только потому,
Что вѣрилъ нѣкогда всему".

Орша не вѣритъ даже въ Бога: отправляясь въ походъ, не осѣняетъ онъ себя крестнымъ знаменіемъ. Зато онъ вѣритъ въ свою дочь!.. Вдругъ онъ убѣждается, что она любитъ Арсенія, бѣднаго монастырскаго воспитанника.

Арсеній—типъ сложный и отличается байроническимъ складомъ души: по словамъ поэта, „жилъ онъ меньше, чѣмъ страдалъ". Арсеній тяготится жизнью въ монастырѣ: онъ стоитъ за свободу своей личности; его гордымъ, независимымъ сердцемъ управляютъ свои законы, которые для него не менѣе святы, чѣмъ тѣ, что утверждены рукою самого Бога. Онъ томится тоской по вольности.

Жестоко отомстилъ бояринъ Орша дочери, которая своимъ поступкомъ загасила послѣдній свѣтъ въ его старческомъ сердцѣ: онъ ее заперъ въ теремѣ, ключъ отъ двери бросилъ въ рѣку и, такимъ образомъ, уморилъ ее голодомъ. Арсенію удалось бѣжать отъ казни. Потомъ литовцы пошли войною на Россію, и Оршѣ, жившему у самой границы, пришлось первому встрѣтиться съ ними на ратномъ полѣ; въ бою онъ былъ смертельно раненъ, но передъ смертью сумѣлъ отомстить Арсенію, который былъ въ рядахъ литовцевъ и послѣ боя нашелъ Оршу умирающимъ. Злобный старикъ сказалъ Арсенію, чтобы онъ спѣшилъ къ своей любезной, такъ какъ она его ждетъ. Окрыленный надеждой, устремился Арсеній въ знакомый теремъ, но тамъ нашелъ скелетъ любимой дѣвушки.

Поэма интересна картинами русской природы и русскаго быта. Но, конечно, байроническій характеръ обоихъ героевъ поэмы (Орши и Арсенія) совсѣмъ не отвѣчаетъ духу изображаемой эпохи.

„Мцыри".

Образъ Арсенія и нѣкоторыя детали этой поэмы (воспитаніе героя въ монастырѣ, любовь его къ природѣ, предсмертная исповѣдь и др.) повторяются впослѣдствіи въ поэмѣ: «*Мцыри*» [1]) *(стр. 76).* Въ этомъ произведеніи Лермонтовъ опять перенесъ дѣйствіе на любимый имъ Кавказъ. Свободной, широкой кистью рисуетъ онъ природу кавказскихъ горъ... Всѣ пейзажи этой поэмы, дневные и ночные, одинаково поразительны по яркости красокъ.

Герой поэмы, по происхожденію, горецъ; его, еще ребенкомъ, привезъ въ грузинскій монастырь какой-то русскій генералъ, найдя его одинокимъ, умирающимъ въ горахъ. Ребенокъ былъ слабъ, пугливъ и дикъ, но въ немъ

[1]) По-грузински „мцыри" значитъ: „послушникъ".

жилъ могучій духъ его отцовъ: онъ „тихо, гордо умиралъ“, не желая принять пищу отъ монаховъ. Потомъ онъ поправился, остался жить въ монастырѣ, и здѣсь протекло все его печальное дѣтство: онъ жилъ „угрюмый, одинокій“, не зная отца и матери,—какъ листокъ, оторванный грозой отъ родного стебля... Онъ выросъ въ стѣнахъ обители, какъ цвѣтокъ темничный: этотъ монастырь былъ для него тюрьмой, такъ какъ съ дѣтства неясная тоска по родной сторонѣ волновала его безпокойное сердце. Въ этомъ сердцѣ никогда не умирала пламенная страсть къ волѣ, къ природѣ, къ роднымъ ему горцамъ. „Пламень“, съ юныхъ лѣтъ „таясь“, жилъ въ его груди—и, наконецъ, „онъ прожегъ свою тюрьму“—Мцыри бѣжалъ въ горы и тамъ провелъ нѣсколько дней на свободѣ... Вдали отъ людей, въ горахъ онъ жилъ настоящей жизнью дикаря... Монахи нашли его умирающимъ отъ голода и утомленія и перенесли обратно въ обитель; передъ смертью онъ раскрылъ одному изъ монаховъ свою душу:

„Ты хочешь знать, что дѣлалъ я
На волѣ?.. *Жилъ*“.

Потомъ Мцыри разсказываетъ, какъ въ эти счастливые дни полной свободы его опьяняла близость къ природѣ, какъ онъ радъ былъ „обняться съ бурей“, рукою готовъ былъ ловить молніи... Онъ чувствовалъ себя свободнымъ могучимъ звѣремъ... Въ борьбѣ съ барсомъ, онъ особенно ясно ощутилъ въ себѣ это животное начало... Но не только „дикое“ и „звѣриное“ природы нашло откликъ въ его сердцѣ,—Мцыри сумѣлъ на лонѣ природы услышать и тѣ хвалы въ честь міросданья,—тихія, торжественныя, которыя звучали въ таинственныхъ голосахъ природы:

„Кругомъ меня цвѣлъ Божій садъ!.. “ и д. *(стр. 78)*.

Онъ „тонулъ“ глазами и душой въ глубинахъ синяго неба; онъ сливался съ землей, горами и звѣрями... Чувствуя близость своего послѣдняго часа, онъ проситъ перенести его въ садъ и положить подъ цвѣтущія акаціи... Вольный сынъ природы, онъ не умретъ въ душной темницѣ-кельѣ,—онъ заснетъ въ объятіяхъ великой матери-природы!

Шестая редакція поэмы: „Демонъ“.

Поэму: «*Демонъ*» *(стр. 81)* Лермонтовъ передѣлывалъ много разъ; второй редакціи поэмы онъ придалъ автобіографическое значеніе, выразивъ въ поэмѣ свою любовь къ Лопухиной. Въ послѣдующихъ передѣлкахъ этой поэмы, какъ говорятъ изслѣдователи, тоже отразилась исторія этой любви: измѣненія въ чувствахъ Лермонтова къ любимой дѣвушкѣ сказались въ настроеніяхъ демона, то болѣе мрачныхъ, то болѣе мягкихъ.

Въ окончательной, *шестой*, редакціи поэмы, образъ демона является наиболѣе смягченнымъ; очевидно, настроенія Лермонтова въ послѣдній періодъ его жизни и творчества особенно этому смягченію способствовали.

Демонъ названъ „печальнымъ“; онъ съ грустью вспоминаетъ тѣ „лучшіе дни“, когда онъ „вѣрилъ и любилъ“, блистая красой въ свитѣ Творца. Тогда не зналъ онъ злобы и сомнѣнья. Когда онъ отпалъ отъ Бога и сдѣлался „духомъ зла“, это зло недолго доставляло ему радость... Тогда онъ сталъ „сѣять зло безъ наслажденья“, — и скоро „зло наскучило ему“. Полный отчаянья, чтобы заглушить сердечный ропотъ, онъ часто отдавался титанической борьбѣ съ разъяренными стихіями:

„Въ борьбѣ съ могучимъ ураганомъ...“ и дал. *(стр. 86)*.

—разсказываетъ онъ Тамарѣ.

Но и такое ошьяненіе стихійной борьбой ему помогало ненадолго,— онъ скоро пресытился своимъ одинокимъ и вѣчнымъ существованіемъ.

„Какое горькое томленье
Всю жизнь, вѣка безъ раздѣленья
И наслаждаться, и страдать“... и д.

—восклицаетъ онъ.

Онъ затосковалъ, и тоска его такъ безпредѣльна, что онъ презираетъ не только людей, но даже саму природу,—„созданье Бога своего“.

Въ минуту глубокой печали увидѣлъ онъ Тамару. Она была необыкновенная красавица... Къ тому же, у нея была и душа необыкновенная...

Эта душа была широка и мятежна. Недаромъ демонъ увидѣлъ въ ея очахъ „рай и адъ“!.. Говоря о ней, онъ имѣлъ право сказать ангелу:

„Мы связаны судьбой одной
И ей, какъ мнѣ, ты—не судья!“.

Тамара принадлежала къ семьѣ тонко-организованныхъ натуръ—

„Творецъ изъ лучшаго эѳира
Соткалъ живыя струны“

—ея души.

По словамъ поэта, она не была создана для міра, „и міръ былъ созданъ“ не для нея!.. Словомъ, она—подстать демону, въ которомъ тоже нѣтъ грубости, духовный обликъ котораго тоже отличается изяществомъ и тонкостью.

Красота Тамары, и тѣлесная, и духовная, поразила демона: глядя на нее,—

„... онъ опять постигъ святыню
И міръ добра и красоты“

—и въ сердцѣ его опять мелькнулъ „призракъ возрожденья“. И тогда онъ сталъ неотступно преслѣдовать Тамару... Когда онъ стоялъ передъ ней „съ челомъ развѣнчаннымъ“—

„Онъ такъ смотрѣлъ, онъ такъ молилъ,
Онъ, мнилось, такъ несчастливъ былъ!..“.

... Передъ ней онъ испытываетъ смущенье, даже страхъ; глядя на нее, онъ впервые узнаетъ и любовь, и слезы...

Состояніе души его въ это время дѣлается довольно смутнымъ—

„Онъ былъ похожъ на вечеръ ясный,
Ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свѣтъ“.

Мы видѣли выше, что такое „серединное“ положеніе между добромъ и зломъ,—небомъ и землей—знакомо было самому поэту...

Божественно-чистая Тамара склоняетъ демона къ добру, къ свѣту... И вотъ, онъ входитъ къ ней въ келью, „любить готовый, съ душой, открытой для добра“. Онъ ей клянется:

„Хочу я съ небомъ примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я вѣровать добру!“.

Но когда между нимъ и Тамарой становится ангелъ, „посланникъ небесъ“, демонъ преисполняется ненавистью къ Богу. Тогда пробуждается въ его сердцѣ мрачная страсть, исчезаетъ ясный рой свѣтлыхъ мечтаній, и надъ его мятежнымъ духомъ опять являютъ свою власть „вѣка вражды, вѣка страданій“...

Да едва ли и было возможнымъ полное примиреніе демона съ Богомъ... Онъ говоритъ Тамарѣ, что она можетъ вернуть его къ „добру“, но изъ дальнѣйшихъ словъ его видно, что „добромъ“ демонъ называетъ только „отреченіе отъ зла“... Онъ не хочетъ бороться съ Богомъ, но *служить* Богу и людямъ тоже не станетъ,—оттого онъ зоветъ Тамару прочь отъ міра...

Переродиться нравственно демонъ не можетъ: онъ не можетъ всего себя „высвѣтлить любовью“, такъ какъ „на днѣ его старинной раны“ гнѣздится

старая злоба. Онъ любитъ *для себя*, и холодное презрѣніе его къ людямъ не можетъ смѣниться въ его сердцѣ любовью къ нимъ.

Тамара умираетъ, и душу ея ангелъ уноситъ на небо. Демонъ не овладѣлъ этой душой, такъ какъ она прощена была Богомъ за то, что *страдала*, и страданія очистили ея душу. Отдаваясь своей грѣховной любви, она вѣрила, что этимъ спасетъ демона. И это самоотверженіе спасло ее и возвысило, какъ возвысило Сонечку Мармеладову ея паденіе.

Поэма богата описаніями кавказской природы и быта горцевъ (дворъ Гудала, жизнь Тамары).

Автобіографическое значеніе поэмы опредѣляется:—1) эпиграфомъ:

„Прими мой даръ, моя Мадонна... *Моя* любовь—мнѣ оборона
Съ тѣхъ поръ, какъ мнѣ явилась ты, *Отъ гордыхъ думъ и суеты*“,—

и—2) посвященіемъ *В. А. Б.* (ахметевой)[1]). Ее поэтъ называетъ „забывчивымъ, но незабвеннымъ другомъ“; съ болѣзненной тоской онъ спрашиваетъ ее, пойметъ ли она, какъ много въ эту поэму вложено той „тоски“, которая томила его „бѣдный умъ“ въ теченіе „столькихъ лѣтъ“.

Если первая редакція поэмы носитъ на себѣ сильные слѣды литературныхъ вліяній Байрона («Каинъ», образъ Люцифера), Виньи («Элоа»), Ламартина («Паденіе ангела»), то въ окончательно-переработанномъ видѣ произведеніе Лермонтова значительно отошло отъ чуждыхъ вліяній,—теперь лишь въ нѣкоторыхъ чертахъ героя остались черты, навѣянныя извнѣ, не объясненныя изъ содержанія самой поэмы и ненужныя для развитія ея содержанія. Такъ, напримѣръ, демонъ называетъ себя «царемъ познанья и свободы», «богомъ рабовъ своихъ земныхъ»,—всѣ такія заявленія сдѣлаются понятными для читателя только тогда, когда онъ ознакомится съ произведеніями Байрона и Виньи.

„Пѣсня про царя Ивана Васильевича“.

«Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (Ист. хрест., стр. 70) стоитъ особнякомъ въ ряду другихъ произведеній Лермонтова: въ этомъ произведеніи нѣтъ и тѣни того байронизма, который такъ характеренъ въ другихъ его поэмахъ. Поэтъ въ этой «пѣснѣ» обнаружилъ пониманіе народной поэзіи и способность творить въ народномъ духѣ.

Въ этой поэмѣ всѣ образы обрисованы ярко, жизненно и въ то же время объективно,—въ томъ эпически-безстрастномъ духѣ, который является характерной чертой народнаго эпоса.

Въ лицѣ купца Калашникова представилъ онъ человѣка идеальнаго, съ точки зрѣнія „Домостроя“. Молодой купецъ отличается чертами патріархальнаго домовладыки, передъ авторитетомъ котораго преклоняются жена и меньшіе братья, и чада, и домочадцы... У него въ домѣ строгій порядокъ, „благочиніе“—и жизнь его течетъ спокойная и уравновѣшенная до того момента, пока въ нее не врывается струя „безчинія“. Калашниковъ—спокойная натура, въ которой скрыто много мощи: ровно и гуманно онъ относится ко всѣмъ, но оскорблять себя не позволитъ. Слѣдуя обычаямъ своего времени, большое значеніе придаетъ онъ „общественному суду“ — оттого „публичнаго“ оскорбленія онъ не проститъ.

---

[1]) Бахметевой,—фамилія, которую носила В. А. Лопухина замужемъ.

Удалой Кирибѣевичъ—тоже образъ чисто-русскій: онъ той же породы, что и Василій Буслаевичъ: по духу своему, онъ принадлежитъ къ той „вольницѣ“, которой не по сердцу были завѣтные уклады московской жизни, правила Домостроя... Имъ душно было въ рамкахъ строгой жизни, они не вѣрятъ „ни въ сонъ, ни въ чохъ“, не считаются съ „общественнымъ мнѣніемъ“ и живутъ для себя. Но въ нихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, есть тоскливое недовольство собой,—та скука, которая есть признакъ широкой натуры и большихъ запросовъ. Лучше всего психологія такихъ людей разработана въ русскихъ разбойничьихъ пѣсняхъ.

Грозный царь въ „Пѣснѣ“ обрисованъ особенно ярко: передъ нами—живой образъ царя, который свою ярость умѣетъ скрывать подъ личиной мрачной иронiи. Обрисовать этотъ характерный обликъ помогла Лермонтову опять народная поэзія: изъ разбойничьей пѣсни: „Не шуми, мати, зеленая дубравушка“—взята шутка грознаго царя, отъ которой пахнетъ смертью...

Вообще, въ произведеніи Лермонтова можно найти немало заимствованій изъ народной поэзіи: оттуда сумѣлъ онъ взять нѣсколько красивыхъ «общихъ мѣстъ» (постоянные эпитеты, описанія), оттуда взялъ «запѣвы» и «прибаутки». По типу своему, поэма Лермонтова относится къ разряду «историческихъ пѣсенъ», отчасти народныхъ «балладъ»...

§ **26.** Драма: «*Маскарадъ*» *(Ист. хрест.,* „**Маскарадъ**“. *стр. 88)* написана подъ сильнымъ вліяніемъ «Горя отъ ума»: не только стихъ драмы, но даже отдѣльныя выраженія и нѣкоторыя (второстепенныя) дѣйствующія лица заимствованы Лермонтовымъ у Грибоѣдова [1]). Представители общества, съ которыми сталкиваются Чацкій и Арбенинъ, тоже очень сходны: всѣ они живутъ пошлой, мелочной жизнью; все содержаніе этой жизни составляютъ сплетни, интриги, эгоистическія стремленія; всѣ сколько-нибудь оригинальныя личности въ этомъ обществѣ томятся скукой и пресыщеньемъ; презрѣніе къ жизни своей и чужой, страсть къ картамъ и женщинамъ,—вотъ, что въ этой пьесѣ заполняетъ существованіе «сильныхъ людей»...

Такихъ «сильныхъ людей» въ драмѣ представлено четыре: Арбенинъ, Казаринъ, Неизвѣстный и кн. Звѣздичъ; всѣ они—разновидности того же типа, который изображался Лермонтовымъ и въ герояхъ его поэмъ, и позднѣе въ лицѣ Печорина.

Съ Арбенинымъ мы впервые знакомимся въ тотъ періодъ его жизни, когда онъ „притихъ“: „женился и богатъ, сталъ человѣкъ солидный, глядитъ ягненочкомъ“, но въ душѣ онъ остался „тотъ же звѣрь“. Онъ полюбилъ Нину, и ея любовь побѣдила его страсти, примирила его съ жизнью и людьми...

О прошломъ Арбенина мы узнаемъ изъ разсказовъ другихъ дѣйствующихъ лицъ, а также изъ его собственныхъ признаній.

Разочарованный въ людяхъ, онъ презираетъ ихъ холодно и зло; онъ далекъ отъ интересовъ толпы и потому скучаетъ.

---

[1]) Разговоръ Арбенина съ Казаринымъ напоминаетъ бесѣду Чацкаго съ Горичемъ на балу у Фамусова; Шприхъ напоминаетъ отчасти Загорѣцкаго.

Онъ презираетъ культурное общество, съ его лживостью и утонченнымъ развратомъ мысли и чувства. Немудрено, что даже любящей Нинѣ онъ представляется „страннымъ человѣкомъ“ *(Ист. хрест., стр. 82)*. „Что такое жизнь?“—восклицаетъ онъ и самъ отвѣчаетъ:

„... Жизнь—вещь пустая“... и дал. *(стр. 95)*.

Изъ словъ Неизвѣстнаго, характеризующихъ Арбенина, мы видимъ, что въ Арбенинѣ было что-то „сверхчеловѣческое“, демоническое... Особенно эта черта выражается въ его злобѣ и мстительности.

И эта черта оправдывается въ драмѣ: изъ пустого подозрѣнія Арбенинъ отравляетъ неповинную жену; онъ зло и коварно мститъ князю Звѣздичу. Но Арбенинъ не представленъ въ драмѣ торжествующимъ, — судьба безпощадно наказываетъ его: враги его „Неизвѣстный“ и кн. Звѣздичъ, возбудивъ его ревность до того, что онъ убиваетъ жену, доказываютъ ему, что ревность его была неосновательна, что онъ отравилъ жену безъ всякой провинности съ ея стороны. Арбенинъ сходитъ съ ума...

Казаринъ, другъ Арбенина, — тоже подстать ему: онъ тоже разочарованъ, тоже презираетъ жизнь... Онъ говоритъ:

„Что ни толкуй Вольтеръ, или Декартъ—
Міръ для меня—колода картъ,
Жизнь—банкъ; рокъ мечетъ, я играю.
И правила игры я къ людямъ примѣняю“.

„Неизвѣстный“, орудіе рока, наказующаго Арбенина,—тоже герой, на него похожій: онъ рано извѣрился въ людей и, оскорбленный Арбенинымъ, затаилъ месть противъ него и сталъ мучительно-терпѣливо ждать минуты, когда онъ сможетъ расплатиться съ оскорбителемъ.

Кн. Звѣздичъ—самый юный изъ этихъ героевъ; его душа еще не окаменѣла, не застыла: она еще страдаетъ и волнуется. Вотъ, характеристика его, услышанная имъ въ маскарадѣ:

„...Безхарактерный, безнравственный, безбожный,
Самолюбивый, злой, но слабый человѣкъ,
Въ тебѣ одномъ весь отразился вѣкъ,—
Вѣкъ нынѣшній, блестящій, но ничтожный.
Наполнить хочешь жизнь, а бѣгаешь страстей;
Все хочешь ты имѣть, а жертвовать не знаешь...“.

Драма любопытна еще разсужденіями о женскомъ вопросѣ, которыя вложены въ уста баронессы, одной изъ второстепенныхъ героинь драмы.

Какъ драма, «Маскарадъ» особой цѣны не имѣетъ,—слишкомъ въ этой драмѣ сгущены краски въ изображеніи человѣческихъ страстей.

„Герой нашего времени“.

§ **27**. Самымъ значительнымъ произведеніемъ Лермонтова былъ романъ: «*Герой нашего времени*» *(Ист. хрест., стр. 99)*. Какъ самое заглавіе показываетъ, Лермонтовъ хотѣлъ изобразить въ этомъ произведеніи *типичный* образъ, характеризующій современное ему поколѣніе. Изъ лирическихъ произведеній Лермонтова мы знаемъ, какъ невысоко оцѣнивалъ онъ своихъ современниковъ («Печально я гляжу»),—на такой же точкѣ зрѣнія стоитъ онъ и въ своемъ романѣ. Въ «предисловіи» Лермонтовъ говоритъ, что его герой—«портретъ, составленный изъ пороковъ» людей того времени, «въ полномъ ихъ развитіи». Далѣе онъ заявляетъ, что, говоря о недостаткахъ своего времени, не берется читать современникамъ нравоученій—онъ просто рисуетъ «исторію души» «современнаго человѣка», какимъ онъ его

понималъ и, къ его собственному несчастію и несчастію другихъ, слишкомъ часто встрѣчалъ въ жизни. «Достаточно того, что болѣзнь указана, а какъ ее излечить — это ужъ Богъ знаетъ!» — говоритъ онъ... Итакъ, героя своего авторъ не идеализируетъ: какъ Пушкинъ казнитъ своего Алеко въ «Цыганахъ»,—такъ и Лермонтовъ, въ лицѣ Печорина, сводитъ съ пьедестала разочарованнаго байрониста,—образъ, недавно еще столь близкій его сердцу.

Печоринъ неразъ въ своихъ Запискахъ и въ бесѣдахъ говоритъ о себѣ. Онъ разсказываетъ, какъ разочарованія преслѣдовали его съ дѣтства... „Всѣ читали на моемъ лицѣ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было; но ихъ предполагали,—и они родились“... и дал. *(Ист. хрест., стр. 113)*. Онъ сдѣлался „нравственнымъ калѣкой“ потому, что его „исковеркали“ люди: они *не поняли* его, когда онъ былъ ребенкомъ, когда сдѣлался юношей и взрослымъ... Они навязали его душѣ *двойственность*,—и онъ сталъ жить двумя жизнями: одной показной, для людей,—другой затаенной—для себя. Это признаніе нѣсколько дополняетъ вышеприведенныя слова Печорина относительно того, что люди испортили его душу... Конечно, кромѣ вліянія людей, и душа самого Печорина отъ природы была особенная,—люди же не сумѣли и не пожелали съ ней обходиться бережно и любовно. Печоринъ—„странный человѣкъ“; это говорятъ и Максимъ Максимычъ, и княжна Мэри... Ему удивляются Вернеръ, Грушницкій, натуры съ нимъ родственныя: его совершенно не понимаютъ люди попроще, въ родѣ княгини, матери Мэри. Словомъ, онъ изъ разряда тѣхъ модныхъ, въ то время, героевъ, которыхъ нѣмецкій писатель Шпильгагенъ назвалъ „проблематическими (загадочными) натурами“. Его, со всѣми его пороками и достоинствами, знаетъ, кажется, одна только Вѣра...

Оскорбляемый пошлостью и недовѣріемъ людей, Печоринъ замкнулся въ себѣ; онъ презираетъ людей и не желаетъ жить ихъ интересами... Онъ все испыталъ: какъ Онѣгинъ, онъ наслаждался и суетными радостями свѣта, и любовью многочисленныхъ поклонницъ. Занимался онъ и книгами, искалъ сильныхъ впечатлѣній на войнѣ,—но кончилъ тѣмъ, что призналъ и книги, и войну—вздоромъ,—и заявилъ, что „подъ чеченскими пулями“ такъ же скучно, какъ за книгами... Онъ думалъ заполнить свою жизнь любовью къ Бэлѣ, но, какъ Рене ошибся въ Атала и въ Селутѣ, какъ пушкинскій Алеко—въ Земфирѣ, такъ и онъ не сумѣлъ жить одной жизнью съ первобытной женщиной.

Такимъ образомъ, въ его лицѣ обрисовывается незаурядный человѣкъ, съ сильной душой, но лишенный возможности къ чему-нибудь примѣнить свои способности въ атмосферѣ тогдашняго режима... Жизнь его мелка, ничтожна, а силъ въ душѣ много; смыслъ этихъ силъ неясенъ, такъ какъ некуда ихъ приложить,—отсюда безпомощное существованіе богатыря, котораго озлобляетъ самый избытокъ этихъ, ненужныхъ никому, силъ. Печоринъ—это тотъ же демонъ, которому спутали его широкія, свободныя крылья, котораго облекли въ армейскій мундиръ... Если въ настроеніяхъ демона выразились главныя черты души Лермонтова—его внутренній міръ, то въ образѣ Печорина изобразилъ онъ себя въ сферѣ той пошлой дѣйствительности, которая свинцомъ пригнетала его къ землѣ, къ людямъ... Недаромъ Лермонтова-Печорина тянетъ къ звѣздамъ: неразъ онъ восторгается небомъ,—недаромъ здѣсь, на землѣ, ему дорога только свободная природа...

„Тоненькій, бѣленькій“, но крѣпко-сложенный, одѣтый, какъ „дэнди“, со всѣми манерами аристократа, съ холеными руками, — Печоринъ производилъ странное впечатлѣніе: въ немъ „сила соединялась съ какой-то нервическою слабостью“. На его блѣдномъ благородномъ лбу видны были слѣды преждевременныхъ морщинъ; его красивые глаза „не смѣялись, когда онъ смѣялся“. „Это — признакъ или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти“ — поясняетъ авторъ. Въ его глазахъ „не было отраженія жара душевнаго, или играющаго воображенія,—то былъ блескъ, подобный блеску

гладкой стали, ослѣпительный, но холодный; взглядъ его непродолжительный, но проницательный и тяжелый“ [1]). Съ презрѣніемъ относясь къ людямъ и ихъ мнѣніямъ, Печоринъ, однако, всегда, въ силу привычки, ломался... Лермонтовъ разсказываетъ, что даже сидѣлъ онъ, „какъ сидитъ Бальзаковская тридцатилѣтняя кокетка на своихъ пуховыхъ креслахъ, послѣ утомительнаго бала“.

Пріучивъ себя никого не уважать и не считаться съ чужимъ міромъ, Печоринъ все готовъ принести въ жертву своему *эгоизму*. Когда Максимъ Максимычъ пытается задѣть его совѣсть осторожными намеками на безнравственность похищенія Бэлы, Печоринъ спокойно отвѣчаетъ вопросомъ: „да когда она мнѣ нравится?“... Когда Бэла ему надоѣла, онъ не горюетъ, даже видя ее мертвой: онъ смотритъ на нее, какъ на сломанную, увядшую вѣтку, какъ на умершую птичку... Онъ безъ сожалѣнія „казнитъ“ Грушницкаго не столько за его подлость, сколько за то, что онъ, Грушницкій, хотѣлъ одурачить его, Печорина!.. Самолюбіе было возмущено. Чтобы потѣшиться надъ Грушницкимъ („безъ дураковъ было бы на свѣтѣ очень скучно!“), онъ увлекаетъ княжну Мэри; холодный эгоистъ, онъ, въ угоду своему желанію „развлечься“, вноситъ цѣлую драму въ сердце Мэри. Онъ губитъ репутацію Вѣры и ея семейное счастье все изъ того же безмѣрнаго эгоизма. „Какое дѣло мнѣ до радостей и бѣдствій человѣческихъ!“—восклицаетъ онъ. Но не одно холодное равнодушіе вызываетъ у него эти слова: хотя онъ и говоритъ, что „печальное—смѣшно, смѣшное—грустно, а, вообще, по правдѣ, мы ко всему довольно равнодушны, кромѣ самихъ себя“, но это только фраза... Печоринъ не равнодушенъ къ людямъ, если имъ *мститъ* зло и безпощадно.

Онъ признаетъ за собой и „мелкія слабости, и дурныя страсти“. Онъ готовъ свою власть надъ женщинами объяснить тѣмъ, что „зло привлекательно“. Говоря о своихъ отношеніяхъ къ женщинамъ, онъ самъ находитъ въ душѣ своей „скверное, но непобѣдимое чувство“,—и это чувство онъ разъясняетъ намъ въ словахъ:

„Есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся душей!.. Она, какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется навстрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ досыта, бросить по дорогѣ: авось, кто-нибудь поднимете!“

Онъ самъ сознаетъ въ себѣ наличность чуть-ли не всѣхъ „семи смертныхъ грѣховъ“: у него—„ненасытная жадность“, которая все поглощаетъ, которая на страданія и радости другихъ заставляетъ смотрѣть только, какъ на пищу, питающую его душевныя силы. Въ его душѣ есть и честолюбіе, и жажда власти. „Счастье“ онъ видитъ въ „насыщенной гордости“. „Зло порождаетъ зло: первое страданіе даетъ понятіе объ удовольствіи мучить другого“—говоритъ онъ княжнѣ Мэри, и та, полушутя, полусерьезно, говоритъ ему, что онъ—„хуже убійцы“ *(Тамъ же, стр. 132)*.

„Я люблю враговъ“, говоритъ Печоринъ, „хотя не по-христіански. Они меня забавляютъ, волнуютъ мнѣ кровь“...

Конечно, это—опять „фраза“: не вся жизнь Печорина ушла на такую борьбу съ пошлыми людьми,—въ немъ есть міръ лучшій, который часто заставляетъ его осуждать самого себя. Порою онъ „груститъ“, сознавая, что разыгрываетъ „жалкую роль палача, или предателя“. Порою онъ „презираетъ себя“ и тяготится пустотой своей души.

„Зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился?..“ [2]) и дал. *(Тамъ же, стр. 142)*.

---

[1]) Въ этомъ описаніи Лермонтовъ заимствовалъ кое-какія черты изъ своей собственной внѣшности (напр., взглядъ).

[2]) Бѣлинскій особенно высоко цѣнитъ въ Печоринѣ ту силу духа, которая позволяла ему открыто признать свои недостатки и пороки. Обращаясь къ читателямъ, Бѣлинскій, въ печати, говоритъ: „вы предаете его анаѳемѣ не за пороки,—въ васъ ихъ больше, и въ васъ они чернѣе и позорнѣе,—но за ту смѣлую свободу, за ту желчную откровенность, съ которою онъ говоритъ о нихъ“. Въ немъ нѣтъ лицемѣрія: у него „благородная привычка смотрѣть дѣйствительности прямо въ глаза“. „Въ этомъ человѣкѣ, продолжаетъ кри-

Какъ всѣ другіе „скорбники“, онъ тяготится жизнью, готовъ умереть и не боится смерти, и если не кончаетъ свои дни самоубійствомъ, то потому только, что еще „живетъ изъ любопытства“,—въ поискахъ души, которая бы его поняла[1]).

Надѣленный умомъ и знаніемъ жизни, защищенный своимъ скептицизмомъ отъ увлеченій и иллюзій, онъ знаетъ людей, ихъ страсти и слабости; благодаря этому, онъ умѣетъ играть людьми, какъ пѣшками (отношенія его къ Грушницкому, къ Максиму Максимычу). Особенно хорошо онъ знаетъ женщинъ: какъ Онѣгинъ, онъ изучилъ въ совершенствѣ „науку страсти нѣжной“, и ведетъ свою игру навѣрняка, какъ Ловласъ, этотъ опытный охотникъ за женскими сердцами. „Никому не будетъ принадлежать, кромѣ меня!“—рѣшительно говоритъ онъ относительно Бэлы: „она будетъ моя!“... „Женщины любятъ только тѣхъ, которыхъ не знаютъ“; „если ты надъ нею не пріобрѣтешь власти, то даже ея первый поцѣлуй не даетъ тебѣ права на второй“. „Нѣтъ ничего парадоксальнѣе женскаго ума: женщинъ трудно убѣдить въ чемъ-нибудь, — надо ихъ довести до того, чтобъ онѣ убѣдили себя сами“,—вотъ, образцы тѣхъ афоризмовъ, правилъ и наблюденій, которыя вынесъ Печоринъ изъ своего знакомства съ женщинами. Онъ самъ сознается, что „кромѣ нихъ на свѣтѣ ничего не любитъ“. Это, конечно, опять „фраза“, но любопытная. Отношенія Печорина къ Бэлѣ, къ княжнѣ Мэри и Вѣрѣ даютъ намъ образцы различныхъ „пріемовъ“, которые выработалъ Печоринъ въ теченіе своей „практики“. Онъ подкупалъ женщинъ тѣмъ, что онъ былъ „несчастливъ“; онъ занималъ ихъ тѣмъ, что былъ загадоченъ и потому интересенъ: заглянуть въ его душу манило, какъ манитъ посмотрѣть въ пропасть... Онъ покорялъ ихъ силой своей души. Сильнѣе всѣхъ женщинъ онъ подчинилъ себѣ Вѣру; въ письмѣ къ нему она объяснила, что любовь ея выросла изъ жалости къ нему, изъ интереса къ нему (она находила въ немъ что-то таинственное), наконецъ, изъ женскаго стремленія къ подчиненію (она нашла въ немъ „власть непобѣдимую“). „Никто не умѣетъ такъ постоянно хотѣть быть любимымъ, ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно!“—говоритъ Вѣра. Она убѣдилась, что ея жалость не согрѣетъ его сердца, но это не убило ея любви: любовь ея потемнѣла, но не угасла... Въ ея обществѣ Печоринъ не ломается, ей онъ не говоритъ „фразъ“ — напротивъ, онъ съ нею простъ, искрененъ, поскольку онъ можетъ быть такимъ. Вѣра—образчикъ женщины, надѣленная любовью самоотверженной. Иначе любитъ его княжна Мэри, романтически-настроенная дѣвица: она увлеклась „загадочностью“ Печорина,—вѣдь этимъ даже Грушницкій сумѣлъ ей понравиться!.. И вотъ, Печоринъ, понявъ ее, рисуется передъ ней, говоритъ ей „фразы“, слишкомъ сгущаетъ тѣни и краски въ своихъ автобіографическихъ признаніяхъ,—и княжна Мэри теряется, путается, у нея кружится голова,—ее, словно, тянетъ въ таинственную туманную бездну души Печорина.

Бэла покорена духовной силой Печорина; для нея, дикарки, выросшей въ обстановкѣ восточнаго режима, мужчина, прежде всего,—господинъ, она передъ нимъ — раба... И потому она сдѣлалась рабой Печорина, который обладалъ большой силой воли („власть непобѣдимая“).

„Я никогда не дѣлался рабомъ любой женщины,—напротивъ, я всегда пріобрѣталъ надъ ихъ волей и сердцемъ непобѣдимую власть, вовсе объ этомъ не стараясь“. „Отчего это?“—задаетъ себѣ вопросъ Печоринъ, и съ интересомъ естествоиспытателя-наблюдателя старается разобраться въ поставленной психологической загадкѣ: „оттого ли, что я никогда ничѣмъ

тикъ, есть сила духа и могущество воли, которыхъ въ васъ нѣтъ; въ самыхъ порокахъ его проблескиваетъ что-то великое, какъ молнія въ черныхъ тучахъ, и онъ прекрасенъ, полонъ поэзіи даже и въ тѣ минуты, когда человѣческое чувство возстаетъ на него. Ему—другое назначеніе, другой путь, чѣмъ вамъ!.. Его страсти—бури, очищающія сферу духа; его заблужденія, какъ ни страшны они,—острыя болѣзни въ молодомъ тѣлѣ, укрѣпляющія его на долгую и здоровую жизнь“.

[1]) ... „можетъ быть, я завтра умру! и не останется на землѣ ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно!“

очень не дорожу, и что онѣ ежеминутно боялись выпустить меня изъ рукъ? или это магнетическое вліяніе сильнаго организма? или мнѣ, просто, не удавалось встрѣтить женщину съ упорнымъ характеромъ?"... Это остается для него вопросомъ. Несмотря на опытность психолога, охотно занимающагося изученіемъ человѣческаго сердца, своего и чужого, многое остается ему неяснымъ: „странная вещь сердце человѣческое вообще и женское въ особенности!"—восклицаетъ онъ однажды. „Женщины, женщины, кто ихъ поймета?"—говоритъ онъ въ другой разъ.

Непрочь онъ и пофилософствовать въ обществѣ людей, умѣющихъ его слушать и понимать. Такихъ людей мало: изъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ въ романѣ: „Герой нашего времени",—только докторъ Вернеръ удостоился уваженія Печорина; ихъ связалъ одинаково-пессимистическій взглядъ на жизнь, одинаковое умѣніе критически относиться къ людямъ и къ своему внутреннему міру. Оба они холодно-умны и говорятъ на одномъ языкѣ. Оба согласны, что „безъ дураковъ на свѣтѣ было бы очень скучно"; оба они смотрятъ на жизнь иначе, чѣмъ другіе люди: что̀ у другихъ вызываетъ горе, печально, то возбуждаетъ ихъ смѣхъ, что̀ другимъ кажется смѣшнымъ,—то на нихъ обоихъ наводитъ грусть...

Грушницкій тоже очень близокъ къ Печорину,—по крайней мѣрѣ, къ той показной сторонѣ Печорина, которою тотъ такъ охотно щеголяетъ: Грушницкій любитъ говорить эффектныя фразы, тоже ломается и играетъ роль; на немъ тоже лежитъ печать „міровой тоски", — но за этой показной стороной у него больше нѣтъ *ничего*: у него нѣтъ прежде всего *ума*, а потому онъ и кривляться умно не умѣетъ,—очень скоро можно его вывести „на чистую воду" и сдѣлать смѣшнымъ... У него нѣтъ печоринской души, могучей и несчастной: онъ — человѣкъ пустой и пошлый, — „москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ". Онъ — мягкая натура, карикатура Печорина; онъ—человѣкъ слабый и легко поддается вліянію толпы. И тогда онъ, человѣкъ по природѣ не злой, можетъ иногда играть некрасивую роль...

Автобіографическій элементъ въ романѣ.

Нетрудно замѣтить, что̀ въ этихъ трехъ образахъ: Печоринѣ, Вернерѣ и Грушницкомъ Лермонтовъ изобразилъ съ разныхъ сторонъ самого себя. Хотя онъ въ предисловіи отрицаетъ свое тожество съ героями своей повѣсти, но позволительно усумниться въ его искренности. Подобно Гоголю, бичевавшему самого себя въ Хлестаковѣ, Чичиковѣ и другихъ герояхъ,— подобно Пушкину, изображавшему себя въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ», Алеко, Онѣгинѣ,—и Лермонтовъ *объективировалъ* себя въ Печоринѣ: свой холодный умъ—въ Вернерѣ, свою наклонность къ рисовкѣ и нѣкоторую ходульность—въ Грушницкомъ, а всего себя — въ Печоринѣ. Стоитъ сравнить многія лирическія произведенія [1]) поэта съ рѣчами Печорина, и мы увидимъ, что нерѣдко ихъ содержаніе и настроеніе совпадаютъ. То обстоятельство, что собственныя чувства Лермонтовъ провѣрилъ на своихъ герояхъ и осудилъ въ нихъ нѣкоторыя черты своей личности, свидѣтельствуетъ о томъ, что онъ началъ «сжигать то, чему поклонялся», — что онъ былъ уже на пути къ новой жизни, къ новымъ идеаламъ... Несомнѣнныя сим-

[1]) Напр., „Дума", „И скучно, и грустно", „Не вѣрь себѣ", „Благодарность", „Первое Января" и мн. др. (См. выше).

патіи Лермонтова къ Максиму Максимычу указываютъ намъ, куда вела поэта эта новая дорога.

Передъ простымъ, недалекимъ Максимомъ Максимычемъ Лермонтовъ преклоняется... Хотя онъ подшучиваетъ слегка надъ его наивностью, надъ бѣдностой его ума, но онъ отдаетъ должное его чистому, „голубиному“ сердцу, полному любви и довѣрія къ людямъ. Максимъ Максимычъ живетъ несложной жизнью, — за то у него нѣтъ двойственности въ душѣ, нѣтъ никакихъ душевныхъ разладовъ; онъ не понимаетъ даже поэзіи и, сравнительно съ Печориномъ, слишкомъ просто смотритъ на жизнь [1]), но, въ случаѣ необходимости, онъ „душу свою положитъ за брата своего“. Онъ сродни той скромной семьѣ людей, къ которой принадлежатъ герои въ родѣ Мироновыхъ и Лизы Калитиной. „Максимъ Максимычъ — человѣкъ, достойный уваженія!“—говоритъ самъ авторъ.

Литературная исторія романа.

Близокъ Печоринъ къ нѣкоторымъ героямъ Марлинскаго и, особенно, къ пушкинскому Онѣгину: дѣтство Онѣгина и Печорина, юность, развлеченія и разочарованія ихъ почти одинаковы; различіе лишь въ томъ, что Онѣгинъ просто «скучаетъ», а Печоринъ «страдаетъ»; Онѣгинъ часто обнаруживаетъ даже доброту и мягкость души,—разочарованіе же Печорина злое... И Пушкинъ, и Лермонтовъ одинаково наказываютъ своихъ героевъ за ту фальшь, которая прикрыла ихъ незаурядныя сердца. Видъ людей, богатыхъ силами, но безплодно, даже со вредомъ для другихъ, тратящихъ свои дни въ поддразниваньи Грушницкихъ и въ ухаживаніи за дамами и дѣвицами, можетъ вызвать тоскливый вопросъ: откуда взялись эти «лишніе люди» и почему они оказались «лишними» для своего отечества?

Печоринъ напоминаетъ собою очень многихъ героевъ западноевропейскаго романа: и Рене, и Адольфа, и Обермана, и Чайльдъ-Гарольда, и даже Вампира, съ которымъ однажды онъ самъ себя сравниваетъ... Всѣ эти герои— родные братья по духу, все это—жертвы «безвременья». На нихъ исторія не построитъ прочнаго зданія, но и они нужны человѣчеству, какъ искупительныя жертвы такихъ болѣзней, какъ «скептицизмъ», или «міровая тоска»... Оправившись послѣ такихъ болѣзней, человѣчество, обыкновенно, чувствуетъ себя и бодрѣе, и сильнѣе...

Повѣсти, объединенныя подъ общимъ названіемъ: «Герой нашего времени», представляютъ большой «психологическій» интересъ, — ни въ одномъ русскомъ романѣ до Лермонтова не встрѣчали мы такого сознательнаго желанія разобраться въ душѣ человѣка, къ тому же еще «загадочнаго»...

Повѣсти Лермонтова любопытны еще въ томъ отношеніи, что въ нихъ сводится съ ходуль «романтическій герой». Еще недавно, въ повѣстяхъ Марлинскаго, такіе герои представлялись въ «апоѳеозѣ»,—Лермонтовъ же не пощадилъ въ Печоринѣ себя, свои недавнія «романтическія настроенія» и предло-

---

[1]) Когда молодежь философствуетъ о фатализмѣ, онъ пытается просто объяснять таинственную исторію Вулича замѣчаніемъ, что „азіатскіе курки часто осѣкаются, если дурно смазаны, или недовольно крѣпко прижмешь пальцемъ“. „Жалкіе люди!“—сказалъ Лермонтовъ, глядя на осетинъ. „Преглупый народъ“, замѣтилъ Максимъ Максимычъ. Первое восклицаніе свидѣтельствуетъ о возвышенномъ взглядѣ Печорина на понятіе „человѣкъ“. Слова-же Максима Максимыча свидѣтельствуютъ о самомъ безхитростномъ отношеніи его къ осетинамъ. Узнавъ, что „міровую тоску“ ввели въ моду англичане, наивный Максимъ Максимычъ объясняетъ причины этой тоски тѣмъ, что „англичане—отъявленные пьяницы“.

жилъ читателямъ уважать малозамѣтнаго, невиднаго Максима Максимыча, поставивъ его выше «интереснаго» Печорина.

Такимъ образомъ, выйдя изъ школы Марлинскаго, заинтересовавшись, подъ его непосредственнымъ вліяніемъ, жизнью и нравами кавказскихъ горцевъ и Кавказа [1]), Лермонтовъ отъ ихъ идеализаціи, отъ преклоненія передъ эффектными романтическими героями (*«Измаилъ-Бей»*, *«Хаджи-Абрекъ»*, *«Мцыри»*) въ послѣднемъ своемъ произведеніи обратился къ спокойному реалистическому изображенію ихъ, къ апоѳеозу Максима Максимыча... Все это свидѣтельствуетъ о томъ, что въ его творчествѣ съ годами произошелъ тотъ же переломъ отъ романтизма къ реализму, который наблюдали мы и въ литературной дѣятельности Пушкина и Гоголя.

Общая характеристика творчества Лермонтова.

Выводы, къ которымъ насъ приводитъ знакомство съ жизнью и творчествомъ Лермонтова, слѣдующіе:

1) Онъ—*писатель субъективный* по преимуществу: только въ „Пѣснѣ о купцѣ Калашниковѣ“ сумѣлъ онъ отвлечься отъ своей личности, да въ „Героѣ нашего времени“ объективировалъ себя въ образѣ героя.

2) Вслѣдствіе такого субъективизма, онъ всего полнѣе и сильнѣе выразилъ свою личность въ *лирикѣ*; онъ—*писатель лирическій* по преимуществу.

3) Подобно Жуковскому, онъ *остался вѣренъ своему міровоззрѣнію съ дѣтства до смерти;* это міровоззрѣніе смягчилось со временемъ нараставшей въ его сердцѣ любовью къ людямъ, но оно сохранило основной характеръ тоски; отсюда и нѣкоторое однообразіе въ содержаніи и настроеніяхъ Лермонтова, особенно въ первый періодъ его творчества. Во второмъ періодѣ мы встрѣчаемся съ бо́льшимъ разнообразіемъ его творчества.

4) Изъ русскихъ писателей школы „міровой тоски“ Лермонтовъ является *самымъ яркимъ и послѣдовательнымъ скорбникомъ*. Сложилось это настроеніе у него, какъ результатъ историческихъ обстоятельствъ русской жизни, какъ результатъ литературныхъ вліяній и какъ слѣдствіе его личной жизни.

5) Бѣлинскій, большой поклонникъ Лермонтова, утверждалъ, что поэзія его была „умнѣе“ поэзіи Пушкина; но она была не „умнѣе“, а только „тревожнѣе“. И въ то время, какъ это тревожное настроеніе было пережито Пушкинымъ значительно раньше и легче, „тревога“ захватила всю жизнь Лермонтова и выразилась въ энергичномъ протестѣ противъ той русской жизни, какою она сложилась въ его дни.

b) Поэты-народники.

„Народничество“ въ литературѣ XVIII—XIX в.

§ 28. При обозрѣніи русской литературы XVIII-го столѣтія было указано, что еще въ эпоху расцвѣта псевдоклассицизма начали въ русской литературѣ складываться симпатіи къ народному творчеству.

Въ XIX-мъ вѣкѣ, въ эпоху романтизма, «народничество» дѣлаетъ большіе шаги впередъ,—не только «форма» и содержаніе, но и *духъ* народнаго творчества интересуютъ теперь писателей. Этому помогло открытіе «Слова о полку Игоревѣ», изданіе «Сборника Кирши Данилова», историческое изученіе родного прошлаго, изысканія нашихъ первыхъ этнографовъ. Философія Гегеля и созданное ею «славянофильство» еще болѣе подняли интересъ къ народу, его быту

[1]) Ср. „Аммалатъ-бекъ“ Марлинскаго.

и творчеству, — правительство, съ его «офиціальною народностью», тоже помогло развитію этого интереса, взявъ подъ свое покровительство русскую исторію, этнографію и археологію...

Подъ перекрестнымъ вліяніемъ всѣхъ этихъ воздѣйствій увлеченіе народнымъ творчествомъ расцвѣло у насъ въ XIX ст. пышнымъ цвѣтомъ и захватило дѣятельность цѣлаго ряда писателей, выразившись и въ лирикѣ, и въ драмѣ, и въ романѣ. Наиболѣе видными дѣятелями въ этой группѣ русскихъ писателей были—Кольцовъ, Некрасовъ, Никитинъ и др. Отчасти къ этому направленію примкнулъ Лермонтовъ (въ «Пѣснѣ о купцѣ Калашниковѣ»), Майковъ, Алексѣй Толстой и др.

Изображеніе народной жизни особенно полно выразилось въ повѣстяхъ и романахъ Д. В. Григоровича, отчасти въ повѣстяхъ И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, а впослѣдствіи, въ 70-хъ годахъ, въ произведеніяхъ Успенскаго, Слѣпцова, Левитова, Рѣшетникова и мн. другихъ.

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ.

(1808—1842).

Біографія. Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ родился въ Воронежѣ въ 1808 г. Отецъ его былъ человѣкъ богатый, но невѣжественный и грубый. Занимаясь прасольствомъ (скупка и продажа скота), онъ хотѣлъ и сына заставить заниматься этимъ прибыльнымъ дѣломъ; къ образованію вообще и къ литературѣ въ частности относился старикъ совершенно отрицательно; будущему поэту онъ не далъ образованія, взявъ его изъ второго класса уѣзднаго училища. Съ дѣтскихъ лѣтъ А. В. Кольцовъ долженъ былъ помогать отцу; хотя торговля отрывала его отъ книгъ, но облегчила ему знакомство съ жизнью простого русскаго люда, съ русской природой и народной поэзіей.

Случайно попавшая въ его руки книга стихотвореній И. Дмитріева увлекла его, и онъ сталъ сочинять стихи; какой-то семинаристъ Серебрянскій одобрилъ его первые опыты, помогъ ему развить въ себѣ художественные вкусы и умственные интересы. Впослѣдствіи самоучка-поэтъ заинтересовалъ собой Станкевича и затѣмъ Бѣлинскаго; потомъ познакомился онъ съ Пушкинымъ и съ Жуковскимъ, и скоро сдѣлался замѣтной величиной среди русскихъ литераторовъ. Это общеніе съ лучшими людьми своего времени заставило его особенно больно почувствовать свою отсталость и зависимость отъ того невѣжественнаго семейнаго круга, въ которомъ протекли его дѣтство и юность. „Тѣсенъ мой кругъ, грязенъ мой міръ, горько жить мнѣ, и я не знаю, какъ я еще не потерялся въ немъ давно!“—писалъ онъ въ одномъ письмѣ. Душевный разладъ былъ причиной его моральныхъ страданій. Онъ скончался 34 лѣтъ отъ роду, въ 1842 году. Отецъ его былъ увѣренъ, что сына „сгубили книги“.

Творчество Кольцова, вышедшаго изъ нѣдръ народа, прежде всего сложилось подъ вліяніемъ народной поэзіи,—но, кромѣ того, оно отразило на себѣ сильныя вліянія Пушкина, Дельвига и другихъ современныхъ поэтовъ, сумѣвшихъ полюбить народную пѣсню и въ формы ея вложить общечеловѣческое содержаніе. Главная заслуга Кольцова и заключается въ томъ, что онъ, первый изъ всѣхъ русскихъ писателей, въ совершенствѣ овладѣлъ духомъ и формой народнаго творчества, и облагородилъ это творчество тѣмъ возвышеннымъ пониманіемъ жизни и искусства, которое развилъ въ себѣ подъ

вліяніемъ личнаго и литературнаго знакомства съ выдающимися русскими писателями и мыслителями.

Народный бытъ въ изображеніи Кольцова.

Знатокъ народнаго быта, онъ почти во всѣхъ произведеніяхъ рисуетъ жизнь русскаго простонародья, изображая ее съ разныхъ сторонъ,—свѣтлыхъ и темныхъ.

Вопреки Некрасову, который представляетъ русскій народъ исключительно страдающимъ (сказавъ: «гдѣ народъ, тамъ и стонъ»),—Кольцовъ отнесся къ жизни русскаго народа оптимистичнѣе, нарисовалъ эту жизнь шире и разнообразнѣе.

Во многихъ своихъ произведеніяхъ онъ представляетъ въ апоѳеозѣ трудъ крестьянина. «Трудъ» для него — святой подвигъ. «Богъ рождаетъ хлѣбъ»,—эта простонародная точка зрѣнія прочно усвоена Кольцовымъ, и потому, въ его глазахъ, работа крестьянина — та же молитва, служеніе Богу...

„Для народа страшная дума о *хлѣбѣ* неотдѣлима отъ еще болѣе страшной и великой думы о Богѣ“—говоритъ Мережковскій—

„Посмотрю пойду—
Полюбуюся,
Что́ послалъ Господь
За труды людямъ...
Выше пояса
Рожь зернистая...
Словно Божій гость,
На всѣ стороны
Дню веселому
Улыбается“.

„... Мы отдѣляемъ бездною вопросы о насущномъ хлѣбѣ отъ вопросовъ о Богѣ, о красотѣ, о смыслѣ жизни. Но народъ не можетъ, не смѣетъ говорить о хлѣбѣ, не говоря о Богѣ: у него есть вѣра, которая объединяетъ всѣ явленія природы, всѣ явленія жизни въ одно божественное и прекрасное цѣлое!.. Для него нѣтъ прозы, потому что нѣтъ, какъ у насъ, сытыхъ людей, говорящихъ о хлѣбѣ,—лжи и раздвоенности въ сердцѣ. Для него рожденіе хлѣба—благодатное и неисповѣдимое чудо!“ (Мережковскій).

„Выйдетъ въ полѣ травка,
Вырастетъ и колосъ!
Станетъ спѣть, рядиться
Въ золотыя ткани...
Съ тихою молитвой
Я вспашу, посѣю!
Уроди мнѣ, Боже,
Хлѣбъ—мое богатство!“.

Такой «гимнъ хлѣбу», и поэтизацію крестьянскаго труда, встрѣчаемъ мы въ «*Пѣснѣ пахаря*» (*Ист. хрест., т. II, вып. 5, стр. 5*), въ «*Урожаѣ*» *(Ист. хрест., стр. 5)* и во многихъ другихъ произведеніяхъ Кольцова.

Бодро и жизнерадостно настроеніе крестьянина, работающаго надъ землей: въ стихотвореніи: «*Косарь*» *(Ист. хрест., стр. 2)* полнѣе всего выразилъ Кольцовъ это чувство:

„Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!“... и дал.

Жизнь усерднаго работника, который легко и весело носитъ на плечахъ «тягу земную», полна и счастлива. Въ стихотвореніи: «*Крестьянская пирушка*» *(Ист. хрест., стр. 7)* Кольцовъ изобразилъ картину счастливаго отдыха людей, «святые труды» которыхъ получили благословеніе Божіе.

Преклоняясь передъ «трудомъ», Кольцовъ съ искреннимъ восхищеніемъ воспѣваетъ человѣка сильнаго, бодраго, который полагается не на судьбу, а на свои руки. Въ стихотвореніи: «*Косарь*» *(Ист. хрест., ч. II, вып. 5)*, изобразилъ онъ такого молодца, который не падаетъ духомъ,—трудомъ завоюетъ онъ свое счастье: накопитъ денегъ, безъ которыхъ не отдаютъ за него замужъ его Груню. Кольцову—по душѣ такіе герои, которые могутъ—

„... порой, предъ бѣдой
За себя постоять,
Подъ грозой роковой,
Назадъ шагу не дать;
И чтобъ съ горемъ въ пиру
Быть съ веселымъ лицомъ,
На погибель идти —
Пѣсни пѣть соловьемъ".

Но, кромѣ бодрыхъ и жизнерадостныхъ образовъ, въ лирикѣ Кольцова неразъ вырисовываются и пасмурные... Это—люди, угнетенные жизнью, неудачливой и безотрадной *(«Свѣтитъ солнышко», «Перепутье», «Вторая пѣсня Лихача-Кудрявича»—Ист. хрест., стр. 8)*. Чаще всего, по представленію народа, неудачи житейскія зависятъ отъ «судьбы». Это міровоззрѣніе принимаетъ и Кольцовъ:

„Не родись богатымъ,
А родись кудрявымъ —
По щучью велѣнію
Все тебѣ готово!".

Зато и отъ «злой судьбы» никуда не уйдешь!.. Изображая ее, Кольцовъ пользуется народнымъ представленіемъ о «Горѣ-злосчастьѣ»; неразъ разсказываетъ онъ, какъ «горе»—

„Ходитъ невидимкой,
Губитъ безъ разбора:
Отъ ея напасти
Не уйти на лыжахъ:
Въ чистомъ полѣ найдетъ,
Въ темномъ лѣсѣ сыщетъ;
Чуешь только сердцемъ...
Придетъ, сядетъ рядомъ,
Объ руку съ тобою
Пойдетъ и поѣдетъ".

На злую судьбу постоянно жалуются «безталанные горемыки» кольцовскихъ стихотвореній; одно средство борьбы съ «горькой долей»—терпѣніе.

„Не родись въ сорочкѣ,
Не родись талантливъ,
Родись терпѣливымъ
И на все готовымъ...".

Если съ восхищеніемъ относится Кольцовъ къ хорошему работнику, то съ грустью укоряетъ онъ нерадиваго *(«Что ты спишь, мужичокъ?»—Ист. хрест., стр. 7)*, который обезсилѣлъ въ борьбѣ съ трудомъ и опустился.

Но одинъ трудъ не создаетъ счастья жизни: въ цѣломъ рядѣ стихотвореній Кольцовъ указываетъ, что неполна жизнь того человѣка, который лишенъ любви. Много стихотвореній посвящено Кольцовымъ повѣствованіямъ о «любви» молодца и дѣвушки; но, обыкновенно, это чувство, какъ и въ народныхъ пѣсняхъ, представляется у него или разбитымъ, или его ищутъ, къ нему стремятся...

Въ стихотвореніи: «*Не шуми ты, рожь*» *(Ист. хрест., стр. 1)*— изображена грусть косаря, потерявшаго возлюбленную... Отъ злой тоски руки у него опускаются:

„Мнѣ не для чего Собирать добро;
Мнѣ не для чего Богатѣть теперь!“

— восклицаетъ молодецъ съ горечью.

Чувство одиночества выражено въ стихотвореніяхъ: «*Раздумье крестьянина*» *(Ист. хрест., стр. 6)*, «*Горькая доля*» *(стр. 9)*, «*Пѣсня*» («Въ непогоду вѣтеръ»), «*Пѣсня*» («Дуютъ вѣтры»). Иногда неполнота жизни зависитъ отъ несчастья семейной жизни *(«Пѣсня», «Не на радость», «Всякому свой таланъ», «Ахъ, зачѣмъ меня» (стр. 3)*, «*Безъ ума, безъ разума*» и др.),—отъ измѣны дорогого существа *(«Измѣна суженой»)*,—отъ разлуки *(«Говорилъ мнѣ другъ», «Кольцо»)*. Всѣ эти пѣсни Кольцова (особенно жалобы молодой женщины, выданной противъ воли замужъ, или не нашедшей счастья въ бракѣ, жалобы мужа на жену) очень близки, по настроенію и выраженію, къ пѣснямъ чисто-народнымъ, «бытовымъ».

Народъ въ своей лирикѣ отмѣтилъ, что несчастье простого человѣка происходитъ иногда отъ того, что онъ теряетъ цѣлостность своего міросозерцанія. Ярче всего этотъ душевный разладъ сказался въ разбойничьихъ пѣсняхъ. Кольцовъ откликнулся и на эти настроенія.

Душно молодцу въ тѣсныхъ рамкахъ будничной жизни,— простора проситъ его широкая душа, а силы и воли у него нѣтъ. Кольцовъ прекрасно изобразилъ это состояніе души. Такъ, въ стихотвореніи: «*Путь*»,—одинъ молодецъ жалуется:

„Путь широкій давно Предо мною лежитъ
Да нельзя мнѣ по немъ Ни летать, ни ходить“.

—потому, что нѣтъ «крѣпкой воли», нѣтъ силы—

„Чтобъ порой предъ бѣдой За себя постоять,
Подъ грозой роковой Назадъ шагу не дать“.

Эти «лермонтовскіе» мотивы «силы» и, въ то же время, «безсилія» въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Кольцова, подражающихъ пѣснямъ «удалымъ», разбойничьимъ, выражаются въ настроеніяхъ широкихъ и размашистыхъ *(«Удалецъ», «Первая пѣсня Лихача-Кудрявича» (стр. 8)*, «*Пѣсня*», «*Въ полѣ вѣтеръ вѣетъ*», «*Пѣсня разбойника» (стр. 3)*, «*Дума сокола*», «*Какъ здоровъ, да молодъ*», «*Тоска по волѣ*»).

Конечно, всѣ перечисленные мотивы поэзіи Кольцова свидѣтельствуютъ о ширинѣ и разнообразіи его личныхъ душевныхъ настроеній,—ему, очевидно, одинаково понятны и доступны были и спокой-

ныя настроенія работника-земледѣльца, и порывы удалого молодца. Но едва ли справедливо было бы всѣ «пѣсни» Кольцова признать исключительно «субъективными», раскрывающими только его душу: очевидно, приглядываясь къ русскому народу, прислушиваясь къ его пѣснѣ, Кольцовъ въ своихъ лирическихъ произведеніяхъ выражалъ самыя различныя настроенія, доступныя не только его собственной, но всякой русской душѣ. Современности Кольцовъ почти не касался въ своихъ стихотвореніяхъ,—только его знаменитый «*Лѣсъ*» *(Ист. хрест., стр. 4)*, посвященный смерти Пушкина, даетъ намъ понятіе о томъ, какой тяжелой казалась поэту жизнь его времени, когда не «большой горой, а соломинкой» можно было снять голову «съ богатырскихъ плечъ». Кольцовъ этими словами, очевидно, хотѣлъ выразить всю ничтожность, мелочность и пошлость того общества, которое погубило Пушкина.

„Думы“ Кольцова.

Въ «думахъ» своихъ Кольцовъ останавливается, по преимуществу, на высшихъ міровыхъ вопросахъ *(«Великая тайна», «Божій міръ», «Неразгаданная истина—Ист. хрест., стр. 9—10)*; увлеченіе идеалистической философіей Гегеля отразилось на этихъ произведеніяхъ *(«Царство мыслей», «Поэтъ»)*; стихотворенія эти, въ литературномъ отношеніи, гораздо слабѣе его «пѣсенъ». Любопытно, что неразъ въ этихъ «философскихъ» стихотвореніяхъ поэтъ изъ области мысли обращается къ религіозному чувству:

„Тяжелы мнѣ думы,
Сладостна молитва!“.

Впрочемъ, онъ не былъ отважнымъ мыслителемъ: онъ чувствовалъ безпомощность своей мысли и боялся «дерзкаго сомнѣнія».

Оттого молитва и обращеніе къ Творцу, въ его глазахъ, выше смѣлой свободной мысли:

„Спаситель, Спаситель!
Чиста моя вѣра,
Какъ пламя молитвы!“ *(стр. 9)*.

„Поэтъ“ и „толпа“ въ поэзіи Кольцова.

Въ стихотвореніи: «*Умолкшій поэтъ*»,—говоритъ онъ, вслѣдъ за Пушкинымъ и Лермонтовымъ, что «толпа» не можетъ понять «поэта»: поэтъ-пророкъ—

„Напрасно берегъ
Дары вдохновеній
Отъ горняго міра
Для жизни земной!
Напрасно онъ райской
И звучною пѣсней
Родимыя дебри,
Поля оглашалъ:
Пустыня молчала...

Толпа отступилась
Отъ взоровъ пророка!
Высокое чувство
И жаръ вдохновенья,
И творчества силу
Толпа не признала:
Смѣшны ей и радость,
И горе поэта“.

Какъ было выше указано, писатели гоголевской школы распадаются на двѣ группы: — 1) *писатели-обличители* [1]) и 2) *писатели-учители жизни*, — моралисты. Обѣ эти группы, главнымъ образомъ, стремятся разрѣшить тѣ задачи, что́ были поставлены Гоголемъ въ началѣ и въ концѣ его творчества.

Но всѣ эти ученики Гоголя въ то же время, въ разной мѣрѣ, являются и учениками Пушкина, — вотъ почему, при разсмотрѣніи ихъ произведеній, во многихъ случаяхъ придется отмѣчать, рядомъ съ гоголевскимъ вліяніемъ, наличность сильныхъ вліяній Пушкина. Иногда въ дѣятельности одного писателя найдутся замѣтные слѣды чисто-художественнаго, спокойно-объективнаго вліянія Пушкина рядомъ съ обличительными тенденціями въ гоголевскомъ духѣ. Особенно ясно это сказывается въ дѣятельности Тургенева и Гончарова.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

(1818—1881).

Біографія. § **29**. Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ родился въ 1818 г. въ г. Орлѣ. Дѣтство его протекло въ имѣніи Спасскомъ Орловской губерніи. Мать его была женщина властная и энергичная; властолюбіе и суровость ея очень больно чувствовались всѣми: и крѣпостными, и сыномъ, будущимъ писателемъ. Мрачныя впечатлѣнія отъ сценъ самодурства и жестокости матери тяжелымъ камнемъ легли на мягкую душу впечатлительнаго, от-

---

[1]) Къ писателямъ-„обличителямъ“ отнесены мною — Григоровичъ, Герценъ, Тургеневъ, Гончаровъ и Островскій.

Хронологія главнѣйшихъ произведеній писателей „гоголевской школы“ дастъ нѣкоторое понятіе объ органической близости ихъ творчества и о томъ вліяніи, которое оказывали они другъ на друга.

1845 г. „Физіологія Петербурга“, сборн. Некрасова; въ этомъ сборникѣ первая повѣсть Григоровича—„Шарманщики“.
1846 г. „Бѣдные люди“—Достоевскаго, „Деревня“—Григоровича, „Сорока-воровка“—Герцена.
1847 г. „Хоръ и Калинычъ“—Тургенева, „Обыкновенная исторія“—Гончарова, „Семейная картина“—Островскаго, „Кто виноватъ?“—Герцена, „Антонъ Горемыка“—Григоровича.
1849 г. „Сонъ Обломова“—Гончарова.
1850 г. „Свои люди сочтемся“—Островскаго.
1852 г. „Записки охотника“—Тургенева.
1856 г. „Рудинъ“—Тургенева, „Доходное мѣсто“—Островскаго, „Губернскіе очерки“—Щедрина.
1859 г. „Обломовъ“—Гончарова, „Дворянское Гнѣздо“—Тургенева.
1860 г. „Гроза“—Островскаго, „Наканунѣ“—Тургенева.
1861 г. „Записки изъ Мертваго дома“—Достоевскаго, „Униженные и Оскорбленные“—его-же.
1862 г. „Отцы и дѣти“—Тургенева.
1867 г. „Дымъ“—Тургенева, „Война и миръ“—Л. Толстого (I-ый т.).
1869 г. „Обрывъ“—Гончарова, „Война и миръ“ (конецъ)—Л. Толстого.
1871 г. „Бѣсы“—Достоевскаго.
1876 г. „Новь“—Тургенева.
1879—80 г.г. „Братья Карамазовы“—Достоевскаго.

зывчиваго ребенка. Съ дѣтскихъ лѣтъ сдѣлался онъ врагомъ „крѣпостничества“ и другомъ людей „страдающихъ“ [1]). Какъ въ большинствѣ тогдашнихъ дворянскихъ семей, такъ и у Тургеневыхъ, французскій языкъ былъ главнымъ предметомъ обученія,—все „русское“ было въ загонѣ.

Въ 1827 г., ради продолженія образованія сыновей, мать Тургенева перебралась въ Москву, и будущій писатель сперва былъ отданъ въ какой-то пан[illegible]онъ, потомъ въ Лазаревское училище (институтъ восточныхъ языковъ), наконецъ, въ 1833 г., пятнадцатилѣтнимъ юношей, поступилъ въ Московскій университетъ на словесное отдѣленіе. Только годъ пробылъ онъ въ стѣнахъ Московскаго университета, но и за годъ собралъ онъ много яркихъ впечатлѣній отъ той интенсивной университетской жизни, которою въ эти годы жилъ Московскій университетъ, съ его философскими и политическими студенческими кружками [2]).

Въ 1834 году Тургеневы перебрались въ Петербургъ, и университетское образованіе Ивана Сергѣевича было закончено уже здѣсь, въ 1837-мъ году.

Еще въ бытность студентомъ сталъ увлекаться Тургеневъ литературною дѣятельностью; со стороны матери эти вкусы и наклонности сына сочувствія не встрѣтили: она считала литературныя занятія недостойными дворянина и, по ея словамъ, не усматривала разницы между „писателемъ“ и „писаремъ“. Началъ свою дѣятельность Тургеневъ стихами въ романтическомъ духѣ.

По окончаніи Петербургскаго университета, Тургеневъ поѣхалъ заграницу, учиться въ Берлинскомъ университетѣ, гдѣ и занялся исторіей, классической филологіей и философіей. Здѣсь господствовала въ это время гегельянская философія, представленная учениками Гегеля. Въ берлинскомъ университетѣ Тургеневъ познакомился и сблизился съ извѣстными Станкевичемъ и Грановскимъ. Изъ пребыванія заграницей вынесъ онъ уваженіе къ европейской культурѣ, вѣру въ прогрессъ, въ могучую силу знанія. Въ это время, по его словамъ, онъ далъ „Аннибаловскую клятву“ бороться съ крѣпостнымъ правомъ. Сперва мечталъ онъ объ ученой дѣятельности,—„хотѣлъ сдѣлаться профессоромъ философіи въ Московскомъ университетѣ“, но отзывчивая, художественная натура увлекла его къ иной дѣятельности, болѣе живой... Прежде всего, попытался онъ облегчить участь своихъ крѣпостныхъ крестьянъ, изнемогавшихъ подъ гнетомъ власти его суровой матери,—но борьба кончилась его пораженіемъ: онъ даже былъ лишенъ денежной поддержки со стороны матери, долженъ былъ отъ нея уѣхать и поступилъ на службу ради жалованья.

Въ 1843-мъ году написалъ онъ поэму: „Параша“, которая была сочувственно встрѣчена Бѣлинскимъ. Знаменитый критикъ заинтересовался молодымъ „философомъ“; они сблизились, и Тургеневъ, какъ это видно изъ его воспоминаній о Бѣлинскомъ, въ это время испыталъ на себѣ всю силу обаянія его свѣтлой личности.

Первые разсказы Тургенева: „Параша“, „Разговоръ“, „Андрей Колосовъ“, „Бретеръ“, „Три портрета“, особенно, „Записки Охотника“, начавшія появляться въ свѣтъ отдѣльными разсказами съ 1847 года („Хорь и Калинычъ“), обратили на себя вниманіе русской читающей публики. Высокія художественныя достоинства „Записокъ“ (описаніе жизни русскаго простонародья и русской природы), гуманныя настроенія, ихъ проникающія,—все это возбудило интересъ русской интеллигенціи къ новому писателю и къ тѣмъ картинамъ жизни русскаго крѣпостного люда, которыя были обрисованы имъ съ такимъ сочувствіемъ и такъ художественно.

Разсказы эти Тургеневъ писалъ заграницей, въ Парижѣ, зарабатывая себѣ средства къ жизни литературнымъ трудомъ. Въ 1850-мъ году онъ вернулся на родину, получивъ извѣстіе о болѣзни матери. Ее застать въ жи-

---

[1]) Автобіографическое значеніе имѣютъ повѣсти: „Муму“ (старая барыня—мать), „Однодворецъ Овсянникова“ (дѣдъ и бабка писателя).

[2]) Въ романахъ: „Рудинъ“ (самъ герой и его товарищи), „Дворянское Гнѣздо“ (Михалевичъ), въ повѣсти: „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“ и въ нѣк. друг. изображены характерныя черты этой жизни и образы, ею созданные.

выхъ ему не удалось. Тургеневъ, вступивъ въ управленіе наслѣдствомъ, сейчасъ же позаботился объ улучшеніи быта своихъ крестьянъ: многихъ освободилъ,—другихъ перевелъ на оброкъ.

За некрологъ Гоголя, имъ въ это время написанный, Тургеневъ былъ сурово наказанъ: онъ былъ сосланъ въ свое орловское имѣніе. Жизнь въ деревнѣ сблизила его съ русской провинціей. Бытъ провинціальнаго дворянства изученъ былъ имъ въ это время основательно и много далъ матеріала для его дальнѣйшей литературной дѣятельности. Послѣднимъ произведеніемъ, въ которомъ говорилъ Тургеневъ о крѣпостничествѣ, была повѣсть: „Муму“ (1852 г.).

Расцвѣтъ литературнаго творчества Тургенева совпадаетъ съ пятидесятыми годами—любопытной переходной эпохой, когда новое время (60-ые годы) замѣтно вступало уже въ свои права, когда прояснились потребности новой эпохи, и, въ связи съ этимъ, складывались новые общественные типы; ихъ живописателемъ и сдѣлался Тургеневъ, умѣвшій чутко вслушиваться и всматриваться въ русскую дѣйствительность. Проясненіе ея основъ и оцѣнка сдѣлались навсегда содержаніемъ его романовъ: въ 1855-омъ году написалъ онъ своего „Рудина“, въ 1858-омъ—„Дворянское Гнѣздо“, въ 1859-омъ—„Наканунѣ“, въ 1861-омъ—„Отцы и Дѣти“. Позднѣе написаны были имъ романы: „Дымъ“ (1867 г.) и „Новь“ (1876 г.). Всѣ эти лучшія и самыя характерныя произведенія его пера даютъ намъ цѣлую галлерею яркихъ типовъ того времени. Большой мастеръ „уловлять моментъ“, Тургеневъ былъ чуткимъ судьей русской жизни въ эту переходную пору. Это ставило его въ близкое соприкосновеніе съ самой жизнью, и онъ неизбѣжно долженъ былъ столкнуться съ нею. Первое крупное столкновеніе его съ русской публикой произошло тогда, когда онъ напечаталъ свой романъ: „Отцы и Дѣти“. Человѣкъ „сороковыхъ годовъ“, при всей своей отзывчивости, доброжелательствѣ и сердечной мягкости, не могъ подчинить себя міросозерцанію шестидесятыхъ годовъ, не могъ сочувствовать крайностямъ этого міросозерцанія—и эта „отчужденность“ сказалась въ романѣ: „Отцы и Дѣти“... Нѣкоторые критики и читатели увидѣли въ этомъ произведеніи даже „памфлетъ“ противъ молодого поколѣнія и къ роману очень многіе прогрессивные люди стали относиться отрицательно... Такая „неудача“ сильно подѣйствовала на Тургенева, достаточно избалованнаго своей широкою популярностью,—и на первыхъ порахъ онъ задумалъ даже вовсе оставить литературное поприще, рѣшившись не выступать передъ публикой, которая его „не понимаетъ“. Объ этомъ рѣшеніи говоритъ онъ въ небольшомъ очеркѣ: „Довольно“, проникнутомъ мрачнымъ настроеніемъ.

Жизнь вдали отъ родины была ему тяжела; онъ постоянно жаловался на одиночество, на „холодъ старости“; съ русской публикой онъ разошелся, и теперь почти каждое его произведеніе встрѣчалось неодобрительными отзывами критики. Подъ конецъ онъ пересталъ скрывать свое раздраженіе: въ романѣ: „Дымъ“ онъ написалъ сатиру на людей той эпохи, которой онъ былъ чуждъ. Въ другихъ произведеніяхъ онъ выражаетъ или свои мистическія настроенія („Сонъ“, „Пѣснь торжествующей любви“, „Клара Миличъ“),—или свой интересъ къ вопросамъ только психологическимъ... Понятно, что „передовымъ“ людямъ 60-хъ годовъ, которые на литературу упорно хотѣли смотрѣть только, какъ на „прислужницу“ жизни, онъ казался писателемъ чужимъ, оторваннымъ отъ жизни, даже отсталымъ...

Но если „вожаки“ 60-ыхъ годовъ сурово отнеслись къ Тургеневу, то широкія массы общества по-прежнему уважали и любили его за тѣ свѣтлыя, гуманныя настроенія, которыми проникнуты были его первыя произведенія. Эта любовь русскихъ людей къ Тургеневу выразилась ярко въ 1880-омъ году, когда онъ, при открытіи памятника Пушкину, произнесъ свою блестящую рѣчь; сказалась и въ 1883-емъ году, когда тѣло его, умершаго заграницей, было привезено въ Петербургъ для погребенія на Волковомъ кладбищѣ: торжественно проводило русское общество того, кто такъ долго будилъ „добрыя чувства“ въ сердцахъ нѣсколькихъ поколѣній, въ трудную эпоху „переходнаго времени“.

А) Литературная дѣятельность Тургенева въ 40-хъ годахъ.

§ **30**. Главное историко-литературное значеніе «Записокъ Охотника» заключается въ томъ, что разсказы, вошедшіе въ составъ этого сборника, органически связаны съ той традиціей, которая сдѣлалась замѣтной въ русской литературѣ еще со временъ Карамзина [1]),—съ его знаменитаго «открытія», что «крестьяне чувствовать умѣютъ». Если своей «Бѣдной Лизой» самъ Карамзинъ не сумѣлъ, съ нашей современной точки зрѣнія, доказать этой мысли, то это впервые сдѣлать удалось Григоровичу и Тургеневу: глубоко заглянули они въ душу русскаго крестьянина и въ ней разсмотрѣли немало возвышенныхъ чувствъ, немало сложныхъ, разнообразныхъ міросозерцаній. **„Записки охотника“.**

Въ этомъ отношеніи, особенно большое значеніе имѣютъ «Записки охотника». Тургеневъ, опредѣлившій въ русскихъ культурныхъ людяхъ наличность тѣхъ общечеловѣческихъ чертъ, носителями которыхъ являются у Шекспира король Лиръ (у Тургенева: «Степной Лиръ»), Гамлетъ (у Тургенева: «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда»), у Сервантеса—Донъ-Кихотъ (у Тургенева: «Чертопхановъ»), такихъ же «общечеловѣческихъ» чертъ искалъ и въ русскомъ мужикѣ, на котораго большинство русскихъ людей въ это время крѣпостничества смотрѣло еще глазами Простаковой («бредитъ, бестія! какъ будто благородная!»).

Но, кромѣ такихъ психологическихъ интересовъ, въ «Запискахъ охотника» сказались и этнографическіе... Особенности крестьянскаго быта, своеобразность семейной жизни, взгляды крестьянина на природу и жизнь,—все это живо интересовало нашего наблюдательнаго писателя, и все это нашло себѣ полное и яркое выраженіе въ его «Запискахъ».

Гуманный художникъ крестьянскаго быта, Тургеневъ не могъ, конечно, миновать вопроса о крѣпостномъ правѣ,—и въ цѣломъ рядѣ очерковъ нарисовалъ онъ трагическія и комическія сцены, характеризующія современную ему жизнь крѣпостныхъ крестьянъ и помѣщиковъ и ихъ взаимныя отношенія. Наконецъ, немало мѣста въ своихъ очеркахъ отвелъ онъ и характеристикѣ русскихъ дворянъ-помѣщиковъ.

Уже изъ одной этой бѣглой характеристики содержанія «За-

---

[1]) Новиковъ, Радищевъ, Карамзинъ, Пушкинъ, Гоголь, народническое направленіе въ литературѣ, романтизмъ славянофильства, Бѣлинскій.

писокъ охотника» видно, что вопросъ о крѣпостномъ правѣ не занимаетъ въ нихъ перваго мѣста, не является въ нихъ «основнымъ». Такимъ образомъ, всѣ очерки, вошедшіе въ составъ этого сборника, были свободны отъ тенденціозности; въ нихъ жизнь русская не изображалась тенденціозно и подъ опредѣленнымъ угломъ,— она развертывалась широко и свободно... Вотъ почему реализмъ «Записокъ»—чисто-пушкинскій; вліяніе Гоголя сказалось только въ тургеневской манерѣ детально обрисовывать психическія стороны дѣйствующихъ лицъ, отчасти въ описаніяхъ природы.

§ **31**. Къ повѣстямъ, въ которыхъ изображаются глубины души русскаго простонародья, относятся слѣдующія: «*Хорь и Калинычъ*» *(Ист. хрест., т. III, вып. 1, стр. 1)*, «*Касьянъ съ Красивой Мечи*» *(Ист. хрест., стр. 7)*, «*Живыя Мощи*» *(Ист. хрест., стр. 25)*.

„Хорь и Калинычъ“. Въ первомъ изъ названныхъ произведеній Тургеневъ далъ психологическую параллель, изобразивъ въ двухъ простонародныхъ типахъ двѣ совершенно противоположныя натуры: въ Хорѣ представилъ онъ реалиста-практика, позитивиста по міровоззрѣнію, въ Калинычѣ—идеалиста-мечтателя, поэта въ душѣ. Хорь живетъ, по преимуществу, умомъ и волей,—Калинычъ—чувствомъ. Хорь и въ тяжелое время крѣпостного права умѣетъ устроить благополучно свое существованіе. Это ему удается потому, что онъ обладаетъ критическимъ и практическимъ умомъ, знаетъ жизнь, умѣетъ къ ней приспособляться. Мужикъ „себѣ на умѣ“ онъ „насквозь видитъ“ своего барина, не идеализируетъ людей; вооруженный недовѣріемъ къ нимъ, онъ въ обращеніи съ ними остороженъ, скрытенъ, расчетливъ и недовѣрчивъ. Устраивается онъ въ лѣсу, „подальше отъ господскаго двора“; онъ богатъ, но откупиться на волю не желаетъ, такъ какъ сознаетъ, что, лишившись защиты своего господина, будетъ зависѣть отъ всякаго чиновника.

Хорь трудолюбивъ, энергиченъ и домовитъ. Такова и многочисленная его семья, работающая весело и дружно. Самъ старикъ и сыновья его, „Хорьки“—образецъ зажиточной крестьянской семьи, для которой въ трудѣ—смыслъ всей жизни. Въ семейномъ отношеніи Хорь тоже любопытенъ: живя подъ одной кровлей съ женатыми сыновьями, онъ своей твердой рукой держитъ въ повиновеніи нѣсколько семействъ, установивъ въ домѣ строго-патріархальный укладъ жизни... Жизнь въ старомъ духѣ, „по Домострою“, жизнь „благочинная“, спокойная, съ подчиненіемъ младшихъ старшимъ,— жизнь сытая и домовитая, умѣренно-деспотическая, допускающая въ семейныхъ отношеніяхъ не только страхъ и уваженіе, но и любовь [1]) (отношенія его къ младшему сыну Ѳедѣ), — вотъ, что представлялъ собой тотъ укладъ жизни, который поддерживался Хоремъ въ его семьѣ. Но не только хорошее, свѣтлое заимствовалъ онъ отъ старины,—унаслѣдовалъ онъ оттуда и традиціонное презрѣніе къ женщинѣ, и взглядъ на нее, какъ на безгласную рабыню („баба—мужику слуга“), вѣру въ примѣты и наклонность къ суевѣріямъ...

Въ то же время онъ разумно-критически смотритъ на всякія „новшества“, не стоитъ слѣпо за старину: все полезное, даже въ новомъ и чужомъ, вызываетъ съ его стороны полное одобреніе. Тургеневъ разсказываетъ, какъ заинтересовался этотъ необразованный, но разумный человѣкъ его разсказами о государственной жизни западно-европейскихъ государствъ; какъ, примѣряя къ русской жизни разныя особенности политической жизни чуждыхъ странъ, онъ увѣренно одобрялъ одно, отвергалъ другое, говоря объ одномъ, что оно

[1]) Ср. жизнь въ домѣ купца Калашникова.

„пошло бы у насъ“, а о другомъ, что „у насъ не пошло бы“!.. Глядя на этого умнаго спокойнаго, увѣреннаго въ себѣ человѣка,—„министра“, какъ величалъ, въ шутку, Хоря его помѣщикъ, Тургеневъ невольно вспомнилъ, по его словамъ, Петра Великаго, который тоже умѣлъ разбираться въ чужомъ, умѣлъ брать, что нужно его родинѣ, такъ какъ „былъ, по преимуществу, русскій человѣкъ, русскій именно въ своихъ преобразованіяхъ“... Изъ этого сопоставленія очевидно, что образъ Хоря представлялся Тургеневу „содержательнымъ“ въ историческомъ смыслѣ.

Черты Хоря, расчетливаго практика, смягчаются нѣкоторою примѣсью добродушія, даже сентиментализма: оказывается, въ свободную отъ трудовъ минуту, онъ даже любитъ пѣть чувствительныя народныя пѣсни... Характерно также, съ какой трогательной сердечностью относится онъ къ своему любимцу-сыну Ѳедѣ и другу своему Калинычу.

Калинычъ — это совершенная противоположность Хорю; лишь нѣсколько духовныхъ чертъ роднятъ его съ Хоремъ. Мечтатель-идеалистъ, вѣрящій во всѣхъ людей, Калинычъ идетъ навстрѣчу ко всѣмъ съ открытымъ сердцемъ. Онъ — страстный любитель природы; онъ любитъ ее восторженной, мистической любовью и „чувствуетъ“ ея жизнь, умѣетъ вслушиваться въ ея „рѣчи“... Впрочемъ, Калинычъ не отошелъ еще совсѣмъ отъ природы... Хотя онъ умѣетъ уже наслаждаться ею, но его „эстетическія эмоціи“ еще не вполнѣ „свободны“: его „поэзія“ смѣшивалась еще съ „наукой“,—онъ былъ „знахаремъ“, зналъ лечебную силу разныхъ травъ, вѣрилъ въ силу заговора.

Въ житейскомъ отношеніи, Калинычъ представляетъ собою то, что называется: „человѣкъ не отъ міра сего“. Незлобивый, чистый, онъ совершенно непрактиченъ: его эксплоатируютъ всѣ; живетъ онъ, поэтому, впроголодь, какъ „птица небесная“; не заботится о будущемъ и житейской суеты чуждъ. Изъ разсказовъ Тургенева о заграничныхъ путешествіяхъ его занимаютъ только описанія природы,—и нисколько не интересуетъ суетливая западно-европейская жизнь.

Насколько глубоко-русскимъ является типъ Хоря, человѣка-„строителя“, созидателя русской жизни (Московская Русь, Россія при Петрѣ),—настолько, въ историческомъ отношеніи, вѣрно обрисованъ и Калинычъ: такихъ поэтовъ-мечтателей много было и въ древней Руси: тогда они уходили въ лѣса и пустыни, удалялись на лоно природы отъ шума и суеты городской жизни, паломничали въ Святую Землю; они складывали гимны въ честь „прекрасной матери“-„пустыни“.

„Касьянъ съ Красивой Мечи“.

Сродни Калинычу герой другой повѣсти: *„Касьянъ съ Красивой Мечи“ (стр. 17).* Онъ тоже совершенно чуждъ практической жизни, тоже живетъ особнякомъ, словно боясь людей, — боясь той „борьбы за существованіе“, къ которой такъ привыченъ Хорь. Касьянъ не борется,—онъ смиренно покоряется всему, что ни выпадетъ на его долю. Онъ даже не работаетъ, признавая свою полную неприспособленность къ жизни.

Съ точки зрѣнія людей практическихъ, онъ—или дармоѣдъ,—или, въ лучшемъ случаѣ, „божій человѣкъ“, „юродивый“ [1])... Еще ближе Калиныча стоитъ онъ къ природѣ: Калинычъ любуется природой, какъ „эстетъ“,—Касьянъ обоготворяетъ природу, какъ язычникъ-пантеистъ: онъ преклоняется передъ всякимъ проявленіемъ жизни природы, знаетъ лечебную силу растеній, знаетъ заговоры, умѣетъ „разговаривать“ съ птицами; пѣнье соловья волнуетъ его сердце „сладкой жалостью“... Живя только въ мірѣ возвышенныхъ, мистическихъ созерцаній, онъ любитъ бродить по лѣсамъ и лугамъ, любитъ оставаться одинъ, лицомъ къ лицу, передъ великой „матерью-природой“—сливаться съ ней въ одну общую жизнь...

Въ немъ характерно это міросозерцаніе: съ какою-то чисто-сектантскою страстностью проповѣдуетъ онъ „любовь и миръ“ въ жизни... Онъ боготворитъ все живущее и негодуетъ на охотника, который убиваетъ „ради по-

---

[1]) Ср. „Дурочку Дуню“ А. Майкова.

тѣхи“ птицу: „великій грѣхъ показать свѣту кровь, великій грѣхъ и страхъ... Охъ, великій!“ — говоритъ Тургеневу этотъ кроткій, незлобивый мужичокъ-юродивый, надѣленный великимъ даромъ знать и любить жизнь природы.

И онъ разсказываетъ затѣмъ Тургеневу о тѣхъ далекихъ краяхъ, „гдѣ за теплыми морями живетъ птица-Гамаюнъ сладкогласная“, гдѣ „яблоки растутъ золотыя, на серебряныхъ вѣткахъ, и живетъ всякъ человѣкъ въ довольствѣ и справедливости“. Эти слова открываютъ намъ цѣлый міръ тѣхъ мистическихъ грезъ, которыми жили русскіе люди древней Руси... Они мечтали о „земномъ раѣ“, царствѣ справедливости; они вѣрили, что существуетъ гдѣ-то на востокѣ счастливое царство пресвитера Іоанна; они зачитывались „Александріей“ и вѣрили, что есть на землѣ страна свѣта, добра и счастья... Въ народныхъ сказкахъ эта вѣра нашла себѣ выраженіе въ юмористическомъ опредѣленіи этой счастливой страны словами: „рѣки молочныя, берега кисельные“. Скитанія по лицу земли въ поискахъ „правды“ — явленіе тоже чисто-русское, исторіей засвидѣтельствованное, поддержанное беллетристикой (ср., напр., Печерскаго: „Въ лѣсахъ“). Такимъ образомъ, и въ лицѣ Касьяна, Тургеневъ изобразилъ чисто-русскій образъ.

„Живыя Мощи“.

Героиня повѣсти: „*Живыя Мощи*“ *(стр. 25)*, Лукерья — тоже образъ, знакомый намъ еще изъ жизни древней Руси. Веселая дѣвка, красавица - хохотунья, она вдругъ занемогла неисцѣлимою болѣзнью: лишилась ногъ, изсохла и обратилась въ „живыя мощи“. Но чѣмъ слабѣе дѣлалась ея плоть, тѣмъ сильнѣе выросталъ ея духъ. На себѣ Лукерья невольно явила то, къ чему настойчиво стремились аскеты древней Руси: убивая свою плоть, они очищали и высвѣтляли свой духъ и этимъ приближали его къ Богу. Какъ въ Калинычѣ, особенно въ Касьянѣ, такъ и въ Лукерьѣ, нѣтъ желанія вмѣшиваться въ суетливую человѣческую „борьбу за существованіе“. Она выработала въ себѣ силу терпѣнія, сумѣла побѣдить всякій эгоизмъ, и безкорыстной любовью ко всему, особенно къ Богу и природѣ, преисполнилась ея свѣтлая душа. Вся — страданіе, она умѣетъ сочувствовать страданію другихъ. Религіозная, она воспиталась на чтеніи житій святыхъ; оттуда почерпаетъ силы для перенесенія своей тяжелой доли; поэтому на Бога она не ропщетъ: „нѣтъ, что Бога гнѣвить?.. Многимъ хуже бываетъ“, — говоритъ она. Для себя она ничего не проситъ и у барина своего хлопочетъ только за другихъ. Никому она не завидуетъ. Въ ея душѣ нѣтъ и злобы, нѣтъ и грѣха: „отъ меня самъ грѣхъ отошелъ!“ — говоритъ она. И, очищенная страданьями, она далека душой отъ суетныхъ интересовъ земли и живетъ уже въ другомъ, лучшемъ мірѣ, — видитъ чудесные сны, бесѣдуетъ съ самимъ Богомъ... Древне - русскія житія полны такихъ чистыхъ и возвышенныхъ образовъ и такихъ видѣній [1]). Такимъ образомъ, Тургеневу, въ образѣ Касьяна и Лукерьи, какъ Некрасову въ его „Власѣ“, удалось изобразить живыя выраженія идеаловъ и поэтическихъ настроеній древней Руси, поскольку они выразились въ житіяхъ, апокрифахъ, легендахъ и духовныхъ стихахъ и сохранились въ русскомъ простонародьѣ до XIX ст.

Нельзя не отмѣтить также того, что къ природѣ относится Лукерья любовно,—не только понимаетъ ея красоту, но любитъ самую жизнь, любитъ цвѣты за ихъ благовоніе, жужжащихъ пчелъ за ихъ суетливую жизнь, голубя, „курочку-насѣдочку“, чадолюбивыхъ ласточекъ, крота, упорно работающаго подъ землей, зайца, забѣжавшаго къ ней въ сарай... Въ этой любви ко *всему* сказывается особая ширина ея души...

„Пѣвцы“.

§ **32**. Въ небольшой повѣсти: „*Пѣвцы*“ изобразилъ Тургеневъ, въ лицѣ Якова-Турка, человѣка, съ чуткой, поэтической душой,—одного изъ тѣхъ безымянныхъ народныхъ пѣвцовъ, которые создавали пѣсни, полныя высокой поэтической силы и воодушевленія. „Художникъ въ душѣ“ — такъ опредѣляетъ своего героя самъ авторъ— поетъ грустную, заунывную пѣснь, и вкладываетъ въ нее столько чувства

---

[1]) Ср., напр., „Житіе Юліаніи Лазаревской“.

и силы, столько искренности, что безъ труда одерживаетъ верхъ надъ своимъ соперникомъ по пѣнію, — какимъ-то мѣщаниномъ-рядчикомъ, который для состязанія выбралъ веселую, плясовую пѣсню. Слушателямъ обоихъ пѣвцовъ больше пришлась по душѣ пѣснь грустная: въ этомъ сказалась характерная черта русской народной поэзіи — наклонность къ печальнымъ настроеніямъ и мелодіямъ. По словамъ автора, въ пѣсни Якова была „и неподдѣльная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-безпечная грустная скорбь; русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала въ ней, и такъ и хватала васъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны". Въ этомъ образѣ Якова Тургеневъ опять нарисовалъ человѣка изъ народа, который „чувствовать умѣетъ",—чувствуетъ высокую красоту поэзіи, какъ Калинычъ и Касьянъ умѣютъ чувствовать красоту и жизнь природы, какъ Лукерья чувствуетъ своей очищенной душой духовный, потусторонній міръ...

Кромѣ такихъ характерныхъ отдѣльныхъ образовъ, выношенныхъ вѣковой исторической жизнью родины, Тургеневъ широкой кистью рисовалъ многія бытовыя черты современнаго ему крестьянства, останавливаясь на сторонахъ этой жизни, наиболѣе бросающихся въ глаза. Такъ, въ повѣсти: *„Бѣжинъ Лугъ" (стр. 10)* изобразилъ онъ невѣжество русской деревни, съ ея вѣрою въ примѣты, предчувствія, — словомъ, съ тѣмъ суевѣрнымъ мистицизмомъ, который граничитъ еще съ языческимъ представленіемъ жизни природы. Повѣствованія о домовомъ, лѣшемъ, водяномъ, о русалкахъ, объ оборотничествѣ, о таинственныхъ голосахъ и привидѣніяхъ,—повѣствованія, вложенныя въ уста крестьянскихъ дѣтей, разсказанныя ночью, у трепещущаго огнемъ костра, — полны своеобразной мистической прелести. Автору удалось вѣрно уловить настроенія ночной природы, въ которыхъ значительную роль всегда играетъ таинственное чувство страха. Это мистически-приподнятое настроеніе возбуждаетъ фантазію дѣтей и помогаетъ имъ съ особой силой творить соотвѣтствующіе образы.

„Бѣжинъ Лугъ".

Всѣ мальчики-разсказчики обрисованы, въ психологическомъ отношеніи, удивительно-тонко; въ ихъ дѣтскихъ лицахъ уже намѣчаются всѣ тѣ черты, которыя, со временемъ, разовьются и въ зрѣломъ возрастѣ рѣзко опредѣлятъ ихъ. Одинъ изъ мальчиковъ, Павлуша—самый зрѣлый въ умственномъ отношеніи; подобно Хорю, онъ—натура уравновѣшенная, человѣкъ ума, способный ко многому отнестись критически, съ лукавымъ здравомысліемъ... Въ немъ намѣчается уже мужикъ-работникъ, спокойно, безъ страха смотрящій въ жизнь. Этому спокойствію особенно способствуетъ тотъ „фатализмъ", который укрѣпляетъ его душу несокрушимою вѣрою въ то, что „отъ судьбы не уйдешь". Стремленіе всему найти естественную причину, и, въ то же время, отсутствіе страха передъ „судьбой"—характерная черта его трезваго ума. Въ лицѣ Ильюши изобразилъ Тургеневъ человѣка, рабски-покорившагося всѣмъ, самымъ нелѣпымъ, представленіямъ народнаго мистицизма: онъ знаетъ множество фантастическихъ повѣрій, вѣритъ въ сны, въ примѣты,—словомъ, являетъ собою яркій образецъ народнаго невѣжества, въ самой крайней его формѣ. Въ разсказахъ третьяго мальчика, Кости, эта вѣра въ фантастическіе образы принимаетъ опять нѣсколько иной характеръ, — онъ умѣетъ прочувствовать красоту всѣхъ этихъ народныхъ представленій, и потому является поэтомъ-мистикомъ.

Въ своей повѣсти Тургеневъ даетъ понять, сколько зла причиняетъ темному деревенскому люду его невѣжество, сколько жертвъ приноситъ непросвѣщенный человѣкъ своему дикому суевѣрію. Примѣты, предчувствія, таинственные, зовущіе голоса,—все это тяжелымъ гнетомъ лежитъ на темномъ человѣкѣ и дѣлаетъ жизнь его „несвободной"...

Чисто-психологическій интересъ имѣютъ очерки: *„Ермолай и Мельничиха", „Бирюкъ" (стр. 21)* и нѣк. др. Въ первомъ—изображенъ охотникъ, постоянный спутникъ Тургенева въ его охотничьихъ странствованіяхъ и товарищъ по приключеніямъ. Грубоватый и суровый, онъ подъ непривѣтной наружностью скрываетъ сердце, способное къ жалости. Находчивый и энергичный („Льговъ"), онъ, въ то же время, свои качества не прилагаетъ къ постоянному труду и предпочитаетъ беззаботную

„Ермолай и Мельничиха".

жизнь охотника, странствующаго по лѣсамъ ради развлеченія. Въ образѣ героя другой повѣсти: „*Бирюкъ*“ представленъ сумрачный образъ лѣсника, который живетъ вдали отъ людей въ лѣсу, одинъ со своей дочкой. Семейное горе (жена бросила его) наложило глубокую печать на его душу: онъ замкнулся въ себѣ, ушелъ отъ всѣхъ, живетъ какимъ-то „мизантропомъ“ и исполняетъ съ суровой, желѣзной честностью свой долгъ — оберегаетъ господскій лѣсъ отъ хищеній. И вотъ, Тургеневу пришлось сдѣлаться свидѣтелемъ того, какъ однажды поколебалась суровая душа Бирюка и, подъ вліяніемъ жалости къ несчастному бѣдняку-мужику, онъ „покривилъ душой“, — сошелъ на минуту съ прямого пути честнаго исполненія долга: захваченнаго имъ мужика, который срубилъ дерево, онъ отпускаетъ на свободу.

„Бирюкъ“.

Отмѣтивъ цѣлый рядъ высокихъ настроеній, порывовъ и чувствъ (христіанское смиреніе и терпѣніе, чувство любви къ людямъ, религіозность, чувство долга, эстетическую чуткость, простоту, отсутствіе рисовки) въ душѣ простого русскаго человѣка, Тургеневъ указалъ и на цѣлый рядъ отрицательныхъ явленій въ его жизни: невѣжество («Бѣжинъ Лугъ»), злоупотребленія «разныхъ кулаковъ» и «міроѣдовъ» («Бурмистръ»), развращенность дворни («Свиданіе»), суровое отношеніе къ русской женщинѣ и пр.

Повѣсти, посвященныя борьбѣ съ крѣпостнымъ правомъ.

§ **33**. Ярко обрисовалъ въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ Тургеневъ зло крѣпостничества. Въ однихъ разсказахъ изобразилъ онъ характерныя черты этой жизни съ трагической точки зрѣнія («Малиновая вода», «Одно-дворецъ Овсянниковъ», «Контора») — въ другихъ — съ комической («Льговъ»).

„Малиновая вода“.

Въ повѣсти: „*Малиновая вода*“ *(стр. 5)* разработана та же тема, что положена въ основу некрасовскихъ поэмъ: „Размышленія у парадняго крыльца“ и „Забытая деревня“. Мужикъ Власъ, подъ давленіемъ разныхъ напастей, на него обрушившихся (главнымъ образомъ, смерть взрослаго сына), обѣднѣлъ, — оказался не въ состояніи платить оброкъ и пѣшкомъ отправился изъ деревни въ Москву просить самого барина о „милости“, но „баринъ не только не пожелалъ войти въ его положеніе: онъ даже „осерчалъ“ за то, что мужикъ осмѣлился „безпокоить“ его помимо приказчика, и выгналъ Власа ни съ чѣмъ. Истомленный многодневной ходьбой, жарой и голодомъ, убитый горемъ мужикъ производилъ такое жалкое впечатлѣніе, что даже несчастный Степушка, безличное, забитое существо, безъ рода и племени, почувствовалъ приливъ состраданія къ Власу... „Да, ты бы... того...“,—подалъ Власу нескладный совѣтъ внезапно Степушка, смѣшался, замолчалъ и принялся копаться въ горшкѣ“. Въ этомъ „совѣтѣ“ сказалась, однако, необъятная сила сочувствія одного бѣдняка другому—и забитый, молчаливый „дурачокъ“ - Степушка выросъ въ эту минуту душевнаго подъема куда выше своего безсердечнаго „образованнаго“ барина.

„Однодворецъ Овсянниковъ“.

Въ повѣсти: „*Однодворецъ Овсянниковъ*“, въ уста Овсянникова вложено нѣсколько разсказовъ о нравахъ стараго времени. Особенно ярко обрисованъ дѣдушка Тургенева, самодуръ и деспотъ, силою отнимающій у сосѣдей землю, безпощадно наказывающій невинныхъ людей. Въ лицѣ другого помѣщика-кутилы изображенъ баринъ-гуляка, пьянствующій и кутящій со своей распущенной дворней; плети и здѣсь играютъ видную роль.

Въ повѣсти: „Контора“ изображенъ главный конторщикъ, который злоупотребляетъ довѣріемъ барыни и, подъ ея покровительствомъ, обдѣлы-

ваетъ свои „дѣлишки“. Въ разсказѣ: „Бурмистръ“ изображенъ бургомистръ, который полновластно расправляется съ мужиками, обираетъ ихъ и обогащается на ихъ счетъ.

„Льговъ“.

Въ повѣсти: *„Льговъ“ (стр. 8)*. разсказана трагикомическая судьба старика-двороваго, по прозвищу „Сучокъ“, который испыталъ на себѣ въ полной силѣ произволъ своихъ господъ. Они ему мѣняли не только имена, но и ломали ему жизнь: былъ онъ и кучеромъ, и поваромъ, и „кофишенкомъ“, и „ахтеромъ“, и казачкомъ, и „фалеторомъ“, и садовникомъ, и доѣзжачимъ, былъ и сапожникомъ и, наконецъ, доживалъ свои сѣрые дни рыболовомъ при прудѣ, въ которомъ не было рыбы. Послѣ такой житейской „передѣлки“ онъ сдѣлался существомъ совершенно обезличеннымъ, забитымъ чужой прихотью. Его наказывали за то, что сбѣжалъ его братъ; онъ остался холостымъ, потому что барыня, сама „старая дѣвка“, никому не позволяла жениться; его драли, его оскорбляли, унижали—и, въ концѣ концовъ, онъ, безропотный и безотвѣтный, благодаритъ Бога за то, что подъ старость имѣетъ даровое пропитаніе: „харчи выдаются—и то, слава Тебѣ, Господи, много доволенъ. Продли, Господи, вѣка нашей госпожѣ!“— говоритъ этотъ одинокій, забитый старикъ.

Менѣе мѣста отведено въ „Записках“ помѣщикамъ. На обрисовкѣ ихъ Тургеневъ не останавливается особенно долго, хотя все-таки даетъ нѣсколько живыхъ типовъ: передъ нами мелькаетъ то слабохарактерный Каратаевъ, съ его мягкимъ сердцемъ, то добродушная и сердечная Татьяна Борисовна, то честный сумасбродъ - Чертопхановъ, россійскій Донъ-Кихотъ, то либералъ-Пѣночкинъ, отправляющій на конюшню пороть своего лакея за недогрѣтую рюмку вина... Все это лица живыя, нарисованныя разносторонне и правдиво. Въ разсказѣ: „Однодворецъ Овсянниковъ“ передъ нами цѣлая галлерея барскихъ портретовъ, старинныхъ и современныхъ Тургеневу.

Художественное значеніе „Записокъ“.

Велико художественное значеніе «Записокъ»: въ повѣстяхъ этого сборника есть много прекрасныхъ описаній «безпорывной» природы средней части Россіи,— той природы, красота которой *впервые* оцѣнена была у насъ Пушкинымъ. Кромѣ того, обрисовался здѣсь длинный рядъ типовъ, характерныхъ, чисто-народныхъ, выношенныхъ русской жизнью, и, въ то же время, нерѣдко отмѣченныхъ чертами «общечеловѣческими». Въ описаніяхъ природы Тургеневъ сумѣлъ опредѣлить самыя разнородныя настроенія,—оттого содержанію разсказа, обыкновенно, у него отвѣчаетъ и характеръ того пейзажа, на фонѣ котораго представлена та, или другая, сцена изъ жизни человѣческой.

Общественное значеніе „Записокъ“.

Общественное значеніе «Записокъ» не менѣе велико, чѣмъ художественное,—въ этихъ живыхъ, правдивыхъ очеркахъ жизни русскаго простонародья, угнетеннаго крѣпостнымъ правомъ, современники увидѣли краснорѣчивый призывъ къ освобожденію крестьянъ. Говорятъ, императоръ Александръ II самъ сказалъ Тургеневу, что, прочитавъ его «Записки», онъ окончательно рѣшилъ освободить крестьянъ. Спокойная художественность, лишившая «Записки» Тургенева всякой публицистической страстности и задора, только усилила впеча-

тлѣніе, — глубокой, грустной правдой предстала передъ современниками жизнь русская въ этомъ замѣчательномъ произведеніи.

„Пушкинское“ и „Гоголевское“ въ „Записках“.

«Записки» одинаково относятся къ пушкинской и гоголевской школамъ. Интересъ къ русской природѣ и русской жизни, способность широко и свободно рисовать жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ сближаютъ эти произведенія съ пушкинскими. Но, въ то же время, «Записки» сильно напоминаютъ и «Мертвыя души», и «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки», и «Миргородъ». Только у Тургенева оказалось больше сознательности въ оцѣнкѣ русской жизни, чѣмъ у Гоголя, который совершенно просмотрѣлъ «крѣпостничество».

„Муму“.

§ **34**. Ужасы жизни крѣпостныхъ изображены и въ разсказѣ: «*Муму*» *(стр. 31)*, не вошедшемъ въ «Записки», но по духу близкомъ къ повѣстямъ этого сборника. Въ этомъ разсказѣ живо очерчены два главныхъ дѣйствующихъ лица: старая барыня и глухонѣмой дворникъ Герасимъ. Кромѣ нихъ, представлено нѣсколько другихъ лицъ, тоже типичныхъ, хотя и менѣе яркихъ.

Старая барыня изображена безсердечной самодуркой, отъ которой отвернулись даже ея собственныя дѣти; она доживала свои послѣдніе дни, озлобленная, капризная, окруженная сворой приживалокъ и толпою дворовыхъ. Ложь и глухая ненависть, прикрытыя угодливостью и низкопоклонствомъ, царятъ въ этомъ домѣ. Все здѣсь дрожитъ изъ боязни не угодить сварливой старухѣ; люди не смѣютъ даже спать по ночамъ, когда не спится барынѣ.

Въ домъ къ этой барынѣ былъ изъ ея деревни привезенъ на должность дворника глухонѣмой Герасимъ. Этотъ здоровый, степенный и серьезный мужикъ созданъ былъ для сельской работы и въ деревнѣ трудился съ наслажденіемъ и радостью. Прихоть барыни вырвала его изъ простора полей и лѣсовъ, — и онъ очутился въ душномъ городѣ. Онъ томился здѣсь и скучалъ, но дѣло свое исполнялъ добросовѣстно и честно. Дворня боялась его и уважала. Влюбился онъ, было, въ прачку Татьяну, но барынѣ заблагоразсудилось выдать ее замужъ за пьяницу-Капитона, „для его исправленія“. Сердце Герасима было разбито, но онъ покорился своей участи. Нашелъ онъ себѣ утѣшеніе въ собачкѣ „Муму“, которую самъ выростилъ и выкормилъ. Но собачка досадила старой барынѣ тѣмъ, что не только не подошла къ ней, когда та ее позвала, но даже оскалила зубы и заворчала. Герасиму пришлось топить своего единственнаго друга. Послѣ этой второй потери Герасимъ бросилъ самовольно городской домъ своей барыни и ушелъ въ деревню.

Героиней повѣсти выставлена прачка Таня, тихая, безотвѣтная дѣвушка, которая унизительнымъ гнетомъ крѣпостничества доведена до того, что не имѣетъ собственной воли. Когда ей говорятъ, что барыня выдаетъ ее замужъ за пьяницу-Капитона, она подчиняется барскому рѣшенію безропотно, безъ попытки спорить, или сопротивляться...

Просто и безхитростно разсказана эта трогательная повѣсть, но тѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ она на читателя. Полезный и честный работникъ Герасимъ, съ его богатырской силой, оказывается безпомощнымъ передъ капризомъ старой, всѣмъ ненавистной старухи, выжившей изъ ума. Богомъ обиженный, этотъ

богатырь долженъ безропотно сносить и людскія обиды. Въ этой безпомощности крѣпостныхъ и безотвѣтственности господъ и заключался главный трагизмъ крѣпостничества. И, конечно, нельзя было сильнѣе подчеркнуть безобразіе этого строя жизни, какъ изобразить въ роли обиженныхъ крѣпостныхъ — людей несчастныхъ, въ родѣ Власа («Малиновая вода»), безсильныхъ (отецъ Овсянникова), безотвѣтныхъ (Сучокъ, Герасимъ и Таня).

Европеизмъ Тургенева.

§ **35**. Человѣкъ европейски-образованный, Тургеневъ внесъ въ русское самосознаніе широкую струю европеизма и культурности. Онъ и къ русской жизни присматривался съ точки зрѣнія высшихъ идеаловъ европейской цивилизаціи,—мѣрилъ русскихъ людей мѣркой общечеловѣческихъ идеаловъ. Вотъ почему онъ, почитатель Шекспира, сумѣлъ въ сердцахъ русскихъ людей отыскать черты шекспировскихъ героевъ. Знатокъ западно-европейской литературы, онъ и въ ней умѣлъ разбираться самостоятельно и оригинально.

„Гамлетъ и Донъ-Кихотъ“.

Въ одномъ разсужденіи своемъ: „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ“ онъ даетъ такое оригинальное толкованіе этихъ типовъ, что съ его характеристикой считаются до сихъ поръ даже западно-европейскіе критики. Въ этихъ двухъ образахъ видитъ онъ воплощеніе „двухъ коренныхъ противоположныхъ особенностей человѣческой природы, — оба конца оси, на которой она вертится“.

Одни люди упорно вѣрятъ въ свой идеалъ, не разсуждая, не сомнѣваясь въ его истинности,— другіе, наоборотъ, провѣряютъ его, сомнѣваются, колеблются... Первые приближаются къ своему прообразу — Донъ-Кихоту, вторые — къ Гамлету.

Донъ-Кихота Тургеневъ представляетъ человѣкомъ безусловной вѣры, не допускающей сомнѣній; предназначивъ себя на служеніе человѣчеству, онъ уже не можетъ жить для себя.

Полную противоположность Донъ-Кихоту представляетъ собою Гамлетъ: это — человѣкъ, у котораго „анализъ прежде всего, и эгоизмъ, а потому безвѣріе“. Онъ живетъ „для себя“; онъ — скептикъ и вѣчно возится и носится съ самимъ собою.

§ **36**. Много такого «гамлетизма» отыскалъ Тургеневъ въ сердцахъ русскихъ людей; особенно, въ этомъ отношеніи, любопытны герои его двухъ повѣстей: «*Гамлетъ Щигровскаго уѣзда*» и «*Дневникъ лишняго человѣка*».

„Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“.

Оба героя представляютъ собой русскія разновидности типа „Гамлета“. Василій Васильевичъ, герой первой повѣсти, — мелкій человѣкъ, отравленный скептицизмомъ и эгоизмомъ. Въ семейной жизни онъ не нашелъ счастья; къ общественной работѣ онъ оказался неприспособленнымъ; въ „рядовые“ работники идти ему не хочется, а для роли „вожака“ онъ слишкомъ бездаренъ и неоригиналенъ. Между тѣмъ, образованіе онъ получилъ хорошее,—въ Московскомъ университетѣ; въ годы юности онъ увлекался гегеліанствомъ, посѣщалъ кружки самообразованія, ѣздилъ даже заграницу продолжать свое ученіе... Но, когда пришлось ему примѣнять къ жизни свои знанія, онъ сразу увидѣлъ свою неспособность и безсиліе. И не хватило у него мужества начать жизнь сызнова, и сталъ онъ доживать свои без-

полезные дни „лишнимъ“ человѣкомъ, разочарованнымъ, на все озлобившимся...

„Дневникъ лишняго человѣка“.

Сродни этому „Гамлету Щигровскаго уѣзда“ Чулкатуринъ, герой повѣсти: „Дневникъ лишняго человѣка“. У него нѣтъ самомнѣнія Василія Васильевича, — онъ робокъ отъ природы, и одна сердечная неудача выбиваетъ его окончательно изъ колеи и дѣлаетъ „лишнимъ человѣкомъ“. Одного разочарованія хватило, чтобы „скосить навсегда его жизненную энергію“.

Произошло это, конечно, потому, что этой энергіи у него былъ слишкомъ малый запасъ. Онъ такъ же отравленъ рефлексіей, такъ же болѣзненно любитъ заниматься самоанализомъ. Не лишенъ онъ ума, и сердце у него мягче, чѣмъ у героя повѣсти: „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“, и къ людямъ онъ относится съ любовью, безъ зависти и злобы, — только въ себя онъ не вѣритъ: мнительный, застѣнчивый, неувѣренный, онъ вѣчно колеблется, сомнѣвается и, быть можетъ, потому терпитъ постоянныя неудачи. Сознаніе своей ненужности отравляетъ ему жизнь, парализуетъ его усилія...

„Лишніе люди“ въ русской жизни и литературѣ.

Такихъ «лишнихъ людей» много было въ русской жизни первой половины XIX столѣтія; первые предтечи ихъ—Онѣгинъ и Печоринъ, люди сильные и способные, но, при тогдашнихъ условіяхъ русской жизни, не знавшіе, куда приложить свои таланты. Позднѣе, къ 40-мъ годамъ условія общественной жизни сдѣлались еще стѣснительнѣе, и «лишнихъ людей» появилось у насъ тогда еще больше. Всѣ они—люди «слова», а не «дѣла»—это ихъ главная, характерная черта. Тургеневъ хорошо ихъ понялъ и представилъ ихъ разновидности въ длинномъ рядѣ героевъ повѣстей: «Яковъ Пасынковъ», «Затишье», «Переписка», «Фаустъ», «Рудинъ», «Ася», «Дворянское Гнѣздо».

„Рудинъ“.

§ **37.** Полнѣе всего образъ этотъ выразился въ главномъ дѣйствующемъ лицѣ романа: «*Рудинъ*» *(Ист. хрест., стр. 41).*

Основное значеніе этого произведенія заключается въ томъ, что, въ лицѣ Рудина, Тургеневу удалось выразить общественно-психологическій типъ, важный для пониманія людей переходнаго времени отъ 40-хъ къ 60-мъ годамъ. Онъ—человѣкъ «междувременья»,—того момента, когда въ русскомъ обществѣ отвлеченный идеализмъ сталъ искать себѣ практическаго примѣненія въ жизни. Первые піонеры этихъ попытокъ воплотить «идею» въ живое дѣло метались, и, конечно, ошибались... Пусть для самого автора его Рудинъ остался «загадочной натурой»—такими «загадками», какъ этотъ герой, изобиловала тогдашняя русская жизнь. И въ самомъ безпристрастіи Тургенева, который собралъ всѣ факты «за» и «противъ» своего Рудина, опять-таки сказалась объективность художника, которая одинаково удержала его и отъ сатиры, и отъ апоѳеоза.

Рудинъ близокъ по духу къ другимъ „лишнимъ“ людямъ, отмѣченнымъ русской литературой: въ немъ такъ же сильно преобладаетъ отвлеченное мышленіе надъ яснымъ практическимъ пониманіемъ жизни, — онъ въ

такой же мѣрѣ живетъ философскими и эстетическими интересами, и даже политическія его убѣжденія страдаютъ отвлеченностью.

За время своей жизни онъ не заставилъ себя всмотрѣться въ дѣйствительную жизнь, въ ея нужды и потребности. Оттого, когда онъ попробовалъ приложить свои силы и способности къ труду, то оказался фантазеромъ, смѣшнымъ и жалкимъ [1])...

Оттого всякій разъ, когда онъ пытается сойти съ высотъ своего отвлеченнаго идеализма на почву русской жизни, онъ дѣлаетъ ошибки... Онъ самъ признаетъ свою неприспособленность къ дѣйствительной работѣ,— признаетъ свою ненужность для родины... Человѣкъ умный, онъ прекрасно видитъ, что между его „словомъ“ и „дѣломъ“—пропасть, — что воля его слаба, что онъ—человѣкъ „лишній“... И въ эти минуты, когда падаетъ его вѣра, онъ ничѣмъ не отличается отъ „Гамлета Щигровскаго уѣзда“, отъ Чулкатурина...

Но даже это сознаніе не можетъ заставить его взяться за дѣло: живя исключительно *разумомъ*, рефлексіей, онъ бѣденъ *чувствомъ;* по словамъ Тургенева, Рудинъ — человѣкъ „безстрастный“, кромѣ того, онъ—„неоконченное существо“. Эта „неоконченность“ выражается у него, главнымъ образомъ, въ недостаткѣ воли: когда ему приходится на что-нибудь рѣшаться (исторія съ Наташей), онъ теряется самымъ жалкимъ образомъ. Онъ болѣе *разсуждаетъ о жизни*, чѣмъ живетъ, и это иногда онъ самъ сознаетъ очень отчетливо.

Тургеневъ подробно разсказалъ исторію умственнаго развитія своего героя. Рудинъ былъ единственный сынъ: мать его обожала и, не щадя своихъ маленькихъ средствъ, все дѣлала, чтобы ея „божокъ“ вышелъ въ люди... Онъ и выросъ, избалованный ея преклоненіемъ,—выросъ съ большимъ самомнѣніемъ и съ чрезмѣрными требованіями, сдѣлался эгоистомъ, и привыкъ думать, что всѣ должны жить для него... Способный юноша, онъ сразу выдвинулся среди товарищей по университету; его наклонность къ отвлеченному мышленію помогла ему увлечься, модной тогда, нѣмецкой философіей; кружковая жизнь тогдашнихъ студентовъ пришлась ему по душѣ. Краснорѣчивый ораторъ, онъ въ этихъ товарищескихъ кружкахъ занялъ видное мѣсто. Паѳосомъ прикрывая недостатокъ чувства, Рудинъ, какъ хорошій артистъ, легко „входилъ въ роль“ и увлекался самъ своими патетическими рѣчами, своими красивыми фразами... Во главѣ ихъ кружка стоялъ нѣкто Покорскій, человѣкъ другого склада,—не такой блестящій, какъ Рудинъ, но зато болѣе душевный и сердечный; этими чертами объясняется то обаяніе, которое производилъ его образъ на юныхъ товарищей [2]). Онъ ближе Рудина стоялъ къ жизни, къ дѣйствительности... Покорскій и его друзья вдохновили Рудина, украсили его міровоззрѣніе высокимъ, свѣтлымъ идеализмомъ.

§ **38.** Рудинъ—не самостоятельный мыслитель: онъ—ораторъ-импровизаторъ, который служитъ толпѣ и имѣетъ значеніе только тогда, когда у него имѣются слушатели. Говорилъ онъ красиво, увлекательно, былъ большимъ художникомъ слова и потому вносилъ даже въ самыя отвлеченныя раз-

---

[1]) „Несчастіе Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, — и это, точно, большое несчастіе. Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись!.. Горе тому, кто это думаетъ, двойное горе тому, кто, дѣйствительно, безъ нея обходится!.. Космополитизмъ — чепуха, хуже нуля!.. Внѣ народности — ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ!.. Да, опять-таки, скажу, это не вина Рудина,— это его судьба, судьба горькая и тяжелая, за которую мы винить его не можемъ“ (Слова Лежнева о Рудинѣ).

[2]) Даже уравновѣшенный, положительный Лежневъ въ свое время переживалъ такія же высокія минуты воодушевленія, когда онъ, въ кружкѣ Покорскаго, слушалъ споры своихъ юныхъ друзей „о Богѣ, о правдѣ, о будущности человѣчества, о поэзіи“...

сужденія много поэзіи... Впрочемъ, это, по указанію автора, мѣшало иногда точности и ясности его мысли.

Наклонность Рудина къ отвлеченному мышленію сказалась и на содержаніи его рѣчей: онъ „не могъ говорить о конкретныхъ явленіяхъ жизни, не могъ долго останавливать своего вниманія на фактахъ дѣйствительности и хорошо себя чувствовалъ только въ отвлеченностяхъ. Говорилъ онъ съ жаромъ о вѣрѣ, о наукѣ, о призваніи человѣка, о будущемъ человѣчества, о возвышенныхъ чувствахъ и настроеніяхъ... Всѣ мысли его казались обращенными въ будущее: это придавало имъ что-то стремительное и молодое“...

Настоящее, „дѣйствительное“, „реальное“ ускользало отъ его взоровъ. Оттого твердой почвы подъ ногами онъ не нашелъ, и „слово“ его никогда не могло воплотиться въ „дѣло“... Съ дѣтства онъ жилъ на чужой счетъ, и потому онъ никогда не зналъ „труда“, не былъ пріученъ къ сознанію необходимости зарабатывать хлѣбъ. Избалованный матерью и товарищами, онъ развилъ въ себѣ преувеличенное мнѣніе о своемъ умѣ и талантахъ... Отсюда тотъ покровительственный, снисходительный тонъ, которымъ онъ привыкъ разговаривать со всѣми... Въ бѣдномъ, поношенномъ платьѣ онъ чувствовалъ себя „какимъ-то путешествующимъ принцемъ“... Такой исключительный интересъ къ самому себѣ—тоже одна изъ причинъ непригодности его къ практической жизни: до старости онъ все ораторствуетъ и слушаетъ себя и все только „собирается жить“: сочиняетъ различные планы, пишетъ „первыя страницы“ предполагаемыхъ статей и сочиненій. Порою онъ готовъ самъ признаться, что, въ теченіе всей жизни, „растрачивалъ свои силы на одну пустую, безполезную болтовню, на одни слова“...

Человѣкъ переходнаго времени, онъ, дѣйствительно, „перекати-поле“, и выполнилъ лишь то, что могъ выполнить: на зарѣ новой жизни онъ *говорилъ хорошія слова* — „сѣялъ доброе сѣмя“, которое въ сердцахъ слѣдующаго поколѣнія и принесло хорошіе плоды. „Доброе слово—то же дѣло“,— и въ этомъ вдохновенномъ словѣ—все значеніе Рудиныхъ и передовыхъ людей *40-хъ годовъ*.

Самъ Тургеневъ, повидимому, подъ конецъ романа, пришелъ къ такому оправданію Рудина, хотя началъ съ его обличенія.

Лежневъ. Другія дѣйствующія лица романа оттѣняютъ и поясняютъ Рудина. Лежневъ—„средній человѣкъ“, уравновѣшенная натура, надѣленная той способностью „приспособляться“, которой нѣтъ у Рудина. Въ юные годы и Лежневъ увлекался философіей, и онъ былъ мечтателемъ, и онъ, въ обществѣ Покорскаго и Рудина, чувствовалъ себя „прекрасно“. Потомъ трезвый, спокойный умъ показалъ ему „непрактичность“ умозрительной философіи, неприложимость отвлеченныхъ идеаловъ къ русской жизни, и онъ, послѣ нѣсколькихъ ошибокъ, легко отрезвился и увѣренными ногами сталъ на землю: сумѣлъ устроить себѣ прочное и сытое существованіе, во-время свилъ гнѣздо и зажилъ „полезнымъ гражданиномъ“, „довольный собой, своимъ обѣдомъ и женой“... Въ уста этого трезваго человѣка вложилъ Тургеневъ и строгую характеристику Рудина, и восхваленіе его...

Въ лицѣ Пигасова вывелъ Тургеневъ полную противоположность Рудину. Въ этомъ эпизодическомъ лицѣ представленъ скептикъ и человѣконенавистникъ, который, однако, умѣетъ устраивать свои „дѣлишки“. Эгоистъ, злобный и мелочный, онъ—врагъ не только пышныхъ рудинскихъ фразъ, но и самой сущности идеализма. Въ уста Рудина вложилъ Тургеневъ энергичное осужденіе такого безмѣрнаго критицизма.

Въ лицѣ Басистова и Наташи изобразилъ Тургеневъ такихъ людей, сердца которыхъ — благодатная почва для „добраго сѣмени“... Ихъ довѣрчивость, честность и легкая возбуждаемость окрыляли вдохновеніе Рудина; въ обществѣ такихъ людей онъ всегда произносилъ наиболѣе блестящія свои „импровизаціи“... Оттого эти молодые люди, вѣроятно, больше другихъ и вынесли пользы изъ общенія съ нимъ. Басистову говорилъ Рудинъ о необходимости служить человѣчеству, о святомъ призваніи учителя и пр... Наташу, должно быть, онъ тоже призывалъ къ „служенію“ людямъ; указывалъ, что ей стыдно оставаться „кисейной барышней“...

Наташа.

Наташа, подобно Татьянѣ Лариной, до встрѣчи съ Рудинымъ, вела уединенную жизнь, замкнувшись въ себѣ, питая свой духъ книгами. Она давно чувствовала недовольство той показной „культурной“ жизнью, которою жила ея мать... Наташа давно стала мечтать о жизни болѣе содержательной, богатой впечатлѣніями, серьезными порывами и чувствами... И, увлеченная вдохновенными рѣчами Рудина, она уже готова была оставить семью и начать „новую жизнь“ на пользу человѣчества, рука объ руку съ любимымъ человѣкомъ. Но въ самый рѣшительный моментъ тотъ отступилъ, оробѣлъ... И мечты Наташи поблекли, а съ утратой вѣры въ человѣка померкла и ея вѣра въ самое „дѣло“ [1]).

„Дворянское гнѣздо“.

§ **39.** Центральное мѣсто занимаетъ женскій образъ и въ романѣ: «*Дворянское гнѣздо*» (*Ист. хрест., т. III, вып. 1, стр. 79*). Въ художественномъ отношеніи, это произведеніе стоитъ выше романа «Рудинъ», такъ какъ отличается стройностью композиціи, большою тонкостью и вѣрностью психологическаго анализа. Пріемы характеристики здѣсь болѣе удачны, — образъ героини, Лизы Калитиной, выясняется въ сознаніи читателя изъ ея рѣчей и поступковъ и не подсказывается въ такой мѣрѣ, какъ въ «Рудинѣ», чужими отзывами и поясненіями самого автора. Лиза Калитина отличается необыкновенною духовною красотою и возвышенностью. Въ ней сумѣлъ Тургеневъ изобразить вѣковой типъ русской женщины, какимъ онъ сложился еще въ древней Руси. Въ житіяхъ русскихъ святыхъ можно найти образы, ей подобные. Такъ, напримѣръ, Юліанія Лазаревская очень напоминаетъ тургеневскую героиню. Характеры Лизы и Юліаніи отличаются цѣльностью, ясностью и опредѣленностью, не допускающей противорѣчій и непослѣдовательности. Серьезныя, въ себѣ замкнутыя, среди шума суетной жизни онѣ ведутъ строгую, одинокую жизнь, — жизнь аскета, побѣдившаго соблазны міра,—живутъ духомъ, свободныя отъ власти плоти... Съ дѣтства сложилась духовная жизнь обѣихъ.

Лиза.

У Лизы была гувернантка, но скептицизмъ этой гувернантки не затронулъ ея чистаго сердца. У Лизы была мать,—женщина пустая и притворно-сентиментальная, но и ея вліяніе тоже никакихъ слѣдовъ не оставило на Лизѣ. „У ней не было своихъ словъ, говоритъ о своей героинѣ Тургеневъ, но были свои мысли, и шла она своею дорогою“.

Эти мысли и эта дорога опредѣлены были въ ней тѣмъ религіознымъ воспитаніемъ, которое получила она отъ своей няньки-Агафьи, которая подъ старость, съ жаромъ фанатика-аскета, стала „замаливать“ грѣхи своей юности и убивала ту плоть, которая когда-то владѣла ея духомъ... Къ этой старухѣ попала на руки впечатлительная, чуткая дѣвочка, съ порывистой, тревожной душой. И Агафья воспитала ее по своему: она подчинила дѣвочку своимъ религіозно-мистическимъ настроеніямъ. Она пересказывала Лизѣ „житіе Пречистой Дѣвы, житія отшельниковъ, угодниковъ Божіихъ, святыхъ мученицъ; она говорила Лизѣ, какъ жили святые въ пустынѣ, какъ спасались, голодъ терпѣли и нужду, и царей не боялись, Христа исповѣды-

---

[1]) См. статью Добролюбова: „Что такое Обломовщина?“ (*Ист. хрест., т. III, вып. 4, стр. 151*).

вали; какъ имъ птицы небесныя кормъ носили и звѣри слушались... Лиза слушала ее — и образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какою-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, наполнялъ ее чистымъ, благоговѣйнымъ страхомъ, а Христосъ становился ей чѣмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ".

Такое же воспитаніе получила Юліанія Лазаревская и многія другія русскія дѣвушки древней Руси: всѣ онѣ воспитывали въ себѣ восторженную, мистическую любовь къ Богу, стремленіе въ «горній міръ», далекій отъ мірской суеты... Религіозные идеалы древней Руси сохранились до нашихъ дней въ простомъ народѣ, а Тургеневъ показалъ, что порою эти идеалы, черезъ посредство разныхъ нянь, могли даже въ «дворянскомъ гнѣздѣ» XIX-го столѣтія одерживать верхъ надъ всяческими вліяніями западно-европейскаго «мірского просвѣщенія». Лиза Калитина, живой и правдивый образъ, словно, какое-то свѣтлое воспоминаніе о чемъ-то далекомъ и хорошемъ, мелькнула въ нашей литературѣ, какъ будто для того, чтобы показать, что вѣка прожитой культуры не могутъ быть совсѣмъ стерты новой жизнью, — что съ древней Русью приходится считаться и въ наши дни [1])...

Лиза „молилась съ наслажденіемъ, съ какимъ-то сдержаннымъ и стыдливымъ порывомъ". Но это не была безсознательная восторженность Катерины, которая не знала сама, чего она проситъ у Бога. Лиза усвоила отъ своей Агафьи строгое отношеніе къ „міру" и къ его соблазнамъ; она рано узнала, что ея отецъ нечестно нажилъ состояніе и потому считала своимъ долгомъ „отмолить" грѣхи отца и свои. Когда Лиза была еще ребенкомъ, Агафья стала пріучать ее „убивать плоть": въ морозную ночь она подымала дѣвочку съ кровати и водила ее къ заутренѣ. Эти ночныя посѣщенія церкви, безъ вѣдома родителей, производили на Лизу большое впечатлѣніе; они пришлись ей по сердцу: „вся эта смѣсь запрещеннаго, страннаго, святого потрясала дѣвочку, проникала въ самую глубь ея существа".

---

[1]) Если въ дворянскихъ семьяхъ возможны были такіе факты возрожденія старыхъ забытыхъ идеаловъ—тѣмъ понятнѣе, что эта старина сохранилась еще бережнѣе въ купечествѣ, которое менѣе подчинялось вліяніямъ запада. И вотъ, въ Катеринѣ, героинѣ драмы „Гроза", Островскій нарисовалъ образъ, родственный Лизѣ и всѣмъ ея прототипамъ. Катерина воспитана такъ же, какъ Лиза, и такую же восторженную, мистическую любовь питаетъ къ Богу, и такъ же любитъ молитву, уносящую въ міръ божественныхъ видѣній.

„У насъ, разсказываетъ Катерина, полонъ домъ былъ странницъ, да богомолокъ. А придемъ изъ церкви, сядемъ за какую-нибудь работу, больше по бархату золотомъ, а странницы станутъ разсказывать, гдѣ онѣ были, что онѣ видѣли, житія разныя, либо стихи поютъ... Такъ до обѣда время и пройдетъ... И до смерти я любила въ церковь ходить!.. Точно, бывало, я въ рай войду: и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно, какъ все это въ одну секунду было. Маменька говорила, что всѣ, бывало, смотрятъ на меня, что со мной дѣлается!.. А, знаешь, въ солнечный день изъ купола такой свѣтлый столбъ внизъ идетъ; и въ этомъ столбѣ ходитъ дымъ, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы въ этомъ столбѣ летаютъ и поютъ... А то, бывало, дѣвушка, ночью встану... У насъ тоже вездѣ лампадки горѣли... Да гдѣ-нибудь въ уголкѣ и молюсь до утра... Или рано утромъ въ садъ уйду... Еще только солнышко восходитъ... Упаду на колѣна, молюсь и плачу,—и сама не знаю, о чемъ молюсь и о чемъ плачу, — такъ меня и найдутъ!.. И о чемъ я молилась тогда, чего просила? не знаю—ничего мнѣ не надобно: всего у меня было довольно... А какіе сны!.. Или храмы золотые, или сады какіе-то необыкновенные, и все поютъ невидимые голоса, и кипарисомъ пахнетъ... И деревья, будто, не такія, какъ обыкновенно, а какъ на образахъ пишутся"...

Подобно людямъ древней Руси, жила Лиза, молодое прекрасное созданье, мыслями о смерти, и, въ пору расцвѣта юности, готовилась уже къ переходу въ другое, лучшее бытіе: „христіанину нужно быть не для того, чтобы познавать небесное тамъ, или земное,—говоритъ она,—а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть“... Подобно людямъ древней Руси, она мало была привязана къ землѣ. Надѣленная высокимъ нравственнымъ чутьемъ и чуткой совѣстью, она, не одаренная большимъ умомъ и не имѣя жизненнаго опыта, живетъ въ „мірѣ“, руководясь только своимъ хорошимъ инстинктомъ — „голосомъ совѣсти“,—живетъ, не дѣлая ошибокъ, правильно разбирая, что̀ хорошо, что̀ дурно... Она не любитъ міра, такъ какъ видитъ въ немъ много зла, много неправды, но, тѣмъ не менѣе, съ чисто-христіанскимъ смиреніемъ и всепрощеніемъ относится къ людямъ...

„Вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, съ сердцемъ кроткимъ и добрымъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности [1]): она любила одного Бога восторженно, робко, нѣжно“...

Въ этомъ отношеніи, она очень напоминаетъ Лукерью, героиню повѣсти: „Живыя Мощи“.

О личномъ счастьѣ она, конечно, не думаетъ: въ ней нѣтъ ни тѣни эгоизма, — она считаетъ такое чувство грѣховнымъ, неугоднымъ Богу. Вотъ почему она не прилагаетъ сама никакихъ усилій, чтобы добиться счастья, но она не откажется отъ счастья, если оно *само* дастся ей въ руки. „Счастье на землѣ зависитъ не отъ насъ“—говоритъ она, указывая этими словами, что только Богъ даетъ людямъ благополучіе истинное и прочное...

Встрѣча съ Лаврецкимъ нарушила ея внутренній покой. Сперва она пожалѣла его, видя, какъ жестоко разбита его молодая жизнь. Она ощутила потребность утѣшить его, ободрить, вернуть его къ Богу. Потомъ постепенно любовь вкралась въ ея нетронутое, дѣвичье сердце... Эта любовь и, подсказанныя ею, мечты о земномъ счастьѣ испугали Лизу, сбили ее съ того яснаго, прямого пути, по которому она шла такъ увѣренно, не спѣша, къ опредѣленной цѣли... Когда Лаврецкій показалъ ей газетную статью, въ которой было извѣстіе о смерти его жены, Лиза не могла справиться съ чувствомъ эгоистической радости. Но сейчасъ же это мимолетное грѣховное чувство ее ужаснуло... Когда газетное извѣстіе оказалось ложнымъ, и супруга Лаврецкаго явилась къ нему, Лиза увидѣла въ этомъ пріѣздѣ „наказаніе Божіе“ за свое отступничество отъ Него, за свою вспышку эгоизма—и тогда она ушла отъ міра въ монастырь, чтобы „отмолить грѣхи свои и чужіе“.

Примириться съ жизнью, съ ея „ложью“ Лиза не можетъ,—этому противится правдивая и чистая душа ея; бороться съ жизнью она тоже не станетъ, такъ какъ нѣтъ въ ней той ненависти ко злу, безъ которой немыслима борьба. Лиза просто *устраняется* отъ жизни, уходитъ отъ нея туда, гдѣ покой и тишину находили многіе лучшіе люди древней Руси, спасаясь отъ

---

[1]) Это характерное выраженіе: „любила всѣхъ и никого въ особенности“ нуждается въ объясненіи. Лучше всего это сдѣлано проф. Овсянико-Куликовскимъ въ его книгѣ о Тургеневѣ:

„Ея основное чувство есть также альтруизмъ — очень широкій, всечеловѣческій, христіанскій въ настоящемъ, евангельскомъ смыслѣ; и съ этой точки зрѣнія, онъ выше и чище альтруизма Маріанны (героини романа „Новь“); онъ подчиняется завѣту: „любите враговъ вашихъ, дѣлайте добро ненавидящимъ васъ“. Онъ — одна чистая, безпримѣсная любовь, безъ вражды и ненависти, — любовь, являющаяся выраженіемъ того наивысшаго этическаго начала, которое дано въ Нагорной проповѣди. Лиза всѣхъ любитъ, жалѣетъ и прощаетъ — даже Паншина и жену Лаврецкаго. Она органически неспособна ненавидѣть, напр., другого, злого человѣка за то, что онъ золъ,— она будетъ только скорбѣть и молиться о немъ... Такая любовь — „не отъ міра сего“, и душа, ею движимая, не призвана жить, трудиться и бороться въ грѣшномъ мірѣ, гдѣ нельзя обойтись, въ интересахъ добра и правды, безъ вражды и ненависти“. (См. подробнѣе эту статью проф. Овсянико-Куликовскаго въ *Ист. хрест., т. III, вып. 4, стр. 196).*

міра и его суетъ. Въ этой рѣшительности Лизы сказалась ея большая нравственная сила, — въ этомъ ея героизмъ... Можно, конечно, много говорить о томъ, насколько плодотворна борьба со зломъ путемъ „непротивленія злу“, но нельзя спорить съ тѣмъ, что Лиза, кроткая, тихая праведница, выказала большую силу воли, осуществивъ въ XIX-мъ вѣкѣ, въ обществѣ, далекомъ отъ Христа, Его святой завѣтъ: „любить людей“... Свѣтлымъ свѣточемъ сіяетъ тихій и ясный образъ Лизы, и велико значеніе этого произведенія, авторъ котораго сумѣлъ самъ понять и растолковать другимъ историческій типъ русской женщины, — типъ, сложившійся въ нѣдрахъ народной жизни тамъ, гдѣ вѣками созрѣвало пониманіе христіанства, гдѣ цвѣло „умное дѣланіе“, исканіе „царства Божія“ внутри человѣческой души...

Мелькомъ отмѣчаетъ Тургеневъ и „національныя симпатіи“ Лизы. Она „не отдавала себѣ яснаго отчета, *почему* она любитъ простой русскій народъ, почему она любитъ разговаривать съ простыми людьми, какъ съ ровней, безъ всякаго барскаго снисхожденія“... Что она — „русская душой“ она *поняла* только въ тотъ вечеръ, когда при ней славянофилъ-„русакъ“ Лаврецкій спорилъ съ „западникомъ“-Паншинымъ. Когда Лиза почувствовала, что соглашается съ идеями Лаврецкаго, тогда прояснилось ея, раньше безсознательное, чувство любви къ родинѣ.

Лаврецкій. § **40**. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ романѣ представленъ Лаврецкій. Это—типичный русскій человѣкъ 40-ыхъ годовъ, неглупый и образованный, долго прозябавшій безъ пользы для ближнихъ, недовольный собой и жизнью,—одинъ изъ тѣхъ „лишнихъ“ людей, которыхъ такъ охотно изображалъ Тургеневъ. Лишь ко второй половинѣ своей жизни находитъ онъ себѣ „дѣло“.

Воспитаніе онъ получилъ самое дикое: сумасбродный отецъ, подъ вліяніемъ налету-схваченныхъ идей о „равенствѣ“, женился, противъ воли отца, на своей крѣпостной. Она скоро ему наскучила, и онъ переселился заграницу. Бѣдная женщина зачахла въ барскихъ хоромахъ, лишенная любви и сердечнаго участія. Ребенокъ ея выросъ на рукахъ старой тетки, сумасбродной старухи. Отецъ вернулся изъ-за границы „англоманомъ“ и съ жаромъ взялся за „перевоспитаніе“ сына: холенаго, избалованнаго мальчика, привыкшаго жить въ уединенномъ мірѣ своихъ дѣтскихъ мечтаній, онъ вдругъ сталъ дрессировать, закалять, развивать его тѣло, оставивъ безъ вниманія его душу. Духовно-одинокій въ домѣ тетки, онъ остался такимъ и при отцѣ.

Такое воспитаніе „вывихнуло“ его и къ жизни не подготовило. И вотъ, наивнымъ, взрослымъ „ребенкомъ“ началъ онъ самостоятельную жизнь. „Много разрозненныхъ идей бродило у него въ головѣ, —въ нѣкоторыхъ вопросахъ онъ былъ свѣдущъ не хуже любого спеціалиста; но онъ не зналъ многаго такого, что̀ извѣстно каждому гимназисту“. Умный отъ природы, онъ занимался въ университетѣ серьезно; въ этомъ отношеніи, онъ совсѣмъ не походилъ на своего отца.

Лаврецкій рано замкнулся въ себѣ и, „вывихнутый“, пошелъ въ жизнь „наугадъ“, безъ плановъ и цѣли... Съ товарищами по университету онъ вообще сходился туго,—одинъ восторженный идеалистъ-Михалевичъ сумѣлъ сблизиться съ нимъ,—сумѣлъ сдѣлать его постояннымъ слушателемъ своихъ восторженныхъ рѣчей. Но отвлеченная нѣмецкая философія мало захватила Лаврецкаго. Къ поверхностному „европеизму“ отца и многихъ его современниковъ отнесся онъ тоже критически,—и вотъ, въ результатѣ, у него выработались своеобразные національстическіе, почти „славянофильскіе“, взгляды на исторію Россіи; въ спорѣ съ Паншинымъ Лаврецкій, вообще человѣкъ неразговорчивый и скромный, съ воодушевленіемъ и силою развилъ завѣтныя мысли свои о вредѣ для Россіи идти въ своемъ развитіи на „помочахъ“ у запада,—о необходимости самостоятельнаго національнаго развитія... Попавъ послѣ круговорота европейской жизни въ тихую русскую деревню, Лаврецкій особенно сильно испыталъ приливъ „глубокаго и сильнаго чувства родины“. Но это „затишье“ русской жизни не показалось ему „мертвымъ сномъ“: онъ вѣрилъ въ то, что сильна и могуча русская деревня, что полонъ тайныхъ силъ народъ, въ ней живущій,—онъ вѣрилъ въ „молодость и самостоятельность Россіи“; онъ доказывалъ „невозможность скачковъ и надмен-

ныхъ передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ"... Приводя, въ примѣръ, свое собственное нелѣпое воспитаніе, Лаврецкій требовалъ, прежде всего, признанія народной правды и смиренія передъ нею. Онъ сталъ проповѣдывать „примиреніе съ жизнью" и совѣтовалъ каждому скромно трудиться на пользу родины и ближнихъ, не задаваясь особенно широкими и блестящими замыслами... „Пахать землю и стараться, какъ можно, лучше ее пахать",—вотъ, что рекомендуетъ онъ вмѣсто погони за громкими подвигами, за „трескучей славой героя"... И свои мысли онъ осуществилъ: „дѣйствительно, сдѣлался хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно, выучился пахать землю и трудился не для одного себя, — онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ своихъ крестьянъ".

Въ жизни его большое значеніе имѣла Лиза. Измученный, озлобленный, вернулся онъ изъ за границы въ свое „затишье". Если жизнь на родинѣ скоро успокоила его и помогла ему выработать ту теорію примиренія и смиренія, о которой было сказано выше, то эта теорія долго не срасталась съ его душою,—сперва она была только общественно-исторической точкой зрѣнія его; онъ провидѣлъ ее, какъ общественный дѣятель; въ глубинѣ же его души была пустота,—къ Богу онъ былъ индифферентенъ, съ реальной дѣйствительностью (отношенія къ женѣ) примиренія онъ еще не зналъ... Только Лиза помогла ему установить цѣлостность міровоззрѣнія. Она привела его къ своему „русскому" Богу; она говорила ему о жалости и состраданіи, она сумѣла освободить его сердце отъ злобы... „Вы должны простить, если хотите, чтобы и васъ простили!"—говорила она ему. „Надо покориться, надо смириться передъ волей Бога",—твердила она... И слова эти падали на готовую почву,—вѣдь, за эту способность терпѣть, примиряться и любить самъ Лаврецкій восхвалялъ „русскаго человѣка",—вѣдь передъ нимъ стоялъ образъ самой Лизы... Вотъ почему, хотя и не пошелъ онъ въ монастырь, — онъ сдѣлался роднымъ братомъ Лизы „по духу". Онъ простилъ жену, онъ отказался отъ личнаго счастья, призналъ, что смыслъ жизни заключается только въ работѣ на пользу общую. Это проясненіе великаго нравственнаго долга произошло въ душѣ Лаврецкаго послѣ ряда ошибокъ, страданій, колебаній... Онъ, при помощи Лизы, сбросилъ съ себя шелуху эгоизма, труху чужихъ, навѣянныхъ извнѣ, взглядовъ и подошелъ къ идеаламъ народа, какими представлялись эти идеалы славянофиламъ 40-хъ годовъ. Лаврецкому и людямъ его поколѣнія самимъ приходилось завоевывать эти міросозерцанія, самимъ приходилось торить къ нимъ дорогу... Цѣной личной жизни добыта была имъ сознательность этого счастья, — оттого столько грусти въ думахъ Лаврецкаго, которыми заканчивается романъ. Думы эти посвящены грядущему поколѣнію:

„Играйте, веселитесь, растите, молодыя силы, — думалъ онъ, и не было горечи въ его думахъ,—жизнь у васъ впереди, и вамъ легче будетъ жить: вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть, — и сколько изъ насъ не уцѣлѣло!.. А вамъ надобно дѣло дѣлать, работать... И благословеніе нашего брата, старика, будетъ съ вами".

Онъ сознаетъ, что поздно выбрался на путь, что слишкомъ много растерялъ силъ и не можетъ уже принести русской жизни существенную пользу.

„Онъ, говоритъ Тургеневъ, утихъ и постарѣлъ не однимъ лицомъ и тѣломъ, — постарѣлъ душою". „Здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!" — послѣднія слова Лаврецкаго.

В) Литературная дѣятельность Тургенева въ 60-е годы.

Литературная дѣятельность Тургенева въ 60-е годы.

§ 41. Поворотъ къ «новому времени» начинается въ русскомъ обществѣ подъ вліяніемъ того потрясенія, которое оно испытало послѣ неудачи Крымской кампаніи. Императоръ Александръ II рѣшительно вступилъ

на дорогу реформъ,—и наше передовое общество дружно, рука объ руку съ нимъ, занялось подготовкой новой государственной жизни Россіи. Россія проснулась, и всякая сильная, даровитая личность могла теперь свободно идти, куда ее влекли мечты и убѣжденія. Казалось, время «лишнихъ людей», разочарованныхъ Онѣгиныхъ и Печориныхъ, безполезныхъ «нытиковъ», окончилось... И вотъ, въ нашемъ обществѣ появились «новые герои», — люди «дѣла», не только «слова». Тургеневъ, обладавшій способностью замѣчать всякія новыя трепетанія въ общественной жизни родины, сумѣлъ изобразить типичныя черты и этихъ «новыхъ людей» русскаго общества, въ лицѣ нѣсколькихъ своихъ героинь и героевъ.

„Наканунѣ".

Хотя романъ: «*Наканунѣ*» и появился въ свѣтъ въ 1859-мъ году, но, по настроенію своему, онъ принадлежитъ уже къ *60-мъ годамъ*.

Елена.

Въ этомъ романѣ Тургеневу удалось обрисовать сильный женскій образъ, въ лицѣ Елены; она—сродни Натальѣ („Рудинъ"): у нея та же „честная, страстная, горячая натура". И выросла она такая же одинокая, въ себѣ замкнутая, далекая духомъ отъ близкихъ ей, по крови, людей. Въ ея головкѣ бродятъ тѣ же мысли о великомъ служеніи человѣчеству... Но всѣ эти стремленія Елены изъ области мечты страстно рвутся въ область реальности; кромѣ того, въ ней меньше той мягкости, которой богата Наташа Ласунская... Рѣзкая, рѣшительная, Елена не идетъ на уступки: въ ней больше фанатизма, нетерпимости, рѣзкости... „Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала „во вѣки вѣковъ". Къ людямъ она предъявляла строгія требованія,—требовала отъ людей „дѣла" и, съ суровостью людей 60-хъ годовъ, готова была презирать искусства и знанія, если не усматривала въ нихъ практической приложимости.

Подъ „дѣломъ" она подразумѣвала всѣ виды служенія во имя гуманности,—не только людямъ, но даже животнымъ... Она съ дѣтства шла навстрѣчу „страдающему брату", и облегчала его муки, и утѣшала его... У нея былъ другъ—нищая дѣвочка Катя, которая ей, еще ребенку, разсказала о страданіяхъ людей,—и съ той поры Елена со страстью стала служить всѣмъ страдающимъ...

Насколько Лиза — натура пассивная, созерцательная, настолько Елена — активная, идущая къ людямъ, съ протянутой рукой помощи...

И высоко цѣнитъ она только людей своего склада—людей, „нужныхъ" для человѣчества.

Вотъ почему она упорно отыскиваетъ такого человѣка, который могъ бы „душу свою положить за брата своего".

Конечно, такого идеалиста-„филантропа", въ евангельскомъ смыслѣ слова, съ идеями служенія „всему человѣчеству", — она долго не находила, да едва ли бы и нашла!.. За то, когда она встрѣтила болгарина Инсарова, патріота-фанатика, рѣшившагося жизнь свою отдать за освобожденіе родины отъ турецкаго гнета, она была поражена его пламеннымъ патріотизмомъ, его желѣзной волей, его геройской рѣшимостью голову сложить за родину. И она простила ему узость его исключительнаго патріотизма, простила односторонность его ума и души, и пошла за нимъ,—за этимъ „сильнымъ человѣкомъ", который не боялся жизни, не зналъ мученій „самоанализа", „разлада" между „словомъ" и „дѣломъ"...

Инсаровъ.

Подобно Еленѣ, онъ тоже не сходитъ съ пути, на который всталъ; онъ тоже — человѣкъ „дѣла", не любитъ всего отвлеченнаго, — не признаетъ ни поэзіи, ни философіи, если не находитъ для нихъ практическаго примѣненія.

Человѣкъ „желѣзный“ и рѣшительный, онъ всегда послѣдователенъ и настойчивъ до упрямства. Изящества и тонкости въ его душѣ нѣтъ: „жизнь—дѣло грубое“ — заявляетъ онъ и никакимъ „сентиментамъ“ воли надъ собой не даетъ: замѣтивъ, что полюбилъ Елену, онъ сначала пытается это чувство вырвать изъ сердца, опасаясь, что оно отвлечетъ его отъ намѣченной цѣли. Въ этой способности все принести въ жертву идеѣ — его героизмъ. Въ этомъ отношеніи подстать ему и Елена.

Когда онъ умираетъ по дорогѣ, не доѣхавъ до родины, она ѣдетъ туда одна. Со всей прямолинейностью натуры, она не хочетъ сворачивать съ того пути, на который рѣшительно встала; на родину возвращаться она не желаетъ: „вернуться въ Россію, восклицаетъ она, — зачѣмъ? что дѣлать мнѣ въ Россіи?..“ Въ такой односторонности большое сходство ея съ Инсаровымъ.

„Отцы и дѣти“.

§ **42.** Романъ: «*Отцы и дѣти*» *(Ист. хрест., т. III, вып. 1, добавленіе)* имѣетъ большое историческое значеніе, такъ какъ въ этомъ произведеніи Тургеневъ выразилъ, въ лицѣ главнаго героя, нѣкоторыя стороны того настроенія, которое было особенно характерно для 60-ыхъ годовъ.

Выше было указано, какое громадное значеніе въ исторіи самосознанія русскаго общества имѣла неудача Крымской кампаніи. Подъ вліяніемъ «официальной народности», массы русскаго общества проникались самомнѣніемъ; неудача войны, показавшая передъ всѣмъ міромъ недостатки Россіи, вызвала въ обществѣ реакцію: массы утратили вѣру въ себя и свою «гордыню», а кто и раньше относился отрицательно къ русскому самомнѣнію,—теперь сталъ смѣлѣе критиковать устарѣлыя формы жизни, нуждающіяся въ коренныхъ реформахъ... Волна критицизма захватила все: обличались злоупотребленія не только общественной и государственной, но и частной, семейной жизни... Какъ обыкновенно это бываетъ, въ нѣкоторыхъ кругахъ молодежи, падкой на всякія крайности, такой критицизмъ дошелъ до послѣднихъ предѣловъ, выразившись въ полномъ отрицаніи разумности всего существующаго строя жизни. Это направленіе получило въ Россіи особую кличку: *нигилизмъ* (отъ лат. слова nihil—ничто). Само собою разумѣется, такое крайнее недовольство дѣйствительностью подрывало вѣру въ устои прежней русской жизни, а увлеченіе матеріалистическими ученіями ослабило вѣру въ принципы религіи, морали, эстетики,—всякой метафизики и идеалистической философіи...

Базаровъ.

Базаровъ, герой романа: „Отцы и дѣти“, представляетъ собою типъ такого „нигилиста“. Онъ сурово и страстно отрицаетъ все, чему поклонялись „отцы“, т. е. старшее поколѣніе. Онъ—демократъ по происхожденію и по взглядамъ,—врагъ аристократизма, врагъ дворянства... Но и мужика идеализировать онъ тоже не станетъ. Онъ вообще отрицаетъ всякій идеализмъ, всякую метафизику и самое существованіе „принциповъ“: все сводитъ къ физіологіи, къ физической жизни... „Принциповъ вообще нѣтъ, говоритъ онъ, а есть ощущенія“. Крайній матеріализмъ XVIII в. Гольбаха и Ламетри, словно, воскресъ съ новой силой въ рѣчахъ этого русскаго студента.

Базаровъ отрицаетъ все кромѣ экспериментальной (основанной на опытахъ) науки. Такъ онъ рѣшительно отвергаетъ *любовь*, какъ какое-то идеальное чувство... „Чепухой“, „романтизмомъ“ называетъ онъ любовь дѣтей къ родителямъ, чувство дружбы, патріотизмъ и религію... Съ насмѣшкой отзывается онъ объ „искусствѣ“, „ерундой“ называетъ онъ сочиненія Пушкина, съ презрѣніемъ относится къ Рафаэлю, къ музыкѣ... „Природа не храмъ, и человѣкъ въ ней работникъ“—говоритъ онъ рѣшительно. Демократизмъ его выражается въ томъ, что онъ, придерживаясь своей матеріалистической, все уравнивающей, точки зрѣнія, отрицаетъ всякое неравенство въ жизни: для него не только нѣтъ разницы между „дворянами“ и „мужиками“, но онъ даже не признаетъ существованія „великихъ людей“ и „героевъ“ [1]).

Это грубое, до-нельзя упрощенное, обобщеніе, конечно, сплошь неправильно, но оно прекрасно объясняетъ намъ состояніе души русскаго человѣка, желающаго „съ-плеча“ расправиться со всѣми остатками старины,—безразлично темными и свѣтлыми,—которые дожили до 60-ыхъ годовъ... Нужно „расчистить мѣсто“ (слова Базарова) для „новой жизни“. Какова будетъ эта „жизнь, ни Базаровъ, ни его единомышленники объ этомъ не думали,—они считали своимъ долгомъ „разрушить старое“, выдохшееся, выцвѣтшее, одряхлѣвшее, а тамъ—будь, что будетъ“.

Въ дерзкихъ, самоувѣренныхъ мысляхъ и рѣчахъ Базарова чувствуется отчаяніе, которое, вѣроятно, жило въ душѣ нѣсколькихъ русскихъ поколѣній, путавшихся въ роковомъ, «заколдованномъ кругу»: самосознаніе интеллигенціи прояснилось, добро и зло опредѣлились,—а борьба во имя «добра» оказывалась безплодной... И вотъ, въ лицѣ нигилиста-Базарова русское общество приходитъ къ такому крайнему «пессимизму», что отказывается вѣрить въ плодотворность реформъ («самая свобода, о которой хлопочетъ правительство, едва ли пойдетъ намъ впрокъ»—говоритъ Базаровъ). Только одно «знаніе», по мнѣнію Базарова, спасетъ насъ и нашъ народъ.

Что же дѣлаетъ Базаровъ для такого „спасенія“?... Онъ только желчно и зло *говоритъ*, издѣвается, оскорбляетъ другихъ: онъ не служитъ людямъ своимъ знаніемъ и сторонится отъ нихъ. Такимъ образомъ, передъ нами, въ лицѣ героя романа,—не „общественный дѣятель“, а какой-то, опять-таки, „лишній человѣкъ“—тотъ же Рудинъ, только озлобленный, пессимистъ-индивидуалистъ, у котораго смѣлое „слово“ замѣняетъ „дѣло“... Онъ самъ замѣчаетъ иногда неустойчивость своего міросозерцанія и готовъ насиловать себя, чтобы быть послѣдовательнымъ: вотъ почему себя онъ самъ называетъ „самоломаннымъ“.

Но не всегда онъ справляется съ противорѣчіями: они прорываются сквозь крѣпкія оковы его воли,—и тогда, за его злыми и смѣлыми словами, видѣнъ несчастный человѣкъ... „Матеріалистъ“, онъ, оказывается, признаетъ существованіе души („всѣ люди другъ на друга похожи, какъ тѣломъ, такъ и *душой*“,—говоритъ онъ), признаетъ существованіе „нравственныхъ качествъ“ („и, такъ называемыя, нравственныя качества одни и тѣ же у всѣхъ“). Отрицая вообще „принципы“, онъ говоритъ: „мы дѣйствуемъ въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ“,—т. е., другими словами, признаетъ „принципъ полезности“. Несмотря на отрицаніе „любви“,—онъ влюбляется въ Один-

---

[1]) „Всѣ люди, заявляетъ онъ, другъ на друга похожи, какъ тѣломъ, такъ и душой: у каждаго изъ насъ мозгъ, селезенка, сердце, легкія одинаково устроены,—и, такъ называемыя, нравственныя качества однѣ и тѣ же у всѣхъ: небольшія видоизмѣненія ничего не значатъ... Достаточно одного человѣческаго экземпляра, чтобы судить обо всѣхъ другихъ. Люди—это деревья въ лѣсу; ни одинъ ботаникъ не станетъ заниматься каждой отдѣльной березой“...

цову такъ, что не въ силахъ вырвать изъ сердца своего чувства,—даже передъ смертью онъ хочетъ ее видѣть... Въ отношеніяхъ къ старикамъ-родителямъ, сквозь напускное пренебреженіе къ нимъ, проглядываетъ его нѣжная, трогательная любовь...

Въ началѣ романа Базаровъ представленъ задорнымъ, самонадѣяннымъ человѣкомъ, который вѣритъ въ свои смѣлыя „слова“, но жизнь доказываетъ ему ложь этихъ словъ,—доказываетъ ему, что онъ заблуждается... И въ концѣ романа Базаровъ уже представленъ человѣкомъ, который обезсиленъ той титанической борьбой, которую онъ такъ долго и упорно велъ съ самимъ собой. Въ этой борьбѣ за „новую вѣру“, въ этомъ самопожертвованіи—его героизмъ.

Въ ненужности этой жертвы, такъ какъ она принесена „ложному богу“,—его трагизмъ, его „донъ-кихотство“... И это онъ сознаетъ, повидимому, самъ, — оттого во второй половинѣ романа онъ представленъ пессимистомъ, разочарованнымъ человѣкомъ, измученнымъ духовно... Особенно тяготитъ Базарова сознаніе, что въ его безотрадной философіи чего-то нѣтъ существеннаго... Но онъ такъ и не понялъ, что вся бѣда его заключалась въ томъ, что въ немъ не было альтруизма, что онъ среди „живыхъ“ людей — одинокъ и никому ненуженъ, ни съ чѣмъ не связанъ, ни съ прошлымъ, ни съ настоящимъ, ни съ будущимъ,—словомъ, „лишній человѣкъ“...

Взглядъ Тургенева на Базарова.

Такимъ образомъ, въ лицѣ своего Базарова, Тургеневъ изобразилъ сильнаго человѣка и, въ то же время, заблудившагося. Въ міровоззрѣніи его романистъ отмѣтилъ коренныя ошибки современной ему молодежи, а въ душѣ его нашелъ разладъ: «слова» Базарова оказались «напускными», а самъ онъ «самоломаннымъ»... Такъ, устами Тургенева, человѣкъ 40-ыхъ годовъ осудилъ чуждое ему поколѣніе молодежи 60-ыхъ годовъ за крайности ея житейской философіи. Писатель отдаетъ должное этому сильному и честному поколѣнію, но онъ не обольщается этой силой, потому что видитъ безплодность ея умствованій и сожалѣетъ, что дѣйствіе этой силы направлено по невѣрному пути.

Отношеніе современниковъ къ роману.

§ **43**. Ни одно изъ произведеній Тургенева не вызывало въ публикѣ столькихъ толковъ, споровъ и нареканій. Тургеневу удалось, въ лицѣ Базарова, уловить и изобразить одно изъ самыхъ животрепещущихъ явленій современной ему жизни, въ которой никто еще не успѣлъ, какъ слѣдуетъ, разобраться. Вотъ почему произошла разноголосица въ тогдашней критикѣ: кто огульно осуждалъ всякое проявленіе «новой жизни», тотъ съ радостью объяснилъ новый романъ Тургенева, какъ строгій судъ писателя надъ прогрессивной молодежью; другіе усмотрѣли въ этомъ «судѣ» отступничество популярнаго писателя отъ прежнихъ либеральныхъ убѣжденій, переходъ въ другой лагерь, и стали забрасывать Тургенева злобными упреками, доказывая, что романъ представляетъ собою пасквиль на молодое поколѣніе и идеализацію «отцовъ»; наконецъ, раздались и такіе голоса, которые восхваляли образъ Базарова, какъ совершенное литературное воплощеніе

«лучшихъ сторонъ» русской жизни 60-ыхъ годовъ [1]). Никто изъ тогдашнихъ русскихъ критиковъ не сумѣлъ стать на объективно-историческую точку зрѣнія; впрочемъ, этому помѣшалъ, быть можетъ, самъ Тургеневъ, двойственно относящійся къ Базарову: видя въ своемъ героѣ «разночинца», который долженъ смѣнить одряхлѣвшее и выдохшееся дворянство, онъ преклоняется передъ Базаровымъ, какъ передъ новой силой, возникшей изъ нѣдръ русской жизни,—но, съ другой стороны, этотъ сильный *разночинецъ*-Базаровъ въ эстетѣ-*дворянинѣ*-Тургеневѣ, несомнѣнно, вызываетъ нѣкоторое чувство брезгливости, даже страха: не могъ Тургеневъ на жизнь смотрѣть его глазами, и потому нарисовалъ онъ своего героя издалека, не слившись съ нимъ, не сдержавъ нѣкотораго, недобраго къ нему, чувства [2])...

Въ обрисовкѣ Базарова (и другихъ героевъ романа) сказалась у Тургенева та манера описывать жизнь, которая въ русской литературѣ этой эпохи сложилась подъ вліяніемъ процвѣтанія естественныхъ наукъ. Съ пріемами естествоиспытателя, изучающаго различные виды растеній, или животныхъ, Тургеневъ всматривается въ русскую жизнь, въ русскихъ людей, классифицируетъ ихъ по группамъ, характеризуетъ наиболѣе типичныя «особи», детально разбираетъ ихъ внутренній міръ, рисуетъ ихъ внѣшность, опредѣляетъ обстановку ихъ жизни, выясняетъ причины и слѣдствія ихъ существованія... Выше было уже сказано, что изъ всѣхъ писателей своего времени искусствомъ «ловить моментъ» и уяснять типичное въ современной ему жизни лучше всѣхъ владѣлъ Тургеневъ.

„Дымъ“. § **44**. Въ двухъ романахъ послѣдняго періода своей дѣятельности: «*Дымъ*» и «*Новь*», — Тургеневъ по-прежнему старается уяснить себѣ и другимъ характерныя явленія современной ему

---

[1]) „Все наше поколѣніе,—говоритъ Писаревъ,—со своими стремленіями и идеями можетъ узнать себя въ дѣйствующихъ лицахъ этого романа. Базаровъ—представитель нашего молодого поколѣнія; въ его личности сгруппированы свойства, которыя мелкими долями разсыпаны въ массахъ, и образъ этого человѣка ярко и отчетливо вырисовывается передъ воображеніемъ читателей“. „Тургеневъ вдумался въ типъ Базарова и понялъ его такъ вѣрно, какъ не пойметъ ни одинъ изъ нашихъ молодыхъ реалистовъ“. „Смыслъ романа вышелъ такой: теперешніе молодые люди увлекаются и впадаютъ въ крайности; но въ самыхъ увлеченіяхъ сказывается свѣжая сила и неподкупный умъ; эта сила и этотъ умъ даютъ себя знать въ минуту тяжелыхъ испытаній; эта сила и этотъ умъ безъ всякихъ постороннихъ пособій и вліяній выведутъ молодыхъ людей на прямую дорогу и поддержатъ ихъ въ жизни“. (См. подробнѣе эту статью въ *Ист. хрест., т. III, вып. 4, стр. 207—230)*

[2]) „Мнѣ мечталась, говоритъ Тургеневъ, фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая изъ почвы, сильная, злобная и честная и все-таки обреченная на гибель, потому что она все-таки стоитъ еще въ преддверіи будущаго—мнѣ мечтался какой-то pendant къ Пугачеву“.

русской жизни. Онъ чуждъ былъ этой новой жизни, и потому отнесся къ ней отрицательно; въ первомъ романѣ онъ даже вышучиваетъ эту современность, «дымомъ» называя всю жизнь тогдашней Россіи: и стремленія радикаловъ, и политику консерваторовъ,—словомъ, всю ту борьбу, которая въ это время разгорѣлась въ Россіи на почвѣ столкновенія общественныхъ группъ. Вѣрный своимъ идеаламъ 40-ыхъ годовъ, Тургеневъ предпочиталъ оставаться въ области отвлеченнаго идеализма и не скрывалъ своего отрицательнаго отношенія къ той дѣйствительности, въ которой (съ его точки зрѣнія) безпомощно копошились «передовые люди» 60-хъ годовъ... За этимъ «дымомъ» пошлости и вздора яснымъ и ровнымъ свѣтомъ сіяетъ вѣра писателя въ любовь и красоту. Героиня романа, Ирина, не поняла величія и святости этого возвышеннаго значенія любви,—и оттого личная жизнь ея оказалась тоже «дымомъ»...

Въ романѣ: «*Новь*»—Тургеневъ характеризуетъ русскихъ революціонеровъ, которые въ 70-ыхъ годахъ XIX-го столѣтія «ходили въ народъ», пытаясь создать въ его средѣ настроеніе, благопріятное для политическаго переворота. Къ такимъ «хожденіямъ» Тургеневъ отнесся отрицательно: онъ былъ «постепеновецъ» по убѣжденіямъ и вѣрилъ въ прочность только той культурной жизни, которая складывается постепенно, путемъ мирной эволюціи, при помощи распространенія знанія. **„Новь“.**

Въ романѣ: «Новь», въ лицѣ героя (Нежданова), представленъ типъ революціонера-дворянина. Съ цѣлью пропаганды, онъ идетъ въ народъ, чтобы, по его словамъ, «служить» этому народу... Но нельзя служить народу, не зная его, и къ тому же безъ прочной вѣры въ смыслъ и пользу своего служенія... Вотъ почему изъ попытки Нежданова сблизиться съ народомъ ничего не выходитъ,—и этотъ разочарованный, «лишній человѣкъ» погибаетъ подъ тяжестью сознанія своей ненужности. Рядомъ съ Неждановымъ и другими революціонерами, рядомъ съ этими людьми неопытными, недалекими, не знающими народа, не умѣющими даже «говорить» съ нимъ на понятномъ ему языкѣ,—изображаетъ Тургеневъ, въ лицѣ Соломина, человѣка, надѣленнаго спокойной силой и вѣрой въ себя; онъ, какъ Тургеневъ,—«постепеновецъ», въ «герои» не лѣзетъ и, вооруженный знаніемъ, хочетъ только трудиться, на пользу родины. Одно изъ дѣйствующихъ въ романѣ лицъ такъ отзывается о Соломинѣ: «такіе, какъ онъ, — они-то, вотъ, и суть настоящіе... И будущее имъ принадлежитъ. Это — не герои... Это — крѣпкіе, сильные, одноцвѣтные, народные люди... Теперь только такихъ и нужно!» [1]).

Въ созданіи образа Соломина и въ этихъ словахъ самого Тургенева чувствуется «вѣяніе времени». Критикуя крайности міровоззрѣнія людей 60-хъ годовъ,

---

[1]) Въ одномъ частномъ письмѣ Тургеневъ высказываетъ свои взгляды на русскую жизнь, и образъ Соломина ясно вырисовывается при чтеніи этого письма, — очевидно, самъ Соломинъ и его творецъ—лица, близкія другъ къ другу, почти единомышленники:

„Времена перемѣнились,—писалъ Тургеневъ,—теперь Базаровы не нужны. Для предстоящей общественной дѣятельности не нужно ни особенныхъ талантовъ, ни даже особеннаго ума—ничего крупнаго, выдѣляющагося, слишкомъ индивидуальнаго; нужно трудолюбіе, терпѣніе, нужно умѣть жертвовать собою безъ всякаго блеску и треску, нужно умѣть смириться и не гнушаться мелкой, темной и даже жизненной работы... Я беру слово: „жизненный“ въ смыслѣ простоты, безхитростности, terre-à-terre'а... Что можетъ быть, напримѣръ, жизненнѣе—учить мужика грамотѣ, помогать ему, заводить больницы и т. д. На что тутъ таланты и даже ученость?“.

Тургеневъ многое взялъ у нихъ: и методы естествознанія въ приложеніи къ художественному изученію жизни, и вѣру въ принципъ эволюціонизма, и отрицаніе значенія личности въ исторіи, и тотъ идейный демократизмъ, котораго чуждъ былъ романтизмъ...

И. А. Гончаровъ (1812—1891).

(Ист. хрест., т. III, вып. 1, стр. 108—225).

Біографія. § **45.** Иванъ Александровичъ Гончаровъ родился въ 1812 г. въ г. Симбирскѣ въ богатой купеческой семьѣ, которая жила „на дворянскую ногу". Городской домъ Гончаровыхъ представлялъ собой подобіе маленькаго помѣстья. Нѣкоторыя черты „Обломовки" подсказаны Гончарову, какъ говорятъ, воспоминаніями о жизни въ родной семьѣ. Но въ этой семьѣ не все напоминало „гнѣздо" Обломова: начать съ того, что мать писателя была совсѣмъ не похожа на мать Ильюши Обломова... Женщина умная, серьезная и энергичная, она сумѣла сыну дать хорошее образованіе. Большое значеніе въ дѣлѣ просвѣщенія ума и сердца будущаго писателя имѣлъ также его крестный отецъ Якубовъ; это былъ человѣкъ образованный, бывшій морякъ, много путешествовавшій. Его увлекательные разсказы о заграничныхъ плаваніяхъ и приключеніяхъ рано стали волновать воображеніе Гончарова-мальчика. Потомъ Гончаровъ былъ отданъ въ пансіонъ къ одному образованному священнику, который зналъ хорошо русскую литературу, древнюю и новѣйшую. Свою любовь къ произведеніямъ родного слова сумѣлъ онъ привить и своему воспитаннику. Жена этого священника была иностранка, а потому на преподаваніе новыхъ языковъ было тоже обращено серьезное вниманіе. Въ этомъ пансіонѣ Гончарову пришлось познакомиться съ нѣсколькими типичными „барскими сынками"-„митрофанами", которые занимались науками, скрѣпя сердце; образъ Ильюши Обломова, обучающагося въ пансіонѣ Штольца, вѣроятно, отразилъ на себѣ ихъ характерныя черты. Затѣмъ Гончаровъ былъ отданъ въ Московское коммерческое училище, и, по окончаніи его, въ 1831 году, поступилъ въ Московскій университетъ, на словесное отдѣленіе... Въ это время слушателями университета состояли Лермонтовъ, Герценъ, Бѣлинскій... Но Гончаровъ держался въ сторонѣ отъ своихъ товарищей: усердный, старательный студентъ, онъ, въ силу своей уравновѣшенности, чуждъ былъ всякихъ увлеченій и крайностей... Вотъ почему не примкнулъ онъ ни къ Герцену, ни къ Бѣлинскому. Впрочемъ, нѣсколько-приподнятое, идеалистическое настроеніе университетской молодежи коснулось и его. Съ самыми возвышенными намѣреніями явился онъ „служить" въ родной Симбирскъ. Кажется, о службѣ и чиновничьей карьерѣ у него было тогда понятіе, нѣсколько напоминающее взгляды юноши-Гоголя на службу. Но послѣ нервной столичной жизни сонная жизнь провинціи непріятно поразила его. Родной домъ, погруженный въ „сонъ", окрестные помѣщики, губернскіе чиновники,—все, вмѣстѣ взятое, противорѣчило мечтамъ и настроеніямъ юноши. Недолго прослужилъ онъ здѣсь, перевелся въ Петербургъ и поступилъ въ канцелярію министерства финансовъ [1]).

Въ это время сблизился онъ со многими „интересными" людьми столицы черезъ семейство Майковыхъ, гдѣ онъ, въ качествѣ учителя русскаго

---

[1]) „Условія личной жизни Гончарова сложились такимъ образомъ, что онъ одинаково мало наблюдалъ, какъ низшій слой, народную среду, такъ и высшее аристократическое общество, но зато прекрасно изучилъ среднее,—главнымъ образомъ, помѣщичій классъ... По его собственному признанію, онъ почти вовсе не зналъ быта и нравовъ крестьянъ, условій ихъ жизни, хозяйства. Изъ народной среды Гончаровъ имѣлъ возможность изучить только одну группу лицъ—типы дореформенной прислуги" (Александровскій).

языка, давалъ уроки будущимъ писателямъ: поэту Аполлону Майкову и критику Валерьяну.

Попавъ въ Петербургъ, Гончаровъ навсегда остался служить здѣсь. Знакомство съ литературнымъ міромъ, кипучая литературная жизнь того времени,—все это и Гончарова увлекло на писательское поприще: въ 1847 г., 35 лѣтъ отъ роду, онъ выступаетъ съ романомъ: „Обыкновенная исторія", имѣющимъ, несомнѣнно, автобіографическое значеніе [1]); въ 1849-омъ году печатаетъ онъ отрывокъ изъ романа: „Обломовъ"—„Сонъ Обломова". Въ 1852 году на фрегатѣ „Паллада" онъ совершаетъ кругосвѣтное плаваніе въ Японію; путешествіе это было описано имъ въ его знаменитыхъ запискахъ: „Фрегатъ Паллада"... Черезъ Сибирь вернулся Гончаровъ въ Петербургъ и съ 1856 года получилъ мѣсто въ цензурномъ вѣдомствѣ, гдѣ и служилъ до 1873-го года. Его знаменитый романъ: „Обломовъ" появился въ печати полностью лишь въ 1859 г. Въ этомъ романѣ критики-біографы, какъ и въ первомъ его произведеніи, находятъ немало автобіографическихъ элементовъ. Въ 1869-омъ году выпустилъ онъ въ свѣтъ послѣднее свое произведеніе: „Обрывъ", въ которомъ критически отнесся къ молодежи 60-ыхъ годовъ, высмѣявъ типъ „нигилиста" въ лицѣ Волохова. Романъ успѣха не имѣлъ; критика такъ же сурово встрѣтила это произведеніе, какъ и романъ Тургенева: „Отцы и дѣти". Этимъ произведеніемъ, въ сущности, закончилась литературная дѣятельность Гончарова, такъ какъ послѣ онъ написалъ лишь нѣсколько этюдовъ (напр., „Слуги стараго времени", „Литературный вечеръ") и критическія статьи („Лучше поздно, чѣмъ никогда" и „Милліонъ терзаній"). Любопытны также „Воспоминанія" Гончарова, рисующія впечатлѣнія его первой половины жизни. Послѣдніе годы онъ совсѣмъ устранился отъ литературной жизни, и повелъ замкнутую, уединенную жизнь. Скончался онъ 16 сентября 1891 года.

А) Литературная дѣятельность Гончарова въ 40-ые годы.

§ 46. Въ романѣ: «*Обыкновенная исторія*» *(Ист. хрест., т. III, вып. 1, стр. 108)* Гончаровъ развилъ ту тему, которая намѣчена была Гоголемъ въ краткомъ разсказѣ о жизни Тентетникова.

„Обыкновенная исторія".

Въ лицѣ Адуева представилъ онъ молодого юношу, который „пламенѣетъ" желаніемъ „служить" родинѣ. Онъ пріѣхалъ въ деревню; здѣсь его встрѣчаетъ добродушная, но недалекая мать,—встрѣчаетъ сонъ захолустья, и величавая, спокойная, „безпорывная" русская природа. Но юноша рвется въ жизнь, кипучую, полную дѣятельности... Какъ Гоголь наивно думалъ о томъ, что только въ Петербургѣ можно, сидя въ канцеляріи, дѣлать „великое дѣло" для всей родины, какъ Тентетниковъ, его герой, рвался съ этими же мыслями служить въ столицу,—такъ и самъ Гончаровъ, и его герой Адуевъ представляли себѣ службу въ Петербургѣ.

И вотъ, восторженный Адуевъ изъ-подъ теплаго материнскаго крылышка, воодушевленный мечтами о великомъ служеніи родинѣ, попадаетъ въ „дѣловой", холодный Петербургъ.

Въ столицѣ Адуевъ не встрѣтилъ такой интимности, сердечности, какъ въ родной провинціи, но запасъ мечтательности у него былъ великъ,—и онъ долго еще продолжалъ идеализировать и столицу, и ея жизнь...

„Онъ мечталъ о благородномъ трудѣ, о высокихъ стремленіяхъ, и преважно выступалъ по Невскому проспекту, считая себя гражданиномъ новаго міра".

---

[1]) Самъ Гончаровъ говоритъ въ своемъ очеркѣ: „Лучше поздно, чѣмъ никогда", что онъ могъ описывать и повѣствовать то, что было связано съ нимъ, съ его личной жизнью: „чего я не видалъ, не наблюдалъ, чѣмъ не жилъ, то недоступно моему перу... Я писалъ только то, что переживалъ, что мыслилъ, чувствовалъ, что любилъ, что близко видѣлъ и зналъ, — словомъ, писалъ и свою жизнь и то, что къ ней прирастало".

Самая канцелярія поразила его,—и онъ въ своихъ мечтахъ даже поэтизировалъ ея дѣятельность.

„Точно заводъ моего дяди!—рѣшилъ онъ, наконецъ. И каждый день, каждый часъ, и сегодня, и завтра, и цѣлый вѣкъ, бюрократическая машина работаетъ стройно, непрерывно, безъ отдыха, какъ будто нѣтъ людей,—одни колеса, да пружины“... и пр. *(Ист. хрест., стр. 118).*

Въ столицѣ познакомился юноша и съ дядюшкой своимъ, тоже Адуевымъ. Въ молодости дядя походилъ на своего восторженнаго племянника: и влюбленъ былъ платонически, и мечтателемъ былъ большимъ... Но „дѣловой“ Петербургъ исправилъ его „провинціальные“ грѣшки, и юноша скоро сдѣлался уравновѣшеннымъ чиновникомъ, жизнь котораго течетъ холодная, безстрастная и размѣренная, какъ работа колесъ и пружинъ того фантастическаго механизма, которымъ представлялась юношѣ-Адуеву жизнь столичныхъ канцелярій.

Старшій Адуевъ принялъ младшаго съ добродушной ироніей, и сразу же постарался охладить его пылъ, точно опредѣливъ границы личныхъ отношеній. О высокихъ „матеріяхъ“ онъ съ племянникомъ не сталъ разговаривать, такъ какъ считалъ подобные разговоры „бредомъ“... Говорилъ онъ съ юношей сухо и просто, требовалъ отъ него „дѣло дѣлать“, а не мечтать и сентиментальничать... Черезъ два года, молодой Адуевъ втянулся въ столичную жизнь: уроки дядюшки пошли впрокъ... Онъ пошелъ хорошо и по службѣ, и на журнальномъ поприщѣ. Но, на бѣду, въ сердцѣ его вспыхнула романтическая страсть.

По этому поводу дядюшка прочелъ ему лекцію о томъ, какъ надо выбирать жену: *„по расчету*, значитъ жениться для денегъ, — это низко; но жениться *безъ расчета*—глупо“. Любовь кончилась неудачей для юноши: онъ впалъ въ отчаянье и разочаровался въ жизни.

Въ это время большое участіе приняла въ немъ Адуева, жена его дяди. Сердечная и простая женщина, съ большимъ запасомъ нетронутыхъ душевныхъ силъ, вышла она замужъ за Адуева-старшаго, — и завяла въ той атмосферѣ „умѣренности и аккуратности“, которою сознательно окружилъ ее этотъ уравновѣшенный человѣкъ, сознательно убившій всякіе порывы въ себѣ и убивавшій ихъ безъ жалости въ другихъ.

Сердечная неудача разбудила въ молодомъ Адуевѣ духъ критицизма,— и вся петербургская жизнь стала казаться ему ничтожной... Тогда онъ сталъ искать утѣшенія въ другихъ сердечныхъ увлеченіяхъ, потомъ въ кутежахъ и попойкахъ, въ концѣ концовъ, бросилъ все и взялся за книгу... „Но Шиллеръ, Гете, Байронъ являли ему мрачную сторону человѣчества,—свѣтлой онъ не замѣчалъ“... Съ нимъ повторилась та же исторія, что съ пушкинскимъ Онѣгинымъ. Тогда разочарованный и утомленный, онъ сталъ хандрить и, наконецъ, подобно Онѣгину, Тентетникову и другимъ такимъ же героямъ, бѣжалъ въ деревню, пославъ проклятіе столицѣ...

Деревня встрѣтила его прежней лаской, миромъ и идиллической тишиной. И вотъ, юноша и душой, и тѣломъ погрузился въ растительную жизнь. Но скоро онъ опять сталъ тосковать: его потянуло въ Петербургъ... Тогда написалъ онъ къ теткѣ и къ дядѣ спокойныя, умныя письма, свидѣтельствующія о томъ душевномъ равновѣсіи, къ которому онъ пришелъ, распростившись окончательно со старыми романтическими мечтами и сердечными разочарованіями.

Въ концѣ концовъ, онъ пріѣзжаетъ опять въ Петербургъ и начинаетъ сызнова свою жизнь, на этотъ разъ человѣкомъ уже совсѣмъ трезвымъ, спокойнымъ, побѣдившимъ сердечные порывы...

Прошло еще нѣсколько лѣтъ, и „уравновѣшенный“ дядюшка съ ужасомъ убѣдился, что онъ своей расчетливой „политикой“ разбилъ жизнь своей жены. И впервые тогда постигъ онъ благодѣтельную, но, увы, уже для него и его жены безполезную, силу „порыва“: ради здоровья жены онъ рѣшилъ бросить блестящую карьеру и уѣхать изъ Петербурга... Но жизнь вся была прожита, и было уже поздно исправлять то, что губилось годами... А въ это время младшій Адуевъ, уже вполнѣ постигшій житейскую „мудрость“ дяди, быстро повышался по службѣ,—„пополнѣлъ, оплѣшивѣлъ, сталъ ру-

мянъ. Съ какимъ достоинствомъ онъ носитъ свое выпуклое брюшко и орденъ на шеѣ!“ — восклицаетъ иронически авторъ. Однажды племянникъ, сіяющій, явился къ дядѣ и съ торжествомъ заявилъ, что женится на богатой. Но на этотъ разъ поощренія и одобренія отъ дяди онъ не услышалъ, — повидимому, тотъ самъ подъ старость лѣтъ разочаровался въ своей житейской мудрости...

Такова «обыкновенная исторія», которую разсказалъ Гончаровъ въ своемъ романѣ. Это — исторія человѣческой души, или вѣрнѣе исторія нѣсколькихъ «душъ», которыя задохлись въ тинѣ житейской суеты. Юное, чистое, наивное теряется въ этой «суетѣ»... Напрасно нѣкоторые критики видятъ въ этомъ романѣ Гончарова въ лицѣ обоихъ Адуевыхъ апоѳеозъ «дѣловитости» и «бюрократизма». Если создать такой апоѳеозъ и *хотѣлось* Гончарову—то идеализація эта ему не удалась: онъ самъ не сумѣлъ подавить въ себѣ ироническое отношеніе къ судьбѣ тѣхъ людей, которыхъ затягиваетъ столичный карьеризмъ.

Объективность изложенія въ романѣ сказалась въ томъ, что Гончаровъ отмѣтилъ въ душѣ старшаго Адуева не только отрицательныя, но и положительныя черты. Вооруженный умомъ, талантомъ, силой воли и яснымъ сознаніемъ необходимости труда, — Адуевъ старшій представленъ серьезнымъ, дѣловымъ человѣкомъ, который чуждъ рутины и застоя. Но отрицательныя черты: эгоизмъ и крайняя разсудочность, качества, ему не прирожденныя, а сознательно имъ самимъ въ себѣ развитыя и создавшія его несчастіе подъ конецъ жизни,—не позволяютъ ему стать на сторону той мудрости, носителями которой были оба Адуева,—одинъ въ началѣ романа, другой—въ его концѣ...

Правда, въ своей статьѣ: «Лучше поздно, чѣмъ никогда» Гончаровъ самъ призналъ, что, въ лицѣ старшаго Адуева, онъ хотѣлъ прославить «сильнаго человѣка»,—дѣловитаго и трезваго работника, который долженъ считаться идеальнымъ въ Россіи, гдѣ такъ много «лишнихъ людей»... Но если таково и было, въ основѣ, его намѣреніе, то все же, инстинктивно, невольно, онъ осудилъ своего героя и всю его мудрую систему устами его несчастной жены, а затѣмъ осмѣялъ эту систему въ карикатурномъ образѣ «поумнѣвшаго», «оплѣшивѣвшаго» племянника.

Любопытно, что исканіе «сильнаго человѣка» въ 40—50-ые годы было такъ сильно въ русской литературѣ, что Бѣлинскій, преклонившійся передъ Онѣгинымъ и Печоринымъ, возславилъ и старшаго Адуева за его «дѣловитость».

В) Литературная дѣятельность Гончарова въ 60-ые годы.

„Обломовъ". § **47.** Романъ: «*Обломовъ*» *(Ист. хрест., т. III, вып. 1, стр. 154)* имѣетъ большое историческое значеніе. Появленіе въ печати этого произведенія «совпало съ могущественнымъ подъемомъ духа въ русскомъ обществѣ наканунѣ эпохи великихъ реформъ, когда повсюду раздавался протестъ противъ отжившаго общественнаго строя, противъ мертваго застоя, въ какомъ находилась до тѣхъ поръ наша жизнь» (Александровскій). Въ своемъ романѣ Гончаровъ далъ единственное, по широтѣ захвата, художественное обобщеніе барской дореформенной Россіи, и, благодаря этому, выяснилъ, въ чемъ коренились главнѣйшія причины неподвижности и апатіи нашего общества.

Много данныхъ представляетъ романъ и для того, чтобы судить о тлетворномъ вліяніи крѣпостного права на господъ и на рабовъ. немало матеріала даетъ онъ и для уясненія многихъ національныхъ чертъ русскаго народа.

И въ этомъ произведеніи Гончаровъ рисуетъ «исторію жизни» героя; шагъ за шагомъ, слѣдитъ онъ, какъ опытный естествоиспытатель, за тѣмъ, какъ борется «за существованіе» и какъ «приспособляется» къ обстоятельствамъ жизни душа его Обломова.

Пльюша. Ильюша въ дѣтствѣ былъ „рѣзвый", подвижной мальчикъ,— „юла", какъ въ сердцахъ называла его нянька. Его трудно было одѣть, такъ какъ онъ былъ вѣчно въ движеніи;—съ нимъ трудно было молиться, такъ какъ, во время молитвы, мальчикъ не могъ долго сосредоточиться и скоро отвлекался въ сторону. Въ жаркій, лѣтній день, когда все въ „Обломовкѣ" погружалось въ сонъ, онъ одинъ отдавался порывамъ своей неудержимой, живой натуры.

Его маленькій умъ отличался пытливостью: его интересовали вопросы, которыхъ разрѣшить не могли его близкіе,—они или отмалчивались, или говорили ему разный вздоръ. Между тѣмъ, воображеніе его работало энергично, и никто не старался ставить предѣловъ развитію этой душевной черты. Сказки няни уносили его въ волшебный міръ фантазіи... И вотъ, съ дѣтства онъ привыкъ мечтать о счастливой, волшебной странѣ, „съ медовыми рѣками и кисельными берегами".

Такимъ образомъ, воспитаніе его души шло неравномѣрно: живой его умъ, не имѣя пищи, постепенно, терялъ жизненность и охоту къ правильной работѣ, а воображеніе неудержимо развивалось за счетъ другихъ душевныхъ чертъ.

Его энергія тоже угасала, такъ какъ ее мертвилъ укладъ жизни въ родной Обломовкѣ. Мать и отецъ Ильюши вели вялое, сонное, однообразное существованіе; ихъ жизнь лишена была всякихъ душевныхъ движеній, всякихъ духовныхъ интересовъ и „потребностей"... „Новизны" боялись они пуще огня, и, напримѣръ, даже письмо, присланное по почтѣ, повергало ихъ въ ужасъ... Всѣ ихъ желанія сводились къ тому, чтобы растительное существованіе ихъ не было ничѣмъ нарушено, чтобы одинъ день походилъ на другой... Отъ всего остального міра отгородились они такимъ же „частоколомъ", который отдѣлялъ жизнь гоголевскихъ героевъ: Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны отъ всего міра: „ни одно желаніе не перелетало за этотъ

частоколъ". Обломовка, какъ и гнѣздо „старосвѣтскихъ помѣщиковъ",—совершенно особый мірокъ, который живетъ своими маленькими радостями и горестями,—мірокъ, далекій отъ треволненій широкой и свободной культурной жизни...

Самымъ характернымъ результатомъ такого умственнаго застоя было русское закоренѣлое невѣжество. Губительное вліяніе его на русскую жизнь отмѣчалось неразъ нашими писателями: и Гоголемъ въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ», и Тургеневымъ въ «Бѣжинѣ Лугѣ»... На эту черту указалъ и Гончаровъ въ «Обломовѣ»... Смерть старосвѣтскихъ помѣщиковъ явилась непосредственнымъ слѣдствіемъ того суевѣрія, которое поработило ихъ темный умъ, не просвѣщенный знаніемъ; герои тургеневской повѣсти тоже находятся во власти полуязыческаго натуралистическаго мистицизма,—и потому сама жизнь ихъ зависитъ отъ тѣхъ призраковъ, которыми пугаетъ ихъ собственная фантазія. Въ такомъ же мракѣ жили обыватели Обломовки: и они боялись сумрака ночи, вѣрили снамъ, примѣтамъ... Ихъ жизнь была темна и несвободна, безсодержательна и бездѣятельна...

Въ то время, какъ въ западно-европейскихъ сказкахъ и эпическихъ поэмахъ личность героя—всегда на первомъ планѣ, очерченная ярко и выпукло, подвиги его часто эффектны и кричащи, — у насъ популярнымъ сказочнымъ героемъ является Иванушка-Дурачокъ, который вооруженъ однимъ терпѣніемъ и смиреніемъ, и, фаталистъ въ душѣ, живетъ «на авось»... Иванъ-Царевичъ—тоже герой неяркій: только помощь волка, щуки, бабы-яги, или Василисы Премудрой, утѣшающей его словами: «спи, утро вечера мудренѣе!»—помогаетъ ему, безъ особыхъ усилій и хлопотъ, совершать свои нехитрые подвиги... Именно съ такой стороны характеризуетъ Гончаровъ русскія сказки, которыми питалось воображеніе Ильюши Обломова въ дѣтствѣ. Зато какъ велико было разочарованіе Обломова, когда впослѣдствіи онъ изъ міра сказочныхъ грезъ попалъ въ міръ дѣйствительности!

Обломовка. Крѣпостное право позволяло помѣщикамъ существовать, „палецъ о палецъ не ударяя". И они жили, день за днемъ, не заботясь о будущемъ: ѣда и спанье — ихъ главное занятіе... Какъ „старосвѣтскіе помѣщики", какъ Петръ Петровичъ Пѣтухъ и другіе герои „Мертвыхъ Душъ", они хозяйствомъ не занимались: всѣ ихъ заботы сосредоточивались около кухни и кладовой... О томъ, что поѣсть за обѣдомъ и за ужиномъ, совѣщались всѣмъ семействомъ,—совѣщались долго и серьезно, потому что ѣда въ этой убогой жизни была самымъ важнымъ дѣломъ. Ѣли по нѣскольку разъ въ сутки, спали до одурѣнія, а въ свободное отъ ѣды и спанья время слонялись безъ дѣла, молчали, зѣвали, или перебирали въ своей памяти мелочи давно-минувшаго времени...

Родители Ильюши были добрые люди, и крѣпостныхъ своихъ не истязали... Тѣмъ не менѣе, крѣпостное право и въ этомъ „спокойномъ" уголкѣ сказалось во всей своей отвратительной наготѣ... И заслуга Гончарова заключается въ томъ, что онъ сумѣлъ разсмотрѣть то зло, которое, напримѣръ, проглядѣлъ Гоголь въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ" — развращающее вліяніе крѣпостничества на самихъ помѣщиковъ: жизнь „на чужой счетъ" убила въ Обломовыхъ самодѣятельность, убила потребность трудиться, уничтожила стремленіе ихъ къ знанію, всякое движеніе впередъ—и, въ концѣ концовъ, самихъ „рабовладѣльцевъ" сдѣлала „рабами своихъ рабовъ": безъ Захарокъ, Сенекъ, Ванекъ—всѣ эти владыки, властные надъ жизнью и смертью своихъ крѣпостныхъ, оказываются безсильны и безпомощны.

И вотъ такимъ „рабомъ" выросъ Ильюша... Добрые, сердечные, родители вложили въ душу ребенка присущія имъ качества: чистоту душевную, голубиное беззлобіе и честность... Но духовное убожество ихъ, „рабство" ихъ

души, оставшееся имъ въ наслѣдство отъ дѣдовъ и отцовъ, наложило и на душу юнаго Обломова свою печать. И вотъ, въ концѣ концовъ, изъ живого, подвижного мальчика-„юлы“— онъ, мало-по-малу, обратился въ откормленнаго, толстаго увальня... Его пытливый умъ поблекъ... Рабство физическое и духовное,—вотъ, къ чему обстоятельства жизни привели этого Митрофана XIX-го столѣтія.

Въ мягкой, сердечной атмосферѣ семейной жизни Обломовыхъ не было данныхъ для того, чтобы эгоизмъ мальчика принялъ такой звѣрскій, скотскій характеръ, какъ у фонвизинскаго Митрофана: у Обломова этотъ эгоизмъ, безобидный и добродушный, выразился въ переоцѣнкѣ своей личности,—въ убѣжденіи, что весь міръ долженъ служить ему...

Когда пришло время учиться, его отдали въ науку къ сосѣду-нѣмцу Штольцу... Но, при всей своей нѣмецкой добросовѣстности, не могъ Штольцъ исправить въ Обломовѣ то, что создавалось годами — къ тому же и „Обломовка“ была по сосѣдству, и тлетворныя вліянія ея всегда сказывались на ребенкѣ, да и родители Ильюши на образованіе смотрѣли еще глазами Простаковыхъ: для нихъ ученіе было только „неизбѣжнымъ зломъ“ [1]). Понятно, что уваженія къ знанію они не могли привить ребенку. Наоборотъ, они внушили ему страхъ и ненависть къ книгѣ, къ ученію... Какъ Простакова всячески „облегчала“ своему сынку трудное дѣло накопленія знаній, такъ и Обломовы дѣлали то же самое: мальчика не посылали къ учителю „нѣмцу“ подъ разными предлогами,—задерживали его дома, то въ виду близости чьихъ-нибудь именинъ, то подъ предлогомъ нездоровья, а то просто потому, что собирались печь блины...

Но вліяніе „нѣмца“-Штольца все-таки оставило свои слѣды на душѣ мальчика; особенно, въ этомъ отношеніи, было значительно вліяніе его сына Андрея, который учился и воспитывался вмѣстѣ съ Ильюшей. Онъ—полная противоположность Обломову.

Андрей Штольцъ.

Отецъ далъ Андрею столько знаній, сколько могъ, — но, обогативъ его разумъ, онъ не забылъ и его сердца: онъ далъ ему ясное понятіе о томъ, что добро, что зло. Онъ постарался сдѣлать изъ сына трезваго, энергичнаго работника и содѣйствовалъ свободному развитію его личности, не мѣшая „самоопредѣленію“ юноши. Сухость и методичность отца-нѣмца смягчились въ сердцѣ Андрюши вліяніемъ русской матери, которая сумѣла привить ему мягкость своей души, сумѣла облагородить душу сына тонкимъ эстетическимъ развитіемъ. И вотъ, изъ юноши выработалась „свободная личность“, съ трезвымъ и, въ то же время, свободнымъ и разностороннимъ взглядомъ на міръ: умъ и чувства были уравновѣшены; энергіи и силы воли былъ у него большой запасъ, страха передъ жизнью не было... Жизнерадостный и бодрый, онъ легко завоевалъ себѣ жизнь...

Обломовъ въ жизни.

Не могъ Ильюша Обломовъ не замѣтить въ жизни своего учителя-нѣмца и его сына, Андрея, чего-то такого, что разительно противорѣчило нравамъ родной Обломовки. Натура Ильюши, испорченная „обломовщиной“, неудержимо влекла его въ родную деревню, гдѣ было такъ сытно, тепло и спокойно,—но сознаніе его, разбуженное уроками „нѣмца“ и вліяніемъ энергичнаго друга Андрея, указывало, что счастье— въ трудѣ, въ борьбѣ,—что это счастье можно найти только въ культурной жизни. Такой раздвоенности не было у родителей Обломова: они спокойно и самодовольно существовали, и сознаніе ихъ молчало. Обломовъ—сравнительно съ ними уже „новый человѣкъ“, сознавшій необходимость служить людямъ и трудиться... И вотъ, вмѣстѣ со Штольцемъ, онъ поступаетъ въ Московскій университетъ, увлекается наукой, восторгается Шиллеромъ, Гете и Байрономъ... Повидимому, идеалистическія стремленія 30—40-ыхъ годовъ оказали

---

[1]) Такъ смотрѣли на „знаніе“ и московскіе люди XVI — XVII в.: знаніе было имъ нужно для дипломатическихъ сношеній,—и они, скрѣпя сердце, изучали латинскій языкъ; знаніе имъ было нужно, чтобы исправлять книги, лить пушки, строить крѣпости—и они заводили у себя различные виды знанія по мѣрѣ того, какъ въ нихъ нарасталъ спросъ.

свое воздѣйствіе и на него... По словамъ автора, въ это время юноша „сгоралъ отъ жажды труда, стремился къ далекой, но обаятельной цѣли“, хотѣлъ служить человѣчеству, былъ преисполненъ желаніемъ „блага, доблести, дѣятельности“.

Все время пребыванія его въ университетѣ было въ его жизни могучимъ порывомъ вдохновенія, который, однако, пронесся надъ его душой, не слившись съ нею органически: „у него между наукой и жизнью лежала цѣлая бездна, которой перейти онъ не рѣшался. Жизнь у него была сама по себѣ, а наука сама по себѣ“. Поэтому, въ жизнь вступаетъ онъ съ раздвоенной душой: въ ней—основы наслѣдственныя, „обломовскія“, а сверху налетъ культуры, идеалистическихъ увлеченій, вліяніе Штольца и университета... Что одержитъ верхъ?.. Обломовъ сознаетъ, что у него есть какія-то обязанности по отношенію къ родинѣ и къ крестьянамъ, — и, вотъ, онъ мечтаетъ о переустройствѣ жизни на новыхъ, лучшихъ, болѣе гуманныхъ началахъ; онъ даже принимается за сочиненіе „плана“ такого переустройства, но этотъ временный порывъ энергіи скоро у него погасаетъ, окончить этотъ „планъ“, тѣмъ болѣе осуществить его, онъ оказывается не въ силахъ, такъ какъ мало у него воли и знанія... И, въ концѣ концовъ, наслѣдственныя вліянія родной Обломовки восторжествовали... Если у Рудина расходились „слово“ и „дѣло“, то у Обломова расходятся „мысль“ и „дѣло“.

И это сознаніе мучитъ его: онъ видитъ свою ненужность; онъ безъ пощады критикуетъ себя, но передѣлать себя и своей жизни онъ не въ силахъ: рѣшительнаго шага онъ боится, такъ какъ душа его воспитана въ рабскомъ страхѣ передъ жизнью... Пробовалъ онъ служить, для этого поѣхалъ въ Петербургъ, потому что, подобно Тентетникову, Адуевымъ, и онъ думалъ, что служить стоитъ только въ Петербургѣ... Но здѣсь ждало его то же разочарованіе, которое раньше познали въ столицѣ его предшественники. Баричъ, привыкшій къ лѣни и избалованный общимъ поклоненіемъ, онъ думалъ, что въ департаментѣ онъ встрѣченъ будетъ, какъ въ Обломовкѣ,—что и здѣсь имъ всѣ будутъ восхищаться, всѣ будутъ носить его на рукахъ, что счастье улыбнется ему, и безъ усилій, какъ сказочный Иванъ-Царевичъ, овладѣетъ онъ и Жаръ-Птицей, и Царь-Дѣвицей, и легко облагодѣтельствуетъ родной край... Но холодно и безстрастно встрѣтилъ его казенный Петербургъ: вмѣсто сердечности, увидѣлъ онъ здѣсь формализмъ. И скоро заскучалъ Обломовъ въ Петербургѣ, бросилъ службу, залегъ на диванъ въ своей квартирѣ на Гороховой,—и погасъ порывъ его благороднаго желанія служить родинѣ... Онъ пересталъ выѣзжать, ничѣмъ не интересовался, „перепалзывалъ изо дня въ день“, прозябая въ совершенномъ бездѣльѣ... Работало, по-прежнему, неудержимо лишь его воображеніе: не двигаясь съ мѣста, мечталъ онъ о великихъ подвигахъ, о славѣ... Въ первое время пребыванія своего въ Петербургѣ онъ еще читалъ серьезныя книги, даже самъ что-то переводилъ, но потомъ все забросилъ, пересталъ читать и писать... Но трудно было въ шумномъ, суетливомъ Петербургѣ устроить блаженную „Нирвану“,—полусонъ безъ желаній, стремленій и волненій: къ нему приходили знакомые; они приносили ему разныя вѣсти... То узнавалъ онъ, что надо платить по счету, то говорили ему, что надо мѣнять квартиру, то „огорчалъ“ его чѣмъ-нибудь облѣнившійся Захаръ. „Жизнь трогаетъ!“—жаловался Обломовъ. Эта боязнь „жизни“ медленно, но вѣрно вела его къ неизбѣжной „смерти“...

Вліяніе Штольца.

§ **49**. И вотъ, на пути его еще разъ встаетъ энергичный, жизнерадостный Андрей Штольцъ... Онъ оживилъ вялое существованіе своего друга дѣтства,—воскресилъ его и воодушевилъ спасительнымъ вліяніемъ своей порывистой, кипучей натуры.

Штольцъ искренно любилъ Обломова за его душевную чистоту, за его сердечность и нѣжность. Онъ видѣлъ въ немъ „хрустальную душу“, неспособную ни на что грязное, низкое... Онъ цѣнилъ и умъ Обломова,—не тотъ житейскій, практическій умъ, которымъ былъ богатъ онъ самъ и гоголевскіе герои Костанжогло и П. И. Чичиковъ,—а широкій, свѣтлый, способный и на критику дѣйствительности, и на широкія обобщенія... Этотъ умъ Обломова сказывается въ правильной оцѣнкѣ ничтожности человѣческихъ стремленій, которыя выражаются въ чиновничьемъ карьеризмѣ (бесѣда Обломова съ Судьбинскимъ), въ осужденіи пустой свѣтской жизни (бесѣда Обломова съ свѣт-

скимъ молодымъ человѣкомъ—Волковымъ). Этотъ умъ, всего яснѣе, выражается въ тѣхъ взглядахъ на значеніе литературы, которые высказываетъ Обломовъ въ разговорѣ съ Пенкинымъ, писателемъ-реалистомъ, считающимъ единственною цѣлью литературы полное, точное воспроизведеніе дѣйствительности, какова бы она ни была. Обломова возмущаетъ такое узкое и невѣрное пониманіе цѣлей искусства, и онъ энергично нападаетъ на такихъ писателей [1]), которые только фотографируютъ жизнь, или „караютъ падшаго" „смѣхомъ презрѣнія".. Въ спорѣ съ нимъ Обломовъ даже разгорячился...

„Изобрази вора, падшую женщину, надутаго глупца, да и *человѣка* тутъ же не забудь!.. Гдѣ же *человѣчность*-то?.. Вы одной головой хотите писать?"—почти шипѣлъ Обломовъ,—„вы думаете, что для мысли не надо сердца?.. Нѣтъ, она оплодотворяется любовью!.. Протяните руку падшему человѣку, чтобы поднять его, или горько плачьте надъ нимъ, если онъ гибнетъ, а не глумитесь. Любите его, помните въ немъ самого себя и обращайтесь съ нимъ, какъ съ собою,—тогда я стану васъ читать, и склоню передъ вами голову"... ...„Извергнуть изъ гражданской среды!"—вдругъ заговорилъ вдохновенно Обломовъ, вставъ передъ Пенкинымъ,—„это значитъ забыть, что въ этомъ негодномъ сосудѣ присутствовало высшее начало; что онъ—испорченный человѣкъ, но все же — *человѣкъ* же, то есть—вы сами... Извергнуть!.. А какъ вы извергнете его изъ круга человѣчества, изъ лона природы, изъ милосердія Божія?"—почти крикнулъ онъ съ пылавшими глазами.

Конечно, не изъ стѣнъ университета вынесъ Обломовъ эти мысли о милосердіи Божіемъ къ падшему человѣку. Этому научила его та Обломовка, которая сохранила въ полной неприкосновенности многія святыя чувства и настроенія старины... Русская простонародная гуманность, сказавшаяся въ сердечномъ отношеніи къ «несчастненькимъ», которыхъ, съ точки зрѣнія суроваго закона, именуютъ «преступниками», сказалась въ этихъ рѣчахъ Обломова. Въ такой гуманности, освященной религіей, есть высокая національная разумность,—именно ее въ Обломовѣ и цѣнилъ Штольцъ... Вѣдь самъ онъ былъ человѣкомъ «полурусскимъ», самъ онъ носился и возился съ Обломовымъ потому, что этого «лишняго человѣка» нельзя было «извергнуть изъ круга человѣчества, изъ лона природы, изъ милосердія Божія!»... Недаромъ, въ уста своего героя вложилъ Гончаровъ вышеприведенныя слова, которыя характерны для всей новой русской литературы. Доказательству истины этихъ великихъ словъ посвятилъ свою литературную дѣятельность одинъ изъ самыхъ національныхъ русскихъ писателей—Достоевскій. Эти слова освѣщали и освѣщаютъ жизнь лучшихъ русскихъ людей еще со временъ древней Руси (Владиміръ Мономахъ, Ѳеодосій Печерскій и мн. друг.); они сдѣлались идеаломъ всѣхъ великихъ русскихъ писателей «филантропическаго направленія» (Карамзинъ—«Бѣдная Лиза», Пушкинъ—«Капитанская дочка», Гоголь—«Шинель» и мн. др.).

Энергично взялся Штольцъ за пробужденіе своего друга: онъ освободилъ его отъ цѣпкихъ рукъ разныхъ паразитовъ-плутовъ, онъ подтянулъ Захара, заставилъ самого Обломова жить общественной жизнью; для освѣженія его души познакомилъ его съ Ольгой.

Ольга. Ольга, по духу, близка къ тургеневскимъ героинямъ: Еленѣ и Наташѣ. Это—сильная дѣвушка, которая не боится жизни. Ея ясный и свободный умъ помогаетъ ей разбираться въ людяхъ и въ случайностяхъ

---

[1]) Въ этихъ словахъ Пенкина мы узнаемъ пристрастье людей 60-хъ годовъ къ утилитарному взгляду на поэзію, отвращеніе къ „чистому искусству", увлеченіе естествознаніемъ („физіологія общества"—ср. сборникъ Некрасова: „Физіологія Петербурга"), гражданскими мотивами (обличеніе недостатковъ общественной жизни) и презрительное отношеніе къ идеалистическимъ и моральнымъ тенденціямъ.

жизни. Неудовлетворенная пошлостью и банальностью свѣтской жизни, со всѣми ея предразсудками и приличіями, она хочетъ сама устроить свою жизнь такъ, чтобы и ей самой дышалось легко, и окружающимъ ее было хорошо. Эта самостоятельность—характерная ея черта, выгодно отличающая ее отъ тургеневскихъ Наташи и Елены, которыя обѣ нуждаются въ „вождяхъ“. Штольцъ рекомендовалъ ей Обломова съ самой хорошей стороны; лѣнь, неподвижность Обломова онъ вышутилъ,—очевидно, этимъ чертамъ не придавая еще особаго рокового значенія, а свѣтлыя стороны его души онъ выхвалилъ. Онъ постарался заинтересовать Ольгу Обломовымъ, потому что считалъ полезнымъ для своего друга вліяніе этой умной, энергичной и доброй дѣвушки.

Познакомившись съ Обломовымъ, самостоятельно заглянувъ въ его душу, Ольга убѣдилась, что характеристика, сдѣланная Штольцемъ, вѣрна,—что Обломовъ, дѣйствительно,—„добрый, умный, нѣжный, благородный человѣкъ“... И, тогда, въ ея умной головкѣ зародилась гордая мечта — сдѣлать „дѣло“: вернуть на плодотворное поприще культурной жизни этого „хорошаго“ человѣка, который только на время, какъ ей показалось, уклонился отъ общей человѣческой работы... Сперва добродушнымъ смѣхомъ, потомъ задушевной лаской, даже кокетствомъ, она, дѣйствительно, на время вдохновила Обломова, который еще находился въ эту пору подъ вліяніемъ Штольца, Обломовъ не только воскресъ духовно, но даже испыталъ, новое для себя, чувство—*любовь* къ Ольгѣ. И она тоже полюбила его... Но въ ея любви была какая-то снисходительность, что-то въ родѣ материнской любви къ ребенку, выздоровѣвшему послѣ болѣзни. Это не была страсть, подчиняющая человѣка человѣку...

У Обломова еще съ дѣтства былъ большой запасъ эгоизма,—и этотъ эгоизмъ проявился въ его чувствахъ къ Ольгѣ. Зашевелился въ его сердцѣ и червь честолюбія: ему захотѣлось разыграть роль „побѣдителя“ Ольги—изъ дѣтскихъ сказокъ вспомнился, быть можетъ, Иванъ-Царевичъ, овладѣвшій Царь-дѣвицей... Изъ этой „игры“, однако, произошло то, что Ольга была имъ оскорблена. Но это недоразумѣніе кое-какъ уладилось,—гораздо хуже было то, что Ольгѣ скоро пришлось убѣдиться въ неизлечимости лѣни Обломова... И съ горечью поняла она, что ея самоотверженная любовь не спасетъ его. Сначала Обломова утомила эта любовь, съ неизбѣжными свиданіями, частыми посѣщеніями Ольги; потомъ испугала его предстоящая свадьба, съ хлопотами и безпокойствами... Наконецъ, временный недостатокъ денегъ и... ледоходъ на Невѣ... Все это ослабило, а потомъ убило его энергію... Переселившись на Выборгскую сторону, попавъ опять въ атмосферу родной Обломовки, онъ безъ борьбы отдался прежней жизни; со страхомъ, обманывая себя и Ольгу, упорно гналъ онъ отъ себя свою чистую любовь... Ольга поняла своего героя, поняла, что его лѣнь—не комическая, а трагическая черта его души. Поняла она и то, что сама переоцѣнила свое къ нему чувство.

Штольцъ.

Разочаровавшись въ Обломовѣ, она выходитъ замужъ за Штольца, который представляетъ собою полную противоположность Обломову. Человѣкъ энергичный, самостоятельный, безъ сомнѣній и колебаній, живущій вѣчно-неустанной дѣятельностью, Штольцъ (подобно Костанжогло) девизомъ своей жизни выбралъ вѣру въ то, что „трудъ—содержаніе, стихія и цѣль жизни“!.. Бодрый и жизнерадостный, онъ и въ зрѣломъ возрастѣ остался такимъ же „мудрымъ юношей“, какимъ онъ вышелъ изъ отцовскаго дома. У него былъ ясный, простой взглядъ на жизнь,—онъ зналъ количество человѣческихъ силъ и тратилъ ихъ ровно, въ мѣру... „Не видали, чтобъ онъ задумывался надъ чѣмъ-нибудь болѣзненно и мучительно: повидимому, его не пожирали угрызенія утомленнаго сердца, не болѣлъ онъ душой, не терялся въ сложныхъ, или трудныхъ обстоятельствахъ“... Въ умѣніи владѣть собой, своими настроеніями, онъ дошелъ до такой виртуозности, что, „кажется, и печалями, и радостями онъ управлялъ, какъ движеніемъ рукъ, какъ шагами ногъ“... Вотъ почему не могла быть съ нимъ вполнѣ счастлива Ольга,—этотъ живой человѣкъ, надѣленный богатымъ запасомъ неизрасходованной страсти, и поэзіи, и фантазіи... И Гончаровъ ясно даетъ понять своимъ читателямъ, что спокойная жизнь, съ уравновѣшеннымъ Штольцомъ, не совсѣмъ удовлетворила ея мятежное сердце: какая-то тревога и тоска волнуютъ,

время-отъ-времени, ея душу,—„будто, ей мало было счастливой жизни, будто, она устала отъ этой жизни и требовала еще новыхъ, небывалыхъ явленій, заглядывала еще дальше впередъ".

Штольцъ благоденствовалъ и торжествовалъ побѣду надъ жизнью, которую онъ одержалъ во имя своей мудрой вѣры въ спасительную силу „труда", а Обломовъ медленно угасалъ, безъ борьбы и безъ ропота, „постепенно укладываясь въ простой и широкій гробъ своего существованія, сдѣланный собственными руками, какъ старцы-пустынники, которые, отвратясь отъ міра, копаютъ себѣ могилу"...

И Штольцъ ничего уже подѣлать съ Обломовымъ не могъ: ему оставалось только навсегда проститься съ Обломовымъ, — этимъ олицетвореніемъ отжившаго, стараго времени...

„Погибъ ты, Илья!"—сказалъ ему Штольцъ.—„Нечего тебѣ говорить, что твоя Обломовка—не въ глуши больше, что до нея дошла очередь, что на нее пали лучи солнца... Что года черезъ четыре она будетъ станціей дороги, что мужики твои пойдутъ работать насыпь, а потомъ по чугункѣ покатится твой хлѣбъ къ пристани... А тамъ школы, грамота, а дальше... Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой вѣкъ!"

Захаръ. Любопытный типъ „дворового", испорченнаго съ дѣтства бездѣліемъ лакейской, а затѣмъ отравленнаго городской „культурой", — представляетъ собою Захаръ, очень напоминающій гоголевскаго Осипа. Захаръ въ той же мѣрѣ, какъ и его баринъ, является результатомъ „крѣпостного права" [1]): всѣ эти Сеньки, Захарки съ утра до ночи иногда ничего не дѣлали, изнѣнивались и развращались... На крестьянъ-работниковъ они пріучались смотрѣть съ презрѣніемъ, перенимали отъ господъ ихъ барскія замашки, гордились своимъ положеніемъ... Таковъ былъ и Захаръ: съ дѣтства приставленный къ Обломову, онъ готовъ былъ въ трудную минуту душу свою положить за него, и въ же время заглазно злословилъ на него, въ глаза грубилъ ему, и лгалъ... Обломовская лѣнь возведена была Захаромъ въ „принципъ", въ традицію—и свое „право" „ничего не дѣлать" онъ отстаивалъ съ убѣжденіемъ. Послѣ смерти своего барина онъ предпочитаетъ просить милостыню на паперти церковной, чтобы только не работать.

Историческое значеніе романа. § **50.** Въ заключительныхъ словахъ романа («Прощай, старая Обломовка»...) выяснено все историческое значеніе романа. Онъ созданъ былъ, какъ выраженіе одного изъ интересныхъ историческихъ моментовъ русской жизни,—момента, когда, подъ вліяніемъ «новыхъ вѣяній», еще одинъ «надломъ» сдѣлала русская жизнь. Такихъ «надломовъ» много замѣтимъ мы въ прошломъ русской исторіи... Литература, поэзія всегда отмѣчала ихъ: авторъ «Слова о Полку Игоревѣ» прощался съ славной стариной и грустилъ, видя, что эта старина «надломилась»... Русскіе люди временъ Грознаго видѣли въ своей жизни такой же надломъ прошлаго и пытались укрѣпить «поисшатавшуюся старину». Протопопъ Аввакумъ грустно и безнадежно простился съ «послѣдней Русью»... Потомъ, въ XVIII-омъ вѣкѣ, жизнь рвется все быстрѣе впередъ,—сторонниковъ старины дѣлается все меньше... И вотъ, устами Стародума, проявленія старины названы уже «злонравія достойными плодами». Карамзинъ въ «Письмахъ русскаго путешественника» рекомендуетъ «свернуть голову» этой старинѣ... На ней поставилъ крестъ Чаадаевъ въ своихъ «Письмахъ»; устами Лаврецкаго простился Тургеневъ съ ненужнымъ прошлымъ и привѣтствовалъ будущее молодое поколѣніе. «Обломовщиной» назвалъ Гончаровъ остатки этой прежней жизни, которые дожили до 60-ыхъ годовъ XIX-го вѣка...

---

[1]) Судя по „запискамъ" начала XIX-го вѣка, дворяне, жившіе въ деревнѣ, держали при себѣ всегда много дворовыхъ... Чѣмъ было ихъ больше, тѣмъ считалось больше чести помѣщику. Иногда у помѣщика, имѣвшаго 500 душъ, дворни насчитывалось до 150 душъ.

Энергичному Штольцу одному мудрено было справиться съ этой стариной,—да и не все въ ней было худо... И Гончаровъ, рисуя жизнь Обломовки и душу ея питомца, Ильи Ильича,—быть можетъ, самъ противъ воли, нарисовалъ и въ жизни Обломовки, и въ душѣ Обломова много хорошаго, свѣтлаго,—такого, чего не замѣнишь однимъ утилитаризмомъ...

На такой чисто-утилитарной точкѣ зрѣнія стоялъ Добролюбовъ, который въ своей знаменитой статьѣ: «Что такое обломовщина» *(Ист. хрест., ч. III, вып. 4, стр. 151)* выяснилъ только съ этой стороны историческое значеніе романа. Онъ сопоставилъ съ Обломовымъ Онѣгина, Печорина, Бельтова, Рудина,—всѣхъ «лишнихъ людей», оторванныхъ отъ русской почвы, чуждыхъ родинѣ, и, сблизивъ ихъ съ Обломовымъ, указалъ, что все это—родные братья, что всѣ они страдаютъ однимъ общимъ недугомъ, сущность и симптомы котораго лучше всего опредѣлены Гончаровымъ. Этотъ недугъ—«обломовщина». Слабость воли, пассивное отношеніе къ дѣйствительности, наклонность къ созерцательной жизни, внутренній разладъ и лѣнь безпредѣльная,—вотъ, главные признаки этого недуга. Источникъ его вѣрно указанъ Гончаровымъ: въ вѣковѣчномъ рабствѣ русскаго духа, лишеннаго знанія и самодѣятельности; главная причина этого рабства—«крѣпостное право». Такимъ образомъ, Добролюбовъ увидѣлъ въ Обломовѣ—1) представителя стараго крѣпостническаго барства, выродившагося и умирающаго подъ вліяніемъ ненормальной бездѣятельной жизни, и—2) носителя такихъ чертъ, которыя сдѣлались характерными для нѣсколькихъ поколѣній русской интеллигенціи. Добролюбовъ не остановился на положительныхъ чертахъ души Обломова,—на тѣхъ, которыя могутъ быть признаны «національными», и которыя начали складываться еще въ эпоху древней Руси и сохранились до новаго времени не только въ простонародьѣ и купечествѣ, но даже въ «дворянскихъ гнѣздахъ» XIX ст. Выше было указано, какъ сказались эти историческія черты въ образѣ Обломова.

Литературное значеніе романа.

Литературное значеніе романа огромно: по ширинѣ и глубинѣ обобщенія, оно, можно сказать, единственное въ русской литературѣ. Не впадая въ тенденціозность, оставаясь все время художникомъ-реалистомъ, Гончаровъ свой великій замыселъ—обличеніе русской вѣковой «обломовщины»—воплотилъ въ такой живой и правдивый образъ Обломова, въ которомъ совсѣмъ не видно никакой надуманности и отвлеченности [1]).

Романъ написанъ удивительно объективно: личность автора, его симпатіи и антипатіи, скрыты безстрастнымъ изложеніемъ жизни героя. Еще Бѣлинскій, критикуя романъ Гончарова: «Обыкновенная исторія», отмѣтилъ эту черту его таланта, сказавъ:

„У него нѣтъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ—они его ни веселятъ, ни сердятъ; онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю; это—поэтъ-художникъ и больше ничего".

Добролюбовъ въ такихъ словахъ характеризовалъ эту же особенность манеры письма Гончарова:

„Онъ ничѣмъ не увлекается исключительно, или увлекается всѣмъ одинаково. Слѣдствіемъ этого является въ немъ болѣе спокойное и безпристрастное отношеніе къ изображаемымъ предметамъ, большая отчетливость

---

[1]) Этой „надуманностью" страдаетъ, напримѣръ, образъ Штольца, а также положительные герои Гоголя (Муразовъ, Улинька и др.).

въ очертаніи даже мелочныхъ подробностей и равная доля вниманія ко всѣмъ частностямъ разсказа“ [1]).

Удивительная объективность изложенія дѣлаетъ Гончарова писателемъ эпическимъ по преимуществу... Не допуская совсѣмъ лирическихъ отступленій въ своемъ повѣствованіи, спокойно повѣствуетъ онъ, задерживаясь подолгу на самыхъ детальныхъ описаніяхъ подробностей быта и на жанровыхъ картинахъ («Сонъ Обломова»).

Романъ этотъ находится въ тѣсной связи и съ жизнью самого автора, и со многими предшествующими произведеніями русской литературы.

Критики-біографы неразъ уже указывали, что Гончаровъ и въ «Обыкновенной исторіи», и въ «Обломовѣ» многое писалъ на основаніи личныхъ воспоминаній о своемъ дѣтствѣ (жизнь въ деревнѣ) и о своей юности (служба въ Петербургѣ). Но можно думать, что и нѣкоторыя типичныя черты своихъ героевъ, Адуева и Обломова, списалъ онъ съ себя, — по крайней мѣрѣ, въ своихъ «Воспоминаніяхъ», въ описаніи своего путешествія («Фрегатъ Паллада»)—онъ всегда рисуетъ себя человѣкомъ, любящимъ покой, отстраняющимся отъ всякихъ тревогъ. Такимъ былъ онъ и на самомъ дѣлѣ. Это доказываетъ его одинокая старость, отчужденность его отъ интересовъ времени...

Изъ литературныхъ учителей своихъ больше всего Гончаровъ долженъ быть благодаренъ Гоголю: многіе образы, сцены и положенія въ его произведеніяхъ заимствованы были у Гоголя: такъ, на чертахъ Обломова замѣтнѣе всего сказалось вліяніе Тентетникова (дѣтство и юность, служба въ Петербургѣ, прозябаніе въ деревнѣ, мечтательность и идеализмъ), затѣмъ Подколесина (нерѣшительность, подчиненіе чужой волѣ, боязнь женитьбы), «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ» (ихъ растительная, сонная жизнь); на Захарѣ сказалось вліяніе Осипа («Ревизоръ»), отчасти Степана («Женитьба»); на Тарантьевѣ отчасти сказалось вліяніе Кочкарева. Штольцъ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, является повтореніемъ Костанжогло.

„Обрывъ“ и апоѳеозъ старины.

Съ рѣзкой критикой на русскую жизнь не только 60-ыхъ, но даже 40-ыхъ годовъ, выступилъ Гончаровъ въ послѣднемъ своемъ крупномъ произведеніи: „*Обрывъ*“. Выше было указано, какъ люди 40-ыхъ годовъ отставали, мало-по-малу, отъ времени по мѣрѣ того, какъ „новая жизнь“ вступала въ свои права... Эта отчужденность отъ „новой жизни“ сказалась и у Тургенева; еще рѣзче и яснѣе выразилась она у Гончарова. Привѣтствуя „новую жизнь“ въ лицѣ Штольца и гибель старой, въ лицѣ Обломова, въ своемъ послѣднемъ романѣ онъ старается идеализировать старину, выдвигаетъ на первое мѣсто то доброе, свѣтлое, на что въ „Обломовѣ“ можно было найти лишь намеки. Въ лицѣ бабушки Татьяны Марковны и ея воспитанницы—Марѳиньки возславлены тѣ добрыя русскія начала, которыя исказились у насъ, по мнѣнію автора, подъ вліяніемъ 40-ыхъ и особенно 60-ыхъ годовъ.

Такимъ образомъ, романъ „Обрывъ“ имѣетъ такое же боевое значеніе, какъ „Дымъ“ и „Новь“ Тургенева. Вотъ почему этотъ романъ Гончарова не отличается уже такой художественной объективностью, какъ „Обломовъ“: въ немъ много надуманности, даже тенденціозности...

---

[1]) См. подробнѣе эту статью въ *Ист. хрест., т. III*, вып. 4, стр. 151; о женскихъ типахъ въ произведеніяхъ Гончарова—тамъ же статью Писарева, стр. 185.

А. Н. Островскій (1823—1886).

(Ист. хрест., т. III, вып. I, стр. 226—273*).*

Біографія.

§ **52**. Александръ Николаевичъ Островскій родился въ Москвѣ 31-го марта 1823 г. Отецъ его сперва служилъ мелкимъ чиновникомъ, а потомъ, оставивъ казенную службу, сдѣлался „ходатаемъ“ по разнымъ частнымъ дѣламъ въ судахъ. Такъ какъ дѣла велъ старикъ-Островскій исключительно съ мѣщанами, да купцами, то сынъ его, будущій драматургъ, съ дѣтства могъ безъ труда сдѣлать много любопытныхъ наблюденій надъ характерными сторонами этого міра. Жилъ его отецъ въ одномъ изъ глухихъ переулковъ Замоскворѣчья. Здѣсь жизнь текла своеобразная, сохранявшая всѣ существенныя черты стариннаго строя... Такимъ образомъ, „темное царство“, обличителемъ котораго сдѣлался впослѣдствіи Островскій, окружало его съ дѣтства.

Но образованіе спасло юношу и „свѣтлымъ лучомъ“ освѣтило „тьму“ окружавшей его обстановки. Отецъ отдалъ его сперва въ гимназію, потомъ въ университетъ; впрочемъ, высшаго заведенія кончить Островскому не удалось, и онъ въ 1843-мъ году поступаетъ на службу, сначала въ Совѣстный Судъ, потомъ въ Московскій Коммерческій Судъ. Здѣсь, Островскій опять сталкивается съ характерными чертами русскаго быта,—главнымъ образомъ, купеческаго и чиновнаго.

Первое произведеніе Островскаго написано въ 1846-мъ году („Семейная картинка“). Въ 1849-мъ году онъ оканчиваетъ свою вторую комедію: „Банкротъ“, впослѣдствіи переименованную въ—„Свои люди—сочтемся“. Это произведеніе принесло молодому писателю громкую славу; онъ читалъ свою комедію въ различныхъ литературныхъ салонахъ и въ свѣтскихъ гостиныхъ, и вездѣ она встрѣчена была похвалами. Одинъ изъ критиковъ (кн. Одоевскій), восхищенный этой комедіей, поставилъ ее рядомъ съ классическими произведеніями русской литературы: „Недорослемъ“, „Горемъ отъ ума“ и „Ревизоромъ“.

Особенно сблизился Островскій въ Москвѣ съ славянофилами и съ погодинскимъ кружкомъ; говорятъ даже, что подъ ихъ вліяніемъ, написалъ онъ свою комедію: „Бѣдность не порокъ“, въ которой сумѣлъ, въ лицѣ Любима Торцова, идеализировать русскаго человѣка, „русскую душу“... Любовью къ старинному укладу жизни, къ народной пѣснѣ и къ русскимъ обычаямъ—проникнуто это произведеніе. Потомъ настроенія русскаго общества наканунѣ эпохи великихъ реформъ 60-ыхъ годовъ, когда „чиститься“ сталъ русскій народъ, увлекли его своимъ критицизмомъ: тогда онъ ясно созналъ свое назначеніе драматурга-сатирика, указывающаго русскимъ людямъ на то зло, съ которымъ надо было имъ бороться.

Изъ крупныхъ произведеній его, относящихся къ 60-мъ годамъ, слѣдуетъ назвать, прежде всего, драму: „Гроза“ (1860)—произведеніе, въ которомъ нарисовалъ онъ „темное царство“ не только со смѣшной, но и съ трагической стороны. Въ основу этого произведенія легло дѣйствительное событіе, о которомъ узналъ Островскій въ 1856-омъ году, когда онъ, по предложенію правительства, вмѣстѣ съ другими выдающимися писателями того времени, командированъ былъ изучать условія жизни и черты быта жителей сѣвернаго Поволжья. Сближеніе съ жизнью этой части Великороссіи приблизило Островскаго къ русской природѣ, къ русскому народному творчеству; въ это время онъ заинтересовался также и остатками родной старины, краснорѣчивыми памятниками прожитыхъ историческихъ бурь и тревогъ... И вотъ, творчество Островскаго, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ этихъ интересовъ, захватываетъ теперь болѣе широкіе горизонты... Онъ пишетъ рядъ историческихъ хроникъ, подражая пушкинскому „Борису Годунову“ („Козьма Мининъ“, „Дмитрій Самозванецъ“, „Тушино“),—пишетъ фантастическую сказку въ драматической формѣ: „Снѣгурочка“, и драму изъ народной жизни, связанную съ преданіями Поволжья: „Воевода, или Сонъ на Волгѣ“.

Въ послѣдній періодъ своей дѣятельности (70—80-ые годы) Островскій, въ своихъ комедіяхъ и драмахъ, изображаетъ не только бытъ купеческій, но и жизнь дворянства („Бѣшеныя деньги", „Волки и овцы", „Безприданница" и др.), также міръ театральный („Лѣсъ", „Таланты и поклонники"). Но, по яркости и свѣжести красокъ, эти позднѣйшія пьесы уступаютъ раннимъ, быть можетъ, впрочемъ, и потому, что „темное царство", изображаемое имъ раньше, было, само по себѣ, болѣе богато красками, было болѣе характерно...

Такимъ образомъ, Островскій создалъ русскую національную бытовую драму; если въ этомъ онъ имѣлъ предшественниковъ еще въ XVIII-омъ вѣкѣ, то все же никто до него не изображалъ русскій бытъ въ драмѣ съ такою силой, съ такой сознательностью... Самъ онъ придавалъ большое воспитательное значеніе театру, и потому всей душой, на всю жизнь, отдался любимому дѣлу не только въ качествѣ драматурга, но и какъ усердный членъ разныхъ драматическихъ обществъ („Артистическій кружокъ въ Москвѣ", „Общество русскихъ драматическихъ писателей") и какъ служащій въ театральномъ вѣдомствѣ, въ качествѣ завѣдующаго репертуаромъ Императорскихъ Московскихъ театровъ и начальника театральнаго училища. Скончался Островскій 2-го іюня 1886 года въ своемъ имѣніи Костромской губ.

А) Литературная дѣятельность Островскаго въ 40-ые годы.

Литературная дѣятельность Островскаго въ 40-ые годы.

§ **53**. Какъ было уже указано выше, къ первому періоду литературной дѣятельности Островскаго относятся пьесы, содержаніе которыхъ взято изъ жизни купечества и мелкаго чиновничества. Оба эти сословія складывались у насъ вѣками, и, благодаря этому, черты стариннаго быта сохранили въ бо̀льшей неприкосновенности, чѣмъ «культурная» часть русскаго общества (высшее дворянство и высшее чиновничество). Эти черты старины уже въ XVIII-омъ вѣкѣ казались настолько своеобразными, что высмѣивались и въ сатирическихъ журналахъ, и въ комедіяхъ; особенно доставалось «приказнымъ» — этимъ мелкимъ сошкамъ чиновнаго міра, которые плодили «ябеду», были «сутягами», брали взятки, обкрадывали казну... Основныя черты купеческаго быта: патріархальный, домостроевскій строй жизни, замкнутость и грубость этой жизни, приниженность женщинъ и самодурство домовладыкъ, — все это, болѣе или менѣе, изображалось неразъ въ русской бытовой комедіи до Островскаго, но ни у кого этотъ бытъ не былъ освѣщенъ такъ ярко, никто до Островскаго такъ серьезно не посмотрѣлъ въ самыя основы этого строя жизни «темнаго царства»...

Отмѣтивъ многія свѣтлыя стороны «старозавѣтнаго» купечества (патріархальную простоту и сердечность, связывающую всѣхъ, и родныхъ, и служащихъ, въ одну семью, близость къ народу), Островскій особенное вниманіе обратилъ на темныя стороны этой жизни,—на тотъ деспотизмъ, который былъ слѣдствіемъ

патріархальнаго домостроевскаго склада тогдашней купеческой жизни [1]). Когда этотъ деспотизмъ не смягчался разумомъ и сердечностью, онъ обращался въ дикое и причудливое «самодурство». Самый терминъ этотъ введенъ былъ въ литературное обращеніе Островскимъ [2]).

Чувствуя свою силу надъ обезличенными, приниженными домашними, избалованный сознаніемъ этой силы, «самодуръ», иногда человѣкъ, самъ по себѣ, незлой, издѣвается надъ всѣми... «Самодурство» выходило за предѣлы семейныхъ отношеній, когда самодуръ, вооруженный деньгами, положеніемъ, или знатностью происхожденія, не встрѣчалъ сопротивленія со стороны согражданъ подчиненныхъ, или людей начальствующихъ... «Самодурство»,—явленіе въ такой же мѣрѣ характерное, какъ и «обломовщина», выростало у насъ вѣками и яснѣе всего сохранилось въ средѣ купечества, которое долѣе дворянства сохранило свою самобытность... Въ меньшей степени и въ болѣе смягченномъ видѣ деспотизмъ сохранился въ другихъ сословіяхъ: С. Аксаковъ въ своей «Семейной хроникѣ» далъ нѣсколько образцовъ этого типа; Гончаровъ воплотилъ это бытовое явленіе въ «бабушкѣ» («Обрывъ»), Пушкинъ—въ Троекуровѣ и старикѣ Гриневѣ («Дубровскій», «Капитанская дочка»).

Островскій отмѣтилъ еще одну характерную черту: Въ средѣ купечества того времени обозначилось сильное тяготѣніе къ «новшествамъ»; вліяніе болѣе культурнаго дворянства проникло и въ эту среду,—и здѣсь появились «новые люди», правда, на первыхъ порахъ уродливо и смѣшно воспринявшіе основы высшей культуры. Столкновеніе этого уродливаго «новаго» со «старымъ» точно такъ же легко приводило къ драматической коллизіи (столкновенію), которая и легла въ основу нѣкоторыхъ комедій Островскаго.

„Свои люди—сочтемся". Большовъ.

§ **54.** Комедія: *„Свои люди—сочтемся" (Ист. хрест., т. III, вып. 1, стр. 249)* построена на драматической коллизіи перваго рода. Глава дома, купецъ Большовъ—„самодуръ" чистой воды; онъ грубъ и суровъ: „какъ не пьянъ, такъ молчитъ, а какъ пьянъ, такъ прибьетъ, того и гляди". Жена боится его: она готова лгать ему, прятаться отъ него; тяжелой жизнью она обезличена до того, что даже дочь ея, Липочка, ее ни во что не ставитъ.

---

[1]) Островскій особенно близко подходитъ къ С. Аксакову въ изображеніи этой своеобразной русской бытовой черты, оставшейся въ русской жизни еще со временъ старой Москвы.

[2]) Въ комедіи: „Въ чужомъ пиру похмѣлье", устами одного дѣйствующаго лица, дается такое опредѣленіе этой черты:

„Самодуръ—это называется, коли, вотъ, человѣкъ никого не слушаетъ; ты ему хоть колъ на головѣ теши, а онъ все свое! Топнетъ ногой, скажетъ: „кто я?"—тутъ уже всѣ домашніе ему въ ноги, а то—бѣда!"

Къ дочери Большовъ относится съ полнымъ презрѣніемъ: „мое дѣтище,—говоритъ онъ—хочу съ кашей ѣмъ, хочу масло пахтаю“... „На что-жъ я и отецъ, коли не приказывать?.. Даромъ что-ли я ее кормилъ!“.

„Самодурство“ его проявляется не только въ семейныхъ отношеніяхъ, но и въ дѣловыхъ. Ни съ того, ни съ сего, подъ вліяніемъ каприза, рѣшается онъ объявить себя „несостоятельнымъ“. Сперва онъ хотѣлъ, было, заплатить своимъ должникамъ сравнительно высокую плату „за рубль“, но когда они не пошли на это, когда его „воля“ столкнулась съ чужой „волей“, онъ рѣшилъ ничего не платить, потому—„моему нраву не препятствуй!“... Эти слова сдѣлались пословицей: они прекрасно выражаютъ основу міросозерцанія всѣхъ этихъ „самодуровъ“.

Подхалюзинъ. Хитрые, ловкіе люди легко могутъ въ жизни вертѣть такими самодурами. Въ комедіи: „Свои люди—сочтемся“ выведенъ плутъ-приказчикъ Подхалюзинъ, который знаетъ своего повелителя Большова, „какъ свои пять пальцевъ“. Потакая ему, поддакивая, разжигая его самолюбіе, его самодурство, онъ хитро добивается того, что Большовъ все имущество переводитъ на его имя и выдаетъ за него дочь свою, противъ ея воли. Хотя Большовъ выросъ за прилавкомъ, съ сознаніемъ: „не обманешь—не продашь“, но его злостное банкротство — дѣло случайное, необдуманное, на которое онъ рѣшается подъ впечатлѣніемъ минуты, подъ вліяніемъ прочтенной газеты, подъ вліяніемъ рѣчей Подхалюзина и Ризположенскаго... Оттого Большовъ все-таки мучается сознаніемъ своей неправоты, старается оправдать себя очень наивнымъ, но, увы, общепринятымъ аргументомъ: „всѣ такъ дѣлаютъ“... Подъ конецъ, онъ кается въ сдѣланномъ („сама себя раба бьетъ, коли нечисто жнетъ!“—говоритъ онъ).

Униженіе, пережитое имъ, ломаетъ его гордыню,—и онъ смягчается духомъ... Какъ король Лиръ послѣ ночи, проведенной въ степи, въ бурю, подъ дождемъ, испытываетъ, невѣдомое ему раньше, чувство жалости къ тѣмъ, кто въ бурю не имѣетъ крова,—такъ Большовъ, узнавъ горе, испивши чашу обиды до дна, говоритъ зятю и дочери такимъ языкомъ, какимъ раньше онъ никогда ни съ кѣмъ не говорилъ: „не забудьте вы, что есть клѣтки съ желѣзными рѣшетками... Сидятъ тамъ бѣдные заключенные!.. Не забудьте насъ, бѣдныхъ заключенныхъ!“.

Горе и стыдъ исправили его: прежній „самодуръ“ на колѣняхъ проситъ для себя милости, съ женой своей говоритъ человѣческимъ языкомъ, зятю-мошеннику высказываетъ такія истины, которыми онъ раньше самъ никогда не смущался: „не гонись за большимъ, будь доволенъ тѣмъ, что есть! А за большимъ погонишься и послѣднее отнимутъ,—оберутъ тебя до-чиста“. „Знаешь, Лазарь, Іуда,—вѣдь онъ тоже Христа за деньги продалъ, какъ мы совѣсть за деньги продаемъ!“...

Не таковъ Подхалюзинъ: „это—холодный, расчетливый мошенникъ, который людямъ не вѣритъ, который плететъ свою сѣть обдуманно“; ни раскаянья, ни состраданія онъ не знаетъ и благородства чуждъ: одна алчность къ деньгамъ и безпросвѣтный эгоизмъ руководятъ имъ въ жизни. Только любовь къ Липочкѣ, дочери Большова, нѣсколько смягчаетъ этотъ хищный, волчій обликъ...

Липочка. Липочка, дочь Большова,—подстать своему мужу. Она—такая же безпросвѣтная эгоистка, какъ онъ самъ... Мать свою, забитую и смятую жизнью, она презираетъ за ея ничтожество и малое образованіе; этого презрѣнія она не скрываетъ; отца она боится, пока онъ силенъ; когда же онъ эту силу теряетъ, она не скрываетъ своего презрительнаго отношенія и къ нему. Она еще суровѣе Подхалюзина относится къ отцу, и, когда даже Подхалюзинъ испытываетъ какое-то волненіе и восклицаетъ: „неловко-съ!.. Жаль тятеньку, ей-Богу, жаль-съ!“,—она остается совершенно равнодушной. Кромѣ природнаго эгоизма, въ ней есть еще „самомнѣніе“: она считаетъ себя „образованной“ только потому, что научилась танцовать, слѣдитъ за модами и научилась манерничать. Въ лицѣ этой Липочки осудилъ Островскій смѣшное тяготѣніе къ новой „культурной“ жизни, проявившееся въ купеческой средѣ. Какъ въ русскомъ дворянствѣ, еще въ петровскую эпоху, это тяготѣніе сказалось, прежде всего, чисто-внѣшнимъ образомъ, въ видѣ „щегольства“,—такъ и въ молодомъ поколѣніи купеческаго сословія, въ XVIII-омъ и, особенно, въ XIX в., оно выразилось совершенно такъ же.

Большова.

Сама старуха Большова, какъ было уже указано, представляетъ собою забитое, обезличенное существо, поглупѣвшее въ ужасной атмосферѣ самодурства... Но въ душѣ ея не совсѣмъ умерло сознаніе собственнаго достоинства и порядочности. Когда она видитъ, какъ безжалостно обошлись зять и дочь съ ея мужемъ,—она, безсловесная, нашла въ себѣ силы и заговорила съ негодованіемъ; всецѣло завися отъ зятя, она въ глаза называетъ его „разбойникомъ“, „варваромъ“... Къ своему грубому супругу-повелителю сохранила она въ сердцѣ своемъ самую трогательную, самоотверженную любовь... И вся сила этой любви обнаружилась, когда онъ „несчастненькимъ“ предсталъ передъ ней...

Ризположенскій.

Живой и типичный образъ мелкаго „приказнаго“ выведенъ въ Ризположенскомъ. Это—маленькій чиновникъ, выгнанный со службы за злоупотребленія. Изворотливый и пронырливый, онъ всѣми способами,—чистыми и нечистыми, путемъ униженій, подлости и преступленія, строитъ съ муравьиной неустанностью зданіе своего семейнаго благополучія. Эта любовь къ семьѣ—трогательная черта, смягчающая его обликъ: у него большая семья на рукахъ; дѣтямъ онъ хочетъ дать образованіе; сына посылаетъ даже въ гимназію... И вотъ, ради благополучія семьи, онъ себя приноситъ въ жертву.

„Бѣдность не порокъ“. Гордѣй Торцовъ.

§ **55.** Въ другой комедіи: „*Бѣдность не порокъ*“ Островскій, въ лицѣ Гордѣя Торцова, нарисовалъ опять самодура, но къ тому же еще желающаго жить „по новому“. Грубый и черствый, онъ никому не говоритъ ласковаго слова; въ домѣ у себя онъ—полновластный хозяинъ, и нѣтъ предѣловъ его самодурству. Гордѣй, даже не посовѣтовавшись съ женой, рѣшается выдать свою дочь замужъ за Африкана Коршунова. Онъ смотритъ на свое рѣшеніе, какъ на нѣчто незыблемое, обязательное для другихъ. Дочь свою, попытавшуюся протестовать, онъ остановилъ окрикомъ: „Дура!.. Я такъ приказываю!“—и она сразу покоряется своей участи, сказавъ: „Твоя воля, батюшка!“

„Образованность“ свою, пріобрѣтенную благодаря вліянію Коршунова, Гордѣй видитъ въ томъ, что, вмѣсто водки, пьетъ „шемпанское“, одѣвается въ костюмъ нѣмецкаго покроя; заводитъ у себя новую модную „небель“, и „фицыянта въ нитяныхъ перчаткахъ,—ученаго, изъ Москвы, который всѣ порядки знаетъ, гдѣ кому сѣсть, что дѣлать“... Какъ Липочка Большова, онъ очень себя высоко цѣнитъ за такую „образованность“: самомнѣніе его безгранично... Онъ хочетъ переселиться въ Москву, потому что въ захолустьи ему „не съ кѣмъ компанію водить,—все, говоритъ, сволочь,—все, видишь ты, мужики и живутъ-то по-мужицки“.

Въ лицѣ супруги его, Пелагеи Егоровны, изобразилъ Островскій простого, добраго, русскаго человѣка, здравомыслящаго, живущаго по старинѣ; мужъ даже не можетъ заставить ее носить модные чепчики... Она всѣмъ сердцемъ любитъ русскую жизнь, русскіе порядки, обычаи и измѣнять имъ не станетъ. Въ отношеніяхъ ея къ людямъ, къ дочери и служащимъ сказывается то патріархальное благодушіе, которое является свѣтлымъ наслѣдіемъ домостроевской старины.

Мужа она боится и бороться съ нимъ не можетъ, такъ какъ „воли“ у нея нѣтъ, не только вслѣдствіе недостатка этого качества, но и потому, что она вѣрна старымъ традиціямъ. „Охъ, не моя воля!“—жалобится она.—„Что жъ я!.. Вотъ поплакать—наше дѣло!“

Любовь и Митя.

Въ такомъ же духѣ покорности воспитана и дочь Гордѣя Торцова Любовь, и конторщикъ Митя, выросшій въ ихъ домѣ. Оба они нѣжно любятъ другъ друга, но слабо борются за права свои на личное счастье. Достаточно окрика Гордѣя, чтобы дочь уступила ему безъ дальнѣйшей борьбы, сказавъ: „Твоя воля, батюшка!“... Таковъ же и Митя: онъ помечталъ, было, что увезетъ любящую дѣвушку и повѣнчается съ ней тайно, противъ воли Гордѣя, но молодецкій порывъ его („Эхъ! дайте душѣ просторъ—разгуляться хочетъ!“) у него скоро погасаетъ,—и онъ примиряется съ неизбѣжностью, проговоривъ: „Ну, знать, не судьба!“.

Единственная форма, которую можетъ принять протестъ въ этой средѣ патріархальнаго деспотизма,—это освобожденіе личности отъ узъ старозавѣт-

ной жизни... Если эта личность культурна, много путей открыто передъ ней,—если нѣтъ—она, чаще всего, оказывается выбитой изъ колеи и погибаетъ: разбойничество, разгулъ, пьянство, бродяжничество,—вотъ, въ чемъ выражался этотъ протестъ въ древней Руси [1]). Въ такую народную, старинную форму вылился этотъ протестъ и въ обстановкѣ купеческаго „самодурства".

Любимъ Торцовъ.

Въ этой же комедіи: „Бѣдность не порокъ", дѣйствующимъ лицомъ является Любимъ Торцовъ, братъ Гордѣя. Широко размахнулся Любимъ, когда вырвался на волю: кутежи, разгулъ, пьянство, всевозможныя увлеченія,—все переиспыталъ онъ, не знавшій, гдѣ искать истинной свободы.. Скоро спустилъ онъ все отцовское наслѣдство, сдѣлался пьяницей, бродягой и шутовствомъ сталъ добывать себѣ пропитаніе [2])... Но не пропилъ, не прогулялъ онъ своей души. Подъ лохмотьями бродяги у него билось честное сердце,—правдивое, благодарное къ тѣмъ, кто былъ къ нему добръ. Испытавъ немало горя, Любимъ сдѣлался отзывчивымъ къ чужому страданію; бездѣльничая самъ, онъ, однако, умѣетъ уважать трудъ. Умный и, въ то же время, хитрый, онъ ловко разстраиваетъ намѣренія Гордѣя выдать дочь свою Любовь за Африкана Коршунова. Онъ умѣетъ помочь Митѣ, умѣетъ разжалобить каменное сердце Гордѣя...

Въ его прочувствованной, сильной рѣчи выразился чисторусскій простонародный взглядъ на жизнь. Вообще вся пьеса, обильная народными пѣснями, поговорками и пословицами, написанная чисто-русскимъ прекраснымъ языкомъ, производила на современниковъ такое впечатлѣніе своею „народностью", что одинъ изъ современныхъ поэтовъ-славянофиловъ воспѣлъ русскій театръ, обновленный этой комедіей [3]). „Шире дорогу—Любимъ Торцовъ идетъ!".. Это восклицаніе Любима сдѣлалось торжественнымъ кличемъ, который пронесся въ русской славянофильской литературѣ послѣ появленія въ свѣтъ этой комедіи. Въ Любимѣ увидѣли олицетвореніе русской національной души, русскаго ума и сердца...

То обстоятельство, что носителемъ „національныхъ идеаловъ" выбралъ Островскій „павшаго человѣка", никого не смущало. Съ легкой руки Пушкина и, особенно, Гоголя русская литература привыкла съ особой любовью заглядывать въ сердца людей малыхъ, „униженныхъ и оскорбленныхъ"... Недаромъ и въ рѣчь пьянаго Мармеладова влагаетъ Достоевскій увѣренность, что многое простится ему, грѣшнику-мытарю, за тѣ страданія, которыхъ не знали праведники-фарисеи.

„Темное царство" Добролюбова.

Комедіямъ Островскаго, изображающимъ бытъ купечества, посвятилъ большую статью Добролюбовъ, подъ названіемъ: «Темное царство» *(Ист. хрест., т. III, вып. 4, стр. 91—150).* Онъ такъ опредѣляетъ эту темную среду, которая характерна двумя основными чертами: крайнимъ дикимъ произволомъ «личности», нашедшимъ себѣ выраженіе въ «самодурствѣ», съ одной стороны,—и полной «обезличенностью», съ другой—

---

[1]) Это отразилось и въ народной пѣснѣ („пѣсни разбойничьи", пѣсни бытовыя о горѣ—тамъ же), и въ письменности („Повѣсть о Горѣ-Злосчастьѣ", „Повѣсть о Саввѣ Грудцынѣ"). Ср. „Ѳому Гордѣева" М. Горькаго и другихъ его „протестующихъ героевъ-бродягъ".

[2]) Ср. „добраго молодца" изъ „Повѣсти о Горѣ-Злосчастьѣ", съ его веселою „напѣвочкой".

[3]) „Тамъ... теперь гуляетъ бытъ родной;
Тамъ пѣсня русская свободно, звонко льется,
Тамъ цѣлый міръ,—міръ полный и живой...
Великорусская на сценѣ жизнь пируетъ,
Великорусское начало торжествуетъ,
Великорусской рѣчи складъ,
Великорусскій умъ, великорусскій взглядъ,
Какъ Волга-матушка, широкій и гульливый!"

„Передъ нами грустно-покорныя лица нашихъ младшихъ братій, обреченныхъ судьбою на зависимое, страдательное существованіе. Это—міръ затаенной, тихо вздыхающей скорби,—міръ тупой, ноющей боли, міръ тюремнаго, гробового безмолвія, лишь изрѣдка оживляемый глухимъ, безсильнымъ ропотомъ, робко замирающимъ при самомъ зарожденіи... Нѣтъ ни свѣта, ни тепла, ни простора... Ни одинъ звукъ съ вольнаго воздуха, ни одинъ лучъ свѣтлаго дня не проникаетъ въ нее. Въ ней вспыхиваетъ, по временамъ, только искра того священнаго пламени, которое пылаетъ въ каждой груди человѣческой, пока не будетъ залито наплывомъ житейской грязи. Чуть тлѣется эта искра въ сырости и смрадѣ темницы, но иногда, на минуту, вспыхиваетъ она и обливаетъ свѣтомъ правды и добра мрачныя фигуры томящихся узниковъ. При помощи этого минутнаго освѣщенія мы видимъ, что тутъ страдаютъ наши братья, что въ этихъ одичавшихъ, безсловесныхъ, грязныхъ существахъ можно разобрать черты лица человѣческаго—и наше сердце стѣсняется болью и ужасомъ... Таково это „темное царство“—результатъ невѣжества и самодурства“.

В) Литературная дѣятельность Островскаго въ 60-ые годы.

Литературная дѣятельность Островскаго въ 60-ые годы: „Доходное мѣсто“.

§ 57. Въ 1856-омъ году выступилъ Островскій съ комедіей изъ чиновничьяго быта, подъ названіемъ: «*Доходное мѣсто*». Въ этомъ произведеніи изображается переломъ русскаго чиновничества къ «новой, болѣе честной и чистой жизни», изображается столкновеніе стараго и новаго поколѣнія,—«отцовъ» и «дѣтей», Фамусовыхъ и Чацкихъ...

Представителями стараго, дореформеннаго чиновничества являются Вышневскій, Юсовъ и молодой чиновникъ Бѣлогубовъ. Всѣ они одинаково глядятъ на казенную службу, какъ на источникъ обогащенія: казнокрадство и взяточничество они признаютъ вполнѣ допустимыми способами наживы.

Вышневскій.

Вышневскій—это мошенникъ высшаго полета: онъ—„геній, Наполеонъ“—человѣкъ „ума необъятнаго“, какъ характеризуетъ его Юсовъ, преклоняющійся передъ его талантами... Онъ—крупный хищникъ, который силенъ „быстротой и смѣлостью въ дѣлахъ“. Онъ—циникъ, потому что сознаетъ подлость своего поведенія, но открыто и смѣло глядитъ всѣмъ въ глаза, презирая всѣхъ... Когда ему говорятъ о судѣ общественнаго мнѣнія, онъ иронизируетъ: „у насъ общественнаго мнѣнія нѣтъ, мой другъ, и быть не можетъ, въ томъ смыслѣ, въ какомъ ты понимаешь. Вотъ тебѣ общественное мнѣніе: „не поймалъ—не воръ!“... Энергичный, сильный волей, онъ—отважный и ловкій боецъ на житейскомъ поприщѣ. Вооруженный эгоизмомъ и цинизмомъ, онъ хладнокровно и обдуманно устраиваетъ свою карьеру.

Юсовъ.

Хищникомъ болѣе мелкимъ представленъ помощникъ его—Юсовъ, у котораго нѣтъ геніальнаго размаха Вышневскаго: онъ можетъ только подражать своему принципалу и подбираетъ крохи, которыя оставлены тѣмъ... Онъ смотритъ на службу просто,—какъ на средство „кормленія“. У него и этика своеобразная; онъ, по-своему, честенъ, и, потому, возмущается отъ души, когда узнаетъ, что одинъ изъ чиновниковъ, взявъ взятку, обманулъ просителя...

„Живи по закону! живи такъ, чтобы и волки были сыты, и овцы цѣлы“,—говоритъ онъ съ негодованіемъ.

Въ этихъ словахъ во весь ростъ вырисовывается его цѣльная натура: Юсовъ—типичный дореформенный чиновникъ, для котораго старые порядки—„рай: просто умирать не надо“. И не только порядками, онъ и собой доволенъ,—всей своей жизнью, своей службой...

Онъ не терпитъ „образованныхъ“ и покровительствуетъ „простымъ“ людямъ, которые, хотя въ грамотѣ слабы, да зато въ жизни покладисты.

Самодовольства и самомнѣнія у него, какъ у Фамусова,—большой запасъ... Когда онъ подпилъ въ трактирѣ, онъ пляшетъ въ кругу своихъ подчиненныхъ—пляшетъ и философствуетъ:

„Мнѣ можно плясать. Я все въ жизни сдѣлалъ, что предписано человѣку. У меня душа спокойна: сзади ноша не тянетъ, семейство обезпечилъ... Мнѣ теперь можно плясать!.. Я теперь только радуюсь на Божій міръ!“

Жадовъ. И, вотъ, въ эту затхлую среду стараго чиновничества попадаетъ юный Жадовъ, племянникъ Вышневскаго: какъ Чацкій въ фамусовскомъ обществѣ, такъ и онъ идетъ напроломъ, но силъ у него для борьбы немного. Правда, онъ—человѣкъ съ образованіемъ, честный, но у него—семья; онъ окруженъ взяточниками. На первыхъ порахъ, онъ вѣритъ еще въ возможность честной трудовой жизни... И вотъ, какъ Чацкій на балу у Фамусова гостямъ, такъ Жадовъ въ канцеляріи начинаетъ „писарямъ читать мораль“. Очевидно, онъ, по наивности, не знаетъ среды, въ которую онъ попалъ...

Но, въ концѣ-концовъ, оказывается, онъ не знаетъ даже своей супруги: идеализируетъ свою Полину... Онъ говоритъ ей пламенныя рѣчи о назначеніи женщины въ жизни общественной, говоритъ о честномъ трудѣ,—а его Полина больше понимаетъ рѣчи людей, выросшихъ въ атмосферѣ взяточничества и хищеній.

Подъ вліяніемъ матери, она начинаетъ требовать для себя нарядовъ и денегъ. За то, что Жадовъ не беретъ взятокъ, теща называетъ его „мерзавцемъ“; дочь свою она учитъ, чтобы та „точила“ мужа день и ночь... „Скажетъ: „нѣтъ у меня“.— А мнѣ, молъ, какое дѣло? Хоть укради, да подай!“... И вотъ, уступая давленію жены и товарищей, угнетаемый бѣдностью, Жадовъ начинаетъ колебаться...

Извѣстіе объ отставкѣ Вышневскаго и о перемѣнѣ „направленія“ въ его канцеляріи воспламеняетъ упавшій духъ Жадова,—съ новой вѣрой смотритъ онъ на будущее,—теперь ни жена, ни теща не свернутъ его съ праваго пути!

„Гроза“. **§ 58.** Въ 1860-омъ году напечаталъ Островскій свою драму: «*Гроза*» *(Ист. хрест., т. III, вып. 1, стр. 226)*. Здѣсь опять изобразилъ онъ «темное царство», но уже въ тотъ періодъ его существованія, когда и въ этой тьмѣ начинаетъ мерцать свѣтъ...

Дѣйствіе пьесы происходитъ въ приволжскомъ городѣ Калиновѣ; жителей этого города не коснулись еще вѣянія „новаго времени“. Вотъ почему трудно дышится здѣсь людямъ, которые пробиваются къ свѣту. Самоучка-механикъ Кулигинъ удачно характеризуетъ „жестокіе нравы“ этого города.

Въ сдѣланной имъ характеристикѣ жизни обывателей города *(Ист. хрест., стр. 228)* вскрывается оборотная сторона домостроевскаго строя жизни, съ его деспотизмомъ, боязнью общественнаго „суда“, съ наружнымъ благочиніемъ, часто прикрывающимъ безсердечіе и жестокость... Когда домостроевскій укладъ жизни смягчается разумностью и сердечностью „владыки“ дома—онъ не только терпимъ, но даже подкупаетъ сердечной простотой жизни (бабушка Татьяна Марковна въ „Обрывѣ“, Хорь въ „Запискахъ Охотника“). Но когда нѣтъ этой смягчающей любви въ отношеніяхъ, тогда этотъ строй жизни приноситъ только слезы, „невидимыя“ и „неслышимыя“.

Кабанова. Властная и жестокая, старуха-Кабанова представляетъ собою живое олицетвореніе старыхъ русскихъ порядковъ: эти порядки она знаетъ хорошо,—она сама всегда выполняла ихъ и потому, быть можетъ, неуклонно требуетъ отъ другихъ точнаго ихъ выполненія. Правила эти слѣдующія: младшіе въ семьѣ должны покоряться старшему; они не имѣютъ права имѣть *свое* мнѣніе, *свои* желанія, *свой* міръ,—они должны быть „обезличены“. Затѣмъ они должны „бояться“,—должны „жить въ страхѣ“... Если не будетъ страха въ жизни, то, по убѣжденію Кабановой, міръ перестанетъ стоять. Это—тотъ „страхъ“, который проповѣдывала старая Москва, боявшаяся „безстрашія“,

„безстудія“, „дерзости“ больше всего. Наконецъ, послѣднее правило—не вносить въ жизнь ничего „новаго“,—стоять за старину во всемъ: во взглядахъ на жизнь, на людскія отношенія, на обычаи и обряды.

Таковы принципіальные взгляды Кабановой; но въ способѣ ихъ проведенія въ жизнь сказывается ея натура. Старуха давитъ всѣхъ своимъ властолюбіемъ; она ни къ кому не знаетъ жалости и снисхожденія. Она не только „блюдетъ“ за выполненіемъ своихъ правилъ, — она вторгается съ этими правилами въ чужую душу, придирается къ людямъ, „точитъ“ ихъ ни съ того, ни съ сего... И все это дѣлается съ полнымъ сознаніемъ своего „права“, даже долга,—дѣлается съ сознаніемъ „необходимости“ и съ постоянными заботами о наружномъ благочиніи...

Дикой.

Не таковъ другой „самодуръ“ этой драмы—Дикой. Это—родной братъ Гордѣя Торцова: грубый, вѣчно-пьяный, считающій себя въ правѣ всѣхъ ругать потому, что онъ богатъ,—Дикой деспотиченъ не „изъ принциповъ“, какъ Кабанова, а изъ каприза, изъ прихоти... Никакихъ разумныхъ основаній для его поступковъ нѣтъ: это—необузданный, лишенный всякихъ логическихъ основаній, произволъ. Дикой, по мѣткому опредѣленію калиновцевъ,—„воинъ“: по его собственнымъ словамъ, у него „дома постоянно война идетъ“. „Ты — червякъ! Захочу—помилую, захочу—раздавлю!“—вотъ, основаніе его отношеній къ тѣмъ людямъ, которые слабѣе, или бѣднѣе его. Характернымъ отголоскомъ старины была еще одна его черта: изругавъ во время своего говѣнья мужика, Дикой „на дворѣ, въ грязи ему кланялся,—при всѣхъ... кланялся!“... Въ этомъ „всенародномъ покаяньи“ выразился въ немъ проблескъ уваженія опять-таки къ порядкамъ, установленнымъ стариной. (Ср. всенародное покаяніе Раскольникова).

Молодые Кабановы.

Въ семьѣ Кабановой молодое поколѣніе представлено сыномъ ея Тихономъ, невѣсткой Катериной и дочерью Варварой. На всѣхъ этихъ трехъ лицахъ разно отразилось вліяніе домашней политики старухи-Кабановой.

Тихонъ—совершенно безвольное, слабое существо, обезличенное матерью... Онъ, взрослый мужчина, повинуется ей, какъ мальчикъ, и, боясь ее ослушаться, готовъ унижать и оскорблять свою любимую жену. Стремленіе къ свободѣ у него выражается жалкимъ, трусливымъ пьянствомъ на сторонѣ и такой же трусливой ненавистью къ родному дому...

Варвара по натурѣ сильнѣе брата. Но и ей не подъ-силу открытая борьба съ матерью, лицомъ къ лицу... И она завоевываетъ себѣ свободу обманомъ и хитростью [1]). „Благочиніемъ“, лицемѣріемъ прикрываетъ она свою разгульную жизнь... Впрочемъ, на такую жизнь дѣвушки въ городѣ Калиновѣ смотрѣли сквозь пальцы: „Когда же и погулять, какъ не въ дѣвкахъ!“—говоритъ сама Кабанова. „Грѣхъ не бѣда, молва не хороша!“—говорили въ кругу Фамусова. Та же точка зрѣнія и здѣсь: огласка, по мнѣнію Кабановой, всего страшнѣе.

Катерина.

Варвара пыталась и Катеринѣ устроить такое же „обманное счастье“, какимъ наслаждалась сама съ спокойной совѣстью. Но Катерина была не такова: ея натура не податливая, не гнущаяся,—въ ней сильно развита личность, въ ней много силы, энергіи; ея богатая душа требуетъ свободы, широты,—она не станетъ „воровать“ радости... Она согнуться не можетъ, а сломится...

Воспитаніе получила она чисто-національное, выработанное еще древнерусской педагогикой. Все дѣтство и юность жила она взаперти, но атмосфера родительской любви смягчала эту жизнь. Оттого неволи дома она не чувствовала: „жила—ни объ чемъ не тужила, точно птичка на волѣ!“—говоритъ она. Ходила она часто по церквамъ, слушала разсказы странницъ и богомолокъ, слушала пѣнье духовныхъ стиховъ,—жила беззаботно, окруженная любовью и лаской... И выросла она прекрасной, нѣжной дѣвушкой, съ тонкой душевной организаціей, и притомъ большой мечтательницей... Воспитанная на религіозный ладъ, она жила исключительно въ кругу религіозныхъ представленій; ея богатая

---

[1]) Ср. „Отрывокъ романа въ стихахъ“ — во 2-мъ вып. 1-ой ч. „Исторія русской словесности“.

фантазія питалась только тѣми впечатлѣніями, которыя она почерпала изъ жизни святыхъ, изъ легендъ, апокрифовъ, изъ тѣхъ настроеній, которыя переживала она во время богослуженія...

Она знала минуты религіознаго „экстаза“,—той восторженности, которой богаты были святые подвижники, и примѣры которой найдемъ мы въ житіяхъ святыхъ... Видѣла она, подобно имъ, и „видѣнія“, и чудесные сны...

Изъ всѣхъ этихъ разсказовъ Катерины видно, что она — не совсѣмъ обыкновенный человѣкъ... Ея душа, сдавленная стариннымъ строемъ жизни, ищетъ простора, не находитъ его вокругъ себя и уносится „горѣ“, къ Богу... Много такихъ натуръ въ старое время уходило въ „подвижничество“...

Но иногда и въ отношеніяхъ къ роднымъ прорывалась энергія ея души,—она не шла *„противъ людей“*, но, возмущенная, протестующая, она уходила иногда прочь *„отъ людей“*...

„Такая ужъ я зародилась горячая!“—разсказываетъ она Варварѣ. — „Я еще лѣтъ шести была не больше, такъ что сдѣлала!.. Обидѣли меня чѣмъ-то дома, а дѣло было къ вечеру... Уже темно... выбѣжала на Волгу, сѣла на лодку, да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужъ нашли верстъ за десять!“...

Изъ этихъ словъ видно, что спокойная, мечтательная Катерина знаетъ порывы, съ которыми справляться трудно.

И вотъ, она попала въ семью Кабановыхъ... Много здѣсь увидѣла она того, что знакомо было ей въ родномъ домѣ: и странницы тѣ же, и разговоры о чудесахъ и угодникахъ тѣ же, и строй жизни тотъ же, да только *нѣтъ любви*... Воспитанная въ старыхъ правилахъ, смирила Катерина себя, но порою прорывается въ ней ея страстность: то свекрови отвѣтитъ, когда слѣдовало смолчать, то мужу при всѣхъ на шею бросится, когда „приличіе“ требовало „поклониться въ ноги“... Къ „богоданному“ мужу привязалась она и по долгу жены, и какъ человѣкъ „религіозный“, и какъ женщина, съ богатой душой, силы которой не израсходованы, даже нетронуты... Въ безсердечной, холодной атмосферѣ семейной жизни Кабановыхъ погасалъ ея религіозный пылъ, тускнѣли идеальные образы святыхъ...

Увидѣла Катерина Бориса, племянника Дикого,—и полюбила его всѣми силами своей души. По ея понятіямъ, страшный грѣхъ совершила она этимъ: грѣхъ противъ Бога, который выбралъ ей мужа,—грѣхъ противъ тѣхъ завѣтовъ старины, въ которыхъ она была воспитана. Ея честная натура не вынесла тяжести этого грѣха: обманывать мужа и людей она не могла, какъ Варвара,—и прибѣгла къ старинному средству каяться „всенародно“.

Островскій глубоко заглянулъ въ страдающую душу экспансивной Катерины... Сознаніе сдѣланнаго грѣха, мрачныя рѣчи безумной старухи о загробныхъ мукахъ, раскаты грома и блескъ молніи, увѣренность въ томъ, что разгнѣванный Богъ поразитъ ее молніей, боязнь умереть безъ покаянія,—вся эта страшная путаница впечатлѣній и понятій, въ которыхъ одинаковое значеніе имѣетъ и голосъ совѣсти, и стыдъ, и страхъ, и вѣра, и суевѣріе,—все это, вмѣстѣ взятое, даетъ намъ понятіе о томъ душевномъ потрясеніи, которымъ было вызвано „всенародное покаяніе“ Катерины и ея самоубійство...

„Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“ Добролюбова.

§ **59**. Въ статьѣ своей: «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ» *(Ист. хрест., ч. III, вып. 4, стр. 128)* Добролюбовъ привѣтствовалъ Катерину, видя въ самомъ появленіи ея сильной личности этотъ «лучъ свѣта», видя въ ней олицетвореніе протеста противъ кабановскихъ понятій о нравственности,—протеста, доведеннаго до конца, «провозглашеннаго и подъ домашней пыткой, и надъ бездной, въ которую бросилась бѣдная женщина». Самую смерть ея критикъ восхваляетъ, видя въ ней «страшный вызовъ самодурной силѣ». Конечно, только исканіе «сильнаго человѣка» подсказало Добролюбову такое одностороннее толкованіе смысла всей драмы... Самоубійство—плохое средство борьбы: лучше было даже уйти въ монастырь, какъ это сдѣлала Лиза Калитина, родная сестра Катерины «по

духу»... Свѣтлый образъ дѣвушки, ушедшей отъ людей, отъ ихъ гнета и неправды, все же служитъ продолжительнымъ живымъ укоромъ для тѣхъ, кто побѣжденъ «прелестями міра сего». Въ лицѣ Лизы Калитиной и Катерины Кабановой мы видимъ два образа, сложившіеся вѣками, еще въ періодъ древней Руси.

Конечно, вѣрнѣе Добролюбова оцѣнили драму Островскаго тѣ критики, которые «лучъ свѣта», озаряющій «темное царство», усмотрѣли въ «знаніи», въ «образованіи»... Только оно одно можетъ побѣдить «темное царство», съ мрачными остатками старины. Представителемъ такого знанія, которое уже начинаетъ борьбу со мракомъ, является въ пьесѣ Кулигинъ, механикъ-самоучка. Самымъ нелѣпымъ воплощеніемъ стараго мрака—странница Ѳеклуша. Вотъ почему сравненіе этихъ двухъ эпизодическихъ лицъ очень любопытно.

Кулигинъ.

Кулигинъ—сторонникъ знанія, сторонникъ культуры; онъ выросъ уже изъ того мрачнаго „натурализма“, который даже самодура-Дикого дѣлаетъ „рабомъ природы“, какъ жалкаго, первобытнаго дикаря. Дикой боится грозы: онъ видитъ въ ней проявленіе гнѣва Божьяго, и потому бороться съ грозой, при помощи громоотвода, считаетъ „грѣхомъ“ [1]). Въ его рѣчахъ воскресаетъ старая, невѣжественная Русь, боявшаяся знанія,—та Русь, съ которой боролся еще геній Петра, которая возмущала еще Ломоносова... Поклонникъ этого перваго русскаго поэта, Кулигинъ усвоилъ его вольфіанскую точку зрѣнія, которая мирила „науку“ и „религію“, и величіе Бога стремилась доказать при помощи изученія естественныхъ наукъ.

Кулигинъ наивенъ съ вѣрой въ то, что ему удастся изобрѣсти „перпетумобиль“—но трогательна эта вѣра его въ свои силы. Самъ Петръ В. выписывалъ изъ-за границы мастеровъ для изобрѣтенія этой фантастической машины, въ возможность которой и онъ вѣрилъ такъ же наивно и твердо, какъ впослѣдствіи Кулигинъ.

Ѳеклуша.

Совершенную противоположность Кулигину представляетъ странница Ѳеклуша,—образъ, въ историческомъ отношеніи не менѣе цѣнный. Глупая и хитрая, невѣжественная старуха, она произноситъ обвиненіе противъ всей новой культурной жизни, проблески которой тревожатъ „темное царство“ своей новизной. Обвиненіе ея заключаетъ въ себѣ карикатурно-выраженное міросозерцаніе древней Руси, съ ея многовѣковымъ умственнымъ застоемъ, съ ея боязнью дерзостнаго ума... Весь міръ, съ его суетой, казался тогда русскимъ людямъ „царствомъ плоти“, „царствомъ Антихриста“... Кто служитъ „міру“,—тотъ служитъ дьяволу и губитъ душу. Въ Москвѣ кипитъ жизнь, суетятся, торопятся, „точно ищутъ чего-то“—разсказываетъ Ѳеклуша, и противопоставляетъ этой „суетѣ“ миръ и тишину города Калинова, съ заходомъ солнца погружавшагося въ сонъ... Ѳеклуша по старинному объясняетъ причины „городской суеты“: по ея убѣжденію, дьяволъ невидимо разбросалъ „сѣмена плевеловъ“ въ сердца человѣческія,—и люди отдалились отъ Бога и служатъ ему... Всякая новизна пугаетъ Ѳеклушу и ея единомышленниковъ: паровозъ она считаетъ „огнедышащимъ змѣемъ“, и съ этимъ мнѣніемъ согласна старуха Кабанова... А въ это время Кулигинъ мечтаетъ о perpetuum mobile... Какое несогласимое противорѣчіе интересовъ и міровоззрѣній!..

Борисъ.

Борисъ, племянникъ Дикого, — образованный юноша, который съ легкой, вѣжливой улыбкой слушаетъ восторженныя рѣчи Кулигина, и не вѣритъ въ возможность построить perpetuum mobile. Но, несмотря на свою образованность, въ культурномъ отношеніи, онъ ниже Кулигина, который вооруженъ и вѣрой, и силой... Борисъ ничего не выжметъ изъ своего образованія, а силъ для борьбы съ жизнью у него нѣтъ никакихъ!

---

[1]) „Какое еще тамъ елестричество!..—восклицаетъ онъ.—Ну, какъ же ты не разбойникъ? Гроза-то намъ въ наказанье посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами, да рожнами какими-то, прости Господи, обороняться! Что ты, татаринъ, что ли?“...

Онъ безъ борьбы съ совѣстью увлекаетъ Катерину и безъ борьбы съ людьми покидаетъ несчастную женщину на произволъ ея судьбы... Онъ—слабый человѣкъ, и увлеклась имъ Катерина просто потому, что „на безлюдьи и Ѳома—дворянинъ“... Нѣкоторый лоскъ культурности, чистоплотность и порядочность въ манерахъ,—вотъ, что̀ заставило Катерину идеализировать Бориса. Да и невтерпежъ было ей жить,—все равно, не было бы Бориса,—она идеализировала бы другого...

в) Писатели-моралисты.

Писатели-моралисты.

§ **60**. Кромѣ писателей, тѣсно связанныхъ съ ихъ современностью, отражающихъ, поясняющихъ и критикующихъ эту современность въ своихъ твореніяхъ,—имѣется въ русской литературѣ еще группа писателей, которые тоже связаны съ *животрепещущими* интересами своего времени, но они не останавливаются на одномъ *изображеніи* современной жизни, а идутъ глубже въ изученіе человѣческой души: ихъ интересуетъ не человѣкъ *40-хъ*, *60-хъ* годовъ, но *человѣкъ вообще*. Не типичное, характерное для эпохи отыскиваютъ они въ своихъ герояхъ, а общечеловѣческое, — не объ явленіяхъ жизни, вызванныхъ временными условіями, судятъ они,—а о томъ, что̀ вѣчно для всѣхъ,—вообще о душѣ человѣческой, о вопросахъ нравственности, о религіи, о значеніи личности въ жизни, о моральной цѣнности этой личности...

Мы видѣли уже, что въ послѣдній періодъ своей литературной дѣятельности Гоголь отказался отъ обличенія и обратился къ христіанской морали. Его «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями» — произведеніе слабое, недостаточно - продуманное, но историческое значеніе его громадно. Это произведеніе возвращало русскому писателю ту роль, которую игралъ онъ въ эпоху древней Руси, когда писатель былъ проповѣдникомъ, носителемъ слова Божія... Мы видѣли уже, что такую роль «миссіонера» взялъ на себя Гоголь и завѣщалъ ее своимъ литературнымъ ученикамъ. Два величайшіе русскіе писателя—Л. Толстой и Достоевскій пошли за нимъ по дорогѣ, имъ указанной...

Графъ Л. Н. Толстой.

(1828—1910).

(Ист. хрест., т. III, вып. 2).

Біографія.

§ **61**. Графъ Левъ Николаевичъ Толстой родился 28 августа 1828 года въ имѣніи отца, въ селѣ: „Ясная Поляна“, Тульской губерніи. Рано умерла его мать; затѣмъ скончался и отецъ, и съ 9 лѣтъ Л. Н. росъ на чужихъ рукахъ, — сперва у родственницы своей, графини Остенъ-

Сакенъ, затѣмъ у другой родственницы — Ергольской, и, наконецъ, у Юшковой, жившей въ Казани. Безотрадное дѣтство въ чужой семьѣ рано пріучило впечатлительнаго мальчика вдумываться въ жизнь, интересоваться своимъ собственнымъ міромъ, копаться въ своей душѣ и стараться понять чужую. Вѣроятно, такая жизнь помогла и развитію его самолюбія. Домашнее образованіе Л. Толстой получилъ такое, какое принято было въ тогдашнихъ аристократическихъ семьяхъ: подъ руководствомъ гувернантокъ, гувернеровъ, прежде всего, изучались иностранные языки, а затѣмъ „хорошія манеры“... Всю эту школу „внѣшняго лоска“ прошелъ Л. Толстой. Въ 1844 году онъ поступилъ въ Казанскій университетъ, сначала на факультетъ восточныхъ языковъ, а затѣмъ на юридическій. Но занятія его науками успѣшно не пошли,—слишкомъ критически отнесся Л. Н. къ своимъ профессорамъ, и слишкомъ увлекался онъ въ это время свѣтской жизнью и своими аристократическими знакомствами. Впрочемъ, скоро въ немъ начинается душевный переломъ: подъ вліяніемъ Руссо, онъ начинаетъ отрицательно относиться вообще къ человѣческой „культурѣ“, къ образованію, и даже къ свѣтской жизни; въ его душѣ просыпается жажда нравственнаго совершенствованія... Эти новыя настроенія долго не выливаются въ опредѣленное, стройное міросозерцаніе, и вносятъ мучительный разладъ въ его юную душу, мѣшаютъ отдаться всецѣло или свѣтской жизни, или серьезному изученію университетскихъ наукъ.

Не окончивъ университета, въ 1847-мъ году, Л. Толстой ѣдетъ въ „Ясную Поляну“, съ цѣлью сдѣлаться образцовымъ хозяиномъ-помѣщикомъ,—просвѣщать своихъ крестьянъ, облегчать ихъ бытъ... Но съ народомъ молодой моралистъ-помѣщикъ не сошелся и, разочарованный, въ 1851-мъ году отправился на Кавказъ, гдѣ, въ чинѣ юнкера, участвовалъ въ войнѣ съ горцами. Нѣсколько разъ принималъ онъ участіе въ битвахъ, причемъ показалъ большую храбрость. Въ 1854-мъ году произведенъ онъ былъ въ офицеры. Ко времени пребыванія его на Кавказѣ относится появленіе въ печати его первыхъ литературныхъ произведеній („Дѣтство“ и „Отрочество“).

Въ концѣ 1854 года, въ чинѣ офицера, пріѣхалъ Л. Толстой въ осажденный Севастополь и принялъ участіе въ его оборонѣ, находясь въ самыхъ опасныхъ пунктахъ (на 4-мъ бастіонѣ). Послѣ Севастопольской кампаніи онъ вышелъ въ отставку и жилъ нѣкоторое время въ Петербургѣ, гдѣ познакомился съ лучшими русскими литераторами: Тургеневымъ, Гончаровымъ, Островскимъ, Григоровичемъ, сплотившимися около „Современника“... Человѣкъ, уже тогда своеобразный, въ себѣ замкнутый, къ жгучимъ вопросамъ современности относившійся скептически, Л. Толстой не могъ сойтись близко съ этими „бойцами“-идеалистами. Съ Тургеневымъ Толстой даже поссорился до того, что между ними чуть было не дошло дѣло до дуэли.

Въ 1857-мъ году Л. Толстой отправился путешествовать въ западную Европу. Еще живучи въ своей деревнѣ, онъ сталъ интересоваться постановкой народнаго школьнаго образованія и народнаго чтенія... Съ этими интересами поѣхалъ онъ за границу, гдѣ старательно изучалъ интересовавшіе его вопросы: посѣщалъ школы, знакомился съ извѣстными дѣятелями школьнаго дѣла.

Такимъ образомъ, поѣздка его заграницу не была путешествіемъ любопытнаго туриста,—онъ поѣхалъ туда съ опредѣленными запросами. Вернувшись на родину, онъ отправился опять въ свою „Ясную Поляну“ и съ новымъ рвеніемъ взялся за то служеніе народу, за которое сначала принялся такъ неумѣло. Особенно заботы его направлены были теперь на просвѣщеніе своихъ крестьянъ: онъ завелъ школу въ имѣніи, создалъ свою особую педагогическую систему образованія, сталъ писать „полезныя“ книги для народа, началъ даже издавать педагогическій журналъ: „Ясная Поляна“...

Эпоха великихъ реформъ (1861—64 г.г.) не захватила Л. Толстого врасплохъ,—къ этому времени онъ уже зналъ хорошо русскій народъ, любилъ его и готовъ былъ служить ему. Въ числѣ другихъ передовыхъ дворянъ своей губерніи высказался онъ за освобожденіе крестьянъ съ землею; въ качествѣ „мирового посредника“, онъ горячо отстаивалъ интересы освобожденныхъ крестьянъ.

Семейная жизнь Л. Толстого началась въ 1862-мъ году, когда онъ женился на Софьѣ Андреевнѣ Берсъ. Съ этого времени жизнь его потекла ровно и спокойно, полная духовныхъ интересовъ: бо́льшую часть года проживалъ онъ въ имѣніи, лишь ненадолго зимой пріѣзжая въ Москву. Къ этому времени относится расцвѣтъ его литературной дѣятельности („Война и Миръ"—1864—1869 г.г. и „Анна Каренина"—1873—1876 г.г.).

Съ юности интересовался онъ вопросами морали, религіи и философіи. Съ годами эти интересы дѣлались все значительнѣе; во всѣхъ крупныхъ его произведеніяхъ сказались они замѣтно, но не порабощали художественной стороны его произведеній. Съ 80-хъ годовъ эти интересы къ вопросамъ религіознымъ и философскимъ начинаютъ преобладать надъ его художественными интересами. Подобно Гоголю, отказывается онъ отъ литературной дѣятельности и обращается всецѣло къ „проповѣди". Если порой его художественный талантъ сказывается и въ это время въ сочиненіи повѣстей, драмъ, сказокъ [1]),—то, въ литературномъ отношеніи, всѣ эти произведенія значительно уступаютъ первымъ крупнымъ его созданіямъ.

Л. Толстой—„міровой писатель" не только потому, что онъ вообще одинъ изъ величайшихъ художниковъ „слова",—но и потому, что въ своихъ лучшихъ произведеніяхъ онъ всегда стоялъ выше злободневныхъ интересовъ и всегда интересовался вопросами „міровыми". Въ этомъ отношеніи, онъ приближается къ Шекспиру и Гете. Вотъ почему Толстымъ заинтересовался весь цивилизованный міръ.

Можно не соглашаться съ его философскими и богословскими взглядами (да едва ли есть кто-либо, даже изъ его „послѣдователей", цѣликомъ эти взгляды принимающій), но никто не станетъ отрицать, что, при всѣхъ противорѣчіяхъ и крупныхъ ошибкахъ, въ которыя впадаетъ Толстой, онъ всегда честно относился къ своей мысли,—онъ вѣрилъ въ то, что́ говорилъ, вѣрилъ искренно, и страстно... Въ этой вѣрѣ его сила. Неутолимое „алканіе правды"—характернѣйшая черта этого „великаго писателя земли русской"... Скончался Л. Н. Толстой въ 1910 г.

Литературная дѣятельность гр. Толстого.

Литературная дѣятельность.

§ **62.** Первое произведеніе, съ котораго началась литературная дѣятельность Толстого — это небольшая повѣсть: «Дѣтство», представляющая собою первую часть трилогіи: «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность».

„Дѣтство" и „Отрочество".

Главный интересъ повѣсти: «*Дѣтство*» *(Ист. хрест., т. III, вып. 2, стр. 269)* сосредоточивается на личности героя повѣсти—Николенькѣ Иртеньевѣ. Авторъ слѣдитъ за развитіемъ его дѣтской души,—за каждымъ, даже мелкимъ, но характернымъ, проявленіемъ ея жизни. Такимъ образомъ, произведеніе это, по преимуществу, «психологическое». Но, кромѣ того, оно, въ такой же мѣрѣ, можетъ быть названо «моральнымъ», такъ какъ авторъ судитъ своего героя съ *этической* точки зрѣнія,—старается, пользуясь психологическимъ анализомъ, опредѣлить мо-

[1]) *Повѣсти:* „Смерть Ивана Ильича" (1886), „Крейцерова Соната" (1890), „Хозяинъ и Работникъ" (1894) и др.; *драмы:* „Власть тьмы" (1886), комедія: „Плоды просвѣщенія" (1889), *сказки:* „Чѣмъ люди живы", „Богъ правду видитъ, да нескоро скажетъ", „Свѣчка" и др.

ральную сторону его богатой, развивающейся натуры. Ни въ одномъ другомъ произведеніи русской литературы не было сдѣлано такихъ наблюденій надъ душой *вырастающаго* человѣка. Тургеневъ отъ своего имени разсказалъ намъ о дѣтствѣ Лизы, объ юности Рудина; въ романѣ Гончарова разсказанъ лишь одинъ день дѣтской жизни Обломова,—Толстой же слѣдитъ за жизнью своего героя какъ она развертывается день за днемъ,—отъ его дѣтской до университета, и все характерное, нарастающее и проясняющееся въ его душѣ, опредѣляетъ и анализируетъ.

Эпоха, съ которой связано дѣйствіе повѣсти,—тридцатые, сороковые годы: среда, въ которой развертывается ея содержаніе—богатая дворянская, помѣщичья жизнь, связанная съ «землей». Тогда въ этой жизни не было никакихъ серьезныхъ, духовныхъ интересовъ. Время заполнялось строго-размѣреннымъ порядкомъ жизни по установившемуся этикету, который возводился «чуть ли не на степень незыблемыхъ законовъ»,—такъ, простой «обѣдъ» въ семьѣ Иртеньевыхъ былъ какимъ-то «ежедневнымъ семейнымъ радостнымъ торжествомъ». Эта жизнь была, въ сущности, той же «обломовщиной», только съ лакеями въ бѣлыхъ перчаткахъ, съ изысканной французской рѣчью, съ постоянными заботами о comme il faut...

При воспитаніи дѣтей исключительное вниманіе обращалось на ихъ внѣшность, на манеры; о развитіи ума и сердца ребенка не заботились; о книгахъ никогда съ нимъ не говорили, и вообще къ образованію относились несерьезно... Если дѣтей и посылали въ университеты, то все по тѣмъ же побужденіямъ, которыя заставляли Простакову учить Митрофана, Обломовыхъ — своего Ильюшу... И много россійскихъ Обломовыхъ явилось результатомъ такого воспитанія. Но не таковъ вышелъ Николенька Иртеньевъ: сильная и богатая натура его спасла.

Николенька Иртеньевъ.

§ **63**. Николенька Иртеньевъ—натура своеобразная, „оригинальная“, которая своею сложностью замѣтно выдѣляется изъ ряда другихъ дѣтей и взрослыхъ, изображенныхъ авторомъ въ его повѣсти.

Прежде всего, бросается въ глаза сознательность его жизни и рѣдкое умѣніе правдиво относиться къ себѣ, — и къ радостямъ, и къ печалямъ своимъ: онъ, еще ребенокъ,—уже безпощадный психологъ, который съ болѣзненнымъ любопытствомъ изучаетъ свою душу. Эта склонность къ психологическому анализу развиваетъ въ немъ изумительную наблюдательность, заставляетъ его вдумываться во всѣ явленія жизни, разбираться въ нихъ... Имъ владѣетъ „эготизмъ“—исключительный, болѣзненный интересъ къ своему сложному „я“. Занимаясь только собой, подчиняя все своему „я“, онъ вѣчно находится во власти своего самолюбія, которое у него поэтому принимаетъ болѣзненныя формы излишней застѣн-

чивости, подозрительности, мнительности, даже зависти къ другимъ... Вотъ почему онъ мучается, глядя на другихъ, живущихъ просто,—мучается, видя, что ихъ жизнь легче для нихъ самихъ и для всѣхъ ихъ окружающихъ. Онъ вѣчно терзается мыслью, что о немъ скажутъ другіе... Ему кажется, что онъ вѣчно дѣлаетъ промахи, что его всѣ осуждаютъ... Въ погонѣ за добрымъ мнѣніемъ людей, мальчикъ способенъ сознательно фальшивить и ломаться... Такъ, во время похоронъ любимой матери онъ не можетъ удержаться отъ рисовки, съ цѣлью произвести подобающее впечатлѣніе на окружающихъ.

Этотъ „эготизмъ“ у Николеньки смягчается чисто-дѣтской мягкостью, даже страстностью сердца, которое, при всей своей замкнутости, нуждается въ ласкѣ, въ любви и въ дружбѣ... Оттого онъ съ болѣзненной страстностью любитъ свою мать, трогательно привязанъ къ своему Карлу Ивановичу, къ каждой морщинѣ его лица, къ каждому его движенію... Онъ рабски преданъ,—„обожаетъ“ Сережу Ивина... Онъ любитъ Бога и переживаетъ, по временамъ, настроенія, свидѣтельствующія о глубокомъ религіозномъ чувствѣ (описаніе исповѣди, разсказъ объ юродивомъ Гришѣ).

Такимъ образомъ, въ Николенькѣ замѣчается душевный разладъ: „умъ съ сердцемъ не въ ладахъ“. Въ этой двойственности—трагизмъ его дѣтства, отрочества и юности... Эта двойственность заставляетъ его вдумываться въ жизнь и въ ней искать путей къ примиренію своихъ мятущихся душевныхъ силъ... Уже съ дѣтства пріучивъ себя отличать добро и зло въ жизни своей и чужой, Николенька рано старается опредѣлить свои жизненные идеалы. Идея нравственнаго „самосовершенствованія“ дѣлается его „вождемъ жизни“,—она и должна, въ концѣ концовъ, побѣдить двойственность его души,—должна помирить его сердце и умъ...

„Умъ“ Николеньки Иртеньева тоже своеобразный; съ дѣтскихъ лѣтъ этотъ умъ отличается критицизмомъ,—вотъ почему, не въ примѣръ другимъ дѣтямъ, которыя, „не мудрствуя лукаво“, дѣлаютъ запасы такихъ знаній, которыя соотвѣтствуютъ ихъ возрасту,—Николенька къ знаніямъ относится „по своему“: учится плохо и неровно; за то умъ его пытливо всматривается въ дѣйствительную жизнь и старается опредѣлить ея истинную цѣнность... Онъ задумывается о Богѣ, о назначеніи человѣка. Эта усиленная работа ума совпадаетъ у него съ періодомъ его отрочества, когда въ духовной жизни Николеньки произошелъ переломъ [1]).

Съ этого времени еще внимательнѣе сталъ онъ относиться къ жизни, и „умствованія“ по всевозможнымъ вопросамъ сдѣлались главнымъ и любимымъ его времяпрепровожденіемъ.

Наклонность его къ „умствованіямъ“ до такой степени обострила его мышленіе, что онъ приходилъ самостоятельно то къ философской системѣ эпикуреизма, то къ системѣ стоицизма... Любопытно, что уже съ дѣтскихъ лѣтъ онъ старался жизнь свою согласовать съ выработанными взглядами.

Наконецъ, нельзя не отмѣтить и того значенія, которое имѣло въ его жизни воображеніе. Онъ съ дѣтства былъ большимъ фантазёромъ, для котораго не составляло труда вѣрить въ свои собственныя измышленія... Вотъ почему иногда ему приходится считаться съ мечтами своими, какъ съ реальными фактами. Такая необузданность фантазіи, на ряду съ повышеннымъ критицизмомъ его ума, — тоже его характерная черта, свидѣтельствующая о сложности его неуравновѣшенной, богатой противорѣчіями, натуры.

---

[1]) „Мнѣ,—разсказываетъ онъ,—въ первый разъ пришла въ голову мысль о томъ, что не мы одни, т. е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ,—что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего не имѣющая общаго съ нами, не заботящихся о насъ и даже не имѣющихъ понятія о нашемъ существованіи. Безъ сомнѣнія, я и прежде зналъ все это; но зналъ не такъ, какъ это я узналъ теперь, не сознавалъ, не чувствовалъ...“.

Словомъ, въ первыхъ двухъ очеркахъ: «Дѣтство» и «Отрочество», представлена своеобразная, по силѣ и сложности, дѣтская душа въ моментъ пробужденія въ ней сознательности, въ періодъ формаціи, когда разнообразныя черты ея еще не систематизировались, когда они находятся еще въ періодѣ «броженія», въ періодѣ взаимной борьбы... Но уже въ первыхъ очеркахъ внимательный глазъ читателя можетъ опредѣлить тѣ главные пути, по которымъ пойдетъ въ своемъ развитіи эта мятущаяся душа.

„Юность“.

Въ третьемъ очеркѣ: „*Юность*“ эти пути опредѣляются. То, что̀ лишь намѣчалось въ „дѣтствѣ“, что̀ стало опредѣляться въ „отрочествѣ“, то теперь, въ періодъ „юности“, проясняется: Николенька Иртеньевъ дѣлаетъ „моральное открытіе“, что „назначеніе человѣка есть стремленіе къ нравственному совершенствованію, и что совершенствованіе это легко, возможно и вѣчно“... И вотъ, онъ старается даже въ мелочахъ помирить свою „мысль“ съ „дѣломъ“: слѣдитъ за собою съ напряженнымъ вниманіемъ, ловитъ себя на разныхъ погрѣшностяхъ, обличаетъ самъ себя; и ему кажется, что, бичуя себя, упражняя свою волю, смиряя свою гордыню, онъ, благодаря этому, дѣлается лучше... Но хотя и ясно опредѣлился передъ Николенькой путь нравственнаго самосовершенствованія, но онъ еще нетвердо стоитъ на немъ.

Лучше всего это видно изъ той главы, которую Толстой называетъ „comme il faut“... [1]). Николенька Иртеньевъ, съ его оригинальной и развитой личностью, оказывается, еще наполовину принадлежитъ „толпѣ“,—суетному „свѣту“. Тщательно заботясь объ устроеніи внутренняго своего міра, Николенька не можетъ еще избавиться отъ искушенія „понравиться“ „свѣту“, „пустить пыль“ въ глаза своимъ костюмомъ, своими рысаками... Онъ не прочь похвастаться своими связями... Вліяніе демократическихъ студенческихъ круговъ, куда онъ перекочевалъ, разочаровавшись въ друзьяхъ-аристократахъ,—а затѣмъ провалъ на экзаменахъ,—окончательно излечили Николеньку Иртеньева отъ его увлеченія „комильфотностью“, отъ его аристократизма,—отчасти и отъ его самовлюбленности и самомнѣнія... Тѣмъ яснѣе опредѣлился теперь передъ нимъ путь нравственнаго самосовершенствованія,—стремленіе къ той внутренней жизни, которая раньше легко имъ забывалась подъ наплывомъ смутныхъ вліяній внѣшней жизни.

Автобіографическій интересъ этого произведенія.

Всѣ три повѣсти имѣютъ автобіографическій характеръ,—въ нихъ «исповѣдь» самого Толстого, который пожелалъ, какъ Ж.-Ж. Руссо («Confessions»), какъ Гёте («Wahrheit und Dichtung»), уяснить себѣ, какъ складывалось съ дѣтства его собственное міросозерцаніе. Біографы Толстого ука-

---

[1]) „Мое comme il faut,—пишетъ Николенька Иртеньевъ,—состояло, первое и главное, въ отличномъ французскомъ языкѣ и особенно въ выговорѣ. Человѣкъ, дурно выговаривающій по-французски, тотчасъ же возбуждалъ во мнѣ чувство ненависти. „Для чего ты хочешь говорить, какъ мы, когда не умѣешь?“ — съ ядовитой усмѣшкой спрашивалъ я его мысленно. Второе условіе comme il faut были ногти — длинные, отчищенные и чистые; третье было—умѣнье кланяться, танцовать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушіе ко всему и постоянное выраженіе нѣкоторой изящной, презрительной скуки... Comme il faut было для меня не только важной заслугой, прекраснымъ качествомъ, совершенствомъ, котораго я желалъ достигнуть, но это было необходимое условіе жизни, безъ котораго не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошаго на свѣтѣ... Я не уважалъ бы знаменитаго артиста, ни ученаго, ни благодѣтеля рода человѣческаго, еслибъ онъ не былъ comme il faut“.

зываютъ дѣйствительныхъ лицъ, съ которыхъ срисованы дѣйствующія лица этихъ трехъ повѣстей. Многое въ этихъ повѣстяхъ основано на воспоминаніяхъ самого автора, но многое было имъ сочинено, несомнѣнно, и на основаніи разсказовъ объ его дѣтствѣ. Такъ, матери своей Толстой не помнилъ (ему было $1^1/_2$ года, когда она умерла), и ея образъ созданъ на основаніи разсказовъ лицъ, ее знавшихъ.

„Утро помѣщика“.

§ **64**. Повѣсть: *„Утро помѣщика“* — тѣсно связана своимъ содержаніемъ съ первыми автобіографическими произведеніями графа Толстого.

Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ этой повѣсти является 19-лѣтній князь Нехлюдовъ, не кончившій университета, распростившійся со „свѣтомъ“ и пріѣхавшій въ свою деревню „служить мужику“. Онъ разочаровался въ жизни „свѣта“, охладѣлъ къ образованію и, какъ Николенька Иртеньевъ, рѣшилъ идти по пути нравственнаго совершенствованія. „Любовь и добро есть истина и счастье“,—такъ опредѣлилъ онъ смыслъ жизни, и рѣшилъ начать новую жизнь подвига и самоотреченія. Ему, владѣльцу крѣпостныхъ мужиковъ, пришла въ голову мысль, что свое стремленіе къ любви и добру легче всего онъ могъ осуществить въ служеніи тому мужику, который вѣками кормилъ его предковъ, кормилъ и его и ничего не извлекалъ для себя изъ тѣхъ благъ цивилизаціи, которыми до пресыщенія пользовались господа. Такимъ „кающимся дворяниномъ“ былъ Тентетниковъ, отчасти—Лаврецкій...

Но всѣ мечты Нехлюдова о довѣріи и любви къ нему крестьянъ, которые будутъ признательны ему за то добро, которое онъ внесетъ въ ихъ тусклую, мрачную жизнь, не привели ни къ чему... Школы и больницы, фермы, сберегательныя кассы, даже каменные дома, которыми онъ хотѣлъ замѣнить деревянныя избы, встрѣчены были мужиками съ недовѣріемъ, даже съ ироніей... Крестьяне просили „уволить ихъ дѣтей насчетъ училищъ“; сосѣди трунили надъ нимъ; деньги всѣ разошлись; „выдуманная имъ новая молотильная машина, къ общему смѣху мужиковъ, только свистѣла, а ничего не молотила“... Словомъ, всѣ попытки кн. Нехлюдова внести въ деревню „просвѣщеніе“ не привели ни къ чему.

Главная причина этой „неудачи“ коренилась, конечно, въ самомъ кн. Нехлюдовѣ: спеціальныхъ знаній по сельскому хозяйству у него не было, крестьянъ своихъ онъ не зналъ... Въ его мягкой натурѣ не было энергіи, не было практичности, настойчивости... Но, кромѣ того, самыя „добрыя намѣренія“ его носили въ себѣ черты эгоизма. „Я долженъ дѣлать добро, чтобы быть счастливымъ“ — говорилъ онъ самъ себѣ. Эгоизмъ, конечно,— плохое подспорье для проведенія въ жизнь добра.

Другая причина неудачи кн. Нехлюдова заключается въ томъ, что добро онъ началъ дѣлать не съ того конца, съ котораго слѣдовало. Крѣпостничество пріучило крестьянъ смотрѣть на помѣщиковъ, какъ на эксплоататоровъ... Мужикъ привыкъ быть „насторожѣ“ и съ недовѣріемъ встрѣчалъ даже благія начинанія помѣщика... Только освобожденіе крестьянъ могло бы кореннымъ образомъ измѣнить этотъ традиціонный характеръ отношеній крестьянъ къ молодому помѣщику. Этого не понялъ кн. Нехлюдовъ.

Кромѣ самого героя кн. Нехлюдова, въ повѣсти, имѣются интересные типы крестьянъ. Безпощадная правдивость гр. Толстого выразилась въ характеристикѣ тѣхъ мужиковъ, съ которыми судьба сталкиваетъ его героя. Если Тургеневъ постарался въ своихъ мужикахъ увидѣть „общечеловѣческія“ черты, отмѣтивъ присущій имъ эстетизмъ, идеализмъ, даже „мудрость“,— то Л. Толстой прямо въ глаза посмотрѣлъ русской дѣйствительности и, не подкрашивая ея, не затемняя красокъ, спокойно изобразилъ косность, тупость и духовное рабство крѣпостного люда, задавленнаго непосильнымъ трудомъ, пріученнаго ко лжи, затаенной злобѣ, подозрительности и лѣни...

Повѣсть: „Утро помѣщика“ имѣетъ такое же автобіографическое значеніе, какъ „Дѣтство“, „Отрочество“ и „Юность“. Въ жизни самого Толстого произошелъ тотъ эпизодъ, который далъ содержаніе его повѣсти. Не кончивъ университета, разочаровавшись въ „свѣтѣ“, съ его „комильфотностью“; подъ вліяніемъ Руссо, испытавъ приливъ недовѣрія къ образованію и потому бросивъ университетъ, Толстой, 19 лѣтъ отъ роду, поѣхалъ въ свое помѣстье: Ясную Поляну, чтобы, слѣдуя совѣту того же Руссо, жить здѣсь на лонѣ природы, вдали отъ культуры... Черезъ годъ, какъ и кн. Нехлюдовъ, разочаровался юноша-Толстой въ своихъ мечтахъ,—а, главное, въ своемъ умѣніи приспособляться къ русской дѣйствительности.

Много сторонъ русской жизни захватываетъ повѣсть: „Утро помѣщика“, но главное значеніе ея все-таки „моральное“: нельзя, дѣлая добро другимъ, думать, главнымъ образомъ, о себѣ, о „своемъ личномъ счастьѣ“,—вотъ, смыслъ произведенія.

„Казаки“. Оленинъ.

§ **65.** Въ повѣсти: *„Казаки“*, въ лицѣ главнаго героя Оленина, Толстой изобразилъ родного брата шатобріановскаго Рене, пушкинскаго Кавказскаго Плѣнника, Алеко и Онѣгина, лермонтовскаго Печорина и другихъ подобныхъ же героевъ, разочарованныхъ жизнью, враговъ культуры, ищущихъ успокоенія на лонѣ природы, среди людей, живущихъ первобытной жизнью.

Олениномъ—знакомый уже намъ типъ человѣка, сильнаго духомъ, живущаго безъ цѣли въ жизни, выросшаго въ эпоху крѣпостничества и не знающаго, куда приложить свои силы. Жилъ онъ въ „свѣтѣ“, пробовалъ служить, хозяйничалъ въ „деревнѣ“, увлекался женщинами, — и отъ всего отвернулся... Силъ въ его душѣ было много, и ему хотѣлось использовать ихъ оригинально,—не ходить по проторенным дорожкамъ... Всякая „пошлость“, банальность претила ему. Вотъ почему съ такимъ озлобленіемъ онъ отзывается о свѣтской жизни (ср. отзывъ пушкинскаго Алеко).

Проклявъ и свѣтъ, и цивилизацію, и науки, и службу, Оленинъ отправился на Кавказъ,—въ эту страну „свободы“, гдѣ, какъ онъ слышалъ, въ средѣ горцевъ и казаковъ сохранились еще первобытные, неиспорченные нравы...

Много впечатлѣній подарилъ Оленину Кавказъ, но счастья онъ и здѣсь не нашелъ: съ нимъ повторилась та же исторія, что и съ пушкинскимъ Алеко: онъ былъ отравленъ культурной жизнью,—главнымъ образомъ, ея эгоизмомъ... Какъ Алеко, „онъ любилъ только себя одного и не могъ не любить, потому что ждалъ отъ себя одного хорошаго и не успѣлъ еще „разочароваться въ самомъ себѣ“. Однажды, на охотѣ, дѣвственная прелесть кавказской природы такъ покорила его своей красотой и мощью [1]), что онъ смирился передъ ея жизнью. Онъ призналъ себя маленькой, незначительной частью міра, — призналъ, что его притязанія на какое-то особенное эгоистическое счастье безнравственны. Онъ понялъ, что онъ — „такой же комаръ, или такой же фазанъ, или олень, какъ тѣ, которые живутъ теперь вокругъ него“. Онъ рѣшилъ, что не въ возвеличеніи, а въ обезличеньи своей личности найдетъ счастье. „Счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ“,—рѣшилъ онъ.

И вотъ, онъ хочетъ сродниться съ жизнью казаковъ, слиться съ природою, хочетъ „быть съ природой, видѣться, говорить съ ней“, забыть свою культурность, „опуститься, погибнуть, зарывшись въ этой глуши“. Онъ старается равноправнымъ членомъ войти въ эту общую жизнь, гдѣ легко забыть свое „я“... На первыхъ порахъ ему показалось, что онъ нашелъ дорогу къ счастью.

Но это ослѣпленіе продолжалось недолго,—такое „дѣланное счастье“, „искусственная естественность, первобытность быта“ оказались слишкомъ

---

[1]) Когда онъ увидѣлъ горы, онъ былъ потрясенъ. „Съ этой минуты все, что только онъ видѣлъ, все, что онъ думалъ, что онъ чувствовалъ, получило для него новый, строго-величавый характеръ горъ. Всѣ московскія воспоминанія, стыдъ и раскаянье, всѣ пошлыя мечты о Кавказѣ, — всѣ исчезли и не возвращались болѣе... „Теперь началось“ — какъ будто сказалъ ему какой-то торжественный голосъ“.

фальшивы... Оттого казаки отнеслись къ Оленину съ недовѣріемъ, и самъ онъ скоро понялъ свою ошибку: „я пробовалъ отдаться этой жизни“, говорилъ онъ, „и еще сильнѣе чувствовалъ свою слабость,—свою изломанность. Я не могъ забыть *себя* и своего сложнаго, негармоническаго, уродливаго прошлаго“.

Особенно ясно сказалась эта безпомощность въ любви его къ казачкѣ Марьянкѣ. Она была невѣстой его пріятеля, казака-Лукашки, и Олениннъ рѣшился отбить ее у молодого казака, прельстивъ ее своимъ богатствомъ. Отъ своего альтруизма онъ рѣшительно отказывается, разсуждая такъ:

„Одно есть счастье: кто счастливъ, тотъ и правъ“. „Самоотверженіе—все это вздоръ, дичь, — это все гордость, — убѣжище отъ заслуженнаго несчастья,—спасеніе отъ зависти къ чужому счастью!.. Жить для другихъ, дѣлать добро?.. Зачѣмъ, когда въ душѣ моей одна любовь къ себѣ“.

Пушкинъ, развѣнчавъ своего Алеко за его эгоизмъ, отнюдь не стоялъ на сторонѣ „опрощенія“: страсти человѣческія бушуютъ вездѣ, и подъ изодранными шатрами цыганъ нѣтъ счастья — вотъ, основная мысль поэмы: „Цыганы“,—Толстой, наоборотъ, въ своей повѣсти, проповѣдуетъ „опрощеніе“ и хочетъ только доказать, какъ оно трудно дается человѣку, отравленному ядомъ цивилизаціи. Олениннъ *не сумѣлъ* опроститься...

Симпатіи Толстого къ „опрощенію“ видны изъ того, съ какимъ сочувствіемъ изображаетъ онъ стихійную мощь природы и сыновъ этой „природы“—казаковъ и казачекъ: все это—„цѣльныя“ натуры, полудикія существа, не знающія ни раздвоенія душевнаго, ни разочарованія, — люди, живущіе почти „звѣринскимъ образомъ“—полною и здоровою жизнью природы, которая не знаетъ тлетворнаго воздѣйствія культуры.

Ерошка.

Самымъ интереснымъ лицомъ повѣсти является семидесятилѣтній охотникъ: „воръ-Ерошка“, — какъ онъ самъ себя величаетъ.

Яркое воплощеніе полудикой жизни, этотъ старикъ стоялъ выше всѣхъ предразсудковъ людскихъ: какъ здоровый звѣрь, онъ пользовался „во всю“ жизнью: бралъ силой, гдѣ хватало его силы,—лукавилъ и лгалъ, когда не хватало силы... Жизнерадостный, бодрый и веселый, онъ жилъ, не боясь смерти, не зная заботъ, не томимый мыслями, — жилъ безъ тоски о прошломъ, не заглядывая въ будущее. „Сдохнешь, такъ трава вырастетъ на могилѣ—вотъ и все!“—спокойно говоритъ этотъ дикарь-язычникъ XIX-го столѣтія.

Его дикій эгоизмъ не похожъ на эгоизмъ культурнаго человѣка. Въ немъ олицетворена та „борьба за существованіе“, которая является однимъ изъ основныхъ законовъ естественной жизни... Ерошка выросъ среди природы,—и онъ живетъ ея чувствами: и злоба, и состраданіе у него выражаются самымъ первобытнымъ образомъ. Природу онъ любитъ любовью Калиныча, Касьяна съ Красивой Мечи...

Въ этомъ признаніи правъ за однимъ—убивать, за другимъ—отстаивать свое существованіе—мудрость суровой природы, которую постигъ Ерошка... Готовый, когда считаетъ нужнымъ, убить человѣка, Ерошка спасаетъ бабочку отъ огня... Способный въ минуту опасности пожертвовать собою, онъ не прочь надуть пріятеля и украсть у него то, что ему понравится. Въ его лицѣ олицетворилъ Толстой своеобразную „упрощенную мораль“, освобождающую человѣка отъ разныхъ „условностей“ и „предразсудковъ“ той утонченной морали, которая сложилась у людей, какъ результатъ цивилизаціи.

Для Ерошки вся природа живетъ: она одухотворена... Въ такомъ пониманіи ея сказалось пантеистическое воззрѣніе язычника. Онъ даже готовъ природу считать мудрѣе человѣка.

Лукашка.

„Урванъ“-Лукашка — это — Ерошка въ молодости, типичный джигитъ, для котораго въ молодечествѣ—смыслъ всей жизни. Это молодечество даетъ исходъ его жизнерадостности, дѣвственной мощи его тѣла и духа. Подобно Ерошкѣ, онъ—еще почти язычникъ: прежде, чѣмъ выстрѣлить въ горца, онъ прочитываетъ молитву, которая, въ его глазахъ, имѣетъ силу заговора; убивъ чеченца, онъ спокойно говоритъ: „Ну, слава тебѣ Господи, кажется, убилъ!..“. Онъ даже къ любви относится довольно сдержанно: суровая душа его чужда нѣжности (ср. Остапа и Тараса Бульбу.)

Невѣста Лукашки, Марьянка—подстать къ своему жениху: „чѣмъ-то стихійнымъ, мощнымъ, какъ окружающая ее кавказская природа и жизнь съ ея неустанной борьбой, вѣетъ отъ этой красавицы-казачки“ (Александровскій). Оленину она казалась „величавой счастливой женщиной“,— прекрасной, спокойной и ровной, „какъ природа“. Для него она—„олицетвореніе всего прекраснаго въ природѣ“. **Марьянка.**

Эта повѣсть Толстого интересна тѣмъ, что въ ней онъ съ необыкновенной силой изобразилъ стихійную жизнь природы, съ ея своеобразной философіей и моралью. Никто до него съ такой полнотой не рисовалъ этой жизни, никто такъ глубоко не заглядывалъ въ ея сущность. Толстой нарисовалъ, дѣйствительно, живыхъ людей,—сумѣлъ сжиться съ ихъ жизнью, сумѣлъ полюбить эту жизнь... Значеніе повѣсти и заключается въ томъ, что авторъ на своемъ героѣ-Олениновѣ иллюстрируетъ отрицательныя стороны культурной жизни, ея морали—и зоветъ читателей къ «опрощенію», къ новой морали, быть можетъ, и «звѣринской», но, на его взглядъ, «здоровой», свободной отъ лжи и условностей...

Послѣ жизни въ деревнѣ и въ столицахъ, Л. Толстой кончилъ тѣмъ, что, истративъ порядочно денегъ, утомившись жизнью, поѣхалъ на Кавказъ, гдѣ и прожилъ съ 1851 г. до осени 1852 г., сперва въ Пятигорскѣ, потомъ въ станицѣ Старогладовской. Здѣсь онъ подружился съ старымъ охотникомъ-казакомъ Епишкой и тѣсно сблизился съ жизнью казаковъ. Въ своей повѣсти: «Казаки», Толстой разсказалъ о своей собственной жизни на Кавказѣ. Идея этого произведенія, очевидно,—результатъ тогдашнихъ «исканій правды» самимъ Толстымъ. Это одинъ изъ моментовъ его духовнаго роста.

§ **66.** Въ военныхъ разсказахъ («Набѣгъ», «Рубка лѣса», «Севастополь въ декабрѣ 1854 года, въ маѣ и августѣ 1855 года») Толстой подробно останавливается на вопросѣ, насколько, съ точки зрѣнія морали, желательна война, требующая кровавыхъ жертвъ. Особенно ясно эта идея нежелательности войны выражена въ его «Севастопольскихъ разсказахъ». **Военные разсказы Толстого.**

Битвы и войны много разъ изображались въ русской и иностранной литературахъ. Почти всегда картины эти отличаются «поэтизаціей», приподнятостью тона, своеобразнымъ «милитаризмомъ, прославляющимъ подвиги воиновъ и вождей»... Не съ такой «казовой» стороны изобразилъ войну Л. Толстой: онъ заглянулъ въ ея «прозу»,—въ ея ужасную дѣйствительность, изобразилъ войну не «съ музыкой и барабаннымъ боемъ, съ развѣвающимися знаменами и гарцующими генералами, а въ ея настоящемъ выраженіи — въ крови, въ страданіяхъ, въ смерти»...

Самъ сознавая ужасъ той «новой правды», которую онъ принесъ своимъ читателямъ, Толстой говоритъ, что никого не обвиняетъ въ своемъ произведеніи.

„Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти?.. Кто злодѣй ея?... *Всѣ хороши*

и всѣ дурны... Герой же моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его, и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—*правда*".

Рука-объ-руку съ этимъ «героемъ» заглядываетъ авторъ и на поле битвы, и въ грязныя траншеи, и на офицерскую квартиру, и въ лазаретъ, и на бульваръ, гдѣ гуляютъ жители осажденнаго города... Онъ рисуетъ души разныхъ людей, замѣтныхъ и малозамѣтныхъ,—онъ анализируетъ настроенія этихъ людей въ разные моменты жизни осажденнаго города... Онъ—

„...показываетъ, что эта душа ощущаетъ и думаетъ, какъ веселится въ свободную минуту, какъ шутитъ подъ свистящими пулями, какъ мучительно иногда боится, какъ отдается тщеславному чувству, мечтамъ о наградахъ, о славѣ, какъ спокойно и просто совершаетъ подвиги мужества и великодушія, и какъ мелочно и зло вздоритъ изъ-за какого-нибудь проиграннаго въ карты рубля"... (Дистерло).

«Нѣтъ героевъ»: «всѣ хороши и всѣ дурны»,— вотъ, предѣлъ, до котораго дошелъ художественный реализмъ, явившійся на смѣну романтизму, съ его апоѳеозомъ «личности».

Севастопольскіе разсказы.

Въ первомъ очеркѣ: „*Севастополь въ декабрѣ 1854 года*" Толстой изображаетъ жизнь города въ началѣ осады, когда и жители его, и защитники вѣрили въ то, что сумѣютъ спасти городъ... Вотъ почему серьезности въ настроеніи толпы еще нѣтъ: жизнь течетъ разнообразная, по прежнему довольно пошлая и обыденная. Во второмъ очеркѣ: „*Севастополь въ маѣ 1855 года*"—картина уже мѣняется: настроеніе у всѣхъ приподнятое; опасность чувствуется всѣми. Въ этомъ очеркѣ Толстой вводитъ насъ въ настроенія „защитниковъ" города, и цѣлый рядъ живыхъ и разнообразныхъ лицъ проносится передъ нами... И въ нихъ, безъ труда, можемъ мы прочесть крупныя и мелкія страсти людей,— свѣтлое и темное ихъ души... На первомъ планѣ представленъ штабсъ-капитанъ Михайловъ. Помня свою вѣру въ то, что „всѣ хороши и всѣ дурны", Толстой въ этомъ Михайловѣ рисуетъ человѣка, въ общемъ, хорошаго, но, въ то же время, знающаго и дурныя чувства. Онъ –человѣкъ храбрый, честный слуга родины, способный на самопожертвованіе; простодушный и порядочный,— въ то же время, онъ мелочно-честолюбивъ и тщеславенъ: ему, честному боевому офицеру, доставляетъ неописанную радость возможность пройтись подъ руку съ блестящимъ „адъютантомъ", княземъ Гальцынымъ... Готовый умереть за родину, онъ мечтаетъ о крестахъ... Въ лицѣ Калугина вывелъ Толстой карьериста, храбрость котораго есть результатъ желанія выслужиться. На ряду съ этими офицерами, которые даже въ глаза смерти не могутъ посмотрѣть „безъ задней мысли",—выведены солдаты, которые бьются просто и умираютъ безъ рисовки. Въ ихъ храбрости нѣтъ ничего эффектнаго... И авторъ преклоняется передъ ихъ простотой; въ ихъ душахъ находитъ величіе, „молчаливое и безсознательное"... Онъ нарисовалъ ихъ спокойно-мужественными на бастіонахъ, терпѣливо-умирающими въ лазаретахъ, добродушно-болтающими съ врагами во время перемирія... Въ этомъ преклоненіи передъ простымъ солдатомъ сказался тотъ „апоѳеозъ простоты", возвеличеніе природы, съ которыми встрѣтились мы еще въ „Казакахъ"

Третій очеркъ: „*Севастополь въ августѣ 1855 года*" представляетъ разсказъ о послѣднихъ минутахъ „осажденнаго города". Духъ защитниковъ и жителей уже иной, чѣмъ въ декабрѣ 1854 г.; сознаніе важности переживаемаго момента вноситъ долю торжественности въ настроенія... Нѣкоторая растерянность и, въ то же время, готовность умереть смѣняютъ прежнюю безпечность. Центральными фигурами въ этомъ третьемъ очеркѣ являются братья Козельцовы. Старшій братъ, спокойный, несложный, –человѣкъ, живущій безъ порывовъ и безъ особыхъ душевныхъ тревогъ; просто и серьезно смотритъ онъ въ глаза смерти и „дѣлаетъ свое дѣло" безъ шумихи, безъ заднихъ мыслей. Это натура—про-

стая и цѣльная. Младшій братъ его, Володя—восторженный, романтически-настроенный юноша-мечтатель, который весь живетъ благороднымъ порывомъ патріотизма. Чувствительный и отзывчивый, онъ болѣзненно переживаетъ тяжелыя впечатлѣнія, которыми подарило его знакомство съ обратной, „прозаической“ стороной войны.

«Севастопольскіе разсказы» тоже имѣютъ автобіографическое значеніе: извѣстно, что Толстой съ Кавказа поѣхалъ сперва въ Бессарабію, потомъ въ Крымъ, и волонтеромъ записался въ севастопольскій гарнизонъ. Пробылъ онъ тамъ съ конца 1854 года до конца осады и дѣятельное участіе принималъ въ геройской оборонѣ города. Свои душевныя настроенія выразилъ онъ отчасти въ мысляхъ и чувствахъ Володи Козельцова, отчасти Михайлова.

§ **67**. «*Война и Миръ*» *(Ист. хрест., т. III, вып. 2, стр. 309)*—одно изъ величайшихъ произведеній не только русской, но и всемірной литературы. Это—«семейная хроника» трехъ аристократическихъ русскихъ семействъ: Ростовыхъ, Болконскихъ и Безухихъ,—и, въ то же время, народная «русская эпопея», захватывающая одну изъ величайшихъ эпохъ міровой исторіи. **„Война и Миръ“.**

Огромной работы потребовалъ отъ автора этотъ, по-истинѣ, титаническій трудъ. Въ теченіе семи лѣтъ (съ 1862—1869 г.г.) изучалъ онъ жизнь далекой для него эпохи по многочисленнымъ историческимъ трудамъ, русскимъ и иностраннымъ, записками, перепискамъ и фамильнымъ воспоминаніямъ. Нѣсколько разъ передѣлывалъ онъ свой «романъ» и *семь разъ* самъ его переписалъ. Широко-поставленная тема требовала того, чтобы въ романѣ выведена была масса крупныхъ и мелкихъ фигуръ; приходилось изображать жизнь всѣхъ сословій, изображать историческихъ дѣятелей крупныхъ и маленькихъ, незамѣтныхъ... Приходилось жизнь русскую изображать со всѣхъ сторонъ — съ возвышенной и съ пошлой, съ трагической и съ комической — во время войны и во время мира,—на ратномъ полѣ и въ семейномъ кругу... Необходимо было опредѣлять смыслъ величайшихъ міровыхъ событій и, въ то же время, освѣщать внутреннюю жизнь дѣйствующихъ лицъ, развертывающуюся въ сердцахъ избранныхъ героевъ и толпы,—свѣтской и простонародной, русской и иностранной...

Эта сложная картина жизни изображена Толстымъ съ изумительной объективностью художника-реалиста. Этотъ реализмъ—характернѣйшая черта «Войны и Мира»: нѣтъ въ этомъ романѣ запутанныхъ и таинственныхъ приключеній, нѣтъ ходульныхъ героевъ... Даже «великихъ людей» сумѣлъ Толстой изобразить «людьми»; въ

«геройхъ исторіи» сумѣлъ найти и выявить «человѣческія» черты. Оттого дѣйствительности онъ не прикрашиваетъ,—не смягчаетъ и не сгущаетъ тѣней. «Всѣ хороши и всѣ дурны»—этой точки зрѣнія держится Толстой, вырисовывая героевъ своей эпопеи. Вотъ почему въ сердцахъ людей, повидимому, холодныхъ, умѣетъ онъ отыскать слѣды глубоко-скрытой сердечности (отношенія бретёра-Долохова къ сестрѣ и матери),—и, наоборотъ, въ сердцахъ открытыхъ и добрыхъ, способныхъ на высокіе, благородные порывы,—находитъ черты эгоизма и низкихъ животныхъ страстей (увлеченіе Наташи Курагинымъ). Въ этомъ безпристрастіи сказывается необыкновенная объективность Толстого. *Все* въ этой жизни важно для его пытливаго взора,—*все* въ душѣ всякаго человѣка заслуживаетъ вниманія психолога,—нѣтъ особо-интересныхъ героевъ, нѣтъ особо-важныхъ событій... Совершенно справедливы критики, говорящіе объ особой «остротѣ зрѣнія автора»: онъ заразъ охватываетъ и широкія панорамы, и детали. Рисуя большія картины, онъ всегда останавливается на какой-нибудь характерной детали. Вотъ, напримѣръ, какъ описываетъ онъ картину молебствія передъ Бородинскимъ боемъ—

„Взойдя на гору, икона остановилась; державшіе на полотенцахъ икону люди перемѣнились; дьячки зажгли вновь кадила, и начался молебенъ. Жаркіе лучи солнца били отвѣсно сверху; слабый свѣжій вѣтерокъ игралъ волосами открытыхъ головъ и лентами, которыми была убрана икона... Пѣніе негромко раздавалось подъ открытымъ небомъ“.

Въ этой картинѣ колебаніе волосъ и лентъ отъ вѣтра придаетъ всему пейзажу движеніе и жизненность. Благодаря этой манерѣ описывать впечатлѣнія достигается близость къ дѣйствительности.

«Детальность» рисунка въ романѣ поразительна. Кажется, что, рисуя свою картину на громадномъ полотнѣ, Толстой подробности отдѣлывалъ съ микроскопомъ въ рукахъ. Какъ примѣръ такой детальности, можно привести, хотя бы, сцену въ лазаретѣ, когда докторъ въ фартукѣ, съ окровавленными руками, выходитъ отдохнуть послѣ операцій... Онъ—

„...держитъ сигару между мизинцемъ и большимъ пальцемъ, чтобы не запачкаться“. „Это положеніе пальцевъ обозначаетъ и непрерывность ужасной работы, и отсутствіе брезгливости, и равнодушіе къ ранамъ и крови вслѣдствіе долгой привычки,—и усталость, и желаніе забыться... Сложность всѣхъ этихъ внутреннихъ состояній сосредоточена въ одной маленькой тѣлесной подробности — въ положеніи двухъ пальцевъ, описаніе котораго занимаетъ полстроки“ (Мережковскій).

Съ одинаковымъ интересомъ и съ такимъ же вниманіемъ рисуетъ въ своемъ романѣ Толстой и обыденную, будничную жизнь.

„Всѣ случаи обыкновенной семейной жизни: разговоры между братомъ и сестрой,—между матерью и дочерью, разлука и свиданіе родныхъ, охота, святки, мазурка, игра въ карты и пр. — все это съ такою же любовью возведено въ перлъ созданія, какъ и Бородинская битва. Простые предметы

занимаютъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ такъ же много мѣста, какъ, напримѣръ, и въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ безсмертныя описанія жизни Ларинныхъ, зимы, весны, поѣздки въ Москву и т. п.“ (Страховъ).

Кромѣ объективности и простоты, особенностями манеры письма Толстого должно признать необыкновенную образность, красочность письма. Оттого получается иллюзія самой дѣйствительности. Отъ своего имени авторъ не говоритъ ничего,—выведенныя имъ лица говорятъ и дѣйствуютъ сами за себя, безъ его помощи раскрывая свою душу передъ зрителями. По ихъ внѣшности, манерамъ, жестамъ—

„можно различать образъ выраженій и чувствъ каждаго дѣйствующаго лица, которому они принадлежатъ. Иногда одна характерная, подмѣченная черта рисуетъ всю душу героя (напр., лучистый взглядъ княжны Болконской). Важному князю Василію пришлось однажды, въ необыкновенныхъ и трудныхъ обстоятельствахъ, пройтись на цыпочкахъ; авторъ въ совершенствѣ знаетъ, какъ ходитъ каждое изъ его лицъ. „Князь Василій, говоритъ онъ, не умѣлъ ходить на цыпочкахъ и неловко подпрыгивалъ всѣмъ тѣломъ“ (Тамъ же).

Это неумѣнье ходить «на цыпочкахъ» рисуетъ всю жизнь князя Василія: его властность, привычку играть видную роль...

Толстой неистощимо разнообразенъ въ обрисовкѣ не только безчисленныхъ своихъ героевъ, великихъ и малыхъ, всегда отличныхъ другъ отъ друга,—но даже въ обрисовкѣ той жизненной атмосферы, которая ихъ окружаетъ: такъ, настроенія, характерныя для жизни въ домѣ Ростовыхъ, отличаются отъ настроеній дома Болконскихъ. Дѣловой кабинетъ Сперанскаго, домъ дядюшки Ростовыхъ, театральная зала, куда попадаетъ Наташа, лазаретъ, въ который зашелъ Ростовъ, обрисованы совершенно различно.

Даже одной и той же психической чертѣ Толстой умѣетъ придать самые разнообразные оттѣнки: блестящая храбрость Денисова, твердое мужество князя Андрея, безсознательное геройство капитана Тушина,—все это различные виды «храбрости».

Какъ во всѣхъ предыдущихъ произведеніяхъ своихъ, такъ и въ этомъ Л. Толстой безпощадно правдивъ, рисуя дѣйствительность. «Правда»—и здѣсь его вѣрный спутникъ, съ которымъ онъ не разлучается. «Всѣ хороши и всѣ дурны»—руководящая идея его произведенія, которая не позволяетъ ему закрывать глаза на слабыя стороны его героевъ.

Вотъ почему въ самомъ прекрасномъ, самомъ симпатичномъ существѣ изъ всѣхъ, дѣйствующихъ въ романѣ (Наташа), романистъ, находясь подъ властью «правды», вскрылъ отвратительные «животные» порывы.

Великій художественный талантъ Толстого особенно сказался въ «описаніяхъ» природы, быта военнаго и семейнаго... Своеобразность этихъ описаній заключается въ томъ, что на внѣшнюю сторону описаній авторъ обращаетъ мало вниманія; зато у него «нигдѣ не упущено впечатлѣніе и вліяніе, производимое этою внѣшнею стороною на душу людей; а главное мѣсто занимаетъ ихъ внутренняя жизнь, для которой внѣшняя служитъ только исходомъ, или неполнымъ выраженіемъ» (Страховъ).

„Природа у него является только такъ, какъ она отражается въ дѣйствующихъ лицахъ: онъ не описываетъ дуба, стоящаго среди дороги,—или лунной ночи, въ которую не спалось Наташѣ и князю Андрею, а описываетъ то впечатлѣніе, которое этотъ дубъ и эта ночь производили на князя Андрея. Точно такъ, о битвахъ и событіяхъ всякаго рода повѣствуется въ романѣ по впечатлѣніямъ лицъ, въ нихъ дѣйствующихъ. Такъ Шенграбенское дѣло описано, преимущественно, по впечатлѣніямъ князя Андрея; Аустерлицкая битва—по впечатлѣніямъ Николая Ростова (отчасти князя Андрея); пріѣздъ императора Александра въ Москву изображенъ въ волненіяхъ Пети, а дѣйствіе молитвы о спасеніи отъ нашествія—въ чувствахъ Наташи“ (Тамъ же).

Толстой, какъ психологъ.

§ **68.** Великъ Толстой въ своемъ произведеніи не только, какъ художникъ, но и какъ психологъ-сердцевѣдъ. Богатство и разнообразіе его психологическихъ наблюденій необыкновенно велико. Около *ста* разнообразныхъ лицъ выведено въ романѣ, причемъ каждое живетъ своею внутреннею жизнью, отличною одна отъ другой.

Несомнѣнно, и собственная душа дала ему для этихъ наблюденій немало матеріала: въ лицѣ двухъ главныхъ героевъ,—въ Пьерѣ Безухомъ и Андреѣ Болконскомъ,—изобразилъ онъ нѣкоторыя черты своего духа, и потому оба эти героя имѣютъ автобіографическое значеніе.

У Толстого нѣтъ излюбленныхъ героевъ, какъ у Лермонтова и у Тургенева; если онъ главное вниманіе и обращаетъ въ своемъ произведеніи на круги аристократическаго дворянства, городского (Ростовы) и деревенскаго (Болконскіе), то это произошло только потому, что эти круги ему были особенно знакомы. Но съ одинаковымъ интересомъ рисуетъ онъ и простого мужика-Каратаева, и императора Наполеона, и армейскихъ офицеровъ, и даму высшаго свѣта... Ничѣмъ не обнаруживаетъ онъ какой-нибудь особой симпатіи къ нѣжной, кроткой княжнѣ Маріи, или ненависти къ красивому животному Анатолю Курагину. Съ одинаковымъ интересомъ рисуетъ онъ людей яркихъ и тусклыхъ, нравственныхъ и безнравственныхъ...

Объектомъ для своихъ наблюденій бралъ Толстой не только отдѣльныхъ лицъ, но и человѣческую «толпу». Эта «психологія толпы» была «новостью» въ русской изящной литературѣ. Въ этихъ характеристикахъ «толпы» Толстой такъ же разнообразенъ: онъ наблюдаетъ «толпу» въ салонѣ фрейлины Шереръ до войны 1812-го года и во время войны, — наблюдаетъ ее на московской площади до пожара Москвы и передъ сдачею города Наполеону (смерть Верещагина); наблюдаетъ ее до битвы, во время битвы и послѣ.

Идейное содержаніе романа.

Уже изъ этой общей характеристики художественнаго и психологическаго значенія романа видно его идейное богатство. Представивъ въ своемъ произведеніи цѣлую «энциклопедію» человѣческой жизни, Толстой попутно подымаетъ много серьезныхъ и глубокихъ вопросовъ. Но основныхъ идей въ романѣ *двѣ*; одна—моральнаго характера, другая—философскаго. Первая идея нашла въ самомъ романѣ вполнѣ законченную формулировку въ словахъ: «нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды».

Другая не формулирована Толстымъ, но смыслъ ея ясенъ: «личность въ исторіи значенія никакого не имѣетъ». Развивая и доказывая обѣ эти мысли, Толстой выступаетъ въ роли то *моралиста*, то *философа-историка*.

Первое положеніе: «нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды»—знакомо намъ уже по первымъ произведеніямъ Толстого: оно въ зародышѣ намѣчается уже въ его «Дѣтствѣ» и «Отрочествѣ»; яснѣе оно опредѣляется въ послѣдующихъ его произведеніяхъ. Толстой превозноситъ «простоту» въ казакахъ, жителяхъ той станицы, куда попалъ Оленинъ; онъ восхваляетъ простоту въ солдатахъ, умирающихъ на севастопольскихъ бастіонахъ. Въ повѣсти: «Три смерти» онъ возславилъ эту простоту въ разсказѣ о смерти дерева, о послѣднихъ минутахъ мужика-ямщика... Тамъ, на сторонѣ этой «простоты»,—«добро» и «правда»,—качества, утраченныя «культурной» половиной человѣчества... Отсутствіе простоты, излишнюю сложность души, ея изломанность, двойственность изобличалъ онъ и въ Николенькѣ Иртеньевѣ, и въ Нехлюдовѣ, и въ Оленинѣ, и въ тѣхъ офицерахъ-дворянахъ, которые шли защищать родину во время севастопольской осады и, въ то же время, думали о карьерѣ. Эту же мысль подробно доказываетъ Толстой и въ «Войнѣ и Мирѣ» въ дѣйствующихъ лицахъ этого произведенія. На сторонѣ людей простыхъ, добрыхъ и правдивыхъ стоитъ русскій народъ, съ Каратаевымъ, какъ типичнымъ представителемъ русской народности, во главѣ, и съ Кутузовымъ,—человѣкомъ, хотя и «культурнымъ», но сумѣвшимъ подняться на высоту народной мудрости. На сторонѣ противоположной стоятъ «культурные» люди; изъ нихъ одни неисправимы и потому навсегда оторваны отъ правды народной... Къ нимъ относитъ Толстой Наполеона, Курагиныхъ и другихъ русскихъ аристократовъ. Другіе, путемъ ошибокъ, борьбы, страданій побѣждаютъ въ себѣ зло культурности,—эгоизмъ, свою личность и, подобно Кутузову, находятъ душевный

миръ, постигаютъ величіе простоты, добра и правды... Такими героями являются Пьеръ Безухій, Наташа, отчасти Андрей Болконскій.

Свѣтскую «среду» (салонъ фрейлины Шереръ, офицеры-карьеристы, аристократы, въ родѣ Курагиныхъ) изображаетъ Толстой бездушной, эгоистической, мелочной, фальшивой и безнравственной... Наоборотъ, простой народъ надѣленъ у него чертами прямопротивоположными: въ русскихъ солдатахъ отмѣчаетъ Толстой спокойное мужество, отсутствіе мелкаго себялюбія, тщеславія и аффектаціи. Въ ихъ служеніи родинѣ видитъ онъ сознаніе долга, присутствіе какой-то внутренней религіи... Спокойствіе энергіи и удивительный духъ смиренія вносятъ «простоту» въ душу народа, готовность безъ ропота лечь костьми, пожертвовать собой ради родины... Это и есть то высшее «добро», на которое, по мнѣнію Толстого, въ годину народнаго бѣдствія, оказался способенъ русскій народъ, хотя и былъ униженъ вѣковымъ рабствомъ. Этотъ народъ тысячами умиралъ на полѣ битвы, прямо и честно шелъ на смерть, не ожидая наградъ и повышеній. Въ этомъ—его высочайшая «правда», доказанная имъ въ 1812-мъ году.

Каратаевъ. § **69**. Въ лицѣ Каратаева Толстой сумѣлъ воплотить характерный національный русскій типъ: «безъ Каратаева и Кутузова, говоритъ проф. Овсянико-Куликовскій, великая эпопея «Войны и Мира» не была бы тѣмъ, чѣмъ она, по праву, является—великимъ законченнымъ національнымъ памятникомъ,—она бы не была нашей «Иліадой» и «Одиссеею» [1]).

Основная черта характера Каратаева—доброта, производящая неотразимое впечатлѣніе; самъ будучи въ плѣну, онъ находитъ въ себѣ достаточно силъ, чтобы утѣшать другихъ; въ его „пѣвучемъ“ голосѣ было „такое выраженіе ласки и простоты, что Пьеръ хотѣлъ отвѣчать, но у него задрожала челюсть, и онъ почувствовалъ слезы“...

Эта доброта—свойство его души: онъ ко всему въ жизни относится съ лаской: и къ собакѣ, и къ Пьеру, и къ врагамъ французамъ [2]).

„...Привязанностей, дружбы, любви, какъ понималъ ихъ Пьеръ, Каратаевъ не имѣлъ никакихъ. Но онъ любилъ и любовно жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ человѣкомъ,—не съ извѣстнымъ какимъ-нибудь человѣкомъ, а съ тѣми людьми, которые были передъ его глазами“.

Въ этой своеобразной любви нѣтъ и тѣни эгоизма... Его доброта—„не добродѣтель, не сознательное проявленіе души, а, какъ бы, родъ врожденнаго психическаго темперамента“,—„не заслуга, не преимущество, а свойство“ (Овсянико-Куликовскій).

---

[1]) См. подробнѣе эту статью Овсянико-Куликовскаго въ *Истор. хрест., т. III, вып. 4, стр. 268.*

[2]) „И скотъ жалѣть надо“—говоритъ онъ. О жизни въ плѣну у французовъ онъ отзывается такъ: „живемъ тутъ, слава Богу, обиды нѣтъ. Тоже люди—и худые, и добрые есть“ (ср. Лизу Калитину, которая любитъ „всѣхъ и никого въ особенности“).

Сознаніе своей личности у Каратаева совершенно не прояснено, — у него нѣтъ своей индивидуальности. По словамъ Толстого, „жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь: она имѣла смыслъ только, какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ".

Оттого, живя общею жизнью не только съ роднымъ народомъ, но со всѣмъ міромъ, Каратаевъ не имѣетъ *своихъ* чувствъ, *своихъ* настроеній, *своихъ* рѣчей,—онъ любилъ говорить народными поговорками, не замѣчая того, что иногда противорѣчилъ себѣ... Такова непосредственная народная мудрость, не объединяющая своихъ наблюденій однимъ *личнымъ* пониманіемъ. Оттого въ народныхъ пословицахъ столько внутренняго противорѣчія,—оттого народъ никогда въ своемъ безличномъ творчествѣ не создаетъ стройной системы міросозерцанія,—такой системы, которую могутъ создать только опредѣлившіяся „личности" философовъ. Каратаевъ и въ людяхъ любитъ не *личное*, а *общее*, доступное его пониманію.

Это *общее* въ Каратаевѣ—1) начало, опредѣляющее его крестьянское, мужицкое происхожденіе, и—2) начало, характерное вообще для его русскаго происхожденія.

Каратаевъ на военной службѣ остался чуждъ солдатства: онъ любилъ разсказывать о деревнѣ, о „христіанской" (крестьянской) жизни; и поговорки, которыя наполняли его рѣчь, не были тѣ, бóльшею частью, неприличныя и бойкія поговорки, которыя говорятъ солдаты, но это были тѣ народныя изреченія, которыя кажутся столь незначительными, взятыя отдѣльно, и которыя получаютъ вдругъ значеніе глубокой мудрости, когда они сказаны кстати".

По словамъ Толстого, въ душевномъ складѣ Каратаева было много „благообразія": „въ его рѣчи событія, самыя простыя, получали характеръ торжественнаго благообразія... Онъ любилъ слушать сказки... Но больше всего любилъ слушать разсказы о настоящей жизни. Онъ радостно улыбался, слушая такіе разсказы, вставляя слова и дѣлая вопросы, клонившіеся къ тому, чтобы уяснить себѣ благообразіе того, что̀ ему разсказывали". „Въ разсказѣ его о томъ, какъ онъ попалъ въ солдаты, что̀ спасло отъ солдатчины его брата, есть что-то „евангельское"—говоритъ проф. Овсянико-Куликовскій.

Характерной русской чертой въ Каратаевѣ было, по мнѣнію Толстого,—*смиреніе* безсознательное, органически-прирожденное, которое, какъ любовь къ людямъ, не было у него результатомъ сознательной „борьбы" съ гордыней. Толстой называетъ Каратаева „олицетвореніемъ всего *русскаго*, добраго и круглаго",—„непостижимымъ, круглымъ и вѣчнымъ олицетвореніемъ духа простоты и правды"... И вся жизнь, все міросозерцаніе Каратаева полно выражаются въ этихъ словахъ. Въ его „смиреніи" кроется разгадка основъ національнаго нашего русскаго міросозерцанія, которое можно опредѣлить словами проф. Овсянико-Куликовскаго: „нашъ *умѣренный* (сравнительно съ восточнымъ, азіатскимъ) *фатализмъ* и нашъ *неумѣренный* (сравнительно съ западно-европейскимъ) *оптимизмъ*".

„Рокъ головы ищетъ"—говоритъ Каратаевъ. „А мы все судимъ: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружокъ, какъ вода въ бреднѣ: тянешь—надулась, а вытащишь—ничего нѣтъ!"

Фатализмъ и оптимизмъ Каратаева слышится также въ разсказѣ его о томъ, какъ онъ попалъ въ солдаты, и какъ это оказалось „къ лучшему". Эти же черты освѣщаютъ его разсказъ о купцѣ, который былъ по ошибкѣ сосланъ на каторгу... Каратаевъ вѣчно-благодушенъ, не безпокоится о будущемъ, безъ страха готовъ умереть и легко со всѣмъ примиряется.

Ложась спать, говорилъ онъ: „положи, Господи, камушкомъ, подними калачикомъ", а, просыпаясь, повторялъ: „легъ—свернулся, всталъ—встряхнулся".

Такъ проходитъ вся жизнь его, ровная, безпорывная, безличная, крѣпкая тѣмъ внутреннимъ укладомъ мыслей и чувствъ, которыя опредѣлены его неразрывностью съ „общимъ"—крестьянскимъ и русскимъ. Цѣлостность, нетронутость его души вполнѣ выражены тѣмъ словомъ: „круглый", которымъ Толстой неразъ опредѣляетъ сущность его души.

Къ національнымъ свойствамъ, воплощеннымъ въ образѣ Каратаева, относится также его „простота и правда“... Это—тоже не „добродѣтели“, а „свойства“ русскаго народа, — вѣрнѣе, даже „свойство“, такъ какъ оба эти понятія, въ сущности, представляютъ собою одно цѣлое, недѣлимое качество [1]).

Безличные герои романа.

Тушинъ, Тимохинъ, самъ Кутузовъ и Багратіонъ,—всѣ эти герои сродни Каратаеву: всѣ они близки къ народу; особенно первые два,—простые и честные слуги отечеству, „рабы нелукавые“... Это—родные братья пушкинскаго капитана Миронова и его жены,—люди „чистые сердцемъ“, малозамѣтные, которые оказываются настоящими героями. Если они безсознательно, инстинктивно, всѣмъ сердцемъ, тянутся къ такимъ людямъ, какъ Каратаевъ, то Кутузовъ сознательно старается слить себя съ этими людьми.

Кутузовъ.

Въ лицѣ стараго генерала Толстой представилъ человѣка, умудреннаго житейскимъ опытомъ; несмотря на свою кажущуюся апатію и сонливость, онъ — великій сердцевѣдецъ и психологъ. Онъ понимаетъ „душу“ своихъ солдатъ, потому что изучилъ за долголѣтнюю свою практику русскихъ „Каратаевыхъ“; онъ умѣетъ „разговаривать“ съ солдатами: иногда употребляетъ грубую шутку, иногда дѣйствуетъ своимъ спокойствіемъ... Его ясный взоръ задолго до Аустерлицкой битвы уже „провидѣлъ“ пораженіе, а послѣ Бородинской битвы, особенно послѣ оставленія французами Москвы, безошибочно предсказалъ ихъ скорую гибель. Кутузовъ, какъ Каратаевъ, какъ Тимохинъ и Тушинъ,—представитель безличнаго начала,—воплощеніе національнаго характера русскаго народа... „Источникъ его необычайной силы прозрѣнія въ смыслѣ совершающихся явленій лежитъ въ томъ народномъ чувствѣ, которое онъ носилъ въ себѣ во всей чистотѣ и силѣ его“,—говоритъ Толстой.

Для такой „національной“ войны, когда затронуты были всѣ стихіи народныя до самыхъ глубинъ ея, лучше начальника отыскать было невозможно. И Кутузовъ провелъ свою роль прекрасно, предоставивъ „народу“ вести войну, оставивъ за собою только дѣло направленія „народной психики“.

„... Онъ зналъ, что руководить сотнями тысячъ человѣкъ нельзя одному человѣку и что рѣшаютъ участь сраженія не распоряженія главнокомандующаго..., а неуловимая сила, называемая „духомъ войска“. Онъ и слѣдилъ за этой силой и руководилъ ею, насколько это было въ его власти“.

Самъ фаталистъ по міровоззрѣнію, Кутузовъ не придаетъ значенія роли личности въ жизни: онъ понималъ, что есть что-то сильнѣе и значительнѣе его воли,—это неизбѣжный ходъ событій. И онъ умѣетъ видѣть эти событія, провидитъ ихъ ходъ, умѣетъ понимать ихъ значеніе и, въ виду этого, участвуя въ этихъ событіяхъ, умѣетъ отрекаться отъ своей личной воли.

---

[1]) Въ кругъ понятій, которыя охватываются понятіемъ „простота“, входятъ: „простодушіе“, „добродушіе“, „искренность“, „наивность“, наконецъ—„добродушная глупость“; въ кругъ понятій, заключенныхъ въ словѣ: „правда“, входятъ: „объективная истина“, „субъективная правдивость“, „нравственная правда“ (справедливость отношеній). Ужъ изъ этого перечня видно, какъ одинъ кругъ понятій („простота“) входитъ въ другой („правда“). Вотъ почему—„какъ самый терминъ: „простота и правда“ есть явленіе лингвистически-національное и непереводимъ на другіе языки (подобно греческому: καλοκαγαθία), такъ и художественные образы, ему отвѣчающіе, суть образы спеціально-русскіе, національные и часто, цѣликомъ, или въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, остаются непонятными для иностранца“. „Однимъ изъ крайнихъ выраженій этого національнаго свойства является въ народной поэзіи образъ Иванушки-Дурачка, въ которомъ „простота“ доведена до глупости, хотя только кажущейся, а „правда“—до высшей нравственной правды. Другимъ представителемъ того же типа, только въ иной постановкѣ, служитъ нашъ эпическій богатырь—Илья Муромецъ, въ которомъ „простота“ развита до прямодушія, искренности, безхитростности, а „правда“—до извѣстныхъ понятій о долгѣ, призваніи, чести и др.“ (Тамъ же).

Къ разряду такихъ же героевъ относится и княжна Марія Болконская. Эта некрасивая дѣвушка, съ прекрасными „лучистыми глазами“,—родная сестра Лизы Калитиной и всѣхъ родственныхъ съ нею образовъ. Выросла она одинокая, и, въ обществѣ отца-вольтерьянца, сумѣла воспитать въ своемъ сердцѣ религіозные идеалы. Всепрощающая любовь къ людямъ, покорность и терпѣніе,—вотъ, что помогло ей сносить ея одинокую и невеселую юность. Чтеніе священныхъ книгъ, житій святыхъ было для нея тѣмъ источникомъ, откуда почерпнула она силы душевныя. Она близка къ народу, и потому „идеалы простоты, добра и правды“ освѣщаютъ ея путь. Какъ Лиза, она мистически-восторженно любитъ Бога; иногда она даже мечтаетъ сдѣлаться странницей по святымъ мѣстамъ... **Марія Болконская.**

Но это только—порывъ. Она любитъ людей и останется съ ними. Въ жизни своей она доказываетъ неразъ, что умѣетъ прощать: религія ее этому научила... Наташѣ она говоритъ:

„Не думай, что горе сдѣлали люди: горе послано Имъ, а не людьми. Люди—орудія Его; они не виноваты. Ежели тебѣ кажется, что кто-нибудь виноватъ передъ тобой,—забудь это и прости!.. Мы не имѣемъ права наказывать. И ты поймешь счастье прощать“.

Богъ посылаетъ „горе“, но Богъ посылаетъ и „радость“,—въ такомъ полномъ христіанскомъ пониманіи смысла жизни нѣтъ односторонности, нѣтъ аскетизма Лизы... Оттого Марія Болконская считаетъ себя въ правѣ выйти замужъ и находитъ полное, тихое и свѣтлое счастье въ жизни съ Николаемъ Ростовымъ. Въ этомъ свѣтломъ образѣ изобразилъ Толстой свою мать, а въ ея мужѣ—своего отца.

§ **70**. Прямо противоположными образами являются тѣ, въ которыхъ *личное* начало выдвигается на первое мѣсто. Въ этомъ отношеніи, Каратаеву противопоставлены русскіе аристократы-интернаціоналисты, въ родѣ Курагиныхъ, офицеры-карьеристы, въ родѣ Дорохова, Бориса Друцкаго, Берга и др. Кутузову противопоставлены Наполеонъ, Пфуль и нѣкоторые другіе. **Личные герои романа.**

Выше было уже указано, что аристократическіе круги русскаго столичнаго общества обрисованы Толстымъ съ отрицательной стороны.

Особенно ярко охарактеризованы эти черты столичной аристократіи въ обрисовкѣ семьи Курагиныхъ: князь Василій—крупный и вліятельный сановникъ, эгоистъ въ душѣ, способный на безчестные поступки (попытка похитить завѣщаніе Безухаго), хитритъ, лукавитъ, живетъ идеалами Фамусова. Дочь его, красавица Элленъ,—красивое животное, живетъ безпутной жизнью, не задумываясь надъ тѣмъ, что добро, что зло. Подстать ей и братецъ ея Анатоль,—широкая натура, человѣкъ, готовый въ жертву своей животной прихоти принести чужую жизнь (попытка соблазнить Наташу). **Курагины.**

Это—все наиболѣе яркіе представители „личнаго начала“, съ которымъ Толстой органически связываетъ цѣлый рядъ отрицательныхъ свойствъ—эгоизмъ, отсутствіе патріотизма, способности самопожертвованія, излишнюю привязанность къ землѣ и ко всѣмъ ея осязательнымъ радостямъ.

Интересно, въ историческомъ отношеніи, обрисованъ въ романѣ Наполеонъ. Въ противоположность Кутузову, онъ представленъ, какъ человѣкъ, слѣпо вѣрующій въ силу своей личности. Поэтому онъ—тоже эгоистъ, начинающій кровопролитную войну прежде всего, ради личной прихоти, ради тщеславія. **Наполеонъ.**

„Только то, что происходило въ его душѣ, имѣло интересъ для него. Все, что было внѣ его, не имѣло для него значенія, потому что все въ мірѣ, какъ ему казалось, зависѣло только отъ его воли“.

Такъ характеризуетъ Наполеона Толстой. Онъ обвиняетъ французскаго императора не только за *эгоизмъ*, но и за *эготизмъ*... Такимъ образомъ, этотъ „геніальный“ человѣкъ, привыкшій „играть роль“, привыкшій „позировать“ и говорить пышныя рѣчи, развѣнчанъ Толстымъ... „Всѣ дѣйствія его, говоритъ нашъ писатель, очевидно, жалки и гадки“. Онъ отличается „блестящей и самоувѣренной ограниченностью“,—„глупостью и подлостью, не имѣющими предѣловъ“; онъ—„разбойникъ внѣ закона“ [1]).

Такъ судилъ Толстой Наполеона и съ моральной, и съ историко-философской точки зрѣнія. «Нѣтъ истиннаго величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды».

Всѣ перечисленныя лица представляютъ собою, такъ сказать, «величины постоянныя», въ томъ смыслѣ, что они являются на страницахъ романа съ міросозерцаніемъ твердо сложившимся и неизмѣннымъ. Но не на нихъ устремляетъ главное вниманіе Толстой: его болѣе интересуютъ герои, въ душѣ которыхъ развертывается борьба, которые кореннымъ образомъ измѣняются къ концу романа. Поэтому самое названіе романа: «Война и Миръ» имѣетъ двоякое значеніе—буквальное и переносное. Въ буквальномъ значеніи произведеніе Толстого есть изображеніе русскаго общества во время «войны» и во время «мира»; въ переносномъ значеніи—романъ представляетъ исторію *душевной* «войны» главныхъ героевъ, оканчивающуюся для нихъ *душевнымъ* «миромъ»,—разрѣшеніемъ всѣхъ «загадокъ бытія», достиженіемъ «тихой пристани»...

Съ особымъ интересомъ всматривается Л. Толстой въ центральную фигуру романа—въ Пьера Безухаго [2]).

Пьеръ Безухій.

§ 71. Въ лицѣ этого героя Толстой изобразилъ человѣка, „ищущаго“ смысла и правды жизни. Въ этомъ отношеніи, онъ близко подходитъ къ Николенькѣ Иртеньеву, къ Нехлюдову и Оленину,—недаромъ, біографы въ образѣ Безухаго находятъ автобіографическія черты.

Впервые мы знакомимся съ Пьеромъ Безухимъ въ салонѣ фрейлины Шереръ,—онъ пріѣхалъ только что изъ Франціи, которая еще не пережила революціонной горячки... Пьеръ, впечатлительный и наивный, пріѣхалъ въ Россію, не отдѣлавшись отъ революціоннаго чада... Онъ вѣритъ въ идеалы революціи и преклоняется передъ Наполеономъ, видя въ немъ ея созданіе и вѣрнаго слугу... Горячія, но не особенно толковыя, рѣчи Пьера не встрѣчаютъ поддержки въ русскомъ высшемъ обществѣ, которое косо смотритъ на республиканскую Францію, съ ея „первымъ консуломъ“, и всецѣло симпатизируетъ аристократамъ-эмигрантамъ-роялистамъ. Впрочемъ, политика недолго занимаетъ Пьера: онъ, человѣкъ слабовольный, легко увлекается пустой

---

[1]) Такое развѣнчиваніе, быть можетъ, и нѣсколько пристрастное и несправедливое, интересно въ историко-литературномъ отношеніи, какъ показатель торжества литературнаго реализма. Романтики идеализировали Наполеона... Даже Пушкинъ, не говоря уже о Лермонтовѣ, ставилъ Наполеона на пьедесталъ и кадилъ ему ѳиміамъ. Безпощадный реализмъ Толстого не церемонился съ этимъ „баловнемъ исторіи“...

[2]) См. статью проф. Овсянико-Куликовскаго *Ист. хрест., т. III, вып. 4, стр. 277.*

разгульной жизнью „золотой молодежи“,—въ немъ сильно было животное начало... Бороться съ этимъ началомъ ему было не подъ-силу, и Пьеръ, съ его честными и искренними стремленіями къ „свѣту“, безъ борьбы отдается безсмысленной животной жизни. Подъ вліяніемъ такихъ настроеній онъ женится на Эленъ Курагиной. Измѣна жены и пресыщеніе разгульной жизнью опять усиливаютъ его „исканія“ такого порядка жизни, при которомъ успокоилась бы его совѣсть. И вотъ, онъ подпадаетъ подъ вліяніе масона-Баздѣева, который пробуждаетъ заснувшее въ немъ стремленіе къ „свѣту“... Попробовалъ, было, Пьеръ сочетать свой либерализмъ съ масонствомъ,—хотѣлъ „обновить“ масонство, свести его изъ области фразеологіи на почву реальной политики, но это ему не удалось... Къ тому же и въ масонахъ онъ скоро разочаровался... Тогда попробовалъ онъ, какъ кн. Нехлюдовъ въ „Утрѣ помѣщика“, свой богатый запасъ гуманности использовать на улучшеніе жизни своихъ крестьянъ... Но изъ этой попытки тоже ничего не вышло: не было у Пьера знанія людей, не было умѣнія дѣлать „дѣло“. Да, кромѣ того, его служеніе народу не было самостоятельною *цѣлью*, а только *средствомъ* къ успокоенію голоса своей совѣсти. Наконецъ, человѣкъ слабовольный, онъ вообще скоро остывалъ, а, вслѣдствіе наивности и довѣрчивости, дѣлалъ ошибки за ошибками. Отечественная война опять окрылила его настроенія: будучи большимъ фантазеромъ, онъ, разочаровавшись въ Наполеонѣ, сталъ мечтать о томъ, что убьетъ его и освободитъ міръ и родину отъ этого „чудовища“... Затѣя эта ему не удалась, и онъ попалъ въ плѣнъ къ французамъ. Здѣсь онъ сблизился съ Каратаевымъ, и, подъ его вліяніемъ, постигъ всю ложь своей предшествующей жизни. Онъ понялъ, что не въ возвеличеніи личности своей спасеніе человѣка, а въ отреченіи отъ этой личности. Раньше онъ мечталъ о роли вожака-революціонера, о роли проповѣдника „новаго слова“, которое спасетъ людей, о міровой славѣ героя-убійцы Наполеона. Теперь, глядя на Каратаева, живя въ плѣну жизнью мужика и сродняся съ простымъ бытомъ, съ его основами,—онъ открылъ иной смыслъ въ жизни:

„То самое, чѣмъ онъ прежде мучился, чего онъ искалъ постоянно,—*цѣли жизни*, теперь для него не существовало... И это-то *отсутствіе цѣли* давало ему то полное, радостное сознаніе свободы, которое въ это время составляло его счастье... Онъ выучился видѣть великое, вѣчное и безконечное во всемъ... И радостно созерцалъ онъ вокругъ себя вѣчно-измѣняющуюся, вѣчно-великую, непостижимую и безконечную жизнь... Прежде разрушавшій всѣ его умственныя постройки страшный вопросъ: *зачѣмъ?*—теперь для него не существовалъ... Теперь на этотъ вопросъ: зачѣмъ? въ душѣ его всегда готовъ былъ простой отвѣтъ: затѣмъ, что есть Богъ,—тотъ Богъ, безъ воли Котораго не спадетъ волосъ съ головы человѣка“.

Такимъ образомъ, „безличность“ Каратаева, его свѣтлый религіозный фатализмъ—вотъ, что успокоило Пьера; благодаря Каратаеву, міросозерцаніе Пьера слилось съ народнымъ пониманіемъ смысла жизни: *смыслъ жизни—въ самой жизни*. Еще Пушкинъ про одного мудреца, разрѣшившаго въ такомъ смыслѣ загадку бытія, сказалъ:

„Счастливецъ! ты знаешь жизни цѣль:
Для *жизни* ты *живешь*!“

Такъ тревожные вопросы о цѣли жизни смѣнились у Пьера вѣрой въ жизнь,—вѣрой въ то, что эту жизнь Божественный Промыселъ ведетъ къ добру.

Когда Пьеръ усвоилъ такую простую точку зрѣнія, онъ сразу успокоился.—Это внесло миръ въ его душу, придало трезвость его уму. Онъ возмужалъ и окрѣпъ духовно.

Счастье полное нашелъ онъ въ семейной жизни, женившись на Наташѣ Ростовой. Эта жизнь не сдѣлалась для него „болотомъ“, въ которомъ часто пошлѣетъ человѣкъ,—семья создала ему такую обстановку, въ которой всѣ начала существа его: и духовное, и физическое,—нашли здоровое и полное проявленіе.

Такова исторія главнаго героя романа. Толстой провелъ его черезъ рядъ ошибокъ, отклоненій и разочарованій. Нелегко было это „странствова-

ніе“ къ идеаламъ „простоты, добра и правды“: очень сложна была его натура. Его безпокойная душа жадно стремилась къ добру, къ свѣту, но отсутствіе воли, неумѣніе управлять собой, своими страстями часто отклоняло его отъ прямого пути. Сознаніе своихъ паденій доставляло ему иногда, поистинѣ, большія страданія. Онъ честно хотѣлъ разрѣшить загадку жизни,— этотъ „запутанный и страшный узелъ жизни“, но силъ порой не хватало, и тогда страхъ имъ овладѣвалъ... Причина этого страха, прежде всего,—его слабоволіе. Это — характерная его черта... Изъ слабости онъ можетъ не сдержать „честнаго слова“, которое онъ далъ кн. Андрею. И, самъ стыдясь своего поступка, онъ можетъ лгать передъ собой, оправдывая самъ себя, заглушая голосъ своей совѣсти... Изъ слабости подчиняется онъ тлетворному вліянію Курагиныхъ, подчиняется мошеннику-управляющему... Но иногда въ немъ вспыхиваютъ съ неукротимой силой его благородство и честность (ср. его объясненія съ Анатолемъ Курагинымъ и съ супругой своей, Эленъ).

„Дикія“ вспышки въ его жизни рѣдки: обычное состояніе его души нѣсколько сонливое; вялое добродушіе, почти не покидаетъ его даже тогда, когда онъ говоритъ о „возвышенныхъ матеріяхъ“. Оттого въ кругу людей свѣта онъ нѣсколько смѣшонъ, этотъ наивный, довѣрчивый „большой ребенокъ“, съ чистымъ сердцемъ, довѣрчивостью и откровенностью, переходившей иногда границы „свѣтскаго приличія“...

Преобладаніе въ немъ чувства — одна изъ главныхъ помѣхъ на пути его къ „самоопредѣленію“, къ развитію сознательности и серьезности въ отношеніяхъ къ жизни. Первоначальная неопредѣленность его души уже указываетъ, что „личность“ въ немъ не прояснена,—и долго онъ, самъ того не замѣчая, жилъ не своимъ умомъ, а чужимъ. Тѣмъ не менѣе, у него было жгучее желаніе именно *свою личность* проявить въ жизни,—отсюда его ошибки, его разочарованія. Когда Каратаевъ освободилъ его отъ этого желанія,— онъ успокоился легко и, въ сущности, остался такимъ же безличнымъ, какимъ былъ раньше, только теперь уже безъ разлада въ душѣ, съ спокойнымъ сознаніемъ того, что въ этомъ безличіи—его спасеніе...

Наташа. § **72**. Во многихъ отношеніяхъ похожа на Пьера Наташа. Это—тоже тревожный, „ищущій“ человѣкъ, душевныя силы котораго сначала были неуравновѣшены и неопредѣленны. Мы знакомимся съ Наташей, когда она—еще подростокъ. У нея порывистая душа, честное, горячее сердце, но пока—полное отсутствіе всякаго признака того, что называется „міросозерцаніемъ“... Шаловливое, рѣзвое существо, которое, отъ избытка жизненныхъ силъ, не можетъ сдержать своихъ порывовъ „приличіями свѣта“, она въ началѣ романа представляется дѣвочкой „оригинальной“, талантливой и симпатичной; она хорошо поетъ, хорошо танцуетъ; она способна увлекаться, не стараясь даже распознать, достоинъ ли уваженія предметъ ея вниманія...

Наташа вырастаетъ на нашихъ глазахъ. Ея душа мужаетъ и зрѣетъ въ годину отечественной войны; она серьезнѣе вдумывается въ жизнь, всматривается въ людей,—и натура ея дѣлается устойчивѣе, сильнѣе и глубже. Еще нѣтъ у нея міросозерцанія, но силы душевныхъ ея качествъ растутъ.

По прежнему избытокъ жизненныхъ силъ—ея главная черта... Только теперь эти силы направляются уже не на шалости, а на развитіе сердечности въ отношеніяхъ къ людямъ... Она не получила хорошаго образованія; у нея нѣтъ умственныхъ интересовъ, но недостатокъ этого благопріобрѣтеннаго образованія и заимствованнаго ума замѣняются у нея тонко-развитымъ нравственнымъ чутьемъ,—какой-то инстинктивной проницательностью, помогающей ей отличать черное отъ бѣлаго. Ея порывистость теряетъ, мало-по-малу, черты дѣтской необузданности и, постепенно, пріобрѣтаетъ характеръ благородства. Она одна, полуребенокъ, нашла въ своемъ сердцѣ столько силы негодованія, что заставила устыдиться мать, отказавшую дать подводы раненымъ.

Но въ этой благородной, сильной дѣвушкѣ нѣтъ устойчивости, — она, при всей своей чуткости и нравственной чистотѣ, можетъ отдаться порыву слѣпой страстности. Таково ея увлеченіе красавцемъ-Анатолемъ Ку-

рагинымъ, ради котораго она готова бросить уважаемаго жениха, любимаго отца и мать... Въ ней, этой Наташѣ, есть какая-то животная, стихійная сила, съ которой бороться она не можетъ, потому что яснаго сознанія смысла жизни у нея еще нѣтъ. Это сознаніе проявилось у нея впослѣдствіи, когда она пережила муки стыда и раскаянья, когда у нея на рукахъ умиралъ ея женихъ, когда она сблизилась съ княжной Маріей Болконской, невѣстой ея брата.

И тогда, все пережитое ею, вся „война душевная“, побѣдоносно ею выдержанная, въ концѣ концовъ, разрѣшаются душевнымъ „миромъ“... Она выходитъ замужъ за Пьера Безухаго и въ семейной жизни, въ радостяхъ жены и матери находитъ примѣненіе богатыхъ силъ своей, теперь успокоенной, души... Съ дѣтства до зрѣлаго возраста она чужда была всякихъ мистическихъ стремленій въ иной міръ, кромѣ земного: всегда она принадлежала землѣ и всегда жаждала личнаго счастья. Тѣмъ труднѣе было сдѣлать этотъ образъ симпатичнымъ и свѣтлымъ, но Толстой преодолѣлъ и эту трудность, скрасивъ „земныя“ черты Наташи, обогативъ ее тонкими и возвышенными чувствами и настроеніями... Самый эгоизмъ ея (стремленіе къ личному счастью) онъ смягчилъ чувствомъ широкой любви ко всѣмъ людямъ, ко всему міру, умѣніемъ понимать чужую жизнь и относиться къ ней любовно...

Кн. Андрей Болконскій.

§ **73.** Къ другому разряду „ищущихъ“ людей относится кн. Андрей Болконскій. Въ началѣ романа онъ представленъ человѣкомъ, съ опредѣленными, повидимому, безповоротно-сложившимися взглядами. Но жизнь ломаетъ эти взгляды, и Болконскій теряетъ свою уравновѣшенность, начинаетъ искать смысла жизни и только передъ смертью достигаетъ завѣтной цѣли. Цѣной жизни было завоевано это трудное достиженіе. Вотъ почему трагедія жизни кн. Андрея гораздо мучительнѣе, чѣмъ Пьера: у того, путемъ страданій, ошибокъ, разочарованій, прояснялось и углублялось то, что, въ сущности, было прирождено его натурѣ,—у кн. Андрея, наоборотъ, „ломалась“ и перестраивалась вся его душа.

Главная черта его—рѣзко-выраженная личность... Еще человѣкъ молодой, онъ уже такъ опредѣленно смотритъ на жизнь и на людей съ высоты своего собственнаго „я“, что, кажется, будто мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, прожившимъ уже полжизни... Его ясное, продуманное міровоззрѣніе сложилось подъ вліяніемъ отца, скептика-вольтерьянца. Раціонализмъ органически слился съ душой кн. Андрея, наполнилъ ее холодомъ, невѣріемъ и презрѣніемъ къ людямъ... Прямо и безстрашно смотритъ кн. Андрей въ жизнь, и кажется она ему ясной и простой и довольно скучной. Кн. Андрей чувствуетъ себя неизмѣримо выше окружающей его толпы, мелочной и пошлой... Поэтому онъ всегда одинокъ, и этимъ одиночествомъ гордится. Только къ Пьеру относится онъ дружелюбно, цѣня въ немъ „золотое сердце“. Да еще Наташа Ростова сумѣла оживить его, внушить ему къ себѣ любовь, серьезную и глубокую, наполнившую все существо его вѣрой въ жизнь и въ счастье...

Характерная особенность его—могучій, свѣтлый умъ, не признающій въ жизни ничего таинственнаго, мистическаго и отвлеченнаго. Умъ его богато развитъ хорошимъ, основательнымъ самообразованіемъ. Недаромъ онъ, человѣкъ военный по профессіи, можетъ быть дѣятельнымъ помощникомъ Сперанскаго и трудится надъ составленіемъ проекта конституціи; можетъ онъ быть и хорошимъ сельскимъ хозяиномъ, который вводитъ у себя въ имѣніи разумныя усовершенствованія... Оттого онъ можетъ жить широкими и разнообразными интересами, умѣетъ правильно цѣнить жизнь своего бурнаго времени и является проницательнымъ судьей „великихъ людей“ (Наполеона, Кутузова, Сперанскаго).

Отрицая все туманное, чувствительное, мистическое, непостижимое, трезвый реалистъ, кн. Андрей въ жизни не мечтаетъ, а „разыгрываетъ жизнь“, какъ искусный шахматистъ, обдумывающій впередъ будущіе ходы... Вотъ почему и „воображеніе“ его совсѣмъ не то, что у Пьера, живущаго больше „чувствомъ“. Воображеніе кн. Андрея сбивается на „расчетъ“... Лишь въ моменты ломки міросозерцанія ослабѣваетъ въ немъ власть воли,—и тогда его здо-

ровое, сильное чувство вырывается на волю... Но это освобожденное чувство не похоже на животные порывы Пьера, на развращенность Анатоля Курагина,—у кн. Андрея оно отличается такою же ясностью и трезвостью, какъ и его разумъ... Любовь его къ Наташѣ, примиреніе его съ ней передъ смертью, приближеніе душой къ тому Богу, котораго онъ не зналъ въ теченіе всей своей жизни — вотъ, главнѣйшіе моменты, когда въ полной силѣ владѣло его душою чувство...

Желѣзная воля, находящаяся въ подчиненіи у ума,—тоже характерная черта кн. Андрея; воля эта никогда не переходитъ въ упрямство и самодурство,—до этого не допускаетъ ее и свѣтлый умъ Болконскаго, и доброе, честное сердце, и то „святое недовольство собой", которое всегда живетъ въ его душѣ. Вотъ почему, когда сознаніе подсказываетъ ему, что онъ ошибается, эта желѣзная воля всегда уступаетъ и направляется въ ту сторону, куда толкаетъ его новое убѣжденіе. Человѣкъ умный, съ серьезными запросами, онъ инстинктивно стремится къ самоопредѣленію и поэтому всегда старается оцѣнить свою общественную стоимость. Это стремленіе ясно выразилось въ исторіи его карьеры: онъ—то идетъ по дорогѣ „военнаго генія", то вступаетъ на поприще законодателя, то дѣлается сельскимъ хозяиномъ, то идетъ въ ряды войскъ, въ качествѣ простого „работника"... Но вдумчивый читатель романа всегда сознаетъ, что кн. Болконскій не „мечется", какъ, напр., Рудинъ, бросающійся безъ толку во всѣ стороны, а именно сознательно мѣняетъ свои жизненные пути.

Гармоническое сочетаніе ума и воли дѣлаетъ кн. Андрея лицомъ замѣчательнымъ и рѣзко выдвигаетъ его изъ ряда другихъ дѣйствующихъ лицъ романа. Онъ самъ знаетъ свои достоинства и гордится ими. Отсюда презрительное отношеніе его къ людямъ, отсюда его честолюбіе и самомнѣніе, вѣра въ свою „геніальность". Презирая всѣхъ, онъ преклоняется только передъ тѣми, кого свѣтъ считаетъ „геніями". И съ ними онъ хочетъ сравняться, ихъ хочетъ затмить собой... Сперва онъ разсчитываетъ самъ продѣлать карьеру Наполеона, потомъ мечтаетъ прославиться на поприщѣ гражданской службы, имѣя передъ глазами примѣръ Сперанскаго... Но стоило ему всмотрѣться въ дѣятельность „великихъ людей", стоило ему убѣдиться, что „личность" въ исторіи не играетъ никакой роли, какъ онъ честно отказывается отъ выбранныхъ путей и ищетъ новыхъ: выбираетъ болѣе скромное поприще сельскаго хозяина, служащаго землѣ и мужикамъ!.. Въ войну 1812 года онъ опять оказывается на полѣ битвы, но уже не въ штабѣ главнокомандующаго, гдѣ формируются „военные геніи", а въ рядахъ простыхъ солдатъ—около Каратаевыхъ, Тушиныхъ и Тимохиныхъ...

Такъ привелъ своего героя Л. Толстой къ отреченію отъ личности, къ признанію, что истинное величіе—въ „простотѣ, добрѣ и правдѣ"... Сначала для Болконскаго въ жизни не было достаточнаго простора: вездѣ было тѣсно, негдѣ было размахнуться его „геніальности", а, въ концѣ концовъ, онъ предпочитаетъ всему на свѣтѣ честную, незамѣтную работу маленькихъ людей-муравьевъ, имена которыхъ даже не сохраняются исторіей.

Такова же исторія его отношеній къ религіи. Вначалѣ его душой владѣло непоколебимое невѣріе, только отчасти смягченное, быть можетъ, утонченностью его души (его суровый, жестокій отецъ не позволилъ бы повѣсить себѣ на шею икону, а кн. Андрей это позволяетъ своей сестрѣ, чтобы не обидѣть ея). Потомъ мы видимъ, какъ стойкость этого невѣрія поколебалась, когда тяжело-раненый лежалъ онъ на Аустерлицкомъ полѣ и глядѣлъ на то лазурное небо, на которое онъ никогда раньше такъ не глядѣлъ, и о которомъ никогда не думалъ... Потомъ это колебаніе, смягчившее его сердце, еще больше усиливается, когда онъ прощаетъ Анатоля Курагина, умирающаго въ лазаретѣ, прощаетъ Наташу, когда смерть смотритъ ему въ глаза... Умираетъ онъ почти-вѣрующимъ, отдѣлавшись отъ того „разумнаго эгоизма", которымъ ранѣе опредѣлялись его отношенія къ людямъ. Онъ понялъ, что только въ широкой, безкорыстной любви ко всему,—къ Богу и людямъ,—спасеніе человѣка.

§ **74.** Вѣрный убѣжденію, что «всѣ хороши и всѣ дурны», Толстой и въ этомъ романѣ не пощадилъ своихъ положительныхъ героевъ и смѣло раскрылъ въ ихъ сердцахъ «злое» и «мутное»... **Значеніе „личности“.**

Не пощадивъ кн. Андрея, Толстой такъ же отнесся и къ Наташѣ, и къ Пьеру Безухому.

Теорія Толстого, разрушающая представленіе личности, какъ силы съ свободной волей и творческимъ, независимымъ умомъ, въ его произведеніи имѣетъ еще одно *психологическое* объясненіе.

„Не только историческая, но и всякая человѣческая жизнь управляется не умомъ и волею, т. е. не мыслями и желаніями, достигшими ясной сознательности формы, а чѣмъ-то болѣе темнымъ и сильнымъ,—такъ называемою *натурою* людей. Источники жизни (какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ народовъ) гораздо глубже и могущественнѣе, чѣмъ тотъ сознательный произволъ и сознательное соображеніе, которыми, повидимому, руководятся люди. Подобная вѣра въ жизнь, — признаніе за жизнью бо́льшаго смысла, чѣмъ тотъ, который постигается нашимъ разумомъ, — разлита по всему произведенію гр. Л. Н. Толстого. Вездѣ жизнь оказывается шире бѣдныхъ логическихъ соображеній, и поэтъ превосходно показываетъ, какъ она обнаруживаетъ свою силу, помимо воли людей. Таинственная глубина жизни—вотъ, мысль „Войны и Мира“ (Страховъ).

Ирраціональный характеръ этой таинственной силы Тютчевъ назвалъ „хаосомъ“. *(См. ниже, стр. 208).*

Вопросъ о значеніи личности освѣщается въ романѣ не только съ моральной и психологической, но и съ историко-философской точки зрѣнія. Толстой—а) критикуетъ общепринятое мнѣніе, будто исторія создается усиліями великихъ людей, вождей человѣчества,—b) пытается «личное начало» въ исторіи, имъ отвергаемое, замѣнить другими силами. Такимъ образомъ, въ его историко-философскомъ ученіи надо различать двѣ стороны,—одну, такъ сказать, *разрушающую* старыя историческія вѣрованія, другую — *созидающую* новыя точки зрѣнія на ходъ историческихъ событій.

Въ первой половинѣ своего ученія Л. Н. Толстой оказывается отчасти ученикомъ 60-хъ годовъ, съ ихъ отрицаніемъ личности, съ ихъ попытками замѣнить индивидуалистическое объясненіе жизни и исторіи теоріей закономѣрнаго развитія, которое соотвѣтствуетъ опредѣленнымъ историческимъ законамъ. Съ этой точки зрѣнія, не человѣкъ ведетъ массы, а сами массы всегда выдвигаютъ человѣка и толкаютъ туда, куда несется историческая жизнь. Оттого Толстой и высмѣялъ Наполеона: знаменитаго полководца нашъ писатель считаетъ ничтожнымъ человѣкомъ,—эгоистомъ, смѣшнымъ въ своемъ ослѣпленіи и самомнѣніи...

„Наполеонъ, говоритъ онъ, во все время своей дѣятельности былъ подобенъ ребенку, который, держась за тесемочки, привязанныя внутри кареты, воображаетъ, что онъ правитъ“...

Съ такой же ироніей отнесся Толстой къ гр. Растопчину, къ Сперанскому, къ австрійскому генералу, который составилъ диспозицію Аустерлицкаго сраженія.

Вотъ почему Л. Толстой превознесъ Кутузова, который, какъ ему казалось, понялъ ничтожное значеніе личности и *сознательно* подчинилъ свою волю главнокомандующаго той стихійной жизни, которою воодушевлены были ввѣренныя ему войска. Этой стихійной жизнью живутъ *безсознательно* такіе герои, какъ Тимохинъ и Тушинъ, незамѣтно дѣлающіе свое великое дѣло...

„Есть двѣ стороны въ жизни каждаго человѣка—говоритъ Л. Толстой—жизнь личная и жизнь стихійная, *„роевая“*. И вотъ, Толстой на всѣхъ своихъ геройхъ доказываетъ, что счастье человѣка—въ умѣньи сочетать свою личную жизнь съ „роевою жизнью“... Для этого надо только понять глубокія основы этой роевой жизни... Такой жизнью живетъ и аристократическое общество (напр., фамусовское), но основы этой жизни ложны, потому что онѣ чужды народу, оторваны отъ него... Оттого любимые герои Толстого (Пьеръ, Андрей, Наташа) съ *такой ложной* роевой жизнью не сживаются: ихъ инстинктивно тянетъ къ тому народу, который не утратилъ своей чистоты и цѣльности... Здѣсь, въ этомъ народѣ, надо искать правду и мудрость... И потому только изученіе народа во всемъ его цѣломъ, въ прошломъ и настоящемъ, дастъ историку возможность понять исторію. Такова основная мысль Толстого“.

„Для изученія законовъ исторіи, говоритъ Толстой, мы должны измѣнить совершенно предметъ наблюденія, — оставить въ покоѣ царей, министровъ и генераловъ, а изучать однородные, безконечно-малые элементы, которые руководятъ массами“.

Итакъ, личность въ исторіи значенія не имѣетъ... Мало того, чѣмъ крупнѣе личность, тѣмъ менѣе она самостоятельна въ рѣшеніи міровыхъ вопросовъ, — тѣмъ сильнѣе тяготѣетъ надъ нею вліяніе той силы, съ которой справиться личность не можетъ.

Что́ же это за сила? Въ рѣшеніи этого вопроса мы знакомимся со второй половиной ученія Толстого... Судя по вышеприведенной цитатѣ, можно было бы предположить, что этой силой представлялись ему историческіе законы развитія человѣчества,— тѣ законы, надъ опредѣленіемъ которыхъ съ 60-ыхъ годовъ трудятся философы-соціологи... Если бы такъ было и съ Толстымъ, тогда его историко-философское ученіе получило бы стройный видъ научной теоріи. Но Толстой, какъ всегда, такъ и на этотъ разъ, оказался сильнѣе въ критикѣ, чѣмъ въ созиданіи.

Нѣсколько разъ, на страницахъ своего романа, онъ проповѣдуетъ историческій *фатализмъ*.

„Ничто не было исключительной причиной событія, а событіе должно было совершиться только потому, *что оно должно было совершиться*“ — говоритъ Толстой въ одномъ мѣстѣ романа.

Но этому утвержденію неразъ онъ самъ противорѣчитъ, приписывая *Богу* (правда, называя Его то Провидѣніемъ, то Промысломъ) руководящую роль въ исторіи человѣчества и этимъ опровергая свое фаталистическое міровоззрѣніе:

„Ходъ міровыхъ событій предопредѣленъ свыше“... „Провидѣніе въ своихъ личныхъ цѣляхъ заставило участвовать людей въ наполеоновскомъ нашествіи на Россію,“—говоритъ Толстой въ другомъ мѣстѣ.

Съ *фатализмомъ* и съ *религіозной точкой зрѣнія* Толстой соединяетъ вѣру въ существованіе, имъ самимъ найденнаго, закона «движенія народовъ съ запада на востокъ, а потомъ съ востока на западъ»... Въ этомъ «открытіи» видитъ онъ смыслъ историческихъ событій начала XIX-го вѣка:

„Провидѣнію угодно было, чтобы народная волна хлынула съ запада на востокъ, разбилась у стѣнъ Москвы, и чтобы вторая народная волна хлынула съ востока на западъ и отъ Москвы докатилась до Парижа: въ этомъ—основной, существенный смыслъ европейскихъ событій начала нынѣшняго столѣтія“.

Такимъ образомъ, Толстой, замѣняя «личность» въ исторіи различными «силами», запутался въ противорѣчіяхъ и, вмѣсто одной, предложилъ три взаимноуничтожающихъ теоріи.

Литературная исторія „Войны и Мира“.

§ **75.** Литературная исторія «Войны и Мира» [1]) очень сложна. Прежде всего, по свидѣтельству біографовъ, романъ этотъ написанъ былъ Толстымъ, такъ сказать, «случайно». Онъ хотѣлъ написать романъ, подъ названіемъ: «Декабристы»; для этого сталъ своихъ героевъ изучать съ ихъ дѣтства и юности; ранніе годы ихъ жизни какъ разъ совпали съ великой отечественной войной... Въ этой эпохѣ совершенно справедливо увидѣлъ Толстой начало движенія декабристовъ... На этой «вступительной главѣ» (подготовка декабрьскаго возстанія Отечественной войной) къ своему будущему роману Толстой остановился долго,—и глава эта разрослась въ самостоятельное произведеніе... Главные герои «Войны и Мира», Пьеръ и кн. Андрей, должны были играть видную роль въ предполагаемомъ романѣ: «Декабристы». Зная ихъ, мы ясно можемъ предположить, какія мѣста заняли бы они въ этомъ политическомъ движеніи. Наташѣ, говорятъ, была отведена авторомъ та почетная роль, которую воспѣлъ Некрасовъ въ «Русскихъ Женщинахъ»: она должна была идти за своимъ мужемъ въ Сибирь...

---

[1]) О „Войнѣ и Мирѣ“ см. статьи Страхова и Овсянико-Куликовскаго въ *Ист. хрест., т. III, вып. 4, стр. 239.*

Автобіографическій элементъ романа сказался — 1) въ томъ, что авторъ обильно воспользовался своими фамильными воспоминаніями и въ нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицахъ изобразилъ своихъ близкихъ: въ Николаѣ Ростовѣ—своего отца, въ Маріи Болконской—свою мать,—2) въ томъ, что свои личныя «исканія правды» Толстой сообщилъ Пьеру и кн. Андрею. Въ нихъ обоихъ раздвоилась личность автора; они отражаютъ разныя стороны его великой души. Въ этомъ отношеніи, романъ органически примыкаетъ ко всѣмъ предыдущимъ произведеніямъ Толстого.

«Война и Миръ» одинаково принадлежитъ къ «пушкинской» и «гоголевской» литературнымъ школамъ. Удивительно-художественный реализмъ въ описаніяхъ быта и интимной жизни людей той эпохи дѣлаетъ читателя невольнымъ участникомъ переживаемаго. Эта особенность письма роднитъ Л. Толстого съ Пушкинымъ. Недаромъ, русскіе критики признали, что, кромѣ «Капитанской дочки» Пушкина и «Войны и Мира», не было у насъ другихъ историческихъ романовъ, въ которыхъ прошлое изображалось бы такъ жизненно. Сходство между произведеніями замѣчается еще въ томъ, что эти романы, по существу,—«семейныя хроники».

Съ Гоголемъ роднитъ Л. Толстого его упорное желаніе «учить» своего читателя, *куда идти*. Выше приходилось уже говорить, что намѣреніе Гоголя создать положительныхъ героевъ и героинь,—намѣреніе, невыполненное имъ, сдѣлалось завѣтомъ для всѣхъ его наслѣдниковъ-литераторовъ. Своими нравоучительными тенденціями (особенно сильно выраженными въ «Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями») Гоголь возвратилъ русскому писателю ту роль «учителя», наставника сердецъ человѣческихъ, которую играли они въ древней Руси. Въ этомъ отношеніи, Толстой и Достоевскій—ближайшіе ученики Гоголя: они — *писатели-моралисты*.

Ѳ. М. Достоевскій.

(1821—1881).

(Ист. хрест., т. III, вып. 2, стр. 456—581).

Біографія. § **76**. Родился Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій 30 октября 1821 г. Подобно Бѣлинскому, онъ, по происхожденію, былъ изъ „разночинцевъ". Отецъ его, врачъ въ одной изъ московскихъ больницъ, былъ человѣкъ небогатый и жилъ своимъ трудомъ. Характеръ его былъ тяжелый, и дѣтство будущаго писателя было не изъ свѣтлыхъ. Образованіе получилъ Достоевскій снѣрва дома, потомъ въ частномъ московскомъ пансіонѣ и въ

1838-мъ году былъ отданъ въ военное инженерное училище. Съ дѣтства увлекался Достоевскій чтеніемъ и уже въ юности поражалъ всѣхъ своею начитанностью. Математики онъ не любилъ, спеціальными науками по инженерному дѣлу не интересовался, за то русскую и иностранную литературу зналъ прекрасно. Любимыми его писателями были Шиллеръ, Гофманъ и Жоржъ-Зандъ. Эти литературные вкусы опредѣляютъ его тогдашнее міровоззрѣніе. Говорятъ, что въ училищѣ Достоевскій велъ замкнутую жизнь, чуждался товарищей, хотя, впрочемъ, есть указанія, что уже тогда онъ успѣлъ оказать вліяніе своей начитанностью на одного изъ товарищей своихъ по училищу, именно—Григоровича, тоже будущаго писателя.

Кончилъ училище Достоевскій въ 1843-мъ году и сперва началъ, было, служить на военной службѣ, но черезъ годъ вышелъ въ отставку и занялся исключительно литературной дѣятельностью. Въ 1845-мъ году онъ написалъ первое свое крупное произведеніе: „Бѣдные люди“. По его собственному признанію, онъ всю свою душу вложилъ въ своего литературнаго первенца,—писалъ „со страстью, почти со слезами“... Произведеніе это оказало большое впечатлѣніе на друзей-литераторовъ—Григоровича и Некрасова, а также и на Бѣлинскаго, и на читающую публику... Общій голосъ рѣшилъ, что появился у насъ „новый Гоголь“. Не такъ удачны были другія его мелкія произведенія, написанныя послѣ „Бѣдныхъ людей“. Достоевскій жилъ литературными заработками, и спѣшность его работы сказалась на неотдѣланности его повѣстей.

Въ 1849-мъ году прервалась его литературная дѣятельность: онъ былъ арестованъ по дѣлу „петрашевцевъ“, — такъ назывался кружокъ молодежи, который образовался около нѣкоего чиновника, Петрашевскаго; кружокъ увлекался идеями Сенъ-Симона, Фурье и вообще французскими соціалистическими ученіями. Въ кружкѣ, впрочемъ, не чуждались и обсужденія русской дѣйствительности: мечтали объ освобожденіи крестьянъ, разсуждали о свободѣ печати... Достоевскій, за участіе въ этомъ кружкѣ, былъ сосланъ въ Сибирь на четыре года. Потомъ, въ 1854-мъ году онъ служилъ въ Сибири же простымъ солдатомъ, затѣмъ офицеромъ. Лишь въ 1858-мъ году онъ былъ прощенъ и вернулся въ Петербургъ. Десятилѣтнее пребываніе въ дикой Сибири, вдали отъ кипучей жизни столицы, кореннымъ образомъ измѣнило взгляды Достоевскаго. Въ Сибири его общество составляли каторжане, или солдаты-поселенцы; чтеніемъ его здѣсь было Евангеліе, говорятъ, полученное въ подарокъ отъ одной изъ женъ декабристовъ.

Сближеніе съ простымъ народомъ заставило его всмотрѣться въ свою душу и сердце; вдумался онъ и въ сущность христіанской морали и пришелъ къ выводу, что не въ политической реформѣ на западно-европейскій ладъ—спасеніе Россіи, а въ сближеніи русской интеллигенціи съ простымъ народомъ, въ сердцѣ котораго много добра и правды... Даже въ сердцахъ людей преступныхъ отыскалъ Достоевскій искры свѣта и рѣшилъ, что русскій народъ—„христіанинъ“ изъ всѣхъ европейскихъ народовъ, по преимуществу. Такъ, изъ западниковъ сдѣлался Достоевскій почти славянофиломъ, изъ „политиковъ“—„моралистомъ“.

Вернувшись въ Петербургъ въ 1859-мъ году, Достоевскій съ жаромъ принялся за литературную дѣятельность: съ братомъ своимъ Михаиломъ основалъ онъ журналъ: „Время“, потомъ „Эпоху“, цѣлью которыхъ было бороться съ радикализмомъ русскаго общества и проводить славянофильскіе взгляды. Въ журналѣ: „Время“ напечаталъ онъ свой большой романъ: „Униженные и оскорбленные“ (1861) и „Записки изъ Мертваго дома“ (1861). Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ Каткова напечаталъ онъ одинъ изъ лучшихъ своихъ романовъ: „Преступленіе и Наказаніе“ (1866). Въ это время расцвѣта его таланта общій голосъ поставилъ его въ ряды первыхъ русскихъ литераторовъ того времени... Но жизнь его все не устраивалась: жить приходилось, испытывая разныя лишенія, переживая вѣчныя тревоги о завтрашнемъ днѣ. Эти тревоги тѣмъ чувствительнѣе были ему, что онѣ мѣшали свободѣ его творчества, заставляли его вѣчно торопиться... Говорятъ, онъ печаталъ свои произведенія, не успѣвая ихъ даже перечитывать въ рукописи... Спасаясь

отъ кредиторовъ, почти безъ средствъ, скитался Достоевскій одно время заграницей: въ Италіи, Швейцаріи и Германіи. Здѣсь написаны имъ были романы: „Бѣсы“ и „Идіотъ“. Въ первомъ произведеніи Достоевскій зло обличаетъ безпочвенный русскій радикализмъ, который казался ему какимъ-то дикимъ „бѣсноваиьемъ“; второе произведеніе любопытно болѣе съ психологической стороны. Знатокъ человѣческой души, особенно больной, Достоевскій въ этомъ произведеніи далъ рядъ психологическихъ очерковъ, изумительныхъ по силѣ и глубинѣ анализа...

Вернувшись въ Россію въ 1861-мъ году, онъ продолжаетъ свою литературную и публицистическую дѣятельность,—сочиняетъ лучшее свое произведеніе: „Братья Карамазовы“, и въ 1876—77-мъ году издаетъ повременное изданіе: „Дневникъ Писателя“... Здѣсь онъ помѣщаетъ свои вдохновенныя, страстныя статьи, которыя проникнуты любовью къ родинѣ и вѣрою въ ея высокое будущее. Великій „народолюбецъ“, онъ развивалъ въ этихъ статьяхъ мнѣніе, что русскій народъ ближе всѣхъ европейскихъ, по своимъ идеаламъ, подходитъ къ Христу и Его ученію. Всего яснѣе и сильнѣе выражено это его „вѣрованье“ въ знаменитой его рѣчи, произнесенной при открытіи памятника Пушкину (1880).

Характеръ публицистической дѣятельности, самый ея тонъ, ея идеалы, религіозно-національно-консервативные — все роднитъ ее съ публицистикой Гоголя, поскольку она выразилась въ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями“. Такимъ образомъ, какъ Толстой со своими богословскими и моральными разсужденіями, такъ и Достоевскій, съ его „Дневникомъ“, могутъ быть названы самыми близкими учениками Гоголя по „духу“. Умеръ Достоевскій 28 января 1881 года, не успѣвъ кончить второй половины своего романа: „Братья Карамазовы“.

Литературная дѣятельность Достоевскаго.

Литературная дѣятельность.

§ **77**. Достоевскій самъ признавалъ зависимость своихъ произведеній отъ «Шинели» Гоголя. Особенно это признаніе справедливо по отношенію къ романамъ: «Бѣдные люди», «Униженные и Оскорбленные» и «Записки изъ Мертваго дома».

Духомъ высокой гуманности проникнуты всѣ эти произведенія: въ сердцахъ людей малыхъ, жалкихъ, забитыхъ, даже «преступныхъ» сумѣлъ Достоевскій найти искры свѣта. «Филантропическое» направленіе—органическая черта всей новой русской литературы; это направленіе началось съ Карамзина, захватило Пушкина, Гоголя, Тургенева, Григоровича, Некрасова, Островскаго...

Въ ряду этихъ писателей, конечно, самое видное мѣсто занимаетъ Достоевскій: почти всѣ его произведенія посвящены разработкѣ великой заповѣди Христа «любить ближнихъ» и не презирать «нищихъ духомъ». Достоевскій, обладавшій рѣдкимъ умѣньемъ анализировать человѣческую душу, освѣщаетъ самые темные ея тайники,—съ особенной, ему только присущей, способностью, выискиваетъ въ жизни человѣческой самыя мрачныя, мучительныя картины страданій. Но онъ не теряетъ вѣры въ людей, и эта вѣра примиряетъ его съ жизнью.

§ **78**. Въ повѣсти: „*Бѣдные люди*“ главнымъ лицомъ является Макаръ Дѣвушкинъ. Подобно гоголевскому Башмачкину („Шинель“), и этотъ герой Достоевскаго—бѣдный незначительный чиновникъ, не получившій никакого образованія. Онъ можетъ только „переписывать“ бумаги и утѣшаетъ себя мыслью, что и это, хотя малый, но полезный, трудъ: „если бы всѣ сочинять стали“, говоритъ онъ, „такъ кто же бы сталъ переписывать?“... Въ этихъ словахъ сказывается скромность Дѣвушкина: онъ безъ борьбы и зависти уступаетъ въ жизни видныя мѣста людямъ, болѣе сильнымъ... Себѣ онъ знаетъ цѣну, и свое маленькое дѣло исполняетъ честно, въ чемъ самъ признается съ гордостью: „пріятно отъ времени до времени себѣ справедливость воздать“,—говоритъ онъ. **„Бѣдные люди“.**

Какъ надъ Башмачкинымъ, такъ и надъ нимъ издѣвалась легкомысленная безсердечная „молодежь въ вицмундирахъ“; его прозвали „крысой“.

Но, если умственный кругозоръ Дѣвушкина не отличается широтой, если способностей у него мало, то у него имѣются великія достоинства. Дѣвушкинъ—человѣкъ чистаго, беззлобнаго сердца... Онъ любитъ людей и нѣжно можетъ привязаться къ другому несчастному человѣку. Это лучше всего видно изъ его отношеній къ Варенькѣ, славной, честной дѣвушкѣ, которая находится въ тискахъ нужды и не видитъ радости въ жизни. Дѣвушкинъ отказываетъ себѣ въ необходимомъ, и, чтобы хоть немного скрасить Варенькѣ жизнь, покупаетъ ей цвѣты и конфеты. Онъ относится къ ней съ какимъ-то страннымъ чувствомъ... Это не любовь и не дружба, это—какое-то тихое обожаніе, чистое, свѣтлое, доводящее человѣка до самоотреченія. Самъ Дѣвушкинъ говоритъ, что это странное чувство облагородило его существо, доказало ему, что и онъ—„*человѣкъ*“, что и онъ способенъ на самопожертвованіе и возвышенную любовь. Сознаніе это возвысило его въ собственныхъ глазахъ...

„Я знаю, пишетъ онъ Варенькѣ, чѣмъ вамъ, голубчикъ вы мой, обязанъ!.. Узнавъ васъ, я сталъ, во-первыхъ, и самого себя лучше знать, и васъ сталъ любить, а до васъ, ангельчикъ мой, я былъ одинокъ и, какъ будто, спалъ, а не жилъ на свѣтѣ... Они, злодѣи-то мои, говорили, что даже и фигура моя неприличная, и гнушались мною,—и я сталъ гнушаться собой; говорили, что я тупъ... А какъ вы явились, и я обрѣлъ душевный покой, и узналъ, что и я не хуже другихъ; что только такъ—не блещу ничѣмъ, лоску нѣтъ, тону нѣтъ,—но все-таки человѣкъ!“

Такимъ образомъ, въ своемъ „маленькомъ“ героѣ Достоевскій отмѣтилъ чувство собственнаго достоинства, котораго нѣтъ у гоголевскаго Башмачкина. Впрочемъ, изъ скромности, Дѣвушкинъ тщательно скрываетъ отъ всѣхъ свое „открытіе“, что онъ—тоже „человѣкъ“.

Но самъ съ собою и съ милой Варенькой онъ „раскрывается“,—и тогда онъ счастливъ, и самолюбіе его удовлетворено вполнѣ...

Башмачкинъ—совсѣмъ опустившійся человѣкъ, почти потерявшій человѣческій обликъ. Дѣвушкинъ, напротивъ того, изо всѣхъ силъ отстаиваетъ отъ гнета бѣдности свое душевное благообразіе. Такъ, напримѣръ, онъ заботится, чтобы сапоги у него были цѣлы,—это, по его словамъ, необходимо „для поддержки чести и добраго имени: въ дырявыхъ же сапогахъ—и то, и другое пропало“.

Изъ сдѣланной характеристики видно, что, исходя изъ гоголевской повѣсти, Достоевскій развилъ и углубилъ образъ героя,—постарался доказать обстоятельно его «человѣчность»,—что̀ не столько *доказывается*, сколько лишь *указывается* Гоголемъ. Нельзя не сознаться, что разсказъ Достоевскаго отличается нѣкоторыми длиннотами и, мѣстами, даже слащавой сентиментальностью.

§ **79**. „*Записки изъ Мертваго дома*“—любопытная повѣсть, которая, по своему настроенію, вполнѣ подходитъ къ раннимъ произведеніямъ Достоевскаго. „Общее“, что̀ сближаетъ „Записки“ **„Записки изъ Мертваго дома“.**

съ „Бѣдными людьми“ и „Униженными и оскорбленными“,—это проникающій ихъ духъ гуманности, человѣчности...

Создалось это произведеніе подъ живымъ впечатлѣніемъ дѣйствительности, свидѣтелемъ которой былъ Достоевскій во время пребыванія своего на каторгѣ: въ лицѣ разсказчика, изобразилъ онъ самого себя; многочисленные портреты разныхъ каторжанъ тоже списаны съ живыхъ лицъ. Тѣмъ цѣннѣе, *жизненнѣе* гуманность этого произведенія, сложившагося подъ вліяніемъ животрепещущей дѣйствительности...

„Люди—вездѣ люди, писалъ Достоевскій брату, и въ каторгѣ, между разбойниками, я отличилъ, наконецъ, людей. Повѣришь ли, есть характеры глубокіе, сильные, прекрасные,—и какъ весело было, подъ грубой корой, отыскивать золото!“

Эту точку зрѣнія проводитъ онъ и въ своемъ произведеніи; не идеализируя дѣйствительности, не прикрашивая зла и порока, онъ, тѣмъ не менѣе, сумѣлъ найти „человѣческое“ въ преступникахъ.

Умѣніе найти „человѣческое“ въ „животномъ“—характерная черта Достоевскаго... Толстой, наоборотъ, былъ большимъ мастеромъ находить „животное“ въ человѣкѣ (Ерошка, Лукашка, Марьянка, Пьеръ Безухій, Наташа и др.). Такимъ образомъ, наши великіе писатели оба подошли къ самымъ основамъ человѣческаго существа. Такое пониманіе жизни намѣчалось еще въ древней Руси, когда въ земной жизни видѣли вѣчную борьбу „плоти“ и „духа“,—борьбу Христа съ Антихристомъ. Гоголь, съ его вѣрой въ Бога и чорта, съ его предсмертными заботами объ умерщвленіи плоти, прочно усвоилъ эту старинную точку зрѣнія. Она передалась и его великимъ ученикамъ-моралистамъ—Толстому и Достоевскому, которые въ своихъ произведеніяхъ неразъ возвращались къ этой великой проблеммѣ человѣческаго бытія—къ вопросу объ отношеніи „плоти“ и „духа“.

Какъ и въ предшествующихъ своихъ произведеніяхъ, такъ и въ „Запискахъ“ требуетъ Достоевскій гуманнаго отношенія къ людямъ „малымъ“, „униженнымъ и оскорбленнымъ“.

Такъ, подъ вліяніемъ народа, усвоилъ Достоевскій простонародную высокочеловѣчную точку зрѣнія на преступниковъ, какъ на „несчастныхъ“.

Реализмъ „Записокъ изъ Мертваго дома“ выражается въ томъ, что нигдѣ Достоевскій не поетизируетъ жизни своихъ героевъ, какъ дѣлаетъ это, напримѣръ, Горькій. Достоевскій, писатель-моралистъ, по существу своего таланта, ищетъ въ своихъ герояхъ не художественной красоты, а моральной. Это исканіе никогда не приводитъ его къ идеализаціи. Онъ рисуетъ съ безпощадной правдивостью и безпросвѣтныя души (напр., въ лицѣ дворянина А-ва). Но за то, съ явнымъ чувствомъ радости, останавливаетъ свое вниманіе на тѣхъ, въ комъ видитъ проблески добра.

Достоевскій указалъ, что, по его мнѣнію, нѣтъ въ живыхъ людяхъ однообразія, что душа человѣческая сложна и своеобразна, что однимъ штрихомъ, одной характерной чертой не нарисуешь всего живого человѣка... И вотъ, въ своихъ герояхъ-каторжанахъ Достоевскій изображаетъ эту „сложность“ человѣческой души.

Жизнь каторги представлена не только въ портретахъ отдѣльныхъ лицъ,—Достоевскій изобразилъ всѣ детали быта: онъ нарисовалъ и будни, и праздники каторжанъ, разсказалъ о радостяхъ и печаляхъ каторги... Обстоятельно описалъ онъ госпиталь, баню, театральное представленіе, выяснилъ и отношенія различныхъ начальниковъ къ ссыльнымъ...

„Преступленіе и Наказаніе“.

§ **80**. Однимъ изъ лучшихъ произведеній, не только русской, но и міровой литературы, надо признать романъ Достоевскаго: «*Преступленіе и Наказаніе*» (*Ист. хрест., т. III, вып. 2, стр. 511*). Это произведеніе инте-

ресно не только въ *литературномъ* отношеніи, но и въ *моральномъ*, такъ какъ оно затрагиваетъ важнѣйшіе вопросы человѣческихъ отношеній,—и въ *психологическомъ*, такъ какъ анализъ души преступника сдѣланъ въ этомъ произведеніи съ необыкновеннымъ искусствомъ, съ чисто-научною точностью и полнотой,—и въ *юридическомъ*, такъ какъ въ романѣ затронуты вопросы «правовой» жизни человѣка... Наконецъ, романъ важенъ и въ *историческомъ* отношеніи, такъ какъ, въ лицѣ своего героя, Достоевскій изобразилъ «новаго человѣка», выросшаго на русской почвѣ въ 60-ые годы—въ эти годы крушенія старыхъ міросозерцаній и попытокъ создать «новое». Романъ Достоевскаго сыгралъ видную роль въ исторіи западно-европейскаго самосознанія: говорятъ, Ницше, одинъ изъ вліятельнѣйшихъ мыслителей конца XIX-го столѣтія, признавалъ себя ученикомъ Достоевскаго и въ основахъ своего ученія развилъ и углубилъ ту теорію о «сверхчеловѣкѣ», которая впервые намѣчена была Достоевскимъ въ его произведеніи.

Раскольниковъ.

§ **81.** Въ лицѣ героя романа изображенъ студентъ-Раскольниковъ, человѣкъ нервный, съ болѣзненно-преувеличенно-развитымъ самолюбіемъ. Бѣдность, доведшая его до голода, заставила его оставить университетъ,—и, ожесточенный неудачей, озлобленный „противъ всѣхъ и вся“, взбудораженный и полуголодный, бросилъ Раскольниковъ всѣ занятія и замкнулся въ себѣ...

Благородный и великодушный, безусловно честный, онъ, подъ вліяніемъ невзгодъ житейскихъ, затосковалъ. Эта тоска своеобразно выразилась у него: жаловаться онъ не сталъ—онъ „озлился“, по его словамъ, и замкнулся въ себѣ; самолюбіе его обострилось въ гордость, надменность...

Скрытный, онъ свои страданія гордо переживалъ въ себѣ, и эта внутренняя борьба привела его къ „ипохондріи“. Чѣмъ болѣе онъ страдаетъ, тѣмъ дальше уходитъ отъ людей, тѣмъ рѣшительнѣе отрывается отъ нихъ, уходитъ въ жизнь своего „я“, своей личности, „не интересуясь тѣмъ, чѣмъ всѣ въ данную минуту интересуются“... Подъ вліяніемъ этого отрѣшенія отъ общественной жизни, отъ ея интересовъ, ея правилъ и предразсудковъ вырастаетъ съ каждымъ днемъ его „эготизмъ“... „Ужасно высоко цѣнитъ себя“—говоритъ о немъ Разумихинъ. Глядя на массу человѣческую, проникся Раскольниковъ презрѣніемъ къ „психологіи толпы“,—къ самымъ основнымъ принципамъ той „роевой жизни“, о которой говорилъ Л. Толстой въ „Войнѣ и Мирѣ“... Толпа казалась ему жалкимъ стадомъ, которая идетъ за вожакомъ, а сама безсильна что-нибудь сдѣлать. Ему казалось, что толпа живетъ стадными чувствами, потому, что сама не въ силахъ критиковать свои чувства, не можетъ ихъ провѣрять...

„Кто крѣпокъ и силенъ умомъ и духомъ, тотъ надъ ними и властелинъ!.. Кто много посмѣетъ, тотъ у нихъ и правъ. Кто на большое можетъ плюнуть, тотъ изъ нихъ и законодатель, а кто больше всѣхъ можетъ посмѣть, тотъ и всѣхъ правѣе!“—такъ разсуждаетъ Раскольниковъ.

Въ этой рѣзко-выраженной точкѣ зрѣнія необходимо прежде всего отмѣтить то, что явилось наслѣдіемъ 60-хъ годовъ. Какъ Базаровъ, Раскольниковъ не признаетъ „принциповъ“: онъ отвергаетъ тѣ основы, которыми живетъ „общество“,—онъ не признаетъ обязанностей человѣка передъ Богомъ, родиной и близкими, потому что, въ его глазахъ, все это—„стадныя чувства“ толпы... Она изъ трусости (утверждаетъ онъ) выдумала эти „прин-

ципы", ими обезопасила свое существованіе... Но являются среди этой толпы, время отъ времени, люди сильные духомъ, которые возстаютъ противъ „стада", порабощаютъ его и заставляютъ мѣнять религіи, формы правленія, формы быта... Такъ складывается въ умѣ Раскольникова теорія крайняго индивидуализма, и онъ становится на ту точку зрѣнія, которую разбилъ Л. Толстой, обличая Наполеона („Война и Миръ").

И вотъ, такому „великому человѣку", который имѣетъ власть надъ толпой, Раскольниковъ въ своей теоріи предоставляетъ „свободу дѣйствій"... По его словамъ, если великій человѣкъ подчинится законамъ толпы, то не сдѣлаетъ своего „великаго дѣла"; ради этого дѣла, ради идеи дѣла онъ *имѣетъ право* перешагнуть черезъ понятія окружающей его толпы, смѣетъ поставить себя выше этой толпы и условностей ея жизни. Раскольниковъ даже написалъ и напечаталъ цѣлое разсужденіе о томъ, что „необыкновенный человѣкъ" можетъ разрѣшить себѣ жить по своей волѣ, и что всякое „новое слово" всегда связано съ разрушеніемъ того стараго, чѣмъ дорожатъ обыкновенные люди... Въ своей статьѣ онъ доказывалъ, что всѣ, не то, что великіе, „но и чуть-чуть изъ колеи выходящіе люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природѣ своей, быть непремѣнно преступниками—болѣе или менѣе, разумѣется. Иначе трудно имъ выйти изъ колеи, а оставаться въ колеѣ они, конечно, не могутъ согласиться".

Въ этомъ разсужденіи есть нѣсколько крупныхъ ошибокъ, которыхъ не замѣтилъ Раскольниковъ. Прежде всего, у него слишкомъ преувеличенное пониманіе значенія личности въ исторіи; объ истинныхъ предѣлахъ этой роли было говорено уже неразъ выше: всѣ великіе государственные дѣятели, „великіе люди", производившіе перевороты, всегда были выраженіемъ желаній массы,—только этимъ смутнымъ, непроясненнымъ желаньямъ они находятъ опредѣленную *форму*. Не опираясь на желаніе массы, нельзя ввести новыхъ законовъ, нельзя начать войны. Такимъ образомъ, „великій человѣкъ" никогда единолично не дѣлаетъ великихъ дѣлъ...

Затѣмъ ошибка Раскольникова заключается въ томъ, что онъ не замѣчаетъ существованіе *двухъ моралей* во всякомъ человѣческомъ обществѣ: *морали личности* и *морали толпы* (государства, общества, группы общественной). Эти обѣ морали существуютъ вмѣстѣ, и мы то живемъ своею личною моралью, то моралью массовой. Наполеонъ самъ своей рукой никого, быть можетъ, не убилъ,—этому мѣшала ему его „личная мораль"; но, какъ вождь, слуга отечества, представитель націи, онъ отдавалъ приказаніе убивать нѣмцевъ, итальянцевъ, англичанъ, русскихъ,—и въ этомъ случаѣ онъ дѣйствовалъ согласно требованію „морали массовой"... Эта мораль гораздо снисходительнѣе „морали личной": она допускаетъ свободно то, что въ жизни отдѣльнаго человѣка называется „преступленіемъ".

„Воздайте кесарю кесарево, а Божіе—Богу"—сказалъ Христосъ, указывая, что человѣкъ, живущій въ обществѣ, въ государствѣ, долженъ считаться съ требованіями этой массовой жизни; у человѣка есть своя личная жизнь, гдѣ онъ—самъ себѣ господинъ. Эту жизнь онъ можетъ и долженъ посвятить Богу. Раскольниковъ ошибался, считая, что человѣкъ и въ личной жизни можетъ руководиться моралью массовой.

Кромѣ того, крупнымъ недоразумѣніемъ является разсужденіе его о новомъ словѣ; „новаго слова" въ томъ смыслѣ, какъ его понимаетъ Раскольниковъ, въ сущности, исторія не знаетъ: всякая соціальная реформа, новый законъ, война,—все это долго зрѣетъ въ сознаніи общества. Все это, прежде, чѣмъ проявится, смутно сознается,—и, конечно, только въ условномъ смыслѣ историкъ можетъ говорить, напримѣръ, о *реформахъ Ликурга*, или *Солона*,—они подслушали потребности массы, и поэтому „новое" слово, ими сказанное, въ сущности, слово старое.

Такимъ образомъ, разсужденіе Раскольникова, въ самомъ основаніи своемъ, грѣшитъ крупными ошибками.

§ **82**. Такова была теорія Раскольникова, а жизнь подсказала ему возможность испробовать ее на практикѣ. Освободивъ себя отъ вѣры въ „принципы“, Раскольниковъ рѣшилъ, что признавать права собственности онъ не обязанъ,— и вотъ, его вниманіе остановилось на старой ростовщицѣ, которая высасывала послѣдніе соки изъ бѣдняковъ; она, безполезное, даже вредное существо, богата и сильна своимъ богатствомъ,—а онъ, Раскольниковъ, талантливый, многообѣщающій юноша, жаждущій свѣта, долженъ оставить университетъ, долженъ голодать, унижаться... Раскольникову приходитъ въ голову мысль, что, если онъ убьетъ старуху и возьметъ ея деньги, онъ сдѣлаетъ разумное и полезное дѣло: онъ на похищенныя деньги можетъ продолжить образованіе, онъ можетъ дѣлать людямъ добро... Но онъ не совсѣмъ еще освободился отъ власти „стадныхъ чувствъ“,—порою въ его душѣ энергично возникаетъ протестъ противъ идеи преступленія; голосъ его совѣсти называетъ самую мысль объ убійствѣ старухи „вздоромъ“, „нелѣпостью“, „ужасомъ“... Онъ борется съ этимъ голосомъ, взвинчиваетъ себя, доводитъ почти до ненормальнаго состоянія... Въ пользу рѣшенія говоритъ ему и его самолюбіе: представляется возможность *провѣрить себя*, — узнать, хватитъ ли силъ „переступить“ тотъ принципъ, которымъ живетъ „стадо“... И вотъ, онъ переживаетъ страшныя минуты душевной раздвоенности,—то кажется ему, что, рѣшившись на убійство, онъ не только докажетъ величіе своей личности, но поможетъ и человѣчеству освободиться отъ губительныхъ узъ „роевой“ жизни—укажетъ всѣмъ путь къ той жизни, когда „свободная личность“ будетъ жить личной счастливой жизнью... То онъ мучается отъ сознанія своего ничтожества [1])... Порой ему хотѣлось отвязаться отъ своей „idée fixe“,—въ такія минуты онъ взывалъ даже къ помощи Господа...

И вотъ онъ убилъ старуху-ростовщицу, — убилъ попутно еще, ни въ чемъ неповинную дѣвушку, Лизавету... Онъ совершилъ преступленіе въ состояніи невмѣняемости [2]), — въ противномъ случаѣ, онъ, конечно, ограбилъ бы старуху... Онъ же, схвативъ какой-то одинъ кошелекъ, бѣжалъ съ мѣста преступленія, трусливый и жалкій... Произошло это по многимъ причинамъ—1) очевидно, онъ не освободился окончательно отъ власти морали — отъ тѣхъ „принциповъ“, которые всосалъ онъ съ молокомъ матери [3]);—2) самая теорія его была въ корнѣ невѣрна; личность, живущая въ массѣ, свободна лишь постольку, поскольку она безвредна массѣ; она можетъ расширить свою „личную мораль“ только въ тѣхъ предѣлахъ, которые не задѣваютъ роевой морали;—3) онъ и противъ своей „невѣрной“ теоріи погрѣшилъ: онъ самъ оговорился, что „перешагнуть черезъ кровь“ можно только, „смотря по идеѣ и по размѣрамъ ея“... Размѣры же его сумбурной идеи не были такъ велики, а, главное, его дѣяніе не было свободно отъ примѣси личныхъ интересовъ: вѣдь не только о благополучіи людей мечталъ Раскольниковъ,—онъ думалъ и о себѣ, о своемъ личномъ благополучіи. Такимъ образомъ, полнаго „безкорыстія“ не было въ его „идеѣ“...; —4) убійство „по теоріи“ ему не удалось, такъ какъ примѣшалась „случайность“, ненужная и досадная—убійство Лизаветы;—5) слишкомъ неэстетично оказалось само преступленіе [4]).

---

[1]) Измученный нервной борьбой и голодомъ, онъ зашелъ въ трактиръ подкрѣпиться и здѣсь убѣдился, что душевный міръ его, „геніальнаго человѣка“, зависитъ отъ нѣсколькихъ глотковъ пива. „Одинъ какой-нибудь стаканъ пива, кусокъ сухаря,—и вотъ, въ одинъ мигъ, крѣпнетъ умъ, яснѣетъ мысль, твердѣютъ намѣренія... Тьфу, какое все это ничтожество!“—восклицаетъ онъ.

[2]) Не было „у него болѣе ни свободы разсудка, ни воли“ (Достоевскій).

[3]) „Старушонка—вздоръ“—думалъ онъ горячо и порывисто,—старуха, пожалуй, и ошибка, не въ ней и дѣло... Старуха была только болѣзнь... Я переступить поскорѣе хотѣлъ... Я не человѣка убилъ, я *принципъ* убилъ!..“. Т. е. онъ видѣлъ, что своимъ поведеніемъ справедливости своей идеи онъ не доказалъ.

[4]) „Наполеонъ, пирамиды, Ватерлоо—и тощая, гаденькая регистраторша, старушонка-процентщица, съ красной укладкою подъ кроватью... Полѣзетъ ли Наполеонъ подъ кровать къ старушонкѣ!.. Эхъ, дрянь!.. эхъ, я вошь, и больше ничего!“—говорилъ Раскольниковъ.

Съ изумительнымъ искусствомъ рисуетъ Достоевскій состояніе души Раскольникова послѣ преступленія. Онъ—весь во власти жалкаго, животнаго страха... Деньгами онъ не воспользовался,—ихъ зарылъ въ какомъ-то дворѣ,—и затѣмъ, больной, нравственно-измученный, заперся у себя въ комнатѣ, весь порабощенной однимъ только инстинктомъ самосохраненія,—страхомъ, что его поймаютъ, что его посадятъ... Теперь „манія величія“ смѣняется у него „маніей преслѣдованія“. Отъ прежнихъ гордыхъ мечтаній о томъ „новомъ словѣ“, которое скажетъ онъ людямъ своимъ „дѣломъ“ (убійствомъ старухи),—не осталось и слѣда... „Наполеонъ“ обратился въ затравленнаго зайца... Онъ всячески заметаетъ слѣды; онъ хитритъ, подличаетъ (сцена въ участкѣ; разговоръ съ Никодимомъ Ѳомичемъ).

Потомъ онъ испытываетъ ужасъ одиночества... Въ теоріи онъ легко рвалъ связи свои съ человѣческимъ обществомъ, съ его „принципами“,—но когда онъ на дѣлѣ порвалъ эти связи и оторвался отъ того „круглаго, цѣльнаго“, о которомъ говорится въ „Войнѣ и Мирѣ“, онъ почувствовалъ ужасъ одиночества. Онъ не могъ радоваться пріѣзду матери и сестры, потому что порвались какія-то невидимыя связи его съ людьми. Мрачное ощущеніе мучительнаго, безконечнаго уединенія и отчужденія вдругъ сознательно проявилось въ душѣ его...

Онъ то доходитъ до яснаго сознанія, что сдѣланное имъ гадко и подло [1]), то его мучатъ страшные кошмары, доводящіе его до временнаго помѣшательства, то воскресаетъ въ немъ его прежняя потускнѣвшая „гордыня“,—ему опять хочется поиграть роль „героя“... Запятову онъ, бравируя, говоритъ о томъ, какъ неумѣло иные преступники скрываютъ себя отъ рукъ правосудія,—ихъ называетъ онъ „бланбеками“ [2]); когда при немъ разсказываютъ объ убійствѣ, и говорятъ, что „убійца не обокралъ старуху потому, что руки дрогнули: обокрасть не сумѣлъ, не выдержалъ,—Раскольниковъ, какъ будто, обидѣлся“,—дѣлаетъ характерное замѣчаніе Достоевскій.

Но всѣ эти бѣглые проблески прежняго эготизма и маніи величія не могли спасти его отъ сознанія, что онъ—не великій человѣкъ, а—„вошь“, что своего „новаго слова“ онъ не доказалъ,—что всей тяжестью легло на него проклятіе его совѣсти,—что онъ не протестантъ-реформаторъ, а жалкій „отщепенецъ“, „отверженецъ“...

Какъ разъ въ это время ему удается совершить доброе дѣло: всѣ свои деньги отдалъ онъ осиротѣлой семьѣ Мармеладова... И вотъ, сознаніе сдѣланнаго добраго дѣла, радость, что чувство альтруизма не чуждо его душѣ, что не навсегда оторвался онъ отъ другихъ людей, наполнила его существо...

Онъ понялъ, что найдетъ спасеніе лишь въ томъ случаѣ, если опять сольется съ той массой, отъ которой онъ оторвался; нужно опять подчинить себя требованьямъ жизни этой массы... Чтобы снова войти въ нее, нужно согласиться на несеніе „наказанія“, нужно открыть свое преступленіе... И вотъ, Раскольниковъ чувствуетъ позывы выдать себя въ руки правосудія, но онъ еще борется съ этимъ чувствомъ... На пути его какъ разъ въ это время попадается Соня Мармеладова...

Сонечка Мармеладова.

§ **83**. Это была бѣдная дѣвушка, которая продала свое тѣло ради спасенія отъ голода малолѣтнихъ дѣтей своей мачехи... Грязную жизнь пришлось ей вести, но душа ея оставалась чиста и чужда ея земной жизни. Соня воспитала себя на чтеніи Евангелія; она вѣрила, что Богъ проститъ ее, какъ евангельскую блудницу и

---

[1]) „Если, дѣйствительно, все это дѣло сдѣлано было сознательно, а не по-дурацки, если у тебя, дѣйствительно, была опредѣленная и твердая цѣль, то какимъ же образомъ ты до сихъ поръ даже и не заглянулъ въ кошелекъ и не знаешь, что тебѣ досталось? — изъ-за чего всѣ муки принялъ и на такое подлое, гадкое, низкое дѣло сознательно шелъ?“—говоритъ онъ самъ себѣ.

[2]) Blanc bec, т. е. птенчикъ, у котораго еще желтый носъ (сравни русскую поговорку: „молоко не высохло на губахъ“).

мытаря, и *всѣми помыслами* тянулась къ Богу; здѣсь на землѣ осуществила она божественный завѣтъ жертвовать собой ради ближняго. И сознаніе этой жертвы не возбуждало въ Сонѣ гордости: она видѣла въ этомъ свой *долгъ* и со смиреніемъ несла свой тяжелый крестъ. Съ точки зрѣнія людей, она была существомъ „падшимъ", но Достоевскій сумѣлъ освѣтить ея сердце, сумѣлъ въ этомъ сердцѣ найти богатый источникъ высокой христіанской любви. Соня Мармеладова принадлежитъ къ тѣмъ свѣтлымъ женскимъ образамъ, которыми богата русская литература; она—сродни Лизѣ Калитиной, Еленѣ и др.

И вотъ, къ этой Сонѣ пришелъ каяться Раскольниковъ... Онъ думалъ, что она, тоже „переступившая" условности „роевой жизни", близка ему по духу, что она—товарищъ его по несчастью. Онъ утѣшалъ себя мыслью, что она тоже злобствуетъ на людей за то, что она — ихъ жертва, и, подобно ему,— грѣшница „пуще всего тѣмъ, что по-напрасну умертвила и предала себя"... Изъ этихъ словъ Раскольникова видно, что, ослѣпленный самомнѣніемъ, онъ могъ еще смотрѣть на себя, какъ на *„напрасную жертву"*... Онъ сталъ передъ Соней на колѣни и сказалъ: „я не тебѣ поклонился, я всему страданію человѣческому поклонился". Въ этихъ словахъ еще слышится его „гордость". Онъ пришелъ „возмутить" Соню противъ людской несправедливости, чтобы въ этомъ возмущеніи „сестры по духу" найти облегченіе для своей мятежной души...

Но въ ней онъ встрѣтилъ сильнаго человѣка, который повелъ его за собой. Соня приблизила его къ Богу; она читала ему „Евангеліе"; она, простая дѣвушка, сказала ему, образованному человѣку, что нѣтъ той мѣрки, которою одинъ человѣкъ можетъ судить другого *человѣка*, а презирать своего ближняго никто не имѣетъ права [1]); она сказала Раскольникову, этому гордому человѣку, что онъ—„несчастнѣе всѣхъ" на свѣтѣ,—что онъ „надъ собой" сдѣлалъ великое зло... Соня указала ему и путь спасенія:

„Поди сейчасъ, сію минуту, стань на перекресткѣ, поклонись, поцѣлуй сначала землю, которую ты осквернилъ, а потомъ поклонись всему свѣту, на всѣ четыре стороны и скажи всѣмъ вслухъ: „я убилъ".

Она доводитъ Раскольникова до сознанія, что главное побужденіе его къ убійству было его самолюбіе,—не о счастьи людей безпокоился онъ: ему хотѣлось только *доказать себѣ*, что онъ—сильный человѣкъ, что онъ—не „вошь, какъ всѣ", не „тварь дрожащая" и „право имѣетъ переступить".

Раскольниковъ исполняетъ все, что ему указала Соня: онъ приноситъ всенародное покаяніе, соблюдая при этомъ всѣ народные обряды... И съ момента покаянья онъ возвращается въ то „цѣлое, круглое", отъ котораго онъ оторвался, повинуясь своей гордынѣ, своему эготизму. Съ нимъ произошло то, что съ героями Толстого: Пьеромъ Безухимъ, Андреемъ Болконскимъ; только бо̀льшей цѣной заплатилъ Раскольниковъ за свою ошибку. Самое покаяніе его характерно,—оно чисто въ „народномъ духѣ"... Въ этомъ кроется высокій смыслъ: Достоевскій, подобно Толстому, зоветъ этого интеллигента-преступника къ простой народной правдѣ, къ „каратаевщинѣ"... Тамъ чище правда, тамъ спасеніе...

Раскольниковъ былъ отправленъ на каторжныя работы. Соня пошла за нимъ, чтобы помочь ему „нести крестъ". Долго еще не успокаивалась мятежная душа Раскольникова... Онъ роптalъ на судьбу, упрекалъ себя, оскорблялъ Соню... Каторжане инстинктивно поняли въ немъ „чужого" человѣка, человѣка, оторвавшагося отъ „цѣлаго и круглаго". Надъ нимъ смѣялись, его ненавидѣли, чуть не убили... „Ты въ Бога не вѣруешь!"—кричали ему...—„Убить тебя надо!".

---

[1]) „Я вѣдь только вошь убилъ, Соня,—безполезную, гадкую, зловредную".—„Это—*человѣкъ*-то вошь?"—воскликнула Соня, и въ этомъ восклицаніи сказалась вся глубина ея христіанской гуманности... Не имѣетъ никто права считать другого ничтожнымъ и презирать его... Въ малыхъ людяхъ, въ людяхъ, „униженныхъ и оскорбленныхъ", въ преступныхъ и падшихъ можно легко тогда проглядѣть „человѣка" (Ср. выше, слова Обломова въ разговорѣ съ Пенкинымъ).

Это обвиненіе въ „безбожіи“ странно звучитъ въ устахъ людей преступныхъ, но мысль его ясна... Каторжане кричали ему то же, что̀ въ свое время говорилъ пушкинскій старый цыганъ юношѣ-Алеко:

„Оставь насъ, *гордый* человѣкъ:
... ты *для себя* лишь хочешь воли!“.

Они тоже „преступили“ принципы, какъ Раскольниковъ, но они продолжали вѣрить въ эти „принципы“ и не отрывались отъ идеаловъ массы; въ Раскольниковѣ же они чувствовали человѣка, который утратилъ вѣру въ то, чѣмъ сплочена была человѣческая масса; они чувствовали, что у него есть *свой богъ*,—его собственное гордое „я“...

Зато Соню они полюбили, такъ какъ она богата была тѣмъ, чего не было у Раскольникова—любовью къ людямъ и Богу.

„Матушка Софья Семеновна, мать ты наша, нѣжная, болѣзная!“—говорили грубые, клейменные каторжане этому маленькому и хрупкому созданію.

Лишь послѣ долгой внутренней борьбы съ собой и подъ вліяніемъ Сони смягчилась, мало-по-малу, душа Раскольникова, и онъ, наконецъ принялъ ея вѣру и окончательно слился съ тѣмъ „цѣлымъ и круглымъ“, противъ чего возсталъ.

„Но тутъ начинается новая исторія“—говоритъ Достоевскій,—„исторія постепеннаго обновленія человѣка,—исторія постепеннаго перерожденія его,—постепеннаго перехода изъ одного міра въ другой, знакомства съ новою, доселѣ совершенно невѣдомою дѣйствительностью“. Такими словами заканчивается романъ.

Мармеладовъ.

§ **84.** Эпизодическое мѣсто занимаетъ въ романѣ отецъ Сонечки, старикъ Мармеладовъ. Это—жалкій, безвольный пропойца, который опустился на самое „дно“ бытія человѣческаго... И съ презрѣніемъ смотритъ на него „праведные фарисеи“, не замѣчая того, что сердце его способно на благородные порывы (онъ *изъ жалости* женился на Катеринѣ Ивановнѣ, бѣдной вдовѣ съ дѣтьми; онъ боготоритъ свою дочь Сонечку, понимая все величіе ея поступка); и въ пьяной его рѣчи, произнесенной въ трактирѣ, слышится вѣра евангельскаго мытаря, который къ Богу ближе, чѣмъ самодовольный, праведный фарисей... Когда трактирщикъ сказалъ ему, что жалѣть его, Мармеладова, незачѣмъ—онъ воскликнулъ:

„Да! меня жалѣть не за что!.. Меня распять надо,—распять на крестѣ, а не жалѣть!.. Но распни, судія, распни и, распявъ, пожалѣй его! И тогда я самъ къ тебѣ пойду на пропятіе, ибо не веселія *жажду*, а скорби и слезъ!.. Думаешь ли ты, продавецъ, что этотъ полуштофъ твой мнѣ въ сласть пошелъ?.. Скорби, скорби искалъ я на днѣ его, скорби и слезъ... И вкусилъ, и обрѣлъ, а пожалѣетъ насъ Тотъ, Кто всѣхъ пожалѣлъ, и Кто всѣхъ и вся понималъ, Онъ Единый, Онъ и Судія!.. Прійдетъ въ тотъ день и спроситъ: „А гдѣ дщерь, что мачехѣ злой и чахоточной, что дѣтямъ чужимъ малолѣтнимъ себя предала?.. Гдѣ дщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребнаго, не ужасаясь звѣрства его, пожалѣла?..“. И скажетъ: „Пріиди! Я уже простилъ тебя разъ... Простилъ тебя разъ... Прощаются же и теперь грѣхи твои Мною за то, что возлюбила много“... И проститъ мою Соню, проститъ, — я ужъ знаю, что проститъ... Я это давеча, какъ у ней былъ, въ моемъ сердцѣ почувствовалъ!..“. И всѣхъ разсудитъ и проститъ—и добрыхъ, и злыхъ, и премудрыхъ, и смирныхъ... И когда уже кончитъ надъ всѣми, тогда возлаголетъ и намъ... „Выходите, скажетъ, и вы!.. Выходите, пьяненькіе, выходите, слабенькіе, выходите, соромники!...“ И мы выйдемъ всѣ, не стыдясь, и станемъ... И скажетъ: „Свиньи вы! образа звѣринаго и печати его; но пріидите и вы!..“. И возлаголятъ премудрые, возглаголятъ разумные: „Господи! по что сихъ пріемлеши?..“. И скажетъ: „Потому ихъ пріемлю, премудрые, потому пріемлю, разумные, что ни единый изъ сихъ самъ не считалъ себя достойнымъ сего!“. И простретъ къ намъ руцѣ Свои, и мы припадемъ... И заплачемъ... И все поймемъ!“.

Отъ этой изумительной, по силѣ, рѣчи пьянаго Мармеладова вѣетъ чѣмъ-то евангельскимъ. Почти всѣ наши писатели, начиная съ Карамзина, проповѣдывали любовь къ людямъ, но ни у кого не достигала проповѣдь этой любви такой силы и проникновенности, какъ у Достоевскаго. Въ этой рѣчи раскрывается вся богатая душа Мармеладова, — этого брата Любима

Торцова... И мы понимаемъ, *кто* воспиталъ Соню въ ея высокомъ идеализмѣ! Изъ этой рѣчи мы можемъ усмотрѣть главную идею романа: духомъ примиренія съ жизнью и смиренія свѣтится она... Достоевскій сказалъ въ своемъ романѣ то же, что Толстой, только сказалъ иначе...

§ **85**. Раскольниковъ, дѣйствительно, «выстрадалъ» свою новую вѣру—и страданія его описаны Достоевскимъ съ тѣмъ изумительнымъ умѣніемъ, которое является характерной чертой его творчества. Достоевскаго называютъ «художникомъ страданія», талантъ его—«жестокимъ». Подобно Толстому, онъ умѣетъ глубоко всмотрѣться въ душу человѣческую, въ ту тьму ея, въ тотъ «хаосъ» (Тютчевъ), гдѣ нѣтъ ужъ мѣста ничему показному, внѣшнему; но, трудныя для чтенія, произведенія его, съ ихъ страдающими героями, однако, воодушевлены вѣрою въ добро и благо... Достоевскій вѣритъ въ искупительную силу страданія: «страданіе — великое дѣло»,—говоритъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ романа. «Идучи на страданіе, смываешь уже вполовину свое преступленіе»—говоритъ Раскольникову его сестра. На такой же точкѣ зрѣнія стоитъ самъ Достоевскій,—оттого нѣтъ пессимизма въ его міросозерцаніи, и вѣрою въ торжество добра проникнуты его произведенія.

Подобно Толстому, онъ рѣзко ставитъ вопросъ о значеніи личности, и въ романѣ: «Преступленіе и Наказаніе», разрѣшаетъ этотъ вопросъ тоже въ духѣ Толстого: въ отреченіи отъ своей личности—спасеніе, въ самопожертвованіи—величайшій подвигъ.

Оба писателя, и Толстой, и Достоевскій, принадлежали къ 60-ымъ годамъ, и потому не остались въ сторонѣ отъ жгучихъ запросовъ дѣйствительности... Они усвоили отъ своего времени пріемы изученія жизни и души человѣка; они брали героями своихъ произведеній людей, такъ или иначе, отражающихъ на себя «вѣянія времени»... Но интересы обоихъ великихъ нашихъ писателей въ ихъ лучшихъ произведеніяхъ до такой степени глубоки и широки, что покрываютъ собою злободневные интересы своего времени. Изъ этихъ интересовъ сумѣли они выбрать для разрѣшенія тѣ вѣчные вопросы, которые общи всѣмъ націямъ и вѣкамъ,—вопросы общечеловѣческой морали. Вотъ почему колебанія русской мысли въ *40-ые*, *60-ые* и *70-ые* годы на этихъ двухъ геніальныхъ творцахъ-художникахъ отразились меньше, чѣмъ на другихъ писателяхъ русскихъ... Увѣренно шли они *своею дорогой*... Вотъ почему и Толстой, и Достоевскій не только писатели 60-ыхъ годовъ, но и міровые писатели,—вотъ почему болѣе другихъ художниковъ русскаго слова оказались доступны пониманію запада.

г) Писатели-лирики 40—60 г.г.

Ѳедоръ Ивановичъ Тютчевъ.

(1803—1875).

(Ист. хрест., т. II, вып. 3, стр. 127—132).

Біографія.

§ **86**. Ѳедоръ Ивановичъ Тютчевъ родился въ 1803 г. въ имѣніи отца Орловской губерніи. Онъ былъ родомъ изъ старинной и богатой дворянской семьи. Отецъ не щадилъ средствъ на образованіе сына, изъ котораго и сдѣлалъ такого „европейца", что французскій языкъ онъ всегда зналъ лучше родного русскаго. Русскому языку обучалъ его небезызвѣстный, въ свое время, литераторъ Раичъ, который сумѣлъ заставить своего питомца полюбить родную поэзію. Въ 1817 году Раичъ представилъ въ „Общество любителей русской словесности" произведеніе своего 14-лѣтняго ученика,— и мальчикъ былъ выбранъ членомъ-сотрудникомъ. Пятнадцати лѣтъ онъ сдѣлался студентомъ Московскаго университета; въ 1822-мъ году онъ, послѣ окончанія университетскаго курса, поступилъ на службу въ министерство иностранныхъ дѣлъ, и дипломатическая дѣятельность надолго сдѣлалась его офиціальнымъ занятіемъ. Около 15 лѣтъ провелъ онъ въ Германіи (въ Мюнхенѣ), гдѣ совершенно сжился съ мѣстными культурными интересами, близко сошелся съ Шеллингомъ, съ Гейне... А. С. Пушкинъ охотно печаталъ его стихотворенія въ своемъ „Современникѣ". Въ 1840 г. Тютчевъ вернулся въ Россію и сталъ жить въ Петербургѣ. Въ 1854-омъ году онъ выпустилъ въ свѣтъ первое собраніе его стихотвореній. Съ конца 50-ыхъ годовъ онъ занималъ постъ предсѣдателя комитета иностранной цензуры и скончался въ 1875-омъ году.

§ **87**. Пессимистическіе взгляды Лермонтова намѣчаютъ ясно признаки философской системы, но субъективизмъ помѣшалъ Лермонтову сдѣлаться настоящимъ «философомъ»,—слишкомъ сильно вліяли на него впечатлѣнія жизни, слишкомъ отзывчивъ былъ поэтъ къ этимъ впечатлѣніямъ жизни, и потому не могъ спокойно и трезво разбираться въ нихъ, не могъ найти философскія обоснованія своему пессимизму. Если Лермонтовъ возвысился до того, что источникъ зла на землѣ усмотрѣлъ не въ случайныхъ, временныхъ обстоятельствахъ жизни, а въ самомъ человѣчествѣ, — то дальше этого заключенія онъ не пошелъ. Тютчевъ попытался философски обосновать то, что уже чуялось до него...

Тютчева нельзя назвать поэтомъ «міровой скорби», но онъ въ своихъ лирическихъ произведеніяхъ неразъ подходитъ къ вопросамъ, которые своею неразрѣшимостью мучили именно «скорбниковъ».

„Хаосъ" въ человѣкѣ.

Съ точки врѣнія Тютчева, человѣческое бытіе неразрывно связано съ жизнью природы. Человѣкъ—это послѣднее, высшее произведеніе мірового процесса... Внѣшній свѣтъ природы становится въ человѣкѣ внутреннимъ свѣтомъ сознанія и разума; идеальное начало вступаетъ здѣсь въ новое, болѣе глубокое «тѣсное сочетаніе съ земной душой». Но, вмѣстѣ съ облагороженіемъ всѣхъ силъ макрокосма (всего міра) въ микрокосмѣ (въ человѣкѣ), въ душѣ человѣка яснѣе, чѣмъ въ природѣ, раскрывается, противоположное свѣту и ясному сознанію—демоническое начало «хаоса» (В. Соловьевъ). Отсюда раздвоеніе человѣка,—отсюда въ человѣкѣ, непобѣдимость зла этого «наслѣдія роковаго»... Что въ природѣ является мракомъ, враждебнымъ началомъ, «хаосомъ», то въ душѣ человѣка является «злымъ»... Даже въ любви, открывающей смыслъ душевной жизни человѣка, видѣлъ Тютчевъ эту демоническую и хаотическую основу,—это тѣ страсти, которыя иногда темнымъ началомъ врываются въ міръ идеаловъ и чистыхъ мечтаній. Вотъ

почему, съ точки зрѣнія Тютчева, «жизнь души, сосредоточенная въ любви—есть, въ основѣ своей, *«злая жизнь»*. **„Любовь“ человѣка.**

Эта «злая жизнь» безъ пощады губитъ свои жертвы—

„О, какъ убійственно мы любимъ,
Какъ въ буйной слѣпотѣ страстей
Мы то всего вѣрнѣе губимъ,
Что̀ сердцу нашему милѣй!“.

Это—тяжелая любовь Печорина, которая уничтожаетъ въ неравной борьбѣ слабѣйшаго. И если «побѣды» только увеличивали страданія побѣдителя-Печорина,—то Тютчевъ страданій этихъ не знаетъ: онъ увѣренъ, что гибель слабѣйшаго неизбѣжна, такъ какъ таковъ законъ природы. Самая любовь ему, какъ Печорину, представляется «поединкомъ роковымъ» двухъ сердецъ.

§ **88.** Если жизнь человѣка, даже неизбѣжное зло этой жизни, мало трогаютъ поэта, то безсознательная жизнь міра, въ которомъ не прояснено ни зло, ни добро, еще менѣе возмущаетъ его душу. Къ природѣ совершенно неприложима та нравственная точка зрѣнія, которая человѣку позволяетъ въ жизни отдѣлять «зло» отъ «добра»: въ природѣ царствуетъ великая стихійная жизнь, непроясненная, но величественная, полная движенія... **„Природа“ въ его поэзіи.**

Къ «природѣ» Тютчевъ относится приблизительно такъ же, какъ Лермонтовъ, хотя, опять-таки, безъ лермонтовской тревоги и страстности... Тютчевъ вполнѣ сознательно вѣрилъ въ жизнь природы... «Въ блескѣ молодой весны», въ «свѣтлости осенніхъ вечеровъ», въ сверканьи пламенныхъ зарницъ и въ шумѣ ночного моря—природа сама раскрывала ему свои роковыя тайны».

„Не то, что̀ мните вы, природа!“ *(Ист. хрест., стр. 131)*

—говоритъ поэтъ людямъ, не вѣрящимъ въ жизнь природы,—по его словамъ, она, —

„Не слѣпокъ, не бездушный ликъ:
Въ ней есть душа, въ ней есть свобода,
Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ!“.

Тѣ люди, что̀ отрицаютъ внутреннюю жизнь природы,

„...не видятъ и не слышатъ,
Живутъ въ семъ мірѣ, какъ въ потьмахъ.
Для нихъ и солнца, знать, не дышатъ,
И жизни нѣтъ въ морскихъ волнахъ“.

Видимая красота и великолѣпіе природы—лишь «златотканный покровъ», наброшенный на міръ «высокой волею боговъ».

Приходитъ ночь, и—

„съ міра рокового,
Ткань благодатную покрова
Собравъ, отбрасываетъ прочь.
И *бездна* намъ обнажена,
Съ своими страхами и мглами.
И нѣтъ преградъ межъ ей и нами,—
Вотъ отчего намъ ночь страшна!“.

Въ «ночи», по словамъ Тютчева, проглядываетъ «темное начало» бытія вселенной [1]); это начало, бурное и злое, выражается въ дикомъ воѣ вѣтра. И подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ этого воя поэтъ настраивается на тревожный ладъ. Онъ обращается къ вѣтру съ вопросомъ:

„Что̀ значитъ странный голосъ твой,
То глухо-жалобный, то шумный?
Понятнымъ сердцу языкомъ
Твердишь о непонятной мукѣ?“.

---

[1]) „Видѣніе“, „Ночные голоса“ *(Ист. хрест., стр. 127—128).*

Въ воѣ вѣтра душа поэта слышитъ «страшныя пѣсни» про «хаосъ древній, *родимый*»,—и оттого, подъ вліяніемъ этихъ пѣсенъ, темныя начала въ душѣ человѣческой начинаютъ волноваться: микрокосмъ начинаетъ сливаться съ макрокосмомъ... «Міръ души ночной» съ любовью слушаетъ пѣсни вѣтра про «родимый хаосъ,— и тогда въ груди испуганнаго смертнаго просыпается жажда слиться съ «безпредѣльнымъ»—

„О, бурь уснувшихъ не буди!
Подъ ними хаосъ шевелится“—

—восклицаетъ поэтъ.

Поэтому «хаосъ, т. е. само безобразіе, есть необходимый фонъ всякой земной красоты» (В. Соловьевъ)... Тютчевъ — великій мастеръ рисовать такія картины природы, въ которыхъ чуется присутствіе, или приближеніе «хаоса»,— или въ «страшныхъ пѣсняхъ» вѣтра, или въ таинственномъ, безшумномъ трепетаніи зарницъ (*Ист. хрест., стр. 128:* «Не остывшая»)...

Въ одномъ стихотвореніи эти безшумныя вспышки зарницы Тютчевъ представляетъ въ видѣ бесѣды, которую ведутъ между собой «демоны глухонѣмые». (*Тамъ же, стр. 128:* «Ночное небо»)...

Подобно тому, какъ подчиненіе «хаоса» разумнымъ силамъ природы придаетъ дикой жизни смыслъ и красоту,—такъ и въ жизни человѣка побѣда надъ злыми началами его души есть единственный выходъ къ свѣту. И поэтъ призываетъ всѣхъ примкнуть къ Христу, «вождю на пути совершенства»,— замѣнить роковое и убійственное наслѣдіе древняго хаоса духовнымъ и животворнымъ наслѣдіемъ новаго человѣка. Допуская «двойственность» своей души, поэтъ признавалъ, однако, что въ ней торжествуютъ начала свѣтлыя—

„Пускай страдальческую грудь Душа готова, какъ Марія,
Волнуютъ страсти роковыя, Къ ногамъ Христа навѣкъ прильнуть“.

Такими «философскими» стихотвореніями, конечно, не исчерпывается лирика Тютчева; у него много прекрасныхъ картинъ мирной природы,—картинъ, пронизанныхъ свѣтомъ и теплом: онъ одинаково чутокъ къ красотамъ весны, осени и зимы, утра, дня и ночи [1])... Немало стихотвореній его посвящено и жизни его сердца, со всѣми его треволненіями, муками, поэтическими переживаніями... Поэзія приносила успокоеніе его мятежной душѣ (*Тамъ же, стр. 127:* «Поэзія»).

Свое пониманіе жизни человѣка и жизни природы, какъ борьбы двухъ началъ, Тютчевъ усвоилъ и по отношенію къ жизни Европы. Видя въ христіанствѣ свѣтъ, который долженъ побѣдить прирожденную людямъ мглу, онъ изъ всѣхъ народовъ Европы самымъ христіанскимъ считалъ *русскій*. Такимъ образомъ, онъ усвоилъ точку зрѣнія славянофиловъ и вѣрилъ, вмѣстѣ съ ними, что Россія призвана не только внутренно обновить, но и внѣшнимъ образомъ объединить все человѣчество. Онъ не говорилъ, что любитъ родину— онъ *вѣрилъ въ нее*: могущество николаевской Россіи плѣнило его, какъ и многихъ другихъ его современниковъ,—вмѣстѣ съ Пушкинымъ, увѣровалъ онъ въ то, что «славянскіе ручьи сольются въ русскомъ морѣ» («На взятіе Варшавы»); одно время онъ мечталъ даже о соединеніи церквей и предсказывалъ, что въ будущемъ Россія сдѣлается всемірною монархіею до Нила и Ганга, съ Царьградомъ, какъ столицей (*Тамъ же, стр. 129*); причемъ единство этой монархіи будетъ въ ней поддерживаться не силой, а любовью.

---

[1]) Напр., „Весеннія воды“, „Весенняя гроза“, „Осенній вечеръ“ (*Ист. хрест., стр. 130*) и мн. др.

д) Писатели школы «искусства для искусства».

Писатели „чистаго искусства".

§ **89**. Выше было выяснено значеніе этого термина («искусство для искусства»); было указано, что къ поэтамъ этой школы относятся тѣ писатели, которые являются поклонниками *искусства чистаго*, т. е. свободнаго отъ всякихъ практическихъ цѣлей: эти «чистые эстеты» не берутся ни за исправленіе людей, ни за обличеніе ихъ,—они поютъ, «какъ птицы», и свое поэтическое творчество считаютъ «священнодѣйствіемъ».

Въ XIX-омъ столѣтіи нѣмецкій философъ Шеллингъ высказалъ этотъ возвышенный взглядъ на значеніе поэта.

Изъ русскихъ поэтовъ первый шеллингіанецъ-*Веневитиновъ* (1805—1827) усвоилъ эту точку зрѣнія на значеніе поэзіи и настойчиво проводилъ этотъ взглядъ въ своихъ лирическихъ произведеніяхъ. Въ нихъ неразъ вырисовывается образъ поэта, чуждаго толпѣ, непонятаго ею... Поэтъ далекъ отъ обыкновенныхъ людей: онъ—«сынъ боговъ, питомецъ музъ и вдохновенья». Вокругъ него, «въ чаду утѣхъ бунтуетъ вѣтреная младость»,—но все это «чуждо, дико для него»: онъ живетъ своимъ міромъ,—«въ душѣ заботливо хранитъ онъ неразгаданныя чувства». Его равнодушіе къ интересамъ современной жизни простирается до того, что—

„... если бъ рухнулъ міръ, затмился свѣтъ эѳира,
И хаосъ задавилъ природу пустотой"—

—и тогда онъ долженъ былъ бы «пѣть» свои вдохновенныя пѣсни...

Поэтъ—«полубогъ», Прометей, принесшій на землю свѣточъ божественнаго огня, — и потому онъ, «пламенный жрецъ искусства», долженъ высоко держать свой пламенникъ, «надъ суетою духомъ вознесясь»... Презрѣніе невѣжественныхъ людей не должно оскорблять божественнаго избранника.

„Ихъ равнодушное безстрастье
Тебѣ да будетъ похвалой,—
Зарѣ не улыбался камень!
Такъ и сердецъ небесный пламень
Толпѣ бездушной и пустой
Всегда былъ тайной непонятной!".

Въ литературѣ существуетъ мнѣніе, что молодой поэтъ Веневитиновъ сумѣлъ передать Пушкину свое возвышенное пониманіе поэзіи, повліялъ на созданіе великимъ нашимъ поэтомъ всѣхъ тѣхъ произведеній, въ которыхъ священно-дѣйствующій «жрецъ-поэтъ» противопоставляется «толпѣ», «черни»... Но это утвержденіе можетъ быть принято только отчасти: жизнь и творчество Пушкина доказываютъ ясно, что съ юношескихъ лѣтъ великій поэтъ зналъ минуты обиды, когда онъ чувствовалъ себя чужимъ среди современниковъ... Уже въ лицейскихъ его стихотвореніяхъ намѣчается образъ пѣвца, непонятнаго толпѣ, ей чужого... Но проходили минуты отчужденія,—и поэтъ опять беззаботно сливался съ толпой, дѣлался ея «эхомъ», бралъ въ руки «метлу, чтобы выметать соръ съ улицъ шумныхъ» (сатиры, эпиграммы), или пытался «чувства добрыя» будить въ той толпѣ, которую только что проклиналъ за ея холодность!.. Такимъ образомъ, пѣвецъ «настроеній», Пушкинъ до знакомства съ Веневитиновымъ уже зналъ тѣ чувства, которыя были выражены *позднѣе* молодымъ шеллингіанцемъ въ его творчествѣ. Быть можетъ, впрочемъ, знакомство съ музой Веневитинова помогло Пушкину найти *новую* поэтическую *форму (жрецъ* противополагается—*черни) для своихъ, давно знакомыхъ ему настроеній.* Только въ этомъ смыслѣ можно допустить вліяніе Веневитинова.

Когда впослѣдствіи въ русской критической литературѣ, особенно въ 60-ые годы, опредѣлилось стремленіе сдѣлать изъ литературы «прислужницу жизни», то на Пушкина ополчились нѣкоторые критики, усмотрѣвшіе въ его произведеніяхъ (въ которыхъ «поэтъ-жрецъ» противопоставляется «черни») полное и окончательное опредѣленіе имъ сущности своей поэзіи въ духѣ «чистаго искусства». Не Веневитиновъ, мало-замѣтный поэтъ, а великій Пушкинъ признанъ былъ писателемъ, создавшимъ такое чисто-эстетическое пониманіе цѣлей поэзіи; его признали родоначальникомъ того направленія, которое въ русской литературѣ своимъ лозунгомъ выбрало терминъ: «искусство для искусства». Въ такомъ ошибочномъ пониманіи Пушкина больше всѣхъ виноватъ Бѣлинскій. Увлекшись философіей Шеллинга, критикъ со всей ему присущей страстностью, увѣровалъ въ теорію «искусства для искусства» и доказывалъ, что искусство—высшее откровеніе божественнаго духа въ человѣкѣ, что поэтъ—глашатай вѣчной истины, «жрецъ», служитель «чистой красоты»... Нападая въ этотъ періодъ увлеченія Шеллингомъ на всѣхъ тенденціозныхъ писателей, Бѣлинскій превозносилъ Гомера, Шекспира, Гете; Пушкина онъ также восхвалялъ за тѣ стихотворенія, въ которыхъ поэтъ представлялся «жрецомъ», чуждымъ интересовъ «черни». Когда міросозерцаніе Бѣлинскаго измѣнилось,—тогда и взгляды его на значеніе «поэзіи» перемѣнились, но толкованіе поэзіи Пушкина осталось то же, и, въ зависимости отъ этого, значеніе великаго поэта, въ глазахъ критика, умалилось: теперь Пушкинъ оказался *только* «художникомъ», значеніе котораго связано лишь съ его временемъ. Впослѣдствіи эта точка зрѣнія на Пушкина всецѣло усвоена была Добролюбовымъ и Писаревымъ, и, въ ихъ глазахъ, значеніе великаго поэта понизилось еще больше...

Но время доказало, что даже «случайныя» настроенія великаго поэта,—настроенія, зло и пристрастно высмѣянныя критикой 60-ыхъ годовъ, богаты такимъ идейнымъ содержаніемъ, что разработка этого содержанія можетъ заполнить собой дѣятельность цѣлаго ряда писателей,—можетъ создать цѣлую «школу»... И вотъ, А. Майковъ, Полонскій, Фетъ, Мей, А. Толстой—оказались лучшими ея представителями. Всякая «школа» и въ литературѣ, и въ живописи всегда отличается нѣкоторою односторонностью; не чужды были этой односторонности и названные писатели.

«Муза Пушкина и Лермонтова была не только музой красоты и природы,—она была музой человѣческихъ страстей, борьбы, страданія, всего безграничнаго и бурнаго океана жизни. Муза Майкова, Фета и Полонскаго сузила поэтическую программу Пушкина и Лермонтова. Она боится бурь, историческихъ и душевныхъ,—боится слишкомъ рѣзкаго современнаго отрицанія, слишкомъ болѣзненныхъ и горькихъ сомнѣній, слишкомъ разрушительныхъ страстей и порывовъ. Это—муза тихихъ книгохранилищъ, уединенныхъ садовъ, музеевъ, семейнаго очага, спокойныхъ и созерцательныхъ путешествій, мирныхъ радостей и невозмутимой вѣры въ идеалъ»—говоритъ Мережковскій, выясняя различіе, существующее между творчествомъ Пушкина и его учениковъ.

Аполлонъ Николаевичъ Майковъ.

(1821—1897).

Біографія. § **90**. Аполлонъ Николаевичъ Майковъ родился въ 1821 г. Правнукъ Василія Майкова, автора „Елисѣя“, сынъ извѣстнаго, въ

свое время, художника Н. А. Майкова, выросшій въ благотворной обстановкѣ образованной семьи, съ дѣтства А. Н. былъ окруженъ серьезными интересами культурной художественной жизни. Отецъ поэта сумѣлъ сплотить около себя кругъ интеллигентныхъ русскихъ людей,—художниковъ и поэтовъ; и талантливые сыновья его, благодаря этимъ исключительно-благотворнымъ вліяніямъ среды, развили свои способности, выдѣлились на разныхъ поприщахъ умственной жизни: старшій, Валеріанъ, рано умершій, былъ блестящимъ критикомъ; младшій, Леонидъ, сдѣлался извѣстнымъ ученымъ историкомъ русской литературы. Ап. Н. Майковъ образованіе получилъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ на словесномъ факультетѣ, но всѣ интересы его тянули къ искусству: онъ хорошо рисовалъ и готовился идти по стопамъ отца. Но затѣмъ онъ сосредоточился на поэзіи. Рано онъ взялся за писаніе стиховъ; первымъ печатнымъ его произведеніемъ было стихотвореніе: „Сонъ“ (1840 г.). Въ 1842 г. выпустилъ онъ въ свѣтъ первое собраніе своихъ стиховъ; затѣмъ онъ отправился путешествовать заграницу. Сильное впечатлѣніе на молодого художника, поклонника классицизма, произвела Италія. „Неаполитанскій альбомъ“ остался блестящимъ памятникомъ его юношескаго увлеченія Италіей. Въ Парижѣ Майковъ съ братомъ слушалъ лекціи извѣстныхъ французскихъ ученыхъ. Вернувшись на родину, онъ сначала сдѣлался библіотекаремъ въ Румянцевскомъ музеѣ, а затѣмъ служилъ въ комитетѣ иностранной цензуры, гдѣ впослѣдствіи занималъ мѣсто предсѣдателя. Скончался онъ въ 1897 году.

Въ пониманіи смысла поэзіи Майковъ приближается къ указаннымъ взглядамъ Пушкина. Говоря о зарожденіи своего творчества, онъ неразъ повторяетъ мысли стихотворенія Пушкина: «Въ младенчествѣ моемъ она меня любила», лишь нѣсколько ее варіируя... По его словамъ, поэзія—это божественный даръ Музы, «мирной богини» пѣснопѣнья. Она приходитъ къ поэту «съ таинственныхъ высотъ, воздушною стезею». Въ стихотвореніи: *«Муза, богиня Олимпа, вручила двѣ звучныя флейты» (Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 98)*—поэтъ говоритъ, что земные пѣвцы подражаютъ пѣвцу небесному, самому богу-Фебу. Въ стихотвореніи: *«Искусство» (стр. 97)* Майковъ разсказываетъ, какъ научилъ его пѣть какой-то божественный старецъ, который изъ срѣзаннаго тростника сдѣлалъ звучную флейту—и, «оживленный его дуновеніемъ», тростникъ сталъ издавать дивные звуки...

„Муза, богиня Олимпа“.

„Искусство“.

Пѣсни поэта свободны и чисты; ихъ Майковъ сравниваетъ съ «звенящими струями» горнаго ключа,—этими «слезами чистыми земли». Невѣдомо происхожденіе горнаго ключа. Поэтъ спрашиваетъ—

„Откуда ты? и для кого?..
Кого ты ищешь средь него?..
Тебя кто вызвалъ въ бездну свѣта
То тайно всѣмъ, но всѣмъ отрадно!“.
Твоей гармоніи внимать?..

По его мнѣнію, такова и пѣсня поэта, независимая, необъяснимая и таинственная...

«Мысль поэта» «вольна, какъ пѣсня вольной гальціоны»:

„Въ тебѣ самой твои законы,
Сама собою ты стройна!“.

И если иногда поэту хочется кинуться въ омутъ житейской сутолоки и бросить туда «огненный стихъ съ сокрушительнымъ словомъ», то это лишь мигъ, а затѣмъ опять спокойное, чистое вдохновеніе увлекаетъ его въ голубую высь, далеко отъ земли *(«Газета»)*...

Матеріализмъ и утилитаризмъ эпохи 60-хъ годовъ обострили отрицательное отношеніе поэта къ «толпѣ».

Слишкомъ низменными казались ему интересы мятежной и суетной толпы, и потому съ «чернью» онъ не станетъ смѣшиваться:

„Возвышенная мысль достойной хочетъ брони.
Богиня строгая—ей нуженъ пьедесталъ
И храмъ, и жертвенникъ, и лира, и кимвалъ,
И пѣсни сладкія, и волны благовоній“...

Въ каждой складкѣ ея одѣянія должна сквозить божественность, и «образъ весь» долженъ «сіять огнемъ души поэта».

Поэтъ обязанъ дорожить минутой вдохновенья, потому что, когда оно улетитъ, поэтъ обратится въ простого человѣка... Тогда исчезнетъ волшебный міръ вдохновеній, и «холодною рукой обычной жизни ночь задернетъ темный пологъ» *(«Художнику»—Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 97).*

Въ моментъ вдохновенья поэтъ далекъ отъ толпы: онъ—«чужой для всѣхъ»...

„Ты—на горѣ,
Они въ долинѣ;
Но богъ и свѣтъ—
Въ твоей пустынѣ.

Ихъ духъ привыкъ
Ко тьмѣ и ночи,
И голый свѣтъ
Имъ рѣжетъ очи!“.

Но люди должны знать, что этотъ, хотя и чужой для нихъ, поэтъ-пророкъ гдѣ-то существуетъ: наступитъ моментъ, когда его «молитвы» и «звуки сладкіе» понадобятся жителямъ долины—

„Мы всѣ, блюстители огня на алтарѣ,
Вверху стоящіе, что̀ городъ на горѣ,
Дабы всѣмъ виденъ былъ; мы—соль земли,
Мы—свѣтъ!“

—говоритъ Майковъ отъ имени поэтовъ-художниковъ. Голодному, темному люду поэты, эти одинокіе свѣточи, особенно будутъ необходимы тогда, когда въ сердцѣ людей умретъ «идеалъ» *(«Вопросъ»).* Въ стихотвореніи: *«Пустынникъ» (Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 98)* поэтъ говоритъ:

„И Ангелъ мнѣ сказалъ: иди, оставь ихъ грады,
Въ пустыню скройся ты, чтобъ тамъ огонь лампады,
Тебѣ повѣренный, до срока уберечь,
Дабы, когда тщету суетъ они познаютъ,
Возжаждутъ Истины и свѣта пожелаютъ,
Имъ было бъ, чѣмъ свои свѣтильники возжечь!“.

Въ этихъ словахъ вполнѣ выразилось то чувство духовнаго одиночества, которое въ 60-ые годы переживали «жрецы чистаго искусства», бережно сохранявшіе огни своихъ свѣточей до другого, болѣе счастливаго, времени.

«Въ твореньяхъ свѣтлыхъ» геніальныхъ писателей видѣлъ Майковъ «царство вѣчной юности и вѣчной красоты»... Поэтъ вѣрилъ, что, когда люди вернутся духомъ въ это царство, они поймутъ, что все—и чистая, возвышенная поэзія, и «смѣхъ, и слезы—все отъ Бога!».

„Отъ Него—и скорбный стихъ,
Отъ Него—и стихъ веселый;
Тотъ спасенъ, кто любитъ ихъ
Въ свѣтлый часъ и въ часъ тяжелый!

А кто любитъ ихъ—мягка
Въ томъ душа и незлобива,
И къ добру она чутка,
И раститъ его, какъ нива!“ *(„Пѣсни“).*

Не въ шумной толпѣ, не въ шумѣ людской суеты посѣщаетъ поэта вдохновеніе,—оно возникаетъ въ его душѣ, когда онъ остается одинъ передъ великимъ лицомъ природы. Тогда его тихія пѣсни сливаются съ той симфоніей, которую улавливаетъ его тонкій слухъ въ шелестѣ камыша, въ журчаньи ручья, въ

говорѣ лѣса, въ щебетаніи пташки. Пѣвецъ — лишь лучшій голосъ въ этой міровой симфоніи.

„Гармоніи стиха божественныя тайны
Не думай разгадать по книгамъ мудрецовъ!..
У брега сонныхъ водъ, одинъ, бродя случайно,
Прислушайся душой къ шептанью тростниковъ,
Дубравы говору; ихъ звукъ необычайный
Прочувствуй и пойми!.. Въ созвучіи стиховъ
Невольно съ устъ твоихъ размѣрныя октавы
Польются, звучныя, какъ музыка дубравы".

Въ стихотвореніи: «*Е. П. М.*» поэтъ разсказываетъ, какъ, подъ впечатлѣніемъ чаръ природы, въ душѣ его рождается вдохновенье.—

„Тогда я слышу, какъ кипитъ
Во мнѣ святой восторгъ, какъ кровь во мнѣ горитъ,
Какъ стихъ слагается и прозябаютъ мысли!".

Исторія развитія творчества Майкова очень напоминаетъ судьбу поэтической жизни Пушкина: оба, начавъ съ классицизма, перешли впослѣдствіи къ увлеченію русской дѣйствительностью, народнымъ русскимъ творчествомъ и поэзіей чужихъ народовъ. Подобно Пушкину, и Майковъ увлекался поэзіей Св. Писанія, поэзіей Востока, среднихъ вѣковъ, и славянскаго юга... Вездѣ сумѣлъ онъ найти красоту, удовлетворяющую самымъ изысканнымъ вкусамъ его тонкой эстетической натуры.

Особенность творчества Майкова—*пластичность*: для него жизнь человѣческая и міръ природы представляются «картинами, въ которыхъ все прекрасно и понятно: у него нѣтъ образа, который не могъ бы быть изображенъ на полотнѣ, или даже высѣченъ въ мраморѣ» (Мережковскій). Онъ чуждъ мистицизма, и жизнь, въ его глазахъ, всегда ясна,—въ ней нѣтъ никакой тайны, въ ней не видитъ онъ символовъ... Прислушиваясь къ шопоту тростника, говору дубравы, онъ учится проникать въ божественныя тайны не самой природы, а только ея голосовъ — «гармоніи стиха». Въ музыкѣ лѣсовъ онъ слышитъ не голоса непостижимыхъ стихійныхъ силъ, а «размѣрныя октавы». Вотъ почему его картины сразу исчерпываютъ все впечатлѣніе и не оставляютъ послѣ себя тревоги въ мысли, ищущей затаеннаго смысла въ нарисованныхъ образахъ. (Мережковскій).

Классицизмъ въ его творчествѣ.

Послѣ Пушкина и Батюшкова, Майковъ, этотъ художникъ-пластикъ, лучше всѣхъ русскихъ писателей понялъ жизнь Эллады и Рима. Онъ — классикъ не только по формѣ, но и по содержанію своего творчества: ему удалось сродниться душой съ философіей эпикурейцевъ,—и онъ, вмѣстѣ съ ними, призналъ, что земное счастіе является крайнимъ предѣломъ человѣческихъ желаній. Отъ земной жизни беретъ онъ только ея радости; античное чувство мѣры (Горацій) облагораживаетъ эти радости; изъ нихъ выбираетъ онъ только изящныя и возвышенныя. Какъ язычникъ-эпикуреецъ, относится онъ и къ смерти—

„... Я умру шутя, чуть слышно,
Какъ истый мудрый сибаритъ,
Который, трапезою пышной
Насытивъ тонкій аппетитъ,
Средь ароматовъ мирно спитъ!".

Это—слова Люція, одного изъ героевъ его поэмы: «Три смерти». Если въ приведенныхъ стихахъ Майковъ и не говоритъ прямо отъ своего имени, тѣмъ не менѣе, этотъ взглядъ Люція мы можемъ отчасти приписать и самому поэту,—во многихъ другихъ произведеніяхъ подходитъ онъ къ той же мысли.

Къ природѣ Майковъ относится тоже, какъ язычникъ, — вездѣ чудятся ему нимфы, сатиры, дріады... Въ своихъ произведеніяхъ онъ воскрешаетъ этотъ своеобразный, чудесный міръ, оживляетъ эти поблеклые образы... Раньше, псевдоклассики уже пытались сдѣлать это,—но въ ихъ творчествѣ языческіе боги остались только отвлеченностями, пустыми символами... Даже у Пушкина всѣ эти фавны и нимфы не нашли еще прекрасной плоти древняго міра.

Удачно языческое пониманіе жизни природы выражено Майковымъ въ стихотвореніи: «*Панъ*» *(стр. 109)*. Жаркій, лѣтній полдень, когда лѣниво замираетъ истомленная зноемъ природа, представленъ поэтомъ, какъ дрема Пана, бога природы—

„Онъ спитъ, онъ спитъ,
Великій Панъ!
Иди тихонько,
Не то разбудишь!..
Полдневный жаръ
И сладкій духъ
Поспѣлыхъ травъ
Умаялъ бога.
Онъ спитъ и грезитъ,
И видитъ сны!..“.

Тонкимъ слухомъ улавливая жужжаніе пчелъ, далекій полетъ журавлей, поэтъ зоветъ всѣхъ слиться съ этимъ чудеснымъ полусномъ природы.

„... Сядемъ
Въ травѣ густой
И будемъ слушать...
Какъ спитъ онъ, слушать...
Какъ дышитъ, слушать...
Къ намъ тоже тихо
Начнутъ слетать
Изъ самой выси
Такіе жъ сны,
Какими грезитъ
Великій Панъ!“.

§ **91**. Знатокъ античнаго міра, Майковъ въ теченіе всей своей жизни старался воплотить въ творчествѣ идейное содержаніе этой жизни: отъ эпикуреизма перешелъ онъ къ изученію античнаго мистицизма, и въ поэмѣ: «*Три смерти*» *(Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 113)*, — далъ представленіе о различныхъ философскихъ системахъ древняго міра. Интересовалъ его вопросъ и о столкновеніи христіанскаго міросозерцанія съ языческимъ. Въ трагедіи: «*Два міра*» *(Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 120)*—полнѣе всего опредѣлилъ онъ смыслъ этихъ двухъ различныхъ міросозерцаній.

„Три смерти“. Въ драмѣ: „Три смерти“ дѣйствуютъ слѣдующія лица: юноша-поэтъ Луканъ, философъ-Сенека и эпикуреецъ-Люцій. Всѣ они обречены смерти по прихоти Нерона. Смерть, этотъ заключительный моментъ бытія человѣческаго, лучше всего раскрываетъ характеръ человѣка.. И вотъ, въ различномъ отношеніи къ смерти вполнѣ опредѣляются въ лицѣ трехъ дѣйствующихъ лицъ, различныя міросозерцанія древняго міра. Поэтъ, юный эстетъ, привязанный къ жизни, возмущается тѣмъ, что всѣмъ земнымъ его радостямъ скоро наступитъ конецъ... Но отъ страха смерти и непомѣрной жажды жизни, онъ, впечатлительный художникъ, переходитъ легко къ восхваленію смерти, когда узнаетъ, что и смерть можетъ имѣть красоту: разсказъ о подвигѣ рабыни-Эпихариды, которая лишила себя жизни, чтобы не выдать сообщниковъ заговора противъ Нерона, внушаетъ ему это новое; „эстетъ“ въ душѣ, онъ остается вѣренъ себѣ и спокойно идетъ навстрѣчу смерти:

„Простите жъ, пышныя мечтанья,
Осуществить я васъ не могъ.
И умираю я, какъ богъ,
Средь начатаго міровданья!“

—восклицаетъ онъ.

Эпикуреецъ-Люцій, взявшій отъ жизни всѣ радости, испившій до дна чашу земныхъ наслажденій, спокойно смотритъ на смерть; послѣднее его желаніе—устроить возможно радостнѣе свой переходъ въ другой міръ. И вотъ, онъ рѣшилъ умереть „шутя", „на колѣняхъ дѣвы милой", въ обществѣ друзей, во время великолѣпнаго пира...

Философъ-Сенека—мистикъ; онъ вѣритъ въ лучшее существованіе за гробомъ, и потому спокойно глядитъ въ глаза смерти:

„Смерть—шагъ великій!.. Вѣрь, мой другъ,
Что это—мигъ перерожденья...
... Мы—боги, скованные тѣломъ,
И въ этотъ дивный переломъ,
Когда я покидаю землю,
Я прежній образъ свой пріемлю,
Вступая въ небо божествомъ!".

„Два міра".

Въ трагедіи: „Два міра" изображено столкновеніе міросозерцанія античнаго съ христіанскимъ. Герой трагедіи Децій — настоящій римлянинъ по духу: онъ—патріотъ и гражданинъ, въ то же время, онъ—человѣкъ, воспитанный въ духѣ греческой культуры... Живетъ онъ въ эпоху паденія римскихъ нравовъ и болѣетъ душой за родной Римъ, сдѣлавшійся въ его дни „Римомъ гетеръ, шута и мима"... Децій презираетъ развращенную толпу своихъ современниковъ, позорящихъ званіе римскихъ гражданъ. Полный чувства достоинства и чести, Децій, въ то же время, совершенно чуждъ альтруизма: онъ—весь воплощеніе античнаго эгоизма и того аристократизма, который не признаетъ равенства между людьми, не просвѣщенными свѣтомъ мудрости, и людьми просвѣщенными. Когда Марцеллъ объясняетъ ему, что смыслъ христіанскаго ученія заключается въ любви къ ближнему,—онъ восклицаетъ:

„Что́ такое
Мнѣ эти ближніе?.. Рабовъ
Ты разумѣешь?.. О, пустое
Мечтанье этихъ мудрецовъ...
Рабы и въ пурпурѣ мнѣ гадки!..".

„Темными кротами" именуетъ онъ людей, которымъ чужды запросы высшей античной цивилизаціи; жизнь ихъ, въ его глазахъ, не представляетъ никакой цѣнности.

Центральная фигура трагедіи, Децій—лучшій представитель отжившаго міра античнаго язычества, окруженъ другими, болѣе мелкими, представителями этого міра. Язычеству противопоставленъ міръ христіанскій, озаренный идеалами любви къ людямъ, ко всѣмъ безъ различія,—и къ рабамъ, и къ знатнымъ, къ образованнымъ и къ невѣжественнымъ... Христіанъ поэтъ изображаетъ много,—самыхъ различныхъ: тутъ и патриціи, и рабы, римляне, и иностранцы... Всѣ они различны по своимъ характерамъ, но у всѣхъ ихъ сердца озарены „любовію одной, какъ солнцемъ глубины морскія".

Съ особымъ вниманіемъ и любовію обрисованъ образъ христіанки-Лиды, которая сначала широко пользовалась всѣми радостями римской жизни, а потомъ отъ всего отказалась ради христіанскаго мистицизма и христіанскаго альтруизма. Она являетъ собой примѣръ дѣятельной любви: вся сотканная изъ порывовъ и страсти, она готова отдать себя на служеніе страдающему брату. Въ ней не осталось ничего земного: она живетъ просвѣтленной и очищенной духовной жизнью. Децій, который зналъ ее совсѣмъ иной, когда она была въ полной власти у своей плоти, удивляется той перемѣнѣ, которая произошла съ нею.

Критики признаютъ, что, при всемъ желаніи проникнуть въ духъ древняго христіанства, Майковъ остался, по преимуществу, художникомъ-язычникомъ. Изъ христіанъ ему лишь отчасти удался образъ только одной Лиды. «Отживающій міръ классическій» написанъ имъ живѣе, ярче, даже любовнѣе...

Майковъ хорошо зналъ греческихъ и латинскихъ поэтовъ: онъ увлекался Гораціемъ, Анакреономъ, Ѳеокритомъ; знакомъ былъ съ трудами древнихъ историковъ. Такимъ образомъ, свое знаніе античнаго міра онъ почерпнулъ изъ первоисточниковъ [1]).

До конца своихъ дней интересовался Майковъ Италіей и Греціей,—и въ современной ему жизни этихъ странъ, и въ природѣ ихъ сумѣлъ онъ найти немало красоты.

Въ сборникѣ, озаглавленномъ: «*Миссъ Мери*», собралъ онъ описанія итальянской природы и жизни; тепломъ юга, пестротой и яркостью красокъ блещутъ эти эскизы, жизнерадостные, залитые свѣтомъ...

§ **92**. Рѣже обращался Майковъ къ сюжетамъ изъ прошлаго западно-европейской жизни, но и въ этой жизни онъ сумѣлъ найти немало красиваго: «*Савонаролла*» (*Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 99*), «*Клермонскій соборъ*» (*Тамъ же, стр. 103*), «*Пульчинель*», «*Менестрель*», «*Приговоръ. Легенда о Констанцскомъ соборѣ*» (*Тамъ же, стр. 101*)— всѣ эти поэмы и баллады пользуются особой извѣстностью. Всѣ онѣ отличаются необыкновенной яркостью красокъ, жизненностью; но, кромѣ художественности, онѣ богаты въ идейномъ отношеніи.

„Клермонскій соборъ“. Въ „Клермонскомъ соборѣ“ изображена пестрая толпа рыцарей и дамъ, собравшихся на соборъ; приводится рѣчь пилигрима, который зажигаетъ сердца рыцарей, побуждая ихъ къ крестовому походу.

„Легенда о Констанцскомъ соборѣ“. Въ „Легендѣ о Констанцскомъ соборѣ“, который присудилъ къ сожженію Гуса, опять представлена толпа—на этотъ разъ толпа судей, въ черствыя сердца которыхъ на мгновенье заглянулъ лучъ свѣта: неожиданно раздавшееся подъ окномъ судилища пѣніе соловья растрогало ихъ воспоминаніями далекой юности. Но человѣчность въ сердцахъ этихъ изувѣровъ—лишь проблескъ такой же мимолетный, какъ улыбка на деревянномъ лицѣ Плюшкина. Чары воспоминаній, смягчающее вліяніе природы безсильны надъ ихъ зачерствѣлыми сердцами... Средневѣковая мгла съ грознымъ призракомъ дьявола владѣетъ ими,—и Гусъ оказывается осужденнымъ.

Въ нѣсколькихъ произведеніяхъ Майкова сказалось увлеченіе его поэзіею Св. Писанія и мусульманскаго Востока (*«Еврейскія пѣсни»*, *«Іафетъ»*, *«Молитва бедуина»*, *«Вертоградъ»*, *«Единое благо»*, *«Изъ Апокалипсиса»* и др.).

§ **93**. «Эпоха великихъ реформъ» захватила и Майкова: въ немногихъ произведеніяхъ отозвался онъ на вопросы тогдашней русской современности [2]). Эти произведенія являются исключеніемъ въ его творчествѣ, далекомъ отъ злободневныхъ интересовъ.

„Картинка“. Лучшими изъ этихъ произведеній надо признать: „*Картинку*“ (*Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 110*) и „*Поля*“ (*Тамъ же, стр. 110*). Въ первомъ произведеніи поэтъ рисуетъ трогательную сценку изъ жизни русскихъ крестьянъ: около малютки-дѣвочки, читающей по складамъ, собрались мужички.. И ребенокъ читаетъ имъ манифестъ объ освобожденіи крестьянъ. Эта картинка полна торжественнаго умиленія и глубокой, тихой, задумчивой радости: вся группа, словно, замерла,—въ ней нѣтъ внѣшняго движенія, но она полна внутренней жизни.

---

[1]) Онъ перевелъ много произведеній греческихъ и римскихъ писателей; писалъ онъ и „подражанія“ имъ.

[2]) Цѣлую группу такихъ стихотвореній Майковъ не включилъ въ собраніе своихъ сочиненій.

Другое произведеніе: „Поля“, наоборотъ, полно движенія. Старый дворовый, осколокъ отжившаго строя, послѣ освобожденія крестьянъ, остался „на волѣ“, безъ угла и хлѣба. Со старческой злобой спрашиваетъ онъ молодого ямщика: зачѣмъ ему воля?.. Тотъ не нашелся, что̀ отвѣтить на этотъ вопросъ „зачѣмъ?“—онъ только свистнулъ—и тройка, какъ свободная птица, ринулась впередъ... „Зачѣмъ ему воля?“—ямщикъ не знаетъ,—но онъ чувствуетъ эту волю, онъ вѣритъ въ нее,—и сознаніе этой воли окрыляетъ его... Съ надеждой на лучшее будущее несется ямщикъ „впередъ“, не внемля ничему,—впередъ, въ невѣдомую „даль“, необъятную и широкую... **„Поля“.**

Въ другихъ стихотвореніяхъ Майковъ неразъ изображаетъ русскую жизнь независимо отъ интересовъ времени. Съ одинаковымъ вниманіемъ рисуетъ онъ русскихъ людей изъ простонародья (напр., «*Дурочка*»—*Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 107)* и изъ дворянства (*«Бабушка и внучекъ»—Тамъ же, стр. 111).

Въ идилліи: „Дурочка“ Майкову удалось изобразить существо „не отъ міра сего“. Людямъ практическимъ она представляется просто—„дурочкой“, „которая вовсе здраваго понятія не имѣла“; для другихъ, она—„юродивая“, „божье дитя“,—одно изъ тѣхъ созданій, которыя на землѣ—лишь мимолетные гости, такъ какъ Богъ скоро беретъ ихъ „прямо въ рай“. Она чужда людей: они ей кажутся злыми... Ее тянетъ къ природѣ,—и природа ее любитъ— **„Дурочка“.**

„... Къ ней станицей И она вѣдь съ каждой птицей
Птица всякая летитъ, Особливо говоритъ“.

Дурочка живетъ въ фантастическомъ мірѣ легенды, сказки; она далека отъ прозы жизни... Въ житіяхъ святыхъ можно найти подобные образы; монастыри и пустыни переполнялись въ старину такими своеобразными существами... Для „міра“—они неудобны: слишкомъ сложна и тонка ихъ душевная организація... Но и для суетнаго міра ихъ неземное существо порой необходимо: какъ поэзія, даже далекая отъ жизни, согрѣваетъ эту жизнь своей красотой, такъ и „дурочка“, которая непригодна была для черновой жизни земли, согрѣвала, однако, эту холодную жизнь. „Дурочку“ били; ее наказывали голодомъ, но смерть ея изъ жизни многое унесла...

„Безъ нея жъ замѣтно стало,
Что души-то въ домѣ нѣтъ“ [1])...

Небольшая поэма: *„Бабушка и внучекъ“* переноситъ насъ въ дворянскую жизнь... Старушка-бабушка плачетъ надъ засохшимъ цвѣткомъ, который найденъ внукомъ въ ея святцахъ... Внукъ удивляется, узнавъ, что цвѣтокъ этотъ когда-то полученъ былъ бабушкой отъ ея мужа... О дѣдѣ внукъ слышалъ отъ людей много страшнаго: онъ былъ деспотъ, развратный и суровый, жилъ порывами, и тяжела была при немъ жизнь бабушки... Но старушка забыла злое прошлое, — все простила, и, сквозь густыя тѣни прошлаго, память стала ей рисовать, „какъ святой идеалъ“, образъ того, кто когда-то безпощадно терзалъ ея сердце и мучилъ его... **„Бабушка и внучекъ“.**

Любовь Майкова къ родинѣ выражается въ цѣломъ рядѣ произведеній изъ русской исторіи (*«У гроба Грознаго»*, *«Упраздненный монастырь»*, *«Кто онъ?»*, переводъ *«Слова о полку Игоревѣ»*). Увлекается Майковъ и картинами родной природы.

Подобно Пушкину, отъ блестящей, сверкающей свѣтомъ и красками,

---

[1]) Нѣкоторые критики предлагаютъ въ образѣ Дурочки видѣть воплощеніе „чистой поэзіи“...

природы юга, онъ, во второй періодъ своей дѣятельности, перешелъ къ изображенію скромныхъ пейзажей родины:

„Картины блѣдныя полуночнаго неба!
Гдѣ бъ я ни умиралъ, —васъ вспомню, умирая,
Отъ сердца пылкаго все злое прочь гоня,
Не вы ль, миря съ людьми, учили жить меня?“

—восклицаетъ поэтъ. Въ цѣломъ рядѣ прекрасныхъ описаній родной природы (*«Сѣнокосъ»*, *«Ночь на жнитвѣ»*, *«Въ степяхъ»*, *«Весна»—Тамъ же, стр. 109* и др.) выразилъ онъ свою любовь къ родной природѣ. Съ такими же теплыми чувствами относился онъ къ родному народу. Такъ, напримѣръ, одно его стихотвореніе: *«Нива»* оканчивается такимъ обращеніемъ къ Богу:

„О, Боже! Ты даешь для родины моей
Тепло и урожай,—дары святые неба,
Но, хлѣбомъ золотя просторъ ея полей,
Ей также, Господи, духовнаго дай хлѣба“.

Свободный, въ блестящій періодъ своего творчества, отъ всякой политики, Майковъ во второй періодъ своего творчества поддался впечатлѣніямъ той политической борьбы, которая захватила русское общество послѣ 60-ыхъ годовъ. Майковъ примкнулъ, по своимъ взглядамъ, къ славянофиламъ и, во многихъ своихъ произведеніяхъ, отклонился отъ своего первоначальнаго возвышеннаго взгляда на поэзію,—сталъ служить злобѣ дня...

Яковъ Петровичъ Полонскій.

(1820—1898).

Біографія. § **94.** Яковъ Петровичъ Полонскій родился въ 1820 г. въ Рязани, гдѣ отецъ его былъ незначительнымъ чиновникомъ; въ этомъ городѣ протекли дѣтство и юность будущаго поэта; въ 1831 году онъ поступилъ въ мѣстную гимназію и рано началъ писать стихи. По окончаніи гимназіи Полонскій поступилъ въ Московскій университетъ на юридическій факультетъ. Вслѣдствіе недостаточности семьи, поэту приходилось работать не только на себя, но и на свою семью. Въ 1844 г. онъ окончилъ университетъ. Тогда же онъ выпустилъ первое собраніе своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: „Гаммы“. Критика поощрила похвалой начинающаго поэта. Въ погонѣ за хлѣбомъ насущнымъ, Полонскій служитъ то въ Одессѣ, то въ Тифлисѣ, то въ Варшавѣ; въ 1857 году онъ ѣдетъ служить за границу,—и два года проживаетъ въ Германіи, Швейцаріи, Римѣ, Парижѣ. Въ 1859 году онъ, въ сотрудничествѣ съ Ап. Григорьевымъ, издаетъ журналъ: „Русское Слово“; затѣмъ, въ слѣдующемъ году, онъ поступаетъ на службу въ комитетъ иностранной цензуры.

Въ 1855 году онъ выпустилъ въ свѣтъ собраніе своихъ лучшихъ стихотвореній, и слава его, какъ одного изъ выдающихся лириковъ, была упрочена. Въ 1863 году онъ напечаталъ извѣстную свою поэму: „Кузнечикъ-Музыкантъ“; въ 70—80-ыхъ годахъ сочинилъ онъ и напечаталъ нѣсколько романовъ и повѣстей. Скончался онъ въ 1898 году.

§ **95.** Поэзія Полонскаго не такъ легко поддается опредѣленію, какъ поэзія Майкова: въ ней болѣе загадочности, болѣе недосказанности... Жизнь человѣка и природы рисуется имъ совсѣмъ иначе, чѣмъ Майковымъ: онъ—мистикъ, во всемъ прозрѣвающій существованіе тайны, но не находящій этимъ тайнамъ разгадки. Тѣмъ не менѣе, идеалы его ясны и возвышенны: «поклоненіе всему прекрасному и высокому, служеніе истинѣ, добру и красотѣ, любовь къ просвѣщенію и свободѣ, ненависть ко всякому насилію и мраку»—вотъ, характерныя идеи, озаряющія его творчество.

«Злобѣ дня», потребностямъ минуты и онъ не служитъ такъ же, какъ Майковъ, но къ жизни вообще онъ относится съ теплой любовью. Въ этомъ отношеніи, онъ ближе къ Пушкину, чѣмъ Майковъ. Подобно своему великому учителю Пушкину, Полонскій будитъ своей лирой «чувства добрыя»; и поэзію свою онъ представляетъ отзывчивой, какъ «эхо», *«Мое сердце—родникъ» (Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 75).*

„Поэзія".

„Мое сердце—родникъ, моя пѣсня—волна,
Пропадая вдали, разливается...
Подъ грозой—моя пѣсня, какъ туча, темна...
На зарѣ—въ ней заря отражается.
Если жъ вдругъ вспыхнутъ искры нежданной любви,
Или на сердцѣ горе накопится,—
Въ лоно пѣсни моей льются слезы мои,
И волна уноситъ ихъ торопится!".

Въ стихотвореніи: *«Родникъ» (Тамъ же, стр. 75)* Полонскій сравниваетъ свою поэзію съ родникомъ чистой воды... Этотъ родникъ струится, невѣдомый для людей, скрытый отъ взоровъ толпы, доступный лишь избранникамъ.—

„Родникъ".

„... Ему не страшны бури,
Ни жестокость холодовъ,
Ни невѣжество людское,
Ни тревоги городовъ,—
Онъ одинъ далекъ заразы
Пошлыхъ думъ и злыхъ страстей,
Онъ одинъ, какъ геній, свѣтелъ...
Приходи къ нему—и пей!".

Въ эпоху увлеченія русскаго общества матеріализмомъ и утилитаризмомъ, слова эти пріобрѣтаютъ особое значеніе.

Въ стихотвореніи: *«Нищій»* Полонскій выразилъ всю глубину своей гуманной лирики. Поэтъ знавалъ нищаго, который милостыню, собранную за день, раздавалъ другимъ нищимъ:

„Нищій".

„Въ нашъ вѣкъ таковъ иной поэтъ:
Утративъ вѣру юныхъ лѣтъ,
Какъ нищій старецъ, изнуренъ,
Духовной пищи проситъ онъ...
И все, что̀ жизнь ему ни шлетъ,
Онъ съ благодарностью беретъ,
И душу дѣлитъ пополамъ
Съ такими жъ нищими, какъ самъ".

Несмотря на свою любовь къ людямъ, поэтъ чуждъ суетной, мелкой толпы: какъ чистый родникъ, таится онъ отъ взора людского... Поэтому удѣлъ пѣвца часто казался Полонскому тяжелымъ: въ себѣ онъ не чувствовалъ «борца», а время было «боевое»,—приходилось отстаивать свои завѣтныя мечты отъ притязаній толпы. Въ стихотвореніи: *«И. С. Аксакову» (Тамъ же, стр. 75)* Полонскій признается, что нѣтъ у него стиха, которымъ бы могъ онъ откликнуться на «смѣлый голосъ» Аксакова,—этого поэта-гражданина... «Съ невольнымъ трепетомъ» внимаетъ Полонскій «холодной правдѣ словъ» этого поэта-борца, его «жестокимъ, безпощаднымъ стихамъ»...

Поэтому къ «толпѣ» отношеніе у Полонскаго то же, что у Майкова. Въ одномъ стихотвореніи онъ говоритъ:

„По торжищамъ влача тяжелый крестъ поэта,
У дикарей пощады не проси!
Молчи... И не зови ихъ въ скинію завѣта
И съ ними жертвъ не приноси!
... если чернь слѣпа, не жаждетъ и не проситъ,
И если свѣтъ, къ злу равнодушный свѣтъ,
Надменно, какъ трофей, свои оковы носитъ,—
Знай, что для нихъ поэта нѣтъ!".

Вотъ почему эта возвышенная чистая поэзія является утѣшительницей поэта, страдающаго въ обществѣ непонимающихъ его людей. Муза—

„Приходитъ тайно раздѣлять
Тревоги бѣднаго поэта,
Бодритъ и учитъ презирать
Смѣхъ гаера и холодъ свѣта!..“.

Если отношеніе къ «толпѣ» тяготило поэта, то не меньше страданій доставляло ему сознаніе двойственности его души, выразившейся въ непримиримомъ противорѣчіи поэзіи и прозы его жизни. Пушкинъ въ стихотвореніи: «Пока не требуетъ поэта»—легко разрѣшилъ этотъ вопросъ: для него не было мучительнымъ и загадочнымъ то обстоятельство, что среди людей «ничтожныхъ» онъ могъ быть «всѣхъ ничтожнѣе»... Полонскій не такъ легко отнесся къ этой двойственности своей души... Въ стихотвореніи: «*Двойникъ*» —*Тамъ же, стр. 82*). Онъ изобразилъ моментъ пробужденія поэтическаго настроенія въ душѣ человѣка, еще недавно далекаго отъ вдохновенія. Равнодушный ко всѣмъ красотамъ природы, шелъ онъ—

„Двойникъ“.

„... и не слыхалъ, какъ пѣли соловьи,
И не видалъ, какъ звѣзды загорались“...

Вдругъ онъ почувствовалъ раздвоеніе въ душѣ: въ душѣ зародилось, словно, другое сознаніе,—онъ почувствовалъ, что около него появился «человѣкъ-двойникъ». И вотъ, къ этому «двойнику» поэтъ обращается съ тревожнымъ вопросомъ:

„Что ты пророчишь мнѣ, или зачѣмъ пугаешь?..
Ты—призракъ, иль обманъ фантазіи больной?“—
—„Ахъ,—отвѣчалъ двойникъ,—ты видѣть мнѣ мѣшаешь
И не даешь внимать гармоніи ночной.
Ты хочешь отравить меня своимъ сомнѣньемъ,—
Меня—живой родникъ поэзіи твоей!“...
И, не сводя съ меня испуганныхъ очей,
Двойникъ мой на меня глядѣлъ съ такимъ смятеньемъ,
Какъ будто *я* къ нему среди ночныхъ тѣней,—
Я, а не онъ ко мнѣ явился привидѣньемъ?“.

§ **96**. Изъ всѣхъ учениковъ Пушкина Полонскій лучше всѣхъ усвоилъ умѣніе своего учителя находить поэзію въ прозѣ: въ самой обыденной, пошлой дѣйствительности находитъ онъ искры поэзіи. Вотъ почему онъ не боится изобразить въ стихахъ грязную, вонючую лѣстницу—и рисуетъ, напримѣръ, такую картину (*«У двери»*),—

„... мгла въ окно разбитое
Сползала на чердакъ,
И смрадъ стоялъ на лѣстницѣ,
И шевелился мракъ.
... въ окно разбитое
На сумрачный чердакъ
Глядѣло небо тусклое,
Разсѣивая мракъ..
И дождь урчалъ по жолобу,
И вѣтеръ вылъ, какъ звѣрь“.

Въ другомъ стихотвореніи онъ самъ характеризуетъ широкое содержаніе своего творчества (*«Второе письмо къ Музѣ»*):

„Подо мной таились клады,
Надо мной стрижи звенѣли,
Выше... въ небѣ... надъ Рязанью
Къ югу лебеди летѣли,
А внизу виднѣлась будка
Съ алебардой, мостъ, да пара
Фонарей, да бабы въ кичкахъ
Шли ко всенощной съ базара;
Имъ навстрѣчу съ колокольни
Неслся гулкій звонъ вечерній...
Тѣни шире разрастались,
Я крестился суевѣрнѣй“...

Характеризуя это стихотвореніе, одинъ критикъ сказалъ, что въ широкомъ творчествѣ Полонскаго соединяется «поэзія будней» съ «поэзіей сказки». И въ

самомъ дѣлѣ, фантастическій элементъ въ творчествѣ Полонскаго очень силенъ: многія его произведенія похожи на сказки и легенды (напр., «*Солнце и мѣсяцъ*», «*Влюбленный мѣсяцъ*», «*Сны*»). Сказочный элементъ часто вплетается у него даже въ дѣйствительную жизнь (напр., «*Міазмъ*», «*Холодѣющая ночь*», «*Зимняя невѣста*», «*Качка въ бурю*» и др.). Иногда даже изъ описанія самаго житейскаго, будничнаго «происшествія» онъ создаетъ что-то, похожее на сказку («*Вдова*», «*Казачка*», «*Хуторки*», «*Деревенскій сонъ*»).

Природа въ поэзіи его.

§ **97.** Къ «природѣ» Полонскій относится, какъ мистикъ: съ любовью всматривается онъ въ жизнь природы, хотя тайнъ міроздданья разрѣшать не берется.

Природа настраиваетъ его на возвышенный ладъ, но, въ то же время, наполняетъ его недоумѣніемъ и тревожитъ его жаждой какихъ-то новыхъ знаній, неизвѣданныхъ впечатлѣній. Иногда его—

„... душа не знаетъ,
Какой любви, какихъ еще чудесъ
Просить, или желать... Но проситъ, но желаетъ,
Но молится предъ образомъ небесъ!“.

Таинственность этихъ настроеній вызываетъ у него восклицанія, въ родѣ слѣдующаго:

„Отчего я люблю тебя, свѣтлая ночь?..
Такъ люблю, что, страдая, любуюсь тобой!
Самъ не знаю, за что я люблю тебя, ночь...“.

Стихотвореніе: «*Лунный свѣтъ*», посвященное описанію тѣхъ чувствъ, которыя владѣли сердцемъ поэта, оканчивается словами:

„Непонятное блаженство!
Непонятная тоска!“.

Особенно любитъ Полонскій описывать русскую природу: въ его стихахъ изображается и русская волшебница-«бабушка зима», съ ея вьюгами и мятелями, съ фантастическими цвѣтниками на замерзшихъ окнахъ,—и русская, свѣтлая, томительно-прекрасная весна, съ ея безсонною зарею, съ ея безбрежными разливами,—и русская темная, слезящаяся осень,—и, наконецъ, чаще всего, русское, знойное «роскошное лѣто» [1]). (Перцовъ).

„Смерть“ въ поэзіи Полонскаго.

Какъ вопросы о Богѣ, о жизни, о природѣ, такъ и вопросъ о смерти оказывается загадкой для Полонскаго; передъ неразрѣшимостью этой загадки онъ смиряется (*«Безуміе горя»*, *«Я читаю книгу пѣсенъ»*).

§ **98.** Изъ всего вышесказаннаго видно, что отзывчивая поэзія Полонскаго отличается гуманностью, сердечностью, любовью къ людямъ: съ трогательнымъ участіемъ относится онъ къ людямъ (*«Елка»*, *«Смерть малютки»*), къ жизни людей простыхъ, «сѣренькихъ» (*«Старая няня»*); онъ проповѣдуетъ любовь къ страдающимъ (*«Казиміръ Великій»*, *«Подъ краснымъ крестомъ»* — *Тамъ же, стр. 86*).

Въ стихотвореніи: „Подъ Краснымъ Крестомъ“, со словъ раненаго, разсказывается потрясающая сцена самопожертвованія. Сестра милосердія, чтобы успокоить больного, который требовалъ себѣ чистаго бѣлья, сняла съ себя рубашку и одѣла на него.

---

[1]) „Кузнечикъ-музыкантъ“, „Пришли и стали тѣни ночи“, „Заплетя свои темныя косы вѣнцомъ“, „Они“, „Лѣсъ“ и др.

Сочувствіе Полонскаго къ людямъ порою мѣшаетъ ему отдаваться вдохновенію,—мѣшаетъ беззаботно наслаждаться красотами природы (*«Жалобы Музы»—стр. 79*). Но никогда эти грустныя думы (*«И я сынъ времени»*, *«Рознь»*, *«Грезы»*) не приводятъ его къ пессимизму,—вѣра въ поэзію и возвышенность идеаловъ всегда поддерживаетъ бодрость его духа и силу творчества (*«Поэзія»*). Онъ даже въ міръ звѣрей и насѣкомыхъ умѣетъ заглянуть съ любовью и участіемъ, и тамъ умѣетъ найти хотя маленькія, но трогательныя драмы (*«Кузнечикъ-музыкантъ»—Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 90*).

„Кузнечикъ-Музыкантъ". Въ этой граціозной поэмѣ сумѣлъ Полонскій сплести юморъ съ элегіей, роскошныя картины природы—съ изображеніемъ пестрой, живой стаи насѣкомыхъ. Каждое изъ этихъ насѣкомыхъ надѣлено человѣческими страстями, и своеобразными темпераментами,—каждое живетъ своими идеалами и чувствами...

Мечтатель-идеалистъ Кузнечикъ, поэтъ въ душѣ, существо „не отъ міра сего", восторженный и наивный почитатель вѣтренной красавицы-Бабочки—существо, способное на самоотверженіе и самоотреченіе ради высокаго чувства любви. Даже убѣдившись въ томъ, что его богиня—легкомысленное существо, онъ остается вѣренъ своимъ чувствамъ.

Аѳанасій Аѳанасьевичъ Фетъ.

(1820—1892).

Біографія. § **99**. Аѳанасій Аѳанасьевичъ Шеншинъ (Фетъ—фамилія матери поэта) родился въ 1820 году въ орловскомъ имѣніи отца, гдѣ онъ и жилъ до 14 лѣтъ. Послѣ домашняго образованія и обученія въ различныхъ пансіонахъ онъ поступилъ въ Московскій университетъ. По окончаніи университета, въ 1845 году, онъ поступилъ на военную службу и служилъ тамъ до 1858 г., когда, выйдя въ отставку, купилъ маленькое имѣніе и серьезно занялся сельскимъ хозяйствомъ. Еще въ 1840 году издалъ онъ первое собраніе своихъ сочиненій, но стихотворенія эти остались незамѣченными. Въ 1863 году онъ опять издалъ собраніе своихъ сочиненій и затѣмъ, почти на двадцать лѣтъ, отказался отъ литературнаго поприща и отдался сельскому хозяйству. Въ 80-хъ годахъ онъ напечаталъ рядъ переводовъ латинскихъ поэтовъ—Катулла, Тибулла, Ювенала, Овидія, Вергилія, Проперція, Горація; перевелъ онъ также „Фауста" Гете и сочиненіе Шопенгауера: „Міръ, какъ воля и представленіе". Съ 1883 года началъ онъ печатать выпусками послѣднія и лучшія свои лирическія произведенія, подъ заглавіемъ: „Вечерніе огни". Въ 1892 году Фетъ скончался въ Москвѣ на 72 году жизни.

Взглядъ Фета на поэзію и на толпу. § **100**. Подобно другимъ поэтамъ группы «чистаго искусства», Фетъ преклоняется только передъ свободнымъ, чистымъ искусствомъ: вдали отъ «буйной», «развратной толпы» (*«Сонетъ»*), «въ тѣни таинственнаго храма» красоты, учится онъ внимать словамъ великихъ наставниковъ и забывать «гулъ народный», ввѣряясь своей «благородной думѣ»... Поэта, который своими произведеніями служитъ толпѣ, онъ называетъ «продажнымъ рабомъ» (*«Псевдопоэту»*), продающимъ свою душу на «рынкѣ». Фетъ творитъ «для немногихъ»,—

„Музѣ". онъ говоритъ своей Музѣ (*«Музѣ»—Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 133*)—

„Заботливо храня твою свободу,
Непосвященныхъ я къ тебѣ не звалъ!
И рабскому ихъ буйству я въ угоду
Твоихъ рѣчей не осквернялъ".

„Ключъ". Въ стихотвореніи: *«Ключъ»* (*Тамъ же, стр. 135*) онъ говоритъ приблизительно то же, что Полонскій въ стихо-

твореніи: «Родникъ»: «шумящая, суетная толпа» не подозрѣваетъ, что въ лѣсу таится ключъ, журчащій сладко,—только поэтъ знаетъ объ его существованіи и въ часъ вечерній ходитъ къ завѣтному ключу...

Повторяя въ эпиграфѣ къ стихотворенію: «*Муза*» (*Тамъ же, стр. 134*)—слова Пушкина: «мы рождены для вдохновенья, для звуковъ сладкихъ и молитвъ», Фетъ развиваетъ эту мысль Пушкина, доказывая, что «поэтъ-жрецъ» не долженъ брать метлы, чтобы выметать соръ съ улицъ шумныхъ. Напрасно нѣкоторые поэты изъ своей лиры стараются сдѣлать орудіе «борьбы»:

„Къ чему противиться природѣ и судьбѣ?
На землю сносятъ эти звуки
Не бурю страшную, не вызовы къ борьбѣ,
А исцѣленіе отъ муки!".

„Муза".

Отъ имени Музы онъ обращается къ поэту-сатирику съ такими словами:

„Ты хочешь проклинать, рыдая и стеня,
Бичей подыскивать къ закону?..
Поэтъ, остановись! Не призывай меня,—
Зови изъ бездны Тизифону!".

По его словамъ, муза не должна служить цѣлямъ сатиры: она предназначена на другое служеніе... Ей въ уста влагаетъ Фетъ такое самоопредѣленіе:

„Плѣнительные сны лелѣя на яву,
Своей божественною властью
Я къ наслажденію высокому зову
И къ человѣческому счастью!".

Поэтому, ради человѣческихъ страданій, муза Фета не станетъ измѣнять своему высокому назначенію,—служенію красотѣ.

Въ стихотвореніи: «*Музѣ*» *(Тамъ же, стр. 135)*—поэтъ призываетъ ее такими словами:

„Пой, добрая!.. Въ тиши признаю голосъ твой
И стану трепетный, колѣнопреклоненный,
Запоминать стихи, пропѣтые тобой!..
Какъ сладко, позабывъ житейское волненье,
Отъ чистыхъ помысловъ пылать и потухать...".

Для него вдохновенье—«блаженные сны и славы, и любви»... Муза его во всемъ помогаетъ ему найти красоту (*«Скучно мнѣ вѣчно»—стр. 135*)—

„Только пчела узнаетъ въ цвѣткѣ затаенную сладость,
Только художникъ на всемъ чуетъ прекраснаго слѣдъ".

„Деревня".

Въ стихотвореніи: «*Деревня*» онъ опять обнаруживаетъ чисто-пушкинскую черту—умѣніе во всемъ, даже въ обыденномъ, найти «красоту»:

„Люблю я пріютъ вашъ печальный
И вечеръ деревни глухой,
И за лѣсомъ благовѣстъ дальній,
И кровлю, и крестъ золотой...
Люблю я немятаго луга
Къ окну подползающій паръ,
И тихаго, тѣснаго круга
Неразъ долитой самоваръ;
На столикѣ, близко къ окошку,
Корзину съ узорнымъ чулкомъ,
И по полу рѣзвую кошку
Въ прыжкахъ за проворнымъ
клубкомъ!".

Въ этомъ умѣніи одинаково понять, прочувствовать возвышенное и обыденное—сила поэта-чародѣя.

Вотъ почему, въ его глазахъ, поэзія сильнѣе науки: мудрецъ иногда не находитъ словъ, чтобы выразить тѣ мысли, что зарождаются въ его головѣ—

„Лишь у тебя, поэтъ, крылатый слова звукъ
Хватаетъ на-лету и закрѣпляетъ вдругъ
И темный бредъ души, и травъ неясный запахъ!“.

Чуждый толпѣ, поэтъ живетъ въ мірѣ тонкихъ чувствъ и настроеній. Эти настроенія возвышенны и чисты.

„Кто скажетъ намъ, что жить мы не умѣли,
Бездушные и праздные умы,—
Что въ насъ добро и нѣжность не горѣли
И красотѣ не жертвовали мы?“—спрашиваетъ поэтъ.

Фетъ—исключительно поэтъ-лирикъ; его вдохновенія почти всегда проникнуты свѣтлымъ, жизнерадостнымъ настроеніемъ. Рѣдко грусть прокрадывается въ его творчество, да и то эта грусть всегда тиха и свѣтла...

«Поэтъ мгновенья»,—какъ назвали Фета нѣкоторые критики,—чутко откликается на всѣ впечатлѣнія бытія, если въ нихъ онъ видитъ хотя бы искру красоты.

„Бабочка“. Въ одномъ граціозномъ стихотвореніи: «Бабочка» онъ воплощаетъ въ бабочкѣ это поэтическое мгновенье:

„Ты правъ! Однимъ воздушнымъ очертаньемъ
Я такъ мила.
Весь бархатъ мой съ его живымъ миганьемъ—
Лишь два крыла!
Не спрашивай, откуда появилась,
Куда спѣшу:
Здѣсь на цвѣтокъ я легкій опустилась
И вотъ—дышу!
Надолго ли, безъ цѣли, безъ усилья
Дышать хочу?—
Вотъ-вотъ сейчасъ,—сверкнувъ, раскину крылья
И улечу!“.

Чуткость его доходитъ до того, что онъ даже въ неясныхъ, смутныхъ настроеніяхъ души умѣетъ открыть красоту. Но въ такихъ случаяхъ онъ не всегда находитъ выраженіе для своихъ чувствъ—

„...что горитъ въ душѣ моей,
Тебѣ сказать я не умѣю...
...тайну счастья въ этотъ мигъ
Я унесу безъ выраженья!“.

Въ такія минуты онъ чувствовалъ свою безпомощность—

„О, какъ бѣденъ, какъ жалокъ тогда,
Какъ безпомощенъ я предъ тобой!“

—обращается онъ къ «красотѣ». Въ такіе моменты его Муза окутывалась какимъ-то таинственнымъ покровомъ неразгаданной свѣтлой грусти:

„Отрывистая рѣчь была полна печали
Невысказанныхъ мукъ и непонятныхъ слезъ;
Душа была больна
И несказаннаго стремленія полна!“.

Тогда пѣсня его обращалась въ—

„... бредъ неясный
Томный звонъ струны“.

§ **101.** Фетъ—поэтъ исключительно-созерцательный; ему совершенно чужда всякая борьба; онъ не знаетъ порывовъ героизма, даже въ той скромной мѣрѣ, въ которой допускали это Майковъ и Полонскій: Фетъ «весь живетъ въ восторженныхъ порывахъ духа, въ сосредоточенныхъ созерцаніяхъ. Всѣ наслажденія неожиданно-вспыхивающихъ мыслей, всѣ радости намековъ, отъ которыхъ напряженно-мыслящему духу внезапно открываются необозримыя дали желанной

истины, все счастіе открытія, проникновенія,—это высшее счастіе мыслителя—находимъ мы воплощеннымъ въ стихахъ Фета [1]),—говоритъ критикъ поэта г. Никольскій. Кромѣ того, «мистикъ» по настроеніямъ, Фетъ часто испытываетъ стремленіе въ потусторонній міръ. Въ стихотвореніи: «*Ласточки*» онъ рисуетъ намъ прихотливый полетъ своего созерцательнаго, свободнаго вдохновенія:

„Природы праздный соглядатай,
Люблю, забывши все кругомъ,
Слѣдить за ласточкой стрѣльчатой
Надъ вечерѣющимъ прудомъ...
Вотъ понеслась... и зачертила...
И страшно, чтобы гладь стекла
Стихіей чуждой не схватила
Молніевиднаго крыла...
И снова то же дерзновенье...
И та же темная струя...
— Не таково ли вдохновенье
И человѣческаго я?
Не такъ ли я, сосудъ скудельный,
Дерзаю на запретный путь
Стихіи чуждой, запредѣльной
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?“.

Природа въ его поэзіи.

«Мистицизмъ» поэта особенно замѣтно сказывается въ его отношеніяхъ къ природѣ. Свою близость къ природѣ чувствовалъ онъ особенно въ лунныя ночи:

„Я порываюсь и парю
Въ томленьяхъ крайняго усилья
И вѣрю сердцемъ, что растутъ
И тотчасъ въ небо унесутъ
Меня раскинутыя крылья...“.

Ночное небо, сверкающее звѣздами, настраиваетъ его на тотъ же возвышенный складъ, что̀ и Лермонтова:

„Я долго стоялъ неподвижно,
Въ далекія звѣзды вглядясь,—
Межъ тѣми звѣздами и мною
Какая-то связь родилась.
Я думалъ.. Не помню, что̀ думалъ...
Я слушалъ таинственный хоръ,
И звѣзды тихонько дрожали...
И звѣзды люблю я съ тѣхъ поръ“.

„Среди звѣздъ“.

Въ другомъ его стихотвореніи: «*Среди звѣздъ*» *(Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 40)* звѣзды объясняютъ человѣку, почему тянетъ его въ звѣздный міръ: потому что онѣ—«вѣчность», а онъ—«мигъ»—

„Вотъ почему, когда дышать такъ трудно,
Тебѣ отрадно такъ поднять чело
Съ лица земли, гдѣ все такъ темно и скудно,
Къ намъ, въ нашу глубь, гдѣ пышно и свѣтло“...

§ **102.** Кромѣ мистическихъ порывовъ, знаетъ Фетъ и тихое наслажденіе природой. Его плѣняютъ не столько сильные, величественные пейзажи, сколько картины спокойной, «безпорывной природы». У него, какъ у Полонскаго, найдемъ мы неразъ изображеніе русской зимы, со всѣми ея характерными особенностями, найдемъ и свѣтлыя картины русской весны. Особенно охотно рисуетъ онъ лѣтніе вечера и лѣтнія ночи.

Вотъ, напримѣръ, изображеніе лѣтней ночи—

„Растутъ, растутъ причудливыя тѣни,
Въ одну сливаясь тѣнь...
Ужъ позлатилъ послѣднія ступени
Перебѣжавшій день.
Что̀ звало жить, что̀ силы горячило,—
Далеко за горой.
Какъ призракъ дня, ты, блѣдное свѣтило,
Восходишь надъ землей.

---

[1]) „Я лучъ твой, летящій далеко“, „Напрасно мыслью жадной“, „Былое стремленье“, „Крылья растутъ“, „Съ лучомъ, просящимся во тьму“, „Какъ будто изъ дѣйствительности“, „Выше, выше плыву“.

И на тебя, какъ на воспоминанье,
Я обращаю взоръ...
Смолкаетъ лѣсъ... Блѣднѣй ручья сіянье...
Потухли выси горъ...
Лишь ты одно скользишь стезей лазурной...
Недвижно все окрестъ...
Да сыплетъ ночь своей бездонной урной
Къ намъ міріады звѣздъ!".

Общеніе человѣка съ природой, чисто-пантеистическая вѣра въ возможность слиться съ природой,—вотъ, основы отношенія поэта къ природѣ. Порой онъ возвышается до признанія, что всемірная жизнь, во всемъ ея разнообразіи, есть воплощеніе Божества (*«Измученъ жизнью, коварствомъ надежды»—Тамъ же, стр. 138).*

Отношеніе Фета къ морали.

§ **103**. Того сочувствія къ человѣку, которымъ богаты были Пушкинъ и Полонскій, у Фета не найти. Страданія, въ его глазахъ, только помрачаютъ радость жизни; поэтому воспѣвать ихъ онъ не станетъ,—на нихъ онъ смотритъ, какъ на что-то досадное, мѣшающее наслажденію... Иногда, впрочемъ, и въ горѣ своемъ онъ находитъ что-то прекрасное... Тогда онъ бываетъ опьяненъ въ душѣ «томительно-сладкимъ, безумно-счастливымъ» горемъ... Но когда это личное горе обостряется въ его сердцѣ до того, что помрачается его лучезарное настроеніе, онъ восклицаетъ:

„О, какъ ничтожно все! Отъ жертвы жизни цѣлой,
Отъ этихъ пылкихъ жертвъ и подвиговъ святыхъ
Лишь тайная тоска въ душѣ осиротѣлой,
Да тѣни блѣдныя у лепестковъ сухихъ"...

Тогда имъ овладѣваетъ чувство безпомощности и тревоги:

„Бѣжать?.. Куда?.. Гдѣ правда, гдѣ ошибка?
Опора гдѣ, чтобъ руки къ ней простерть?
Что ни расцвѣтъ живой, что ни улыбка—
Уже надъ ними торжествуетъ смерть".

Чуждый человѣческихъ страданій, онъ вычеркиваетъ изъ своего творчества вопросы нравственнаго порядка. «Эстетъ», самый послѣдовательный изъ всѣхъ учениковъ Пушкина, онъ отказывается быть нравственнымъ судьей жизни, во имя этическихъ требованій. И въ добрѣ, и въ злѣ онъ ищетъ только красоту, и потому *все* признаетъ, *все* допускаетъ, въ чемъ только находитъ эту красоту. Въ стихотвореніи: «*Добро и зло*» поэтъ говоритъ, что «два міра властвуютъ отъ вѣка,—два равноправныхъ бытія». Одинъ міръ—для простого человѣка,—другой для мыслителя. Когда художникъ смѣшанъ съ толпой, онъ живетъ съ ней. «Тогда»—обращается къ нему поэтъ:

„...даже въ часъ отдохновенья,
Подъемля потное чело,
Не бойся горькаго сравненья
И *различай* добро и зло...
Но если на крылахъ гордыни
Познать желаешь ты, какъ богъ,—
Не заноси же въ міръ святыни
Своихъ невольничьихъ тревогъ!
Пари, всезрящій и всесильный...
И съ непапятнанныхъ высотъ
Добро и зло, какъ прахъ могильный,
Въ толпы людскія отпадетъ".

„Смерть" въ поэзіи Фета.

§ **104**. Мистицизмъ и пантеизмъ Фета облегчали ему отношеніе къ смерти,—оттого переходъ въ небытіе кажется ему легкимъ.

Онъ спокойно встрѣчаетъ призракъ смерти:

„...съ лона тихаго земного идеала
На лоно вѣчности съ улыбкой перейду.
...О, если бъ небо судило безъ тяжкихъ томленій,
...оглянувшись на жизнь, умереть!"

—проситъ онъ однажды.

„Хочу привстать, хоть разъ еще вздохнуть—
И, на волнѣ ликующаго звука,
Умчаться въ даль, во мракѣ потонуть...“

—говоритъ онъ въ стихотвореніи: «*Грезы*».

„...Если жизнь—базаръ крикливый Бога,
То только смерть—его безсмертный храмъ“.

Въ стихотвореніи: «*Никогда*» онъ доходитъ до эстетическаго оправданія смерти. Даже полное уничтоженіе, полное «небытіе» его не страшитъ, такъ какъ онъ хорошо—

„...понялъ, что въ незнаньи
Одно прискорбное, но страшнаго въ немъ нѣтъ“.

Графъ А. К. Толстой.

(1817—1875).

Біографія.

§ **105**. Графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой родился въ Петербургѣ въ 1817 г. Воспитывалъ его дядя, А. А. Перовскій, человѣкъ богатый, извѣстный писатель, печатавшій свои произведенія подъ псевдонимомъ Антона Погорѣльскаго. Беззаботно и счастливо протекало его дѣтство въ малороссійскомъ имѣніи дяди, въ кругу людей высокообразованныхъ и культурныхъ. Тамъ полюбилъ онъ природу Малороссіи, поэзію, искусства. Въ 1826 году Перовскій привезъ своего девятилѣтняго племянника въ Петербургъ и ввелъ въ кругъ маленькихъ друзей Цесаревича, будущаго Царя-Освободителя. Пріязнь дѣтей впослѣдствіи обратилась въ дружбу, основанную на взаимной симпатіи и уваженіи. Десятилѣтнимъ мальчикомъ гр. А. К. Толстой объѣздилъ всю Европу. Особенно сильное впечатлѣніе произвела на него Италія. Роскошная природа благодатнаго юга, памятники древности, произведенія искусства,—все это оставило неизгладимые слѣды въ отзывчивой душѣ мальчика. Среди рѣдко-счастливыхъ условій жизни протекла его юность. 18 лѣтъ онъ окончилъ Московскій университетъ; потомъ, послѣ непродолжительной службы въ Москвѣ, переѣхалъ онъ въ Петербургъ, гдѣ получилъ высокое придворное назначеніе при дворѣ Наслѣдника. Но гр. Толстой не замкнулся въ блестящемъ кругу придворной знати,—онъ охотно вращался въ литературныхъ кругахъ и самъ съ любовью занимался литературой... Въ 1841 году онъ издалъ первое свое произведеніе, фантастическую повѣсть: „Упырь“; въ 1854 г. въ „Современникѣ“ напечаталъ свое стихотвореніе: „Колокольчики“. Въ началѣ 60-хъ годовъ онъ уже всецѣло отдается литературной дѣятельности; въ 1859 году печатаетъ онъ поэмы: „Іоаннъ Дамаскинъ“ и „Грѣшницу“; въ 1862 г.—драму: „Донъ-Жуанъ“; съ 1866 по 1870 годы издаетъ свою трилогію; въ 1867 г. появляется въ печати первое собраніе его стихотвореній. Умеръ гр. Толстой въ 1875 году въ томъ имѣніи, съ которымъ связаны были его дѣтскія воспоминанія.

„Вдохновеніе“.

§ **106**. **Гр. А. Толстой нѣкоторыми сторонами своего творчества тоже принадлежитъ къ группѣ поэтовъ «чистаго искусства». Такъ, во взглядахъ своихъ на поэзію, на ея смыслъ и значеніе А. Толстой сходится съ поэтами «чистаго искусства», а также съ философами: Платономъ и Шеллингомъ. Вдохновеніе для него,—это греческое μανία: поэтъ—**

„Охваченный ею (минутой вдохновенья) не можетъ молчать.
Онъ—рабъ ему чуждаго духа...
Возжглась ему въ грудь вдохновенья печать,
Неволей, иль волей—онъ долженъ вѣщать,
Что̀ слышитъ подвластное ухо“.

Его творчество свободно:

„Надъ вольной мыслью Богу неугодны
Насиліе и гнетъ...“.

Это творчество свободно не только отъ вторженія чужой воли,—даже отъ воли самого поэта:

„Тщетно, художникъ, ты мнишь, что твореній своихъ ты—создатель:
Вѣчно носились они надъ землею, незримыя оку“. *(Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 31).*

Фидій только «изъ головы» не могъ создать своего Зевса, какъ Гете—своего Фауста: образы эти жили задолго до нихъ. Художникамъ посланъ свыше даръ воплощать эти образы, созданные Богомъ:

„Много въ пространствѣ невидимыхъ формъ и неслышимыхъ звуковъ,
Много чудесныхъ въ немъ есть сочетаній и слова, и свѣта,
Но передастъ ихъ лишь тотъ, кто умѣетъ и видѣть, и слышать!“.

Это—чисто-платоновскій взглядъ на поэта, который овладѣваетъ богооткровенной истиной на землѣ. По мнѣнію поэта, истинный поэтъ не нуждается даже въ тѣлесныхъ чувствахъ—въ зрѣніи и слухѣ, чтобы постигать эти «божественныя идеи»:

„О, окружи себя мракомъ, поэтъ, окружися молчаньемъ,
Будь одинокъ и слѣпъ, какъ Гомеръ, глухъ, какъ Бетховенъ,
Слухъ же душевный скорѣй напрягай и душевное зрѣнье!“.

Такимъ образомъ, истинное искусство, по мнѣнію поэта, есть откровеніе идеала въ проявленіяхъ земной дѣйствительности [1]). Поэтому поэтъ-художникъ—посредникъ между двумя мірами: идеальнымъ и реальнымъ. Въ поэмѣ: *«Іоаннъ Дамаскинъ» (Тамъ же)* Іоаннъ отвергаетъ милости калифа, заявляя:

„Іоаннъ Дамаскинъ“.

„...Твой щедрый даръ,
О, государь, пѣвцу не нуженъ!
Съ иною силою онъ дружитъ:
Въ его груди пылаетъ жаръ,
Которымъ зиждется созданье!
Служить Творцу—его призванье;
Его души незримый міръ
Престоловъ выше и порфиръ...
А всѣ сокровища природы:
Степей безбережный просторъ,
Туманный очеркъ дальнихъ горъ,
И моря пѣнистыя воды,
Земля, и солнце, и луна,
И всѣхъ созвѣздій хороводы,
И синей тверди глубина,—
То все одно лишь отраженье,
Лишь тѣнь таинственныхъ красотъ,
Которыхъ вѣчное видѣнье
Въ душѣ избранника живетъ.
О, вѣрь, ничѣмъ тотъ неподкупленъ,
Кому Господь дозволилъ взглядъ
Въ то сокровенное горнило,
Гдѣ первообразы кипятъ,
Трепещутъ творческія силы!“.

Святой «поэтъ» А. Толстого Іоаннъ Дамаскинъ напоминаетъ пушкинскаго «пророка»: онъ говоритъ, что сначала «въ мракѣ и въ пыли» влачилъ «оковы», но крылья любви вознесли его—

„Въ отчизну пламени и слова;
И просвѣтлѣлъ мой темный взоръ,
И сталъ мнѣ видѣнъ міръ незримый,
И слышитъ ухо съ этихъ поръ,
Что́ для людей неуловимо“.

Онъ слышитъ—

„Какъ сердце каменное горъ
Съ любовью въ темныхъ нѣдрахъ бьется,
Съ любовью въ тверди голубой
Клубятся медленныя тучи...
Такъ, въ безпредѣльное влекома,
Душа незримый чуетъ міръ...
И я неразъ подъ голосъ грома,
Быть можетъ, строилъ свой псалтырь!“.

---

[1]) Ср. очень интересную поэму А. Толстого: „Слѣпой“.

§ **107**. Во многихъ стихотвореніяхъ говоритъ А. Толстой о своемъ тяготѣніи къ небу, гдѣ—

„...вокругъ міровъ вращаются міры...
Тамъ сонмы душъ возносятъ стройнымъ хоромъ
Своихъ молитвъ немолчные дары“ *(Тамъ же, стр. 38)*.

Но этотъ потусторонній міръ для «человѣка земли»—лишь мечта. Пока человѣкъ связанъ съ землей, онъ не узнаетъ полнаго счастья: правда, и здѣсь, на землѣ, онъ можетъ найти отблески любви и красоты, но это—лишь разрозненные, рѣдкіе лучи...

Но «земное минетъ горе», наступитъ освобожденіе отъ неволи—и тогда въ иномъ, въ потустороннемъ мірѣ—

„Въ одну любовь мы всѣ сольемся вскорѣ,
Въ одну любовь, широкую, какъ море,
Что̀ не вмѣстятъ земные берега“...

Въ другомъ стихотвореніи онъ говоритъ:

„Гляжу съ любовію на землю,
Но выше просится душа“.

Поэтъ, тяготѣющій къ иной жизни, любитъ землю, хотя и «раздробленной» любовью. Вотъ почему, перифразируя лермонтовскаго «Ангела», Толстой въ стихотвореніи: «*Горними тихо летѣла душа небесами*» *(Тамъ же, стр. 38)*—заставляетъ «душу» просить Бога, чтобы Онъ отпустилъ ее на землю: **„Горними тихо“.**

„О, отпусти меня снова, Создатель, на землю,
Было бъ о комъ пожалѣть и утѣшить кого бы!“.

Такимъ образомъ, А. Толстой является пѣвцомъ не только красоты, но и любви, возвышенной, гуманной,—любви ко всей природѣ и къ человѣку. Онъ не отдѣляетъ эстетически-прекраснаго отъ нравственно-прекраснаго: благодаря этому, ему удается въ своемъ творчествѣ воплотить греческое пониманіе художественнаго идеала, который выражается однимъ словомъ: καλοκαγαθία, то есть органическое соединеніе красоты, добра и истины въ одно понятіе высшаго идеала.

§ **108**. Въ противоположность Тютчеву и Фету, Толстой различаетъ добро и зло, какъ мыслитель. Особенно послѣдовательно проведенъ этотъ дуализмъ въ его «*Донъ-Жуанѣ*» *(Тамъ же, стр. 60)* — въ рѣчахъ ангеловъ и сатаны: въ мірозданье заложены «два разнородныя начала», — доброе и злое, причемъ Творецъ міра далъ волю злому началу бороться съ добрымъ для того, чтобы была жизнь, т. е. была сама борьба. Безъ «борьбы» нѣтъ движенія, нѣтъ жизни!—

„... усильямъ духа злого
Вседержитель волю далъ
И свершается все снова
Споръ враждующихъ началъ.
Въ битвѣ смерти и рожденья
Основало Божество
Нескончаемость творенья,
Мірозданья продолженье,
Вѣчной жизни торжество!“.

Въ другомъ мѣстѣ этой драмы онъ говоритъ:

„Въ тревожномъ жизни колебаньи
Всегда съ душой враждуетъ плоть!“.

Въ «злѣ» Толстой не находитъ «прекраснаго» и своего сатаны не идеализируетъ въ «Донъ-Жуанѣ», какъ это сдѣлалъ Лермонтовъ съ демономъ... Для Толстого «хаосъ» не есть необходимая основа мірозданья, какъ для Тютчева,—въ

его глазахъ, хаосъ—слабѣйшее, злобное начало, которое, хотя и необходимо для жизни и борьбы, но все же сквернитъ міровданье:

„Хаосъ мстительный не спитъ:
Искаженъ и опрокинутъ,
Божій образъ въ немъ дрожитъ;
И всегда, обмановъ полный,
На Господню благодать
Мутно-плещущія волны
Онъ старается поднять".

§ **109.** А. Толстой былъ убѣжденъ, что развитое чувство красоты—лучшій показатель культурности: по его словамъ, «тотъ народъ, въ которомъ это чувство развито сильно и полно, въ комъ оно составляетъ потребность жизни, не можетъ не имѣть, вмѣстѣ съ нимъ, и чувства законности, и чувства свободы». «Чувство красоты», говорилъ онъ, «нераздѣльно съ любовью къ искусству для искусства». Такимъ образомъ изъ поэтовъ школы «чистаго искусства» всѣхъ энергичнѣе защищалъ «чистую красоту» А. Толстой—писатель, въ то же время ближе другихъ поэтовъ этой группы стоявшій къ жизни и дѣйствительности.

„Противъ теченія".

Въ стихотвореніи: «*Противъ теченія*» онъ призываетъ всѣхъ единомышленниковъ «плыть противъ теченія» и вѣрить, что красота—вѣчна:

„Правда—все та же!.. Средь мрака ненастнаго
Вѣрьте чудесной звѣздѣ вдохновенья,
Дружно гребите, во имя прекраснаго,
Противъ теченія!".

Въ стихотвореніи: «*Пантелей-цѣлитель*»—онъ обращается къ этому народному святому «цѣлителю», съ просьбой не пожалѣть «палки суковатыя» противъ тѣхъ, которые—

„... звона не терпятъ гуслярнаго—
Подавай имъ товара базарнаго!
Все, кричатъ они, надо похерити!
Только то, говорятъ, и дѣйствительно,
Что для нашего тѣла чувствительно!".

«Матеріалистовъ» и «нигилистовъ» онъ вышучиваетъ въ стихотвореніяхъ: «*Порой веселой мая*» и «*Потокъ-Богатырь*» (*Тамъ же, стр. 55*). Въ первомъ стихотвореніи онъ представляетъ, какъ въ погонѣ за одной пользой, люди скоро вырубятъ всѣ сады и засѣютъ ихъ рѣпой; соловьевъ истребятъ за ихъ «безполезность». Во второмъ произведеніи онъ издѣвается надъ людьми, увлекавшимися въ его время отрицаніемъ духовнаго начала въ мірѣ и утверждавшими,—

„Что, молъ, нѣту души, а одна только плоть,
И что, если и впрямь существуетъ Господь,
То онъ только есть видъ кислорода!".

§ **110.** Въ такихъ «увлеченіяхъ» времени онъ видѣлъ не только *ложь*, но и *отсутствіе любви*,—между тѣмъ, какъ для него, поэта любви,—только любовь—«есть вѣры ключъ живой». Въ лицѣ своего Донъ-Жуана, онъ изображаетъ человѣка, ненасытно ищущаго истинной любви. Этотъ герой самъ говоритъ, что въ любви—

„Всѣхъ истинъ я источникъ видѣлъ
Всѣхъ дѣлъ великихъ первую причину...
Черезъ нее я понималъ ужъ смутно
Чудесный строй законовъ бытія,
Явленій всѣхъ сокрытое начало!".

«Любовь» для Донъ-Жуана, какъ и для самого поэта, есть въ жизни *все*:

„... Когда любовь
Есть ложь, то всѣ понятія и чувства,
Которыя она въ себѣ вмѣщаетъ:
Честь, совѣсть, состраданье, дружба, вѣрность,
Религія, законовъ уваженье,
Привязанность къ отечеству—все ложь!..
Религія! Не на любви ль ея
Основано высокое начало?
. . . . . .
Коль нѣтъ любви, то нѣтъ и убѣжденій,
Коль нѣтъ любви, то знайте: нѣтъ и Бога!".

Его, поэта-пророка, «любви крылья вознесли въ отчизну пламени и слова». И онъ постигъ, что—

„...всюду звукъ, и всюду свѣтъ, И ничего въ природѣ нѣтъ,
И всѣмъ мірамъ одно начало, Что́ бы любовью не дышало!".

§ 111. Вотъ почему и въ прошломъ, и въ современной русской жизни, казались ему досаднымъ диссонансомъ всякія проявленія злобы: насиліе надъ чужой волей ему противно, въ одинаковой мѣрѣ, и въ старомъ московскомъ царствѣ, отразившемъ на своей жизни вліянія татарщины, и во взглядахъ современныхъ ему матеріалистовъ («*Потокъ-Богатырь*»). А. Толстой не примкнулъ ни къ одной изъ тогда существовавшихъ у насъ политическихъ партій: онъ—не западникъ, не славянофилъ, не либералъ, не консерваторъ... «Двухъ становъ не боецъ, а только гость случайный»—такъ начинается одно его стихотвореніе автобіографическаго содержанія.

Человѣкъ глубоко-религіозный, онъ и въ творчество свое перенесъ свои религіозныя настроенія и интересъ къ Св. Писанію («*Іоаннъ Дамаскинъ*», «*Грѣшница*»—*стр. 57* и др.).

Въ «Донъ-Жуанѣ» рѣчами ангела вѣра его въ Бога выражена вполнѣ опредѣленно:

„Всѣ явленія вселенной, Богъ одинъ есть свѣтъ безъ тѣни;
Всѣ движенья вещества,— Нераздѣльно въ немъ слита
Все,—лишь отблескъ Божества, Совокупность всѣхъ явленій,
Отраженьемъ раздробленный... Всѣхъ сіяній полнота!".

Но пантеизмъ А. Толстого не отлился въ послѣдовательную, стройную систему: онъ «былъ слишкомъ вѣрующей натурой для чистаго пантеизма; его мистическая экзальтація требовала болѣе опредѣленныхъ представленій: въ немъ жила душа христіанина первыхъ вѣковъ,—пылкая и нетерпѣливая вѣра, страстное ожиданіе освобожденія отъ земной «неволи» (Перцовъ).

§ 112. Смыслъ земной «жизни» для А. Толстого заключается въ стремленьи найти здѣсь, на землѣ, возможно-полное воплощеніе любви. Поэтому полнота земного счастья представляется ему въ цѣлостномъ проникновеніи всего существа чувствомъ любви:

„Сліясь въ одну любовь, мы цѣпи безконечной—
Единое звено...—
И выше восходить, въ сіянье правды вѣчной
Намъ врозь не суждено..."

—говоритъ поэтъ любимой женщинѣ.

Выше было приведено другое его стихотвореніе, изъ котораго видно, что безъ любви жизнь теряла, въ его глазахъ, всякое значеніе... Но на землѣ эта лю-

бовь «раздробленная»—лишь разрозненные лучи совершенной, полной любви, которая возможна только послѣ смерти.

„Смерть“ въ поэзіи А. Толстого.

Вотъ почему «смерть» для А. Толстого — радостный моментъ освобожденія (*«Подожди еще—неволя недолга!»*). Будущая жизнь рисуется ему какимъ-то свѣтозарнымъ царствомъ:

„Въ странѣ лучей, незримой нашимъ взорамъ,
Вокругъ міровъ вращаются міры;
Тамъ сонмы душъ возносятъ стройнымъ хоромъ
Своихъ молитвъ немолчные дары.
Блаженствомъ тамъ сіяющіе лики
Отвращены отъ міра суеты,
Не слышны имъ земной печали клики,
Не видны имъ земныя нищеты.
Все, что онѣ желали и любили,
Все, что къ землѣ привязывало ихъ,—
Все на землѣ осталось горстью пыли,
А въ небѣ нѣтъ ни близкихъ, ни родныхъ“.

Къ любимой женщинѣ поэтъ обращается съ мольбой:

„Ты обо мнѣ подумай, умирая,
И хоть на мигъ блаженство позабудь!
Прощальный взоръ бросая нашей жизни,
Душою, другъ, вглядись въ мои черты,
Чтобы узнать въ заоблачной отчизнѣ
Кого звала, кого любила ты!“...

Онъ умоляетъ ее «до новой встрѣчи, въ странѣ лучей» его и помнить, и о немъ грустить.

„Природа“.

Просто и радостно относится поэтъ къ «природѣ»; его возвышенный духъ, искавшій вездѣ свѣта и красоты, не проникалъ за тотъ «златотканный покровъ», которымъ, по словамъ Тютчева, прикрывается «хаосъ»: темныхъ, стихійныхъ силъ, лежащихъ въ основѣ мірозданія, не замѣчалъ вдохновенный взоръ Толстого, обращенный чаще къ небесамъ, чѣмъ къ землѣ... Особенно тонко чувствовалъ и понималъ А. Толстой нашу русскую природу. У него почти нѣтъ картинъ западно-европейской природы, хотя онъ часто бывалъ заграницей. Всѣ картины природы у него полны «настроенія» —*«Ты знаешь край»*, *«Шумитъ на дворъ непогода»* и *«Боръ сосновый въ странѣ одинокій стоитъ»* и др. Онъ сумѣлъ передать въ своихъ стихахъ чувство необъятной шири, стихійной мощи и простора, которыми вѣетъ порою отъ роднаго пейзажа.

„Край ты мой, родимый край!
Конскій бѣгъ на волѣ!
Въ небѣ крикъ орлиныхъ стай!
Волчій голосъ въ полѣ!
Гой ты, родина моя,
Гой ты, боръ дремучій!
Свистъ полночный соловья!
Вѣтеръ, степь да тучи!“.

Иногда настроеніе самого поэта выражается въ образахъ, взятыхъ изъ міра природы (*«То было раннею весною»*, *«Острою сѣкирой срублена береза»*, *«Грядой клубится бѣлый надъ озеромъ туманъ»*).

Поэтъ гуманныхъ чувствъ и возвышенныхъ настроеній, А. Толстой не чуждъ былъ въ то же время «юмора»: отъ него осталось немало шутливыхъ стихотвореній, которыя искрятся живымъ, свѣтлымъ смѣхомъ...

§ **113.** Разнообразіе его творчества сближаетъ его съ Пушкинымъ и Майковымъ: подобно имъ, онъ находитъ красоты въ Св. Писаніи и въ твореніяхъ

отцовъ церкви, въ произведеніяхъ западно-европейскихъ поэтовъ и мыслителей, въ народной русской пѣснѣ, въ жизни среднихъ вѣковъ и въ прошломъ родной Россіи. Иногда онъ беретъ темы, разработанныя до него Пушкинымъ: такъ самыя выдающіяся его произведенія: «*Донъ-Жуанъ*» и трилогія («*Смерть Ивана Грознаго*», «*Ѳедоръ Іоанновичъ*», «*Борисъ Годуновъ*»)—представляютъ собой самостоятельныя разработки уже намѣченныхъ Пушкинымъ и отчасти использованныхъ имъ темъ.

„Донъ-Жуанъ“.

О драмѣ его: «*Донъ-Жуанъ*» *(Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 60)* приходилось уже говорить выше: въ этомъ произведеніи полнѣе всего выражены философскіе взгляды писателя на любовь, добро и зло, на Бога и человѣка... Героемъ выбралъ авторъ неувядаемый образъ Донъ-Жуана, но привнесъ въ этотъ образъ свое пониманіе.

Драма: „Донъ-Жуанъ“ есть разработка легенды о Донъ-Жуанѣ. Въ произведеніи Пушкина Донъ-Жуанъ представляетъ собою живое воплощеніе беззаботной юности, которая живетъ порывами, не знаетъ страха, сомнѣній и колебаній. За его молодость мы готовы простить ему все: и его эгоизмъ, и его легкомысліе...

Не таковъ Донъ-Жуанъ гр. Толстого. Въ своемъ героѣ авторъ попытался изобразить искателя идеальной женщины [1]); Донъ-Жуану кажется, что въ любви такого созданія найдетъ онъ примиреніе съ жизнью: найдетъ оправданіе жизни... Но онъ—или ошибается въ женщинѣ, или его собственные недостатки (гордость, самолюбіе) мѣшаютъ ему понять женское сердце. Только въ любви къ Богу, въ отреченіи отъ эгоизма и отъ своихъ страстей находитъ онъ миръ и счастье.

Въ поэмѣ дѣйствуютъ, кромѣ людей, еще силы неземныя: Богъ, чрезъ посредство ангеловъ, и Сатана соперничаютъ въ силѣ вліянія на Донъ-Жуана. Этотъ „дуализмъ“, какъ основа мірозданья, проходитъ красною нитью черезъ всю драму. Донъ-Жуанъ, предметъ спора двухъ началъ жизни: свѣтлаго и темнаго—страдаетъ отъ этого дуализма и находитъ примиреніе съ жизнью лишь тогда, когда побѣждаетъ въ своей душѣ это роковое раздвоеніе.

А. Толстой можетъ быть отнесенъ и къ числу писателей народнической школы, такъ какъ во многихъ своихъ произведеніяхъ онъ примкнулъ къ формамъ, мотивамъ и настроеніямъ народной поэзіи. Отъ него осталось много лирическихъ произведеній, имѣющихъ форму народной пѣсни. Есть между ними немало сатирическихъ (*«Ой, кабы Волга-матушка да вспять побѣжала!»*, *«У приказныхъ воротъ собирался народъ»*, *«Ходитъ Спѣсь, надуваючись...»*, *«Ахъ, ты гой еси, правда-матушка)*. Есть элегіи, въ которыхъ нашелъ себѣ мѣсто туманный образъ горя-злосчастья, гнетущаго добраго молодца (*«Не Божіимъ громомъ»*, *«Деревцо мое миндальное»*, *«Горе ударило»*, *«Нѣтъ, ужъ не видать мнѣ, братцы, ни сна, ни покою»*, *«Разсѣвается, разступается»*, *«Ты, невѣдомое, незнамое»*, *«Ужъ ты, мать-тоска»*, *«Ужъ ты, нива моя, нивушка»* и др.). Между лирическими произведеніями его имѣются, наконецъ, и такія, въ которыхъ поэтъ выразилъ широкій размахъ своей души; иногда это настроеніе связывается съ представленіемъ величія Россіи (напр., *«Колокольчики мои»*, *«Край ты мой, родимый край»* и др.).

Если въ приведенныхъ примѣрахъ поэтъ пользуется только формой народной пѣсни и лишь вкладываетъ въ нее свои личныя настроенія, то, напримѣръ,

---

[1]) Подъ „идеальной женщиной“, которую ищетъ Донъ-Жуанъ, можно подразумѣвать вообще: „идеалъ“. При такомъ символическомъ толкованіи драмы образъ героя и смыслъ всей пьесы возвышается.

въ пѣснѣ: «*Ушкуйникъ*»—онъ удачно подражаетъ чисто-народнымъ разбойничьимъ пѣснямъ. Близость къ народному творчеству, имъ достигнутая въ этомъ произведеніи, до того велика, что трудно отличить это подражаніе отъ настоящихъ «записей» народныхъ пѣсенъ.

Въ нѣсколькихъ произведеніяхъ А. Толстой пользуется народными суевѣріями (напр., «*Волки*»), народными «двоевѣрными» представленіями (напр., «*Пантелей-цѣлитель*»). Много осталось отъ него «историческихъ пѣсенъ», которыя, въ равной мѣрѣ, примыкаютъ къ народнымъ произведеніямъ этого типа (къ великорусскимъ пѣснямъ и малороссійскимъ «думамъ»), а также «думамъ» Рылѣева. Изъ такихъ произведеній можно назвать, хотя бы, слѣдующія: «*Василій Шибановъ*» (*Тамъ же, стр. 40*), «*Старицкій воевода*» «*Князь Михайло Репнинъ*» (*Тамъ же, стр. 39*) и др.

„Былины“.

§ **114**. Нѣсколько въ иномъ духѣ «былины» гр. А. Толстого; нѣкоторыя произведенія этого типа близки по содержанію къ народнымъ былинамъ (напр., «*Садко*»—*Тамъ же, стр. 627*),—въ другихъ, мы встрѣчаемъ былинные образы, или даже только имена, но содержаніе этихъ произведеній съ народными былинами не имѣетъ ничего общаго. Иногда, вслѣдствіе этого, искажаются самыя черты былинныхъ героевъ. Такъ, напримѣръ, въ былинѣ: «*Алеша Поповичъ*» (*Тамъ же, стр. 43*)—богатырь представленъ какимъ-то Ловеласомъ, соблазняющимъ увезенную имъ царевну. Если бы не имя Алеши Поповича, то произведеніе было бы прекрасной художественной картинкой, но неудачное пользованіе героемъ, черты котораго представлены въ народномъ творчествѣ совершенно другими, вноситъ «неправду»: вымыселъ поэта оказывается «неправдоподобнымъ». Гораздо удачнѣе былина: «*Илья Муромецъ*» (*Тамъ же, стр. 42*)... Суровый и, въ то же время, добродушный образъ матерого богатыря-мужика удивительно-художественно переданъ гр. А. Толстымъ въ этомъ стихотвореніи. Произведеніемъ изящнымъ, по настроенію и содержанію, является также: «*Сватовство*» (*Тамъ же, стр. 51*). Поэтъ сумѣлъ народному обряду сватовства придать много красоты и поэзіи; особенно этому помогли тѣ «весеннія настроенія», которыя пронизываютъ это произведеніе; богатыри, введенные въ эту «былину», тоже ничего общаго не имѣютъ съ настоящими «былинными».

„Князь Серебряный“.

§ **115**. Наконецъ, къ разряду «народническихъ» произведеній могутъ быть отнесены такія произведенія гр. А. Толстого,—какъ романъ: «*Князь Серебряный*» и трилогія: «*Смерть Ивана Грознаго*», «*Ѳедоръ Іоанновичъ*» и «*Борисъ Годуновъ*».

Романъ: «Князь Серебряный» примыкаетъ къ многочисленнымъ историческимъ романамъ, которые всѣ имѣютъ своимъ родоначальникомъ на западѣ Вальтеръ-Скотта, а у насъ Загоскина и Марлинскаго.

Произведеніе гр. А. Толстого изображаетъ суровую эпоху Іоанна Грознаго. Передъ нами—пестрая галлерея разныхъ историческихъ образовъ, выписанныхъ съ той психологической тонкостью, которой научилъ русскихъ писателей Пушкинъ своимъ «Борисомъ Годуновымъ». Въ центрѣ—мрачный образъ Грознаго, со всѣми своеобразностями его сложной натуры. Блѣднѣе обрисованъ расплывчатый образъ самого князя Серебрянаго.

Трилогія.

§ **116**. Въ «трилогіи» своей гр. А. Толстой непосредственно примыкаетъ къ «Борису Годунову» Пушкина: и стихъ, и манера

письма, эпоха, даже нѣкоторыя историческія лица взяты гр. Толстымъ у Пушкина; быть можетъ, заимствованъ даже самый художественный замыселъ. Какъ извѣстно, Пушкинъ тоже мечталъ написать «трилогію», въ которой «Борисъ Годуновъ» долженъ былъ быть лишь первою частью [1]).

Въ своей объяснительной запискѣ, касательно постановки „Смерти Грознаго", Толстой самъ дѣлаетъ такую характеристику своего героя: „послѣ безграничнаго самовластія, вторая черта въ Іоаннѣ, это—страстность: въ немъ ни тѣни притворства: онъ слишкомъ презираетъ людей, чтобы снизойти до притворства съ ними". „Искренность Іоанна есть единственная сторона, которая примиряетъ съ нимъ зрителя. Художникъ, который возьметъ на себя роль Іоанна, долженъ возбудить въ зрителѣ впечатлѣніе, что Іоаннъ глубоко несчастенъ, что, если Іоаннъ—палачъ Россіи, то онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и свой собственный палачъ". Такимъ образомъ, авторъ хотѣлъ возбудить у зрителей не только ужасъ къ Грозному и негодованіе, но и состраданіе къ нему. Внутреннія муки раскаянья и страха овладѣваютъ героемъ въ особенности въ моментъ, когда онъ сознаетъ, что смерть его неизбѣжна и близка. Глядя на слабаго, безвольнаго Ѳеодора, къ которому переходитъ его тронъ, Грозный убѣждается, что надъ нимъ тяготѣетъ гнѣвъ Божій, карающій его за убійство старшаго сына. Съ безпощадной ясностью, онъ понимаетъ, что для него исчезаетъ возможность оправданія себя тѣмъ мотивомъ, будто сыновняя кровь пролита имъ ради государственныхъ нуждъ.

Совсѣмъ другимъ представленъ въ трилогіи Ѳеодоръ Іоанновичъ; авторъ такъ его характеризуетъ: „я позволилъ себѣ изобразить Ѳеодора не просто слабодушнымъ, кроткимъ постникомъ, но человѣкомъ, надѣленнымъ отъ природы самыми высокими душевными качествами, при недостаточной остротѣ ума и совершенномъ отсутствіи воли. Природная неспособность его къ дѣламъ еще умножена гнетомъ его отца и постояннымъ страхомъ, въ которомъ онъ находился до 27 лѣтъ. Доброта Ѳеодора выходитъ изъ обыкновенныхъ границъ. Она такъ велика, что можетъ иногда достичь высоты, гдѣ чувство и умъ, составляющія на низшихъ степеняхъ отдѣльныя свойства, сходятся вмѣстѣ и смѣшиваются въ нераздѣльномъ сознаніи правды".

Въ образѣ Бориса Годунова авторъ изобразилъ человѣка, который вышелъ изъ школы Грознаго: ради пользы родины онъ не останавливается передъ преступленіями. Но, хотя его характеръ свободенъ отъ уродливыхъ крайностей Грознаго, тѣмъ не менѣе, его желаніе блага родинѣ омрачается и своекорыстными побужденіями. Во всякомъ случаѣ, изъ всѣхъ главныхъ героевъ трилогіи этотъ образъ менѣе ясенъ, менѣе отдѣланъ въ художественномъ отношеніи.

Съ особой любовью останавливается авторъ на свѣтлыхъ образахъ роднаго прошлаго: какъ въ романѣ своемъ онъ изобразилъ боярина Морозова, князя Серебрянаго, въ поэмахъ—Репнина, Шибанова, — такъ въ „трилогіи" онъ создалъ ясные образы кн. Сицкаго, кн. Ивана Петровича Шуйскаго, отчасти Захарьина. Всѣ эти мужественные и честные слуги родины стояли за правду и сохранили въ своихъ сердцахъ лучшія черты людей Кіевской Руси.

«Историческія» произведенія (поэмы, былины, романъ и драмы) А. Толстого даютъ намъ ясное понятіе объ его историческихъ симпатіяхъ; онъ симпатизируетъ Кіевской Руси за ея вѣчевой строй, за широкій и свободный размахъ ея жизни. Эпоха татарщины, и, какъ результатъ ея, московская Русь вызываютъ въ немъ осужденіе за глубокое невѣжество, за „Потокъ-раболѣпство и деспотизмъ. Въ балладѣ: «*Потокъ-богатырь*» богатырь". онъ вполнѣ выразилъ такое пониманіе историческаго прошлаго родины.

---

[1]) Дальше должны были слѣдовать: „Дмитрій Самозванецъ" и „Василій Шуйскій".

е) Писатели-народники.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ.

(1821—1877).

Біографія.

§ **117**. Родился Николай Алексѣевичъ Некрасовъ въ 1821-омъ году. Безотрадно было его дѣтство. Отецъ его происходилъ изъ обѣднѣвшей дворянской фамиліи. Стоя съ полкомъ въ Польшѣ, онъ женился на полькѣ, дѣвушкѣ очень культурной, противъ воли ея богатыхъ родителей. Счастья молодая женщина въ семейной жизни не нашла: любовь недолго сдерживала суровый и взбалмошный нравъ мужа. Тогда весь неиспасходованный запасъ своей любви перенесла мать Некрасова на дѣтей и сдѣлалась ихъ ангеломъ-хранителемъ.

Ужасы крѣпостничества и семейные нелады были первыми жизненными впечатлѣніями будущаго поэта. Когда онъ выросъ, начались столкновенія его съ отцомъ. Отецъ хотѣлъ, чтобы сынъ сдѣлался военнымъ, но онъ, противъ воли отца, поступилъ въ университетъ. Отецъ отказался помогать ему, и началась голодная жизнь юноши: онъ не имѣлъ приличнаго платья, ночевалъ въ ночлежкахъ, питался однимъ хлѣбомъ... Нѣсколько лѣтъ продолжались такія испытанія... Они подорвали физическія силы поэта, но закалили его духъ, энергію и житейскую практичность. Съ 1839—1841 г.г. онъ посѣщаетъ университетъ въ качествѣ вольнослушателя. Въ 40-ыхъ годахъ онъ дѣлается сотрудникомъ „Отечественныхъ Записокъ“, гдѣ помѣщаетъ критическія замѣтки, сочиняетъ юмористическія статьи. На него обратилъ вниманіе Бѣлинскій; они сблизились, и вліяніе Бѣлинскаго помогло Некрасову расширить свой умственный кругозоръ, опредѣлить свои политическіе идеалы и литературные вкусы. Съ этого времени, съ каждымъ годомъ, положеніе Некрасова улучшается: въ 1847 году онъ, вмѣстѣ съ Панаевымъ, дѣлается собственникомъ „Современника“; въ этотъ журналъ онъ привлекаетъ лучшія литературныя силы своего времени: Бѣлинскаго, Тургенева, Герцена и др. Изъ этого журнала онъ сумѣлъ во вторую половину 60-ыхъ годовъ сдѣлать большой политическій органъ, который служилъ выраженіемъ идеаловъ прогрессивной части русскаго общества наканунѣ эпохи великихъ реформъ. Въ 1856 году онъ издалъ первое собраніе своихъ стихотвореній и сдѣлался самымъ популярнымъ поэтомъ своего боевого времени: до 70-ыхъ годовъ былъ онъ „кумиромъ“ молодежи. Гуманность его музы, сочувствіе ея къ страдающему народу вполнѣ отвѣчали освободительнымъ настроеніямъ эпохи.

Въ 60—70-ыхъ годахъ написаны были имъ самыя крупныя и самыя сильныя его произведенія: „На Волгѣ“, „Рыцарь на часъ“, „Морозъ-Красный Носъ“, „Русскія женщины“, „Кому на Руси жить хорошо“. Съ 1866 года Некрасовъ вмѣстѣ съ Салтыковымъ (Щедринымъ) издавалъ „Отечественныя Записки“. Скончался Некрасовъ 27 декабря 1877 года послѣ долгой и мучительной болѣзни, которая, какъ говорятъ, была печальнымъ наслѣдіемъ его голодной юности.

Поэтъ и гражданинъ“.

§ **118**. Некрасовъ дѣлается поэтомъ-народникомъ, собственно, съ конца 40-ыхъ годовъ, когда онъ началъ описывать жизнь народа и для своихъ описаній сталъ пользоваться многими особенностями и пріемами народной пѣсни. Тогда же опредѣлились и характерныя черты его поэзіи. Въ стихотвореніи: *«Поэтъ и гражданинъ»* *(Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 7)* онъ повѣствуетъ о той борьбѣ, которая происходила въ его душѣ, когда, съ одной стороны, Пушкинъ звалъ его къ «звукамъ сладкимъ и молитвамъ», далекимъ отъ бурной жизни времени, а, съ другой стороны, гражданскій долгъ понуждалъ его служить родинѣ,—

„Будь гражданинъ! Служа искусству,
Для блага ближняго живи,
Свой геній подчиняя чувству
Всеобнимающей любви!“.

Хотя это стихотвореніе и оканчивается признаніемъ поэта, что подвигъ гражданскій ему не подъ силу, тѣмъ не менѣе, сознаніе своей безпомощности не помѣшало Некрасову въ своемъ творчествѣ подчинить свой геній чувству этой всеобнимающей любви. Въ стихотвореніи: «*Муза*» *(Тамъ же, стр. 1)*— онъ говорилъ:

„Нѣтъ! Музы, ласково поющей и прекрасной, „**Муза**".
Не помню надъ собой я пѣсни сладкогласной!
Въ небесной красотѣ, неслышимо, какъ духъ,
Слетая съ высоты, младенческій мой слухъ
Она гармоніи волшебной не учила!
... рано надо мной отяготѣли узы
Другой, неласковой и нелюбимой Музы,—
Печальной спутницы, печальныхъ бѣдняковъ,
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ...".

Это — Муза безпокойная: ея напѣвъ звучалъ то «вѣчной жалобой», то «разгульной пѣснью», то «стономъ»—

„Все слышалося въ немъ въ смѣшеніи безумномъ:
Расчеты мелочной и грязной суеты,
И юношескихъ лѣтъ прекрасныя мечты,
Погибшая любовь, подавленныя слезы,
Проклятья, жалобы, безсильныя угрозы...".

Неразъ возвращается Некрасовъ къ такому опредѣленію своей поэзіи: въ стихотвореніи: «*Неизвѣстному другу*»—онъ говоритъ, что «жалкое наслѣдство» оставитъ родинѣ,—слишкомъ слабы были его силы для того, чтобы выполнить великое свое призваніе: „**Неизвѣстному другу**".

„Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ,
И бросить хоть единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ...".

Но, по его словамъ, къ великой цѣли онъ «шелъ колеблющимся шагомъ» и «черствѣлъ съ каждымъ годомъ», «не жертвуя собой»—

„И пѣснь моя безслѣдно пролетѣла
И до народа не дошла она!".

Тѣмъ не менѣе, его «угрюмая муза», «муза мести и печали», хотя и не смогла совершить великаго дѣла, но всегда была честной и искренней. Къ ней обращается поэтъ съ такими словами:

„Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
Мой суровый, неуклюжій стихъ!
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства...
Но кипитъ въ тебѣ живая кровь!".

Въ другомъ стихотвореніи (*«Свобода»*) онъ говоритъ, что цѣлью его творчества было—

„Толпѣ напоминать, что бѣдствуетъ народъ
Въ то время, какъ она ликуетъ и поетъ,—
Къ народу возбуждать вниманье сильныхъ міра...
Чему достойнѣе служить могла бы лира?
Я лиру посвятилъ народу своему...
Быть можетъ, я умру, невѣдомый ему,
Но я ему служилъ—и я умру спокоенъ!".

Такъ опредѣляя свою поэзію, Некрасовъ совершенно справедливо оцѣнивалъ ея характеръ: онъ былъ «поэтомъ-гражданиномъ», служившимъ своей родинѣ; онъ шелъ на помощь страдальцамъ, кто бы они ни были,—обличалъ

всѣхъ тѣхъ, кто, такъ или иначе, угнеталъ «слабыхъ и обиженныхъ». Съ полнымъ правомъ могъ Некрасовъ сказать:

„... Безъ отвращенья, безъ боязни
Я шелъ въ тюрьму и къ мѣсту казни,
Въ суды, въ больницы я входилъ...
Клянусь, я честно ненавидѣлъ,
Клянусь, я искренно любилъ!".

Въ поэмѣ: «*Кому на Руси жить хорошо?*» есть одно мѣсто, характеризующее творчество Некрасова:

„Средь міра дольняго
Для сердца вольнаго
Есть два пути:
Взвѣсь силу гордую,
Взвѣсь волю твердую—
Какимъ идти.
Одна—просторная,
Дорога торная,
Страстей раба;
По ней громадная,
Къ соблазну жадная
Идетъ толпа.
О жизни искренней,
О цѣли выспренней
Тамъ мысль смѣшна:
Кипитъ тамъ вѣчная,
Безчеловѣчная
Вражда-война.
За блага бренныя
Тамъ души плѣнныя
Полны грѣха;
На видъ блестящая
Тамъ жизнь мертвящая
Къ добру глуха!

* * *

Другая—тѣсная,
Дорога честная.
По ней идутъ
Лишь души сильныя,
Любвеобильныя,
На бой и трудъ
За угнетеннаго, за обойденнаго!—
Умножь ихъ кругъ!—
Иди къ униженнымъ,
Иди къ обиженнымъ
И будь имъ другъ!
Гдѣ трудно дышится,
Гдѣ горе слышится,—
Будь первый тамъ!..".

Изъ всѣхъ приведенныхъ цитатъ видно, какъ далеко стоялъ Некрасовъ отъ поэтовъ «чистой красоты»... Если всѣ они не чужды чувства гуманности, то у нихъ это чувство, въ большинствѣ случаевъ, нѣсколько отвлеченно, и направлено вообще на все «человѣчество»... У Некрасова это же чувство отличается конкретностью: въ его поэзіи ясно опредѣлены именно тѣ явленія русской жизни, которыя возмущаютъ его. Но если далекъ Некрасовъ отъ поэтовъ-эстетовъ, то гораздо ближе онъ къ тому Пушкину, въ которомъ самъ онъ, по недоразумѣнію, видѣлъ только жреца «чистой красоты». Хотя Пушкинъ и не былъ такимъ сознательнымъ поэтомъ-гражданиномъ, какъ его современникъ Рылѣевъ, но вѣдь и онъ «чувства добрыя» лирой пробуждалъ, и онъ, въ свой «жестокій вѣкъ», славилъ свободу...

Вотъ почему можно сказать, что изъ всѣхъ разобранныхъ писателей-лириковъ ближе всѣхъ къ Пушкину Некрасовъ: для обоихъ писателей поэзія и жизнь сливались во-едино... Подобно Пушкину, Некрасовъ не философствуетъ въ своихъ стихахъ, но честно и прямо открываетъ въ нихъ «святая святыхъ» своей души. Въ этомъ отношеніи, онъ—поэтъ-реалистъ болѣе Лермонтова, Майкова, Фета, Полонскаго, А. Толстого и лучше всѣхъ ихъ усвоилъ пушкинскую манеру отражать въ творчествѣ всѣ свои личныя настроенія.

Наконецъ, близость Некрасова къ Пушкину выражается и въ томъ, что оба они любовными глазами смотрятъ на русскую жизнь... Если некрасовская «муза мести и печали» часто подсказываетъ ему скорбныя рѣчи, то нерѣдко, съ чисто-пушкинской благожелательностью, развертываетъ она предъ нимъ свѣтлыя картины русской жизни и помогаетъ ему находить въ этой жизни

идеальные образы вездѣ,—и въ простонародіи, и въ среднихъ кругахъ, и въ кругахъ аристократическихъ. (*«Русскія женщины»—Тамъ же, стр. 18*).

§ **119.** Произведенія Некрасова распадаются на двѣ группы: а) *автобіографическія*, посвященныя поэтической исповѣди поэта, и—b) *публицистическія*, вызванныя фактами изъ жизни простого русскаго народа и написанныя подъ вліяніемъ народной русской пѣсни. Эта вторая группа произведеній особенно прославила его; она и опредѣлила его мѣсто среди поэтовъ-народниковъ.

Автобіографическія произведенія его.

а) Въ разрядъ *автобіографическихъ* произведеній Некрасова должны быть отнесены, прежде всего, тѣ, въ которыхъ встрѣчаются воспоминанія о дѣтствѣ поэта, о раннихъ его житейскихъ впечатлѣніяхъ [1]); къ этой же группѣ относятся произведенія, въ которыхъ Некрасовъ характеризуетъ себя; вслушиваясь въ голосъ «больной совѣсти», судитъ себя и, вмѣстѣ съ тѣмъ, современное ему поколѣніе 40-ыхъ годовъ [2]) и, наконецъ,—стихотворенія любовныя [3]).

Неразъ говоритъ Некрасовъ о своемъ безотрадномъ дѣтствѣ. Яркія впечатлѣнія отъ ужасовъ крѣпостного права и семейныхъ неладовъ нашли себѣ выраженіе въ нѣсколькихъ его стихотвореніяхъ.

„Мать“.

Въ тяжелую пору дѣтства единственно-отрадными впечатлѣніями Некрасова были—образъ страдалицы-матери и близость къ простому народу, въ темной жизни котораго живой, сочувствующій взглядъ Некрасова рано научился находить искры свѣта и тепла...

Въ поэмѣ: «*Мать*»—Некрасовъ своей матери посвящаетъ слѣдующія строки:

„... если я наполнилъ жизнь борьбою
За идеалъ добра и красоты
И носитъ пѣснь, слагаемая мною,
Живой любви глубокія черты.—
О, мать моя,—подвигнутъ я тобою:
Во мнѣ спасла живую душу ты!“.

Образъ матери въ его воспоминаніяхъ всегда рисуется неземнымъ видѣніемъ... Такъ, въ поэмѣ: «*Рыцарь на часъ*» *(Тамъ же, стр. 15)*—онъ въ такихъ выраженіяхъ вспоминаетъ мать:

„Да! я вижу тебя, блѣднолицую,
И на судъ твой себя отдаю.
Не робѣть передъ правдой-царицею
Научила ты Музу мою;
Мнѣ не страшны друзей сожалѣнія,
Не обидно враговъ торжество,—
Изреки только слово прощенія
Ты, чистѣйшей любви божество!“.

Изъ приведенныхъ цитатъ видно, какое великое, въ глазахъ Некрасова, значеніе имѣла мать: при жизни она учила его любви,—послѣ смерти она была незримымъ судьею его мятежной души.

Въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ воспоминаніямъ дѣтства, разсказываетъ Некрасовъ о томъ, какъ онъ, еще въ дѣтствѣ, заинтересовался жизнью крестьянъ и полюбилъ ихъ за ихъ страдальческую, трудовую жизнь. Мимо имѣнія отца Некрасова проходила большая дорога (Владимірскій, или Сибирскій трактъ); здѣсь

---

[1]) „Родина“, „На Волгѣ“, „Несчастные“, отрывки изъ поэмы: „Мать“, отчасти: „Рыцарь на часъ“.

[2]) „Я за то глубоко презираю себя“, „Рыцарь на часъ“, „Унынiе“, „Саша“, „Неизвѣстному другу“ и др.

[3]) Напр., „О письмѣ женщины“, „Такъ это шутка“, „Гдѣ твое личико смуглое“, „Застѣнчивость“, „Влюбленному“, „Буря“ и др.

много шло всякаго люду... Будущій поэтъ, еще мальчикомъ, жадно всматривался въ разнообразныя лица прохожихъ русскихъ людей,—вслушивался въ ихъ разсказы, жалобы и шутки. По этой же дорогѣ проводили въ Сибирь партіи ссыльныхъ... Для впечатлительнаго ребенка видъ несчастныхъ, закованныхъ въ цѣпи, былъ зрѣлищемъ, которое тоже запомнилось имъ на всю жизнь.

Имѣніе Некрасовыхъ было на берегу Волги,—и здѣсь ребенку суждено было впервые увидѣть бурлаковъ и услышать ихъ пѣсни. Эти пѣсни показались ему «стономъ», а видъ изможденныхъ, обезсиленныхъ людей его поразилъ—

„О, горько, горько я рыдалъ,
Когда въ то утро я стоялъ
На берегу родной рѣки
И въ первый разъ ее назвалъ
„Рѣкою рабства и тоски"!
Что я въ ту пору замышлялъ,
Созвавъ товарищей-дѣтей,
Какія клятвы я давалъ,—
Пускай умретъ въ душѣ моей,
Чтобъ кто-нибудь не осмѣялъ!".

Дѣтскіе годы его протекли въ обществѣ крестьянскихъ дѣтей;—имъ посвятилъ онъ одно изъ лучшихъ своихъ произведеній: «*Крестьянскія дѣти*» (*Тамъ же, стр. 13*). Въ этомъ стихотвореніи съ любовью разсказываетъ онъ о деревенскихъ развлеченіяхъ дѣтишекъ,—о томъ, какъ эти развлеченія, мало по-малу, переходятъ въ тяжелый, святой трудъ («Я изъ лѣсу вышелъ...»). Но большинство дѣтскихъ воспоминаній о бытѣ крестьянъ—тяжелыя, гнетущія. Отецъ Некрасова, человѣкъ суровый и сумасбродный, одно время исполнялъ обязанности исправника, и будущій поэтъ, по желанію отца, присутствовалъ иногда при всевозможныхъ сценахъ жестокой расправы отца съ крестьянами.

„Рыцарь на часъ".

§ **120.** Изъ многочисленныхъ стихотвореній, въ которыхъ Некрасовъ занимается «самобичеваніемъ», всего сильнѣе извѣстное его стихотвореніе: «*Рыцарь на часъ*» (*Тамъ же, стр. 15*). Здѣсь Некрасовъ разсказываетъ, какъ иногда, въ тяжелыя минуты раздумья, его душой овладѣвала совѣсть, какъ онъ каялся передъ собою и передъ тѣнью матери въ томъ, что часто расходились его «слово» и «дѣло», что малодушенъ былъ онъ иногда въ жизни...

Окрыленный подъемомъ нравственной энергіи, поэтъ готовъ сочетать свое «дѣло» со «словомъ»,—онъ взываетъ къ тѣни матери:

„Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви!
Тотъ, чья жизнь безполезно разбилася,
Можетъ смертью еще доказать,
Что въ немъ сердце неробкое билося,
Что умѣлъ онъ любить!".

Но проходилъ этотъ «порывъ», слабѣли силы, отлетала энергія,—и тогда «насмѣшливый внутренній голосъ» затягивалъ «злую пѣсню»:

„Покорись, о, ничтожное племя,
Неизбѣжной и горькой судьбѣ:
Захватило васъ трудное время
Неготовыми къ трудной борьбѣ.
Вы еще не въ могилѣ,—вы живы,
Но для дѣла вы мертвы давно;
Суждены вамъ благіе порывы,
Но свершить не дано ничего!".

По настроенію, это произведеніе близко къ лермонтовской «Думѣ»; оба поэта бичевали почти то же самое поколѣніе, изображали современнаго имъ человѣка, идеалы котораго уже тянутся къ 60-ымъ годамъ,—грядущей эпохѣ великихъ реформъ, но сами остаются еще привязанными къ николаевской эпохѣ,—въ

результатѣ, душевная тоска отъ сознанія полнаго разлада между «словомъ» и «дѣломъ». Тургеневъ, приблизительно, этотъ же типъ вывелъ въ Рудинѣ.

Въ стихотвореніи: «*Я за то глубоко презираю себя*»— Некрасовъ откровенно разсказываетъ, какъ мучительно чувствовалъ онъ порою укоры «злой совѣсти»: **„Я за то глубоко презираю себя“.**

„Я за то глубоко презираю себя,
Что живу, день за днемъ безполезно губя;
Что я, силы своей не пытавъ ни на чемъ,
Осудилъ самъ себя безпощаднымъ судомъ,
И, лѣниво твердя: „я ничтоженъ и слабъ“,—
Добровольно всю жизнь пресмыкался, какъ рабъ.
Я за то глубоко презираю себя,
Что потратилъ свой вѣкъ, никого не любя,
Что любить я хочу, что люблю я весь міръ—
А брожу дикаремъ, безпріютенъ и сиръ,
И что злоба во мнѣ и сильна, и дика,
А до дѣла дойдетъ—замираетъ рука!“.

Рудинъ, какъ живой, встаетъ передъ нами при чтеніи этихъ строкъ! Въ поэмѣ: «Саша» (о ней см. ниже) изобразилъ Некрасовъ разновидность этого же типа.

§ **121**. *Публицистическія* произведенія Некрасова посвящены изображенію чувствъ поэта по поводу разныхъ явленій русской жизни. **Публицистическія произведенія его.**

Лучше всего онъ знаетъ *народный бытъ*; поэтому большинство произведеній посвящено жизни русскаго простонародья. Первымъ произведеніемъ этого рода было стихотвореніе: «*Въ дорогѣ*».

Здѣсь, въ нѣсколькихъ словахъ, изображена исторія одного разбитаго женскаго сердца,—жертвы крѣпостничества и барскаго произвола: дѣвушка, выросшая въ барскомъ домѣ, воспитанная на барскій ладъ, отдана замужъ за простого ямщика, незлого, но, по грубости своей, совершенно не понимающаго души молодой женщины. Онъ любилъ ее „по своему“: **„Въ дорогѣ“.**

„Одѣвалъ и кормилъ. Безъ пути не бранилъ,
Уважалъ, то ись, вотъ какъ... съ охотой!..
А, слышь, бить,—такъ почти не бивалъ...
Развѣ только подъ пьяную руку“.

И онъ не понимаетъ, почему его жена несчастна... Она таетъ съ каждымъ днемъ, ничего не ѣстъ,—разсказываетъ мужъ. „А съ чего?“—задаетъ онъ простодушно вопросъ—и самъ объясняетъ себѣ загадку:

„Погубили ее господа,—
А была бы бабенка лихая!“.

Въ стихотвореніи: „*Вино*“ разсказываетъ Некрасовъ о томъ мучительномъ чувствѣ стыда, обиды и злобы, которое овладѣло сердцемъ парня, высѣченнаго по приказанію барина. **„Вино“.**

Горе несчастнаго парня растетъ: его возлюбленную выдаютъ противъ воли за немилаго; его обсчитываетъ подрядчикъ... И обида на всѣхъ вырастаетъ въ сердцѣ парня въ цѣлую бурю,—только водка даетъ ему забвеніе и спасаетъ его отъ преступленія.

Небольшое стихотвореніе: „*Забытая деревня*“ даетъ яркое понятіе о тѣхъ отношеніяхъ, которыя, въ эпоху крѣпостничества, часто тяжелымъ гнетомъ ложились на крестьянъ: баринъ забылъ своихъ крестьянъ; ихъ притѣсняетъ приказчикъ, обижаютъ сосѣди-помѣщики; у крестьянъ много копится разныхъ потребностей; помочь имъ можетъ только **„Забытая деревня“.**

„баринъ“,—но онъ не ѣдетъ въ свою забытую деревню. Многострадательные крестьяне утѣшаютъ себя надеждой:

„Вотъ пріѣдетъ баринъ,—
Баринъ насъ разсудитъ!“.

Но время идетъ, а помощи отъ барина нѣтъ... Старушка Ненила, которая мечтала, что выпроситъ лѣса у барина для поправки развалившейся избенки, умерла; сосѣдъ-плутъ, обманомъ отобравшій землю у крестьянъ, сѣетъ да сѣетъ на отобранной землѣ и собираетъ въ житницы; какая-то Наташа, мечтавшая выйти замужъ за любимаго парня, состарилась. „Прежніе парнишки стали бородаты“, а „барина все нѣту, баринъ все не ѣдетъ!“... Наконецъ, на дрогахъ привезли въ родовой склепъ тѣло „стараго барина“... Его—

„...отпѣли, новый (баринъ) слезы вытеръ,
Сѣлъ въ свою карету и уѣхалъ въ Питеръ“

—и „забытая деревня“ осталась по-прежнему „забытой“.

„Размышленія у парадnаго крыльца“.

Въ трогательномъ стихотвореніи: „*Размышленія у парадnаго подъѣзда*“ разсказано, какъ крестьяне, измученные горемъ, не дождавшись „барина“, плетутся за сотни верстъ въ городъ, чтобы ему лично повѣдать свое горе,—но ихъ до барина не допустилъ швейцаръ.

Всѣ подобныя стихотворенія Некрасова, конечно, имѣли для своего времени громадное воспитательное значеніе: они будили дремавшую совѣсть, они воспитывали молодое поколѣніе въ чувствахъ любви къ униженному темному люду. Вотъ почему, вмѣстѣ съ Григоровичемъ и Тургеневымъ, Некрасовъ своими произведеніями большую службу сослужилъ дѣлу освобожденія крестьянъ.

Вѣра въ Россію.

Но Некрасовъ не отчаивается: онъ вѣрилъ въ мощь русскихъ силъ и ждалъ только того момента, когда эти силы будутъ свободны.

„Во многомъ насъ
Опередили иноземцы“

—говоритъ онъ въ поэмѣ: «*Несчастные*»,—

„Но мы догонимъ, въ добрый часъ!..
Лишь Богъ помогъ бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольнѣй—
Покажетъ Русь, что есть въ ней люди,
Что есть грядущее у ней“.

„...Въ ея груди
Бѣжитъ потокъ живой и чистый
Еще нѣмыхъ народныхъ силъ...
Такъ подъ корой Сибири льдистой
Золотоносныхъ много жилъ!“.

„Свобода“.

§ **122**. Освобожденіе крестьянъ Некрасовъ привѣтствовалъ радостнымъ гимномъ: «*Свобода*»; но онъ понималъ ясно, что одно освобожденіе крестьянъ еще не сдѣлаетъ ихъ счастливыми. Онъ восклицаетъ:

„Я видѣлъ красный день: въ Россіи нѣтъ рабовъ!
И слезы сладкія пролилъ я въ умиленьи...
„Довольно ликовать въ наивномъ увлеченьи“—
Шепнула муза мнѣ: „пора идти впередъ:
Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?“.

И на этотъ тягостный вопросъ поэтъ отвѣтилъ своей Музѣ цѣлымъ рядомъ произведеній, въ которыхъ онъ изобразилъ невзгоды темнаго, непросвѣщеннаго народа. Лучшія изъ этихъ произведеній слѣдующія: «*Желѣзная дорога*», «*Орина, мать солдатская*», «*Въ полномъ разгарѣ страда деревенская*», «*Морозъ-красный носъ*» *(Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 9)*, «*Кому на Руси жить хорошо*». Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ мы встрѣчаемся съ тѣмъ же тяжелымъ настроеніемъ, которымъ проникнуты и

ранѣе написанныя имъ картины дореформенной Россіи: съ одной стороны, освобожденные отъ гнета крѣпостного права русскіе люди чувствовали тяжесть экономическихъ условій; а, съ другой стороны, темнота народа оставалась все та же,—духъ народа, вслѣдствіе невѣжества, былъ по прежнему въ рабствѣ.

„Орина, мать солдатская".

Стихотвореніе: „Орина, мать солдатская" представляетъ собой трогательный разсказъ крестьянки-вдовы, на рукахъ которой умираетъ сынъ-кормилецъ, загубленный суровой солдатчиной; съ надломленнымъ здоровьемъ и разбитой душой вернулся къ ней со службы онъ, ея недавно цвѣтущій сынъ. Въ разсказѣ осиротѣлой матери—

„Мало слезъ, а горя рѣченька,
Горя рѣченька бездонная!"—восклицаетъ поэтъ.

„Морозъ-красный носъ".

Печальная судьба русской женщины изображена и въ другой поэмѣ Некрасова: „*Морозъ-красный носъ*".

Здѣсь разсказана исторія другой русской женщины—Дарьи. До замужества это была сильная духомъ дѣвушка, которая жизни не боялась, и отважно вступила съ жизнью въ борьбу...

„Лежитъ на ней дѣльности строгой
И внутренней силы печать.
Въ ней ясно и крѣпко сознанье,
Что все ихъ спасенье въ трудѣ".

И вотъ, вся жизнь ея проходитъ въ этомъ „трудѣ".

„Красавица, міру на-диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одеждѣ красива,
Ко всякой работѣ ловка,
И голодъ, и холодъ выноситъ,
Всегда терпѣлива, ровна...
Я видывалъ, какъ она коситъ:
Что взмахъ, то готова копна!".

По буднямъ она не любитъ бездѣлья, но когда наступитъ потѣхѣ часъ и—

„...сгонитъ улыбка веселья
Съ лица трудовую печать,—
Такого сердечнаго смѣха
И пѣсни такой
За деньги не купишь!.. „Утѣха!"—
Твердятъ мужики межъ собой.
Въ игрѣ ее конный не словитъ.
Въ бѣдѣ не сробѣетъ—спасетъ...
Коня на скаку остановитъ,
Въ горящую избу войдетъ!".

По словамъ Некрасова, въ своей героинѣ онъ обрисовалъ рѣдкій, въ его время уже исчезающій въ русскомъ простонародьѣ, типъ „красивой и мощной славянки"...

Обычнѣе въ его время былъ образъ загнанной и униженной женщины—

„Ты вся—воплощенный испугъ,
Ты вся—вѣковая истома!"

— говоритъ поэтъ объ этомъ обычномъ типѣ русской простонародной женщины.

Дарья вышла замужъ за Прокла. Онъ мужикъ былъ ей подстать—серьезный и работящій. И зажиточно зажила эта трудолюбивая пара... Но, на бѣду, кормилецъ семьи—Проклъ захворалъ. Сперва его подвергли деревенскому леченію, потомъ Дарья, не боясь мороза и волковъ, одна пошла ночью лѣсомъ въ сосѣдній монастырь и принесла чудотворный образъ,—но все было тщетно: Проклъ умеръ. Все хозяйство и малолѣтнія дѣти остались на попеченіи Дарьи; но она и тутъ не растерялась: сохранила всю силу своей мощной души; похоронивъ мужа, она въ тотъ же день ѣдетъ въ лѣсъ за дровами. Въ эту пору лѣсомъ шелъ Морозъ-воевода.

Морозъ увидѣлъ вдову и сталъ ей говорить ласковыя рѣчи; эти рѣчи чаруютъ ее... Радостныя видѣнія проносятся передъ ней: то кажется ей, что цѣлуетъ ее Проклъ со всѣмъ пыломъ юной страсти; то рисуются ей картины ихъ былой трудовой, но счастливой жизни—и она замерзаетъ въ лѣсу.

„Кому на Руси жить хорошо“.

Тяжелой и безотрадной представлена русская дѣйствительность въ большой неоконченной поэмѣ: *„Кому на Руси жить хорошо“*... Всѣ сословія въ этой поэмѣ охарактеризовалъ поэтъ,— и признался, что не только крестьянину, но и дворянину, и лицамъ духовнымъ жить на Руси было трудно. Отъ царскаго дворца до хижины бѣдняка, — вездѣ горе. Но, тѣмъ не менѣе, вѣра въ свѣтлое будущее не покидаетъ поэта: онъ по-прежнему вѣритъ, что зло преходяще, что силъ въ убогой Россіи много,—и что когда-нибудь встанетъ она для лучшаго будущаго:

„Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и безсильная,
Матушка-Русь!
Русь не шелохнется,
Русь, какъ убитая,
А загорѣлась въ ней
Искра сокрытая—
Рать подымается
Неисчислимая,
Сила въ ней скажется
Несокрушимая!“.

Такой бодрой вѣрой въ нравственную мощь народа проникнуто также его удивительное, по выразительности, стихотвореніе: *„Власъ“*.

„Власъ“.

Въ лицѣ этого покаявшагося грѣшника изображенъ человѣкъ, одинаково сильный во злѣ и въ добрѣ. Этотъ суровый, мощный образъ выхваченъ изъ русской жизни, гдѣ онъ складывался вѣками. Такими Власами строились русскія церкви, созидались и древніе монастыри... Эти Власы ходили въ Св. Землю; они разносили по лицу русской земли апокрифы и легенды (сравни видѣнія Власа) и духовные стихи. Въ житіяхъ святыхъ мелькаютъ неразъ образы, напоминающіе черты этого своеобразнаго некрасовскаго героя. Въ суровыя, темныя времена древней Руси они были живыми укорами для людей, которые забывали совѣсть въ суетѣ житейскихъ треволненій.

§ **123.** Не только жизнь крестьянина изобразилъ Некрасовъ. Иногда рисовалъ онъ и жизнь мелкихъ чиновниковъ,—среду взятокъ, мелкихъ канцелярскихъ интересовъ и семейныхъ дрязгъ...

Во многихъ своихъ произведеніяхъ касается Некрасовъ быта помѣщиковъ: полнѣе всего изображенъ помѣщикъ въ поэмѣ: *„Кому на Руси жить хорошо“* и въ поэмѣ: *„Саша“*.

„Саша“.

Въ поэмѣ: *„Саша“* *(Ист. хрест., стр. 3)* изобразилъ Некрасовъ свѣтлую картинку изъ помѣщичьяго быта: передъ нами тихое „дворянское гнѣздо“; жизнь течетъ здѣсь идиллическая; мужъ и жена— славные, простые люди, нѣжно любящіе другъ друга и свою милую дочку Сашу. „Какъ цвѣтокъ полевой“, выросла дѣвочка среди простора полей. Окруженная лаской родителей и общею любовью, выросла она дѣвушкой, съ дѣтскимъ сердцемъ, ясными глазками, съ богатой душой, силы которой были нетронуты—образъ, до нѣкоторой степени, напоминающій и Татьяну Ларину, и Наташу Ласунскую („Рудинъ“). Саша не знаетъ еще никакихъ земныхъ тревогъ:

„Жизни кругомъ разлитой ликованье
Сашѣ порукой, что милостивъ Богъ“.

И вотъ, въ сосѣднюю усадьбу пріѣзжаетъ новый помѣщикъ—Агаринъ. Это былъ, по словамъ Некрасова, типичный человѣкъ 40-ыхъ годовъ, родной братъ тургеневскаго Рудина,—

„Что ему книга послѣдняя скажетъ,
То на душѣ его сверху и ляжетъ!..
Вѣрить, не вѣрить—ему все равно,
Лишь бы доказано было умно!..
Самъ на душѣ ничего не имѣетъ:
Что вчера сжалъ, то сегодня и сѣетъ!
Нынче не знаетъ, что завтра сожнетъ...
Только, навѣрное, сѣять пойдетъ...
Это въ простомъ переводѣ выходитъ,
Что въ разговорахъ онъ время проводитъ...“.

Когда-жъ неудача постигнетъ его, онъ жалуется на весь міръ, кричитъ: „безполезны усилья!“... Таковъ былъ Агаринъ, который съ жаромъ сталъ „развивать“ Сашу; онъ привилъ ей идеи гуманности, любви къ страдающему, бѣдному люду,—и беззаботная Саша увидѣла горе людское, котораго раньше не знала. Она, увлеченная рѣчами Агарина, занялась самообразованіемъ, стала служить крестьянамъ—лечила ихъ, помогала имъ... Въ другой свой пріѣздъ Агаринъ оказался уже совсѣмъ инымъ: онъ растерялъ свой идеализмъ, скептически сталъ относиться къ филантропіи и подтрунивалъ надъ Сашей. Дѣвушка была сбита съ толку... И кончилось дѣло тѣмъ, что она, любившая Агарина, отвергла его предложеніе, смутно заподозривъ его въ неискренности... Старикамъ-родителямъ она—

„То говоритъ: „я его недостойна“,
То: „онъ меня недостоинъ!—онъ сталъ
Золъ и печаленъ и духомъ упалъ!“.

Некрасовъ утѣшаетъ простодушныхъ родителей Саши, которые встревожены ея печалью. Поэтъ говоритъ, что хорошее сердце Саши спасетъ ее, и изъ всѣхъ противорѣчій, овладѣвшихъ ея сердцемъ, она выйдетъ невредимо.

Если противорѣчивыя увлеченія могутъ сбить съ толку слабаго и глупаго человѣка, то для сильной души они не опасны: и скептицизмъ, и идеализмъ одинаково благотворны, если надъ ними подумаешь, въ нихъ сумѣешь самостоятельно разобраться, если ихъ провѣришь... Оттого и Агаринъ, по убѣжденію Некрасова, „сѣетъ все-таки доброе сѣмя!“, для него самого безполезное, но зато для другихъ, болѣе сильныхъ и вдумчивыхъ, плодотворное...

„Русскія женщины“.

Въ поэмѣ: «*Русскія женщины*» *(Ист. хрест., т. III, вып. 3, стр. 18)* Некрасовъ изобразилъ женъ декабристовъ: княгиню Трубецкую и княгиню Волконскую... Передъ нами—двѣ аристократки, избалованныя жизнью, которыя въ трудную минуту жизни выказали необычайную силу души: свято понимая обязанности жены, онѣ отъ всего отказываются и, вслѣдъ за мужьями, ѣдутъ въ далекую дикую Сибирь, дѣлить съ мужьями ихъ горе и страданія. Типъ «мощной славянки», выведенный Некрасовымъ въ Дарьѣ («Морозъ-красный носъ»), Тургеневымъ въ Еленѣ («Наканунѣ»), отчасти Пушкинымъ въ его Машѣ Мироновой, — воскресаетъ передъ нами въ лицѣ обѣихъ этихъ героинь.

Близость Некрасова къ Тургеневу.

§ **124.** Изъ современныхъ писателей Некрасовъ особенно близокъ къ Тургеневу и по темамъ (сочувствіе къ крѣпостнымъ, типы людей 40-хъ годовъ, идеальные женскіе типы), и по настроенію: оба они — проповѣдники гуманности, оба чутко отзывались на вѣянія времени и умѣли отмѣчать въ сердцахъ человѣческихъ самые тонкіе проблески духовной красоты. Только у Некрасова гражданскіе мотивы являются преобладающими въ его твореніяхъ. Въ его произведеніяхъ больше страсти и раздраженія, чѣмъ у Тургенева, уравновѣшеннаго художника... Оттого Некрасовъ особое вниманіе устремилъ на темныя стороны русской жизни,—оттого грустнѣе и мрачнѣе его Муза, и «наружнѣе» его любовь къ людямъ и родинѣ,—оттого, быть можетъ, и вѣра въ русскій народъ у него выражается опредѣленнѣе, яснѣе!

БИБЛІОГРАФІЯ.

Пособія общаго характера.

Исторія русской литературы XIX вѣка подъ ред. Д. Н. Овсянико-Куликовскимъ, изд. „Міръ".

О. Миллеръ. „Русскіе писатели послѣ Гоголя". 3 т.

К. Головинъ. „Русскій романъ и русское общество".

Перцовъ. Философскія направленія въ русской поэзіи".

Андреевичъ. „Опытъ философіи русской литературы".

Г. Александровскій. „Чтенія по новѣйшей русской литературѣ". 2 т.

Д. Овсяннико-Куликовскій. Собр. сочиненій.

Статьи и работы частнаго характера.

Гоголь. Изд. Маркса подъ ред. Тихонравова.

Н. Котляревскій. Гоголь.

Мережковскій. Гоголь и чортъ.

Сборникъ памяти Гоголя, изд. О-ва Люб. росс. слов.

М. Ю. Лермонтовъ. Изд. Акад. Наукъ подъ ред. *проф. Абрамовича*; *Н. Котляревскій*, „М. Ю. Лермонтовъ", Спб. 1891; *В. Спассовичъ*, Соч., т. II-й, VIII; *С. Андреевскій*, „Литературныя чтенія", Спб. 1892 г.; *Анненскій*, „Объ эстетическомъ отношеніи Лермонтова въ природѣ"—„Р. Шк." 1891, № 12; *В. Зелинскій*, „Русская критическая литература о произведеніяхъ Лермонтова".

Ѳ. И. Тютчевъ. О немъ: *И. Аксаковъ*, „Ѳ. И. Тютчевъ", М. 1874; *Перцовъ*, „Философскія теченія въ русской поэзіи", *Н. Страховъ*, „Тютчевъ".

А. Н. Майковъ. О немъ: *Л. Златковскій* „А. Н. Майковъ"—Соч. 1898; *К. Арсеньевъ*, „Поэтъ и тендеціозный писатель"—„В. Евр." 1883; *Д. Мережковскій*, „О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ соврем. русской литературы", Спб. 1893; *И. Анненскій*, „Поэзія Майкова съ педагогической точки зрѣнія"—„Р. Шк." 1898; *Ѳ. Зелинскій*, „Античный міръ въ поэзіи А. Н. Майкова"—„Р. В." 1899; *Перцовъ*, „Философскія чтенія въ русской поэзіи", Спб. 1896.

Я. П. Полонскій. О немъ: *К. Арсеньевъ*, „Критическіе этюды“, т. II; *Ор. Миллеръ*, „Полонскій въ своей поэзіи“—„Р. М.“ 1887; *Н. Страховъ* „Замѣтки о Пушкинѣ и о др. поэтахъ“, Спб. 1888; *Вл. Соловьевъ*, „О лирической поэзіи“—„Р. Обзоръ.“ 1890 г.; *Перцовъ*, „Философскія теченія въ русской поэзіи“, Спб. 1896.

А. Фетъ. О немъ: вводн. статья *Б. Никольскаго* къ соч., изд. Маркса 1890; *Ап. Григорьевъ*, „Русская изящная литература въ 1852 г.“; *А. Дружининъ*, Соч., т. VII.; *Л. Майковъ*, „Фетъ“ („Историко-литерат. очерки“, Спб. 1895); *Перцовъ*, „Философскія теченія въ русской поэзіи“, Спб. 1896; *Н. Страховъ*, „Замѣтки о Пушкинѣ и др. поэтахъ“, Спб. 1888.

гр. А. К. Толстой. О немъ: *Ор. Миллеръ*, „Гр. А. Толстой, какъ лирическій поэтъ“—„В. Е.“ 1875; *Аммонъ, Н. Г.* „Художникъ-боецъ“—„Ж. М. Н. Пр.“ 1896; *Вл. Соловьевъ*, „Поэзія гр. А. К. Толстого“—„В. Е.“ 1895; *Перцовъ*, „Философскія теченія въ русской поэзіи“, Спб. 1896; *Н. Соколовъ*, „Иллюзіи поэтическаго творчества. Эпосъ и лирика гр. А. К. Толстого“, Спб. 1900; *П. Анненковъ*, „Новѣйшая истор. сцена“—„В. Е.“ 1866; *Д. Н. Цертелевъ*, „Драматическая трилогія гр. А. К. Толстого“—„Р. В.“ 1899.

А. В. Кольцовъ. О немъ: *М. Ф. Де-Пуле*, „А. В. Кольцовъ въ его житейскомъ и литературномъ быту“, Спб. 1878; *Бѣлинскій*, Соч., т. XII; *Л. Майковъ*, „Критическіе опыты“, Спб. 1889; *П. Владиміровъ*, „Кольцовъ, какъ человѣкъ и какъ поэтъ“, Кіевъ 1904; *Пыпинъ*, „Лермонтовъ и Кольцовъ“—„В. Евр.“ 1866; *Мережковскій*, „О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ въ современной русской литературѣ“, Спб. 1893; *Перцовъ*, „Философскія теченія русской поэзіи“, Спб. 1896.

Н. А. Некрасовъ. О немъ: *А. Скабичевскій*, „Н. А. Некрасовъ, его жизнь и поэзія“, Соч. т. II; *В. Зелинскій*, „Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“, 3 ч.; *К. Арсеньевъ*, „Критическіе этюды“, т. II; *С. Андреевскій*, „Литературныя чтенія“; *Ив. Ивановъ*, „Поэзія Некрасова“ въ сборн. „Починъ“, М. 1895; *Де-Пуле*, „Н. А. Некрасовъ“—„Р. В.“ 1878; *Г. Александровскій*, „Некрасовъ и его поэзія“, Кіевъ 1898; *Мережковскій*, „О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ современной литературы“; *Ап. Григорьевъ*, „Стихотвовенія Н. А. Некрасова“—„Вр.“ 1862; *Н. Страховъ*, „Замѣтки о Пушкинѣ и др. поэтахъ“, „На память о Некрасовѣ“—„Сборникъ статей, посвящ. памати Некрасова“, Спб. 1878.

И. С. Тургеневъ. О немъ: *Ев. Соловьевъ*, „И. С. Тургеневъ, его жизнь и литературная дѣятельность“, Спб. 1894; *Ив. Ивановъ*, „И. С. Тургеневъ“, Спб. 1896; *С. Венгеровъ*, „Русская литература въ ея совр. представителяхъ—И. С. Тургеневъ“, Спб. 1890; *Фетъ*, „Мои воспоминанія“, М. 1890; *Г. Брандесъ*, „Иванъ Тургеневъ“, 1888; *В. Буренинъ*, „Литературная дѣятельность Тургенева“, Спб. 1884; *П. Бурже*, „Очерки современной психологіи“, Спб. 1888; *М. de Vogüé*, „Le roman russe“; *А. Веселовскій*, „Западное вліяніе въ новой русской литературѣ“; *Ап. Григорьевъ*, „Реализмъ и идиализмъ“—„Свѣточъ“ 1861; *А. Дружининъ*, Соч. VII; „Иностранная критика о Тургеневѣ“, Спб. 1884; *Мережковскій*, „О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ“; *А. Незеле-*

новъ, „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“; *Д. Овсянико-Куликовскій*, „Этюдъ о творчествѣ Тургенева“, 1896; *В. Зелинскій*, „Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“, М. 1884.

И. А. Гончаровъ. О немъ: *В. Острогорскій*, „Двадцать біографій образцовыхъ русскихъ писателей“, *Ев. Соловьевъ*, „И. А. Гончаровъ“, Спб.; *Ев. Ляцкій*, „Гончаровъ“; *А. Скабичевскій*, „Исторія новѣйшей русской литературы“, Спб. 1897; *Н. Добролюбовъ*, „Что такое обломовщина?“, Соч. II; *Д. Писаревъ*, „Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ“, Соч. I.; *А. Григорьевъ*, Соч. I („Тургеневъ и дѣятельность“); *Мережковскій*, „И. А. Гончаровъ“, изд. 1890.

А. Н. Островскій. О немъ: *Ив. Ивановъ*, „А. Н. Островскій“, Спб. 1900; *Добролюбовъ*, „Темное царство“, Соч. III; „Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“, т. III; *Незеленовъ*, „А. Островскій въ его произведеніяхъ“, Спб. 1888; *А. Григорьевъ*, Соч. I; *Дружининъ*, Соч. VII.

гр. Л. Н. Толстой. О немъ: *Ев. Соловьевъ (Андреевичъ)*, „Л. Н. Толстой, его жизнь и литерат. дѣятельность“; *Р. Левенфельдъ*, „Гр. Л. Н. Толстой“, Спб. 1796; *С. Андреевскій*, „Литературныя чтенія“, Спб. 1891 *M. de Vogué*, „Le roman russe“; *М. Громека*, Послѣднія произведенія Толстого“; *Мережковскій*, „Толстой и Достоевскій“; *Д. Овсянико-Куликовскій*, „Л. Н. Толстой, какъ художникъ“, Спб. 1899; *А. Скабичевскій*, „Гр. Л. Н. Толстой, какъ художникъ и мыслитель“, 1887; *Н. Страховъ*, „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“, Спб. 1887; *В. Зелинскій*, „Критическая литература о соч. Толстого“,

Ѳ. М. Достоевскій. О немъ: *Ев. Соловьевъ*, „Достоевскій, его жизнь“, 1891; *Зелинскій*, „Критическіе коментаріи къ соч. Ѳ. М. Достоевскаго“, М. 1893; *Добролюбовъ*, Соч. т. III; *Н. Буличъ*, „Ѳ. М. Достоевскій и его сочиненія“, Каз. 1881; *Ор. Миллеръ*, „Ѳ. М. Достоевскій“ (См. „Русскіе писатели послѣ Гоголя“); *Андреевскій*, „Литературныя чтенія“; *А. Кирпичниковъ*, „Достоевскій“ (Энцикл. Слов. Брокгауза и Ефрона); *M. de Vogué*, „Le roman russe“; *Мережковскій*, „Толстой и Достоевскій“.

Duke University Libraries
D02873099